

Скитания русского офицера

Дневник Иосифа Ильина 1914–1920

Вероника Жобер

Из Селищ в Харбин

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один...

Анна Ахматова.
Памяти 19 июля 1914

В 2014-м была годовщина начала Первой мировой войны — как ее называют в Европе, «забытой войны» для России, а также столетие со дня рождения Наталии Иосифовны Ильиной. Тогда же вышел частично в журнале «Октябрь» дневник ее отца, моего деда, Иосифа Сергеевича Ильина, а спустя некоторое время в «Звезде» были опубликованы его воспоминания за 1914–1916 годы. И вот теперь, благодаря издательству «Русский путь», мне дана возможность издать полностью все то, что автор назвал «воспоминаниями биографического характера» за 1914–1920 годы[1]. Это рассказ очевидца немаловажных исторических событий, наделенного острым даром наблюдения и обладающего несомненным литературным талантом. Накануне предстоящих годовщин, целого ряда столетий: двух революций 1917 года, Февральской и Октябрьской, Брестского мира, поражения Германии в ноябре 1918 года, начала Гражданской войны, великого исхода колчаковской армии — эта книга должна заинтересовать широкий круг читателей в России.

Иосиф Сергеевич Ильин (1885, Москва — 1981, Веве, Швейцария) прожил, как ему предсказывала французская гадалка в Петербурге, долгую жизнь, часть которой пришлась, как он сам считает, «на самый интересный и грандиозный период в жизни русского народа». Современный читатель, который знает историю страшного для всего мира и в особенности для России XX века, вероятно, удивится пафосу и оптимизму таких эпитетов, но согласится с тем, что записки очевидца того времени представляют несомненный интерес.

Данная публикация на самом деле настоящий дневник Ильина тех лет, насчитывающий 463 страницы, хранящийся теперь в Государственном архиве Российской Федерации[2]. Как известно, многие русские, попавшие в эмиграцию после Октябрьской революции 1917 года, посылали свой лич-

---

[1] Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р 6599 (Воспоминания Ильина И.С. биографического характера с 1914 г. до 1920 г. (с приложением документов и газетных вырезок)). Оп. 1. Д. 16. Машинопись. 463 л.

[2] Личный фонд И.С. Ильина, поступивший в ГА РФ в составе бывшего Русского заграничного исторического архива в Праге (РЗИА) в 1946 году. Я очень благодарна научному руководителю (в пору подготовки книги — директору) ГА РФ Сергею Владимировичу Мироненко за разрешение на публикацию.

ный архив в Прагу. Осенью 1937 года Ильин сумел переправить туда из Харбина свои дневники за 1914–1937 годы[1] А очутился он в Маньчжурии 3 февраля 1920 года, после шести лет невероятных мытарств, начавшихся с мобилизации 1914 года. Иосиф Сергеевич прожил долгие[2], оказывается, годы в эмиграции в Маньчжурии. Отметим сразу иронию судьбы: он оказался в эмиграции в том самом городе, о котором, как он записал 8 января 1916 года, он не имел никакого понятия[3]

Эти дневниковые записи, начатые более ста лет назад, в 1914 году, написанные по свежим следам знаменательных исторических событий, свидетелем которых он оказался, на самом деле бесценны: изложенным в них фактам и комментариям, записанным молодым еще человеком, можно верить как правдивому и непосредственному свидетельству. Видимо, Ильин отредактировал свои записки уже в Харбине, прежде чем отправить в Прагу. В 1938 году он пишет· «Теперь в архиве хранятся мои дневники с 1914 г. по 1937 г. <...> Я перед собой не скрываю, что я горд этим и чувствую глубокое нравственное удовлетворение, что после себя оставляю этот документ»[4].

Наличие множества архивных материалов, нередко частного происхождения, которые стали доступны и публикуются теперь в России, доказывает, что представители эмиграции первой волны прекрасно понимали цену таким документам и всячески старались их сохранить, несмотря на все превратности судьбы. Кроме Иосифа Сергеевича, вспомним его жену, которая берегла как зеницу ока письма своей матери, Ольги Александровны Толстой-Воейковой[5] И диву даешься, каким чудом все уцелело! Ведь эти письма, начиная с 1920 года вплоть до октября 1936-го, когда скончалась теща Иосифа Сергеевича, кочевали по разным сперва харбинским, затем шанхайским тесным квартирам, жалким комнатам в пансионах, пережили японскую оккупацию Маньчжурии (с 1931 года), переезд в Шанхай и разразившуюся Вторую мировую войну, наконец, наступление коммунистического маоистского режима. В 1954 году они были благополучно привезены Екатериной Дмитриевной Ильиной из Китая в Москву в сундуке, набитом семейным архивом, что вызвало негодование дочери Наталии Иосифовны. Вместо этого бумажного хлама (так ей тогда казалось) она надеялась найти ценные, особенно в то время, шубы и другую одежду, годную на продажу или обмен.

Об Иосифе Сергеевиче Ильине известно в России, в частности, из автобиографической прозы его старшей дочери, писательницы Наталии Иоси-

---

[1] В дневниковой записи от 30 июня 1938 года И.С. Ильин пишет, что заходил в чешское консульство в Харбине и получил за свои дневники 1800 чешских крон по курсу (ГА РФ. Ф. Р 6599. Оп. 1. Д. 13. Л. 3).

[2] Он оставался в Харбине вплоть до 1956 года.

[3] «Стыдно сказать, я даже не имел понятия, где это Харбин» (см. с. 146 наст. изд.).

[4] ГА РФ. Ф. Р6599. Оп. 1. Д. 13. Л. 3.

[5] Теперь они изданы в постсоветской России, см.: Русская семья «dans la tourmente déchaînée…»: Письма О.А. Толстой-Воейковой, 1927–1930 гг. / публ. и коммент. В. Жобер. Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб.: Нестор-История, 2009. — 526 с.; Когда жизнь так дешево стоит… Письма О.А. Толстой-Воейковой, 1931–1933 гг. / публ. и коммент. В.П. Жобер. — СПб.: Нестор-История, 2012. — 360 с., ил.

фовны Ильиной. Наталия Ильина, приступившая после сатиры к новому для нее жанру, биографической прозе, написала об отце уже после его смерти[1]: «...Я никогда о нем не говорила. <...> Всем же было известно, что он нас оставил, когда мы с сестрой были еще школьницами, нам не помогал, мать билась одна, ей все сочувствовали ("труженица, героиня"), нас с сестрой жалели, нам это казалось унизительным, об отце, о неудачной семейной жизни родителей говорить не хотелось, но и без нас все всем было известно...»[2] Тем не менее через столько-то лет, пытаясь восстановить его облик, писательнице удалось, кажется, несмотря на накопившуюся обиду, обрисовать беспристрастный портрет. «Невоздержан был этот человек, только что вырвавшийся из братоубийственной войны, невоздержан "в страстях своих"! Первые годы харбинской жизни он еще не снимал полувоенной формы — защитного цвета гимнастерки с глухим воротом, подпоясанной ремнем, зимой носил охотничью куртку, на вешалке в передней висела его офицерская фуражка. Маньчжурскими зимами, малоснежными, с ледяными ветрами, ходил с непокрытой головой (темные волосы бобриком, позже — косой пробор), чем обращал на себя всеобщее внимание. Был он строен, спортивен, моложав, шутник, остряк, душа застолий...»[3]

Младшая дочь Иосифа Сергеевича, Ольга Иосифовна Лаиль, тоже вспоминает о нем в своей автобиографической книге[4], как и его жена, Екатерина Дмитриевна Воейкова-Ильина, в дневниках, письмах и воспоминаниях[5].

Сам Иосиф Сергеевич много писал. В эмиграции выходили его статьи сначала в Харбине в 1920-е годы (он, в частности, работал в эмигрантской газете «Русский голос»), а затем в 1960-е годы в США, в калифорнийской газете «Русская жизнь» и в знаменитом русскоязычном «Новом журнале», да еще в парижской «Русской мысли», которая в 1981 году «с прискорбием извещает о кончине своего долголетнего сотрудника и друга»[6].

Иосиф Сергеевич очень гордился своим происхождением. Он был русским дворянином, из рода Рюриковичей и князей Галицких. Родоначальником фамилии был Илья Семенович Ляпунов, потомок Рюрика в двадцать третьем колене. В Российском государственном историческом архиве (РГИА) хранится более ста дел о дворянской фамилии Ильиных, причисленных по указу Сената к дворянам Владимирской, Костромской, Смоленской, Санкт-Петербургской и других губерний. Из книги «Дворянское сословие Тульской губернии» явствует, что Ильины были также в Тульской, а затем в Тамбовской, Рязанской, Казанской и Московской губерниях. Принадлежность Ильиных к потомственному дворянству Костромской губернии подтверждена сохранившейся грамотой. В родословной дворян Ильиных ука-

---

[1] См. главу «Отец» в книге: *Ильина Н.* Дороги и судьбы / предисл. В. Жобер, А. Латыниной. — М.. АСТ; Астрель, 2014. С. 606–640.

[2] Там же. С. 615.

[3] Там же. С. 616.

[4] *Ильина-Лаиль О.* Восток и Запад в моей судьбе. — М.: Викмо-М, 2007

[5] «Нам не уйти от Родины навеки...»: Дневники, письма, воспоминания Е.Д. Воейковой / публ. О. Лаиль. — М.. Русский путь, 2010.

[6] Русская мысль. 1981. 12 февраля.

зано, что дед нашего автора, Иосиф Дмитриевич, штаб-ротмистр, женат на Елизавете Валериановне Новосильцо́вой (именно на таком ударении настаивал его отец, Сергей Иосифович) и является предводителем дворянства Варнавинского уезда Костромской губернии. Мать Иосифа Сергеевича — Наталия Владимировна Даксергоф. Среди родственников Ильиных числятся знаменитые дворянские роды. В дневнике упоминаются и князь Мещерский, и прабабка Нарышкина, портрет которой, работы известной французской художницы Виже-Лебрен, висел над диваном в Тамбове. Все предки Иосифа Сергеевича были людьми служилыми, кто служил в царской армии, а кто в царском флоте, среди них были предводители дворянства, статские советники, коллежские асессоры, кто-то даже был смотрителем Суздальских училищ. Сам Иосиф Сергеевич упоминает еще своего прапрадеда со стороны матери, адмирала Григория Андреевича Спиридова, и Дмитрия Сергеевича Ильина, офицера российского военно-морского флота, героя Чесменского морского сражения (1770).

Ильин кичился своим происхождением, любил подчеркивать свое превосходство, как ни странно даже в жалких условиях эмиграции, над своей женой Екатериной Дмитриевной Воейковой. Но при этом он был ее родственником через Толстых — четвероюродным братом, так как Ксантиппа Даниловна Симонова-Толстая «с плотно сжатыми губами и строгим лицом» приходилась им обоим прапрапрабабушкой.

Не очень понятно, каково было финансовое положение Ильиных. С одной стороны, Иосиф Сергеевич уверял, что его дед был очень богатым помещиком, а если верить семейным преданиям, какой-то Ильин когда-то проиграл в карты два своих имения вместе с крепостными. Во всяком случае, будущая теща Иосифа Сергеевича Ильина «находит, что Иосиф и недостаточно умен, и необразован, и беден и т.д.»[1] и не одобряет брака своей дочери Кати.

До 1912 года Сергей Иосифович Ильин, отец Иосифа, был заместителем заведующего удельной конторой в Симбирске. Он жил в казенной квартире, которую упоминает сын в своих воспоминаниях. Этим объясняется тот факт, что Иосиф Сергеевич несколько лет подряд проводил летнее время в компании многочисленных родственников своей будущей жены и, вероятно, тогда и сделал предложение[2] Все эти молодые люди — Амбразанцевы, Бестужевы, Воейковы, Давыдовы, Мертваго, Мусины-Пушкины, Толстые, Ушаковы — выходцы из славных дворянских родов. Они любили проводить лето вместе в родных «дворянских гнездах», конец[3] которых Иосиф Сергеевич с такой ностальгией описал. Это целый ряд близлежащих усадеб Симбирской губернии: Жедрино, Золино, Каранино, Репьевка, Самайкино, а также сел и деревень с ласкающими ухо названиями: Алакаевка, Загарино, Коптевка, Рачейка, Томышово, Топорнино... Вся эта молодежь относится к

[1] «Нам не уйти от Родины навеки...». С. 17.

[2] См. рассказ явно автобиографического характера «История одной усадьбы», вышедший в Харбине.

[3] *Ильин И.С.* Конец дворянских гнезд // Русская жизнь. 1963. 17 января. №° 489; 19 января. №° 5257; 22 января. №° 5288; 24 января. №° 490.

последнему поколению, беспечно вкусившему прелести беззаботной жизни в дворянских имениях. До рокового 1917 года, перевернувшего всю жизнь, все родственники и знакомые, а это главным образом дворяне, продолжают жить, не отдавая себе отчета, на какой пороховой бочке они сидят. Сестра Соня в Париже, учится в Сорбонне, и вернется только в 1917 году, через Швецию, когда будет восстановлен морской путь. Дядю Осю, отдыхающего с женой, как каждый год, в Германии, мобилизация застает в Мариенбаде. Осенью 1914 года в Пензе, где живет другой, женин дядя, вице-губернатор Алексей Александрович Толстой, пышно празднуется его серебряная свадьба, да вообще чуть ли не каждый день пир горой. Иосиф Сергеевич с Алексеем Александровичем, например, съедают за завтраком сотню устриц[1], которые выписываются ящиками прямо из Крыма! Родственники и знакомые самого Ильина тоже продолжали вести довольно беспечное существование. Заезжая во время войны в Москву или в Петроград, Ильин идет обедать в модный ресторан, проводит вечер в кафе-шантане, играет в карты, пьет ночь напролет с товарищами.

Иосиф Сергеевич Ильин родился в Москве, но учился в Петербурге. Он был кадровым военным. Учился в морском кадетском корпусе, гардемарин выпуска 1907 года, но, кажется, ушел из флота в знак протеста против позора поражения царского флота при Цусиме. Видимо, после этого поступил в Михайловское артиллерийское училище. С 1908 года служил поручиком в артиллерийской бригаде (командовал полубатареей) в маленьком гарнизоне в Селищах в Новгородской губернии, где провел в общей сложности семь лет. Там же поселился вместе с женой после свадьбы в 1912 году. Екатерина Дмитриевна Воейкова, интеллигентная, образованная молодая женщина, скучала в этой глухомани и мечтала для мужа о более интересной и широкой деятельности, с бóльшим окладом. Для продвижения в карьере и ради переезда в Петербург Иосиф Сергеевич не без труда пытался сдать экзамены в Военную академию, но в 1913 году провалился. А все хлопоты, предпринятые женой для перевода мужа в штаб дивизии, оказались неудачными. В марте 1914 года он должен был снова сдавать экзамены, и в этот раз, кажется, был принят. Екатерина Дмитриевна во что бы то ни стало хотела выбраться из Селищ, где ей было тоскливо, неинтересно, не хватало интеллигентного, культурного общения. В мае 1914 года в Петербурге родилась их первая дочь, Наталия, и, когда пришел приказ о мобилизации 18 июля 1914 года, Иосиф Сергеевич был один в Селищах, так как Екатерина Дмитриевна уехала в деревню, в Симбирскую губернию, в родную усадьбу Самайкино. Иосиф Сергеевич был ранен в руку в самом начале войны, 20 августа 1914 года, у местечка Млынки-Крач Люблинской губернии и уезда[2], и получил контузии.

---

[1] У Наталии Иосифовны мы найдем дальний и горький отголосок пристрастия отца к устрицам. Она пишет о том, как, уже в Харбине, после развода родителей, пришла в обеденное время к отцу, в надежде, что ее накормят. Отец же, сперва озадаченный ее появлением, быстро спохватился и веселым голосом крикнул второй жене «Не беспокойся! Она не любит устриц!» (*Ильина Н.* Дороги и судьбы. С. 618).

[2] В нынешней Польше.

В 1915 году он был награжден «Анной» 4-й степени «за храбрость» и «Станиславом» с мечами и бантом.

Как царский офицер, служивший в армии, да еще в трудное военное время, когда по всей Европе, и особенно в России, распространились пацифистские настроения, Иосиф Сергеевич был возмущен приказом № 1, принятым 1 марта 1917 года, результатом которого было полное разложение армии. Распад дисциплины, необходимой составляющей любой армии, повлек за собой необратимые последствия, свидетелем которых и стал Ильин. Поэтому для него Керенский, ставший во Временном правительстве военным министром после отставки Гучкова, просто «шут гороховый». Иосиф Сергеевич резко осуждает поведение некоторых родственников, перешедших на сторону большевиков. Это касается, например, Михаила Алексеевича Толстого. О его судьбе известно довольно мало. Он окончил политехнический институт, получив строительную специальность. Ильин пишет, что в 1914 году «Миша» «ухитрился стать начальником санитарного поезда дворянской организации № 151». Затем в 1918 году он поехал в Пензу служить инструктором в Красную армию. По некоторым сведениям, он занимал в ней высокую должность, участвовал в освобождении Симбирска в 1918 году, был одним из руководителей строительных работ по восстановлению Сызранского моста и был расстрелян вскоре после этого, кажется, за растрату казенных денег.

Вообще Иосиф Сергеевич в своих постоянных рассуждениях и часто весьма критических замечаниях по отношению к своим сородичам-дворянам приходит к довольно противоречивым умозаключениям. С одной стороны, он не лишен, увы, распространенных в то время сословных предрассудков, недопустимых в наше время и способных покоробить современного читателя. С другой стороны, он зло высмеивает пороки вконец выродившихся, как ему кажется, дворян и не раз возвращается к этой теме. То ли нелады с семьей жены, в которой он чувствует себя непризнанным, то ли обида за себя, за в общем-то не очень удавшуюся карьеру и жизнь, побуждают его часто так ехидно отзываться о родственниках.

Читая военный дневник Ильина, поражаешься, как мало пафоса в этих записях, и вообще диву даешься, что они принадлежат перу кадрового офицера. С первых же строк, а именно в день мобилизации, его размышления касаются бессмысленности этой войны, зла, которое она порождает, разрухи, которую она неизбежно несет· «Таковы законы войны: все разрушать». Страшная, жестокая, затянувшаяся вопреки всем надеждам война — вот что описано в этом дневнике. Лишний раз убеждаешься в том, насколько наивны были все, надеясь на короткую войну. Как известно, эту иллюзию разделяли многие, не только русские. Ильин сразу осознал весь ужас войны, став очевидцем страшной смерти некого Ермолая, погибшего в нескольких шагах от него, тогда как он сам получил сравнительно легкую рану. Можно даже предположить, что ранение в самом начале войны его и спасло. После этого он уже не участвовал в боях на фронте, так как был зачислен на нестроевые, или тыловые, должности, а в 1917 году он находился близ Житомира, на Юго-Западном фронте, где служил инструктором в 1-й школе прапорщиков, преподавая курс артиллерии.

Каждый раз при виде того, как война разоряет крестьян, у которых отбирают последнюю лошадь, да еще производят мобилизацию дополнительных возрастов в самый неподходящий момент — «непременно в разгар уборки!», у Ильина вырывается вопль негодования.

Автор постоянно сетует на полную неналаженность и неразбериху, его, мягко говоря, удивляют беспорядок, царящий в войсках на фронте, полное неведение начальства о положении дел, канцелярщина, заставляющая расписываться в десяти бумагах.

За первые годы войны он объездил западную часть России, побывал в Польше и в Галиции, был в Москве, Петрограде и Киеве, во Львове, в Тамбове и Пензе. Эти частые разъезды заставляют его на каждом шагу пускаться в сравнения, которые, конечно же, оказываются не в пользу России. Его страшно раздражают бросающиеся в глаза пороки русской действительности: грязь, отсталость, воровство, ужасные дороги. Жизнь в провинциальных городах его удручает, тем более что сам вице-губернатор Пензы, родственник его жены, на его возмущение по поводу состояния уборных в городе довольствуется ответом, что «вообще такова русская жизнь и что русские ни до чего еще не доросли».

Среди военных, с которыми он имеет дело, вечные кутежи, пьянство, непрекращающаяся игра в карты. Разврат полный, и Ильин часто сокрушается по этому поводу. Интриги и злоупотребления, с которыми он сталкивается ежедневно, дают ему понять, что дела плохи, надежды на победу мало. Он трезво смотрит на поведение казаков, которые умеют только грабить, скептически относится к тем проявлениям патриотизма, которые он наблюдал в Москве. Узнав в 1915 году о том, что Италия объявила войну Австрии, он отмечает: «Еще одна страна впуталась».

Надо сказать, что Ильин на каждом шагу, как часто бывает с представителями русской интеллигенции (хотя он страшно издевается над типичными мягкотелыми русскими интеллигентами), философствует, размышляет, задается вечными, «проклятыми» вопросами, терзающими до сих пор лучшие умы России. Но надо отдать ему должное, он прекрасно понимает истинное положение дел и делает весьма умные выводы. Как иначе объяснить тот факт, что он единственный в семье понял летом 1918 года опасность, грозившую всем помещикам, остававшимся у себя в усадьбах? Как военный, переживший в Юго-Западной армии Февральскую и Октябрьскую революции, он был гораздо лучше осведомлен о настроениях не только в армии, но и по всей стране. Вопреки нежеланию родственников жены покидать родные места, он их спас, приняв решение бежать из Самайкина. Неоспоримым доказательством его правоты оказалось, увы, зверское убийство сестры и брата его тещи в Репьевке и Каранине буквально на следующий день после бегства Ильиных.

Данная Иосифом Сергеевичем характеристика русского «народа» — такого, каким он представляется в роковой период революции, — поражает своей точностью. «Мерзавцы и шалопаи» создают настроение, а мужики прикрываются «темнотой». К этому надо добавить талант Ильина-рассказчика. Изумляет его способность воспроизводить живые диалоги, и в част-

ности диалектные особенности речи простых людей. Это наиболее заметно в его записи от 22 января 1918 года. Живые сцены на вокзалах, разговоры в вагонах переданы очень убедительно. Читателю передается волнение Ильина близ Коптевки, уже совсем близко к цели, когда он в январе 1918 года, сбежав из армии с липовой бумажкой, которая гласит, что «старший писарь нестроевого разряда Осип Ильин едет по демобилизации на родину», возвращается к своим в Самайкино.

Из того, что он типичный потомственный дворянин старого режима и кадровый офицер, преданный «вере, царю, отечеству», не следует, между прочим, заключить, что он убежденный монархист, отнюдь! На самом деле он, как и жена, член Конституционно-демократической партии, или Партии народной свободы, он даже был кандидатом в делегаты Учредительного собрания от партии кадетов и приветствовал Февральскую революцию, падение самодержавия, вообще считал власть Романовых «ужасной». Еще в Селищах, до войны, молодые Ильины дружили с Тырковыми. Там единственным исключением в окружающем бескультурье было соседство этой семьи. Иосиф Сергеевич с женой навещали в усадьбе Вергежи, на берегу реки Волхов, знаменитого народовольца Аркадия Владимировича Тыркова, участника подготовки покушения на Александра II в 1881 году, и его сестру, известную кадетку Ариадну Владимировну, видного члена Конституционно-демократической партии. Екатерине Дмитриевне на всю жизнь запомнился визит в Вергежи английского писателя Уэллса в 1914 году. А Иосиф Сергеевич вспоминает елку 1912 года[1], когда он познакомился с «революционер-террористом» Аркадием Владимировичем. В другой раз в Вергежах оказался «маленький, весь какой-то зябкий Ремизов в больших очках и пледе».

Ильины поддерживали связь с Ариадной Владимировной и после ее эмиграции в Англию. Ольге Александровне Воейковой, например, только благодаря Тырковой в 1920 году удалось выйти на связь с дочерью, оказавшейся в эмиграции в Харбине. Сохранилось письмо Ольги Александровны, с помарками цензуры, написанное Ариадне Владимировне из Самары. А в конце июля 1919 года, в Омске, уже будучи в штабе Колчака, Иосиф Сергеевич получил с большим опозданием из Лондона от Ариадны Тырковой письмо, которое прозвучало горькой насмешкой. Ариадна Владимировна пророчила встречу зимой в родном поместье Вергежи после победы Белого движения.

Исторический фон, на котором проходит жизнь Ильина и его близких в 1917–1919 годы, — это две революции, а затем Гражданская война. Иосиф Сергеевич записывает ход событий и свои личные впечатления день за днем; когда ему это не удается, он явно сокрушается и пытается по мере возможности наверстать упущенное. Его записи весьма подробны и прекрасно воссоздают атмосферу эпохи, а главное, его личные переживания. Описываемые им фактически ежедневно события, рассказы о встречах с историческими лицами того времени позволяют окунуться в самую гущу истории. Мелькают многочисленные известные и менее известные имена: Азеф, Вольский,

[1] Страничка воспоминаний (памяти А.В. Тыркова) (Личный архив В. Жобер, газетная вырезка).

Галкин, Гучков, Деникин, Дутов, Елачич, Жанен, Зефиров, Игнатьев, Лебедев, Клафтон, Корнилов, Михайлов, Муравьев, Набоков, Нокс, Полонский, Савинков, Семенов, Троцкий, Унгерн... И многие, многие другие, всех не перечислить здесь. Характеристики, данные автором тем или другим, не лишены, конечно, прямолинейности, да иногда и предвзятости, но всегда основываются на фактах и опираются на непосредственное восприятие очевидца. Надо, конечно, признать, что мало кто достоин похвалы в его глазах. Пожалуй, кроме самого Верховного правителя Колчака, да еще Пепеляева, Каппеля и профессора Дмитрия Васильевича Болдырева, никто не способен снискать его одобрение. Не потому ли (зная их неприязнь к Колчаку) он так зло отзывается о князе Кропоткине и Дитерихсе, с которыми он встречается в 1919 году? Они ему кажутся типичными представителями дегенерировавшего дворянства. Читая то, что он наблюдает, приходится обычно соглашаться с автором. Интриги и политиканство политических деятелей и военных Белого движения, многих из которых можно назвать просто авантюристами, распущенность и развращенность общества в провинциальных городах, где устанавливается власть белых, — все это поражает воображение читателя. Воровство, кутежи и пьянство, царящие в рядах самой Белой армии, не обещают ничего хорошего. Большевики, естественно, — «разбойники, узурпаторы и каторжане». И невольно приходят на ум «Бесы» Достоевского. Все, как кажется Ильину, пропитано «достоевщиной», везде чувствуется «моральный вывих». В искренности автора нельзя сомневаться. Ведь он и о себе не всегда высокого мнения. Признается в «упрямстве» и «отсутствии настоящего мужества».

Как мы знаем, он принадлежал к оппозиционной партии кадетов, приветствовал падение царизма. Увы, никакие надежды не оправдались, пришло полное разочарование, и Иосиф Сергеевич удивительно скоро понял, что никак нельзя тешить себя иллюзиями. Белое движение, в ряды которого он записывается, ему кажется обреченным почти с самого начала. Осознание гиблости всего затеянного пронизывает повествование. Приходится задаваться проклятыми вечными вопросами, которые остаются, увы, такими актуальными в России. В чем дело? Почему страна с такими богатствами (они бросаются в глаза Ильину во время его путешествий по Сибири) не может обеспечить достойную жизнь русским? Иосиф Сергеевич сравнивает убожество, грязь, нецивилизованность русского быта с тем, что видел в Польше; с горечью убеждается в том, что «среди русских такого вполне законченного типа» военных, как поляки Полонский и Бржезовский, он «почти не встречал». Таких примеров много, таких невыгодных для России сравнений уйма. Невольно возвращаешься к мыслям о характере русского народа и задумываешься над причиной превосходства красных. «Откуда столько энергии? Почему при полном развале, голоде и пр. они все-таки наступают, сдерживают и даже кое-где имеют успех?» Иосифу Сергеевичу не откажешь в прозорливости и историческом чутье. Он, несомненно, одаренный писатель, чуткий наблюдатель и неплохой аналитик окружающих его событий.

Для современного читателя главную ценность этих дневниковых записей составляет, несомненно, изложение исторических событий тех лет, а

также портреты военных и политических деятелей, с которыми столкнулся тогда Ильин. Но воспоминания «биографического характера», как их озаглавил автор, нам позволяют к тому же познакомиться с самим Иосифом Сергеевичем, с его характером и личными интересами.

В его дневнике то и дело говорится об охоте, о лошадях. Иосиф Сергеевич прекрасный наездник и большой любитель лошадей. Недаром же его в апреле 1919 года в Семипалатинске избирают инструктором офицерской езды и председателем охотничьего кружка. Он поименно знает лошадей, и мы знакомимся с некоторыми из них: вороной красавец Зуав, рослый, чистопородный Гром, Юшка, Серый, Царевна, Жар-Птица, Удалой.... Самое трогательное — в записи 1914 года: в самом начале войны, когда забирают по всей стране лошадей на нужды армии, у несчастной крестьянки, у которой мобилизовали мужа, а теперь отбирают единственную лошадь, вырывается крик, обращенный к комиссии: «Васькой зовут, Васькой, барин, не забудьте!»

Как офицер-артиллерист, Ильин прекрасно разбирается в оружии. Как заядлый охотник, он склонен сочинять собственные «Записки охотника»: при любой оказии затевает длинные охотничьи разговоры; проезжая по лесным местам, немедленно определяет, какая там дичь водится, безумно жалеет, если нет при нем ружья. А в феврале 1920 года на станции Маньчжурия КВЖД первое, что ему бросается в глаза на базаре (и вызывает его восторг), — это обилие фазанов и куропаток. Наподобие Левина, героя Льва Толстого, Ильин находит «необъяснимую прелесть» в физическом труде на воздухе. Приобщение к родным местам, к русской природе вообще вдохновляет его на великолепные описания пейзажей тех мест, через которые он проезжает.

К этому надо добавить, что он не лишен иронии и юмора. Он запомнил, как, при их окончательном отъезде из Репьевки, тетка Мертваго (которая в тот же день будет зверски убита) кричала им вслед не забыть вернуть ночной горшок, который она им одолжила для детей. Далее записывает, что в грязной избе, в которой они нашли приют в июне 1918 года, «есть надо с оглядкой, чтобы не проглотить муху», а в Самаре, в беседе с приятелями, мрачно смеется над остротой Клафтона о том, что, если большевики повесят журналиста Кудрявцева, он уже не сможет говорить, «он будет болтать.. ногами».

Можно предположить, что старшая дочь Ильина, Наталия Иосифовна, в какой-то мере унаследовала от отца чувство юмора, что послужило источником ее сатирического дара.

Кстати, если сопоставить биографии Иосифа Сергеевича и Наталии Ильиных, следует подчеркнуть удивительное совпадение в их «дорогах и судьбах». У обоих резко изменился жизненный путь в тридцать четыре года. 3 февраля 1920 года Иосиф Сергеевич очутился в Харбине. В 1948 году Наталия Ильина, вернувшись репатрианткой в СССР, начинает новую жизнь в Казани. Оба, по счастливому стечению обстоятельств, выжили: один умер на чужбине в глубокой старости, другая дожила до почтенного возраста на родине, куда она так стремилась. Чья из этих судеб оказалась счастливее? Наталия Ильина до конца своей жизни утверждала, что никогда не пожале-

ла о своем возвращении в СССР. С другой стороны, она признавалась, что, если бы она понимала, что происходило на самом деле в стране в те времена, она, вероятно, не решилась бы. А ехать ей было надо, ибо «отечество это язык».

Как известно, Наталия Ильина многое не могла простить отцу. Объясняется это тем, что расхождения между отцом и дочерью отчасти связаны с их абсолютно противоположным восприятием собственного детства. В сентябре 1914 года Иосиф Сергеевич, сидя в гостиной у отца в Тамбове, вспоминает «далекое, милое, невозвратное детство». А Наталия Ильина в одном из редких писем к отцу пишет об атмосфере «ущербности, безвыходности, тоски», царящей в Харбине.

Объединяет же их на самом деле то главное, что так присуще всем русским, во все времена, — вспомним, например, страницы, посвященные России русскими писателями-эмигрантами. Какими словами это выразить, ведь так не хочется употребить набившее оскомину, бесстыдно опошленное идеологами разных течений, в частности квасными патриотами, пышное выражение «любовь к родине»? Видимо, остается только сокрушаться о том, что история России показывает, как во все времена «Родина-мать» оказывалась такой злой мачехой для лучших своих сынов, вынужденных ее покидать, не забывающих о ней ни на минуту и часто затем стремящихся вернуться[1]

Никакого ура-патриотизма, никакого проявления национальной гордости не найдешь под пером Ильина. И как не согласиться с ним, когда он пишет: «Мне было немного стыдно за большую, могучую Россию — Россию бесправия, Россию произвола». И хочется надеяться, что, прочитав его воспоминания, многие разделят его покаянные мысли: «Все мы русские, все мы виновны, и все мы носим дурные черты в себе русского характера. .»

Прошло больше ста лет с тех пор, как был начат публикуемый здесь дневник. «С тех пор мы на сто лет состарились», но размышления Иосифа Ильина не устарели. Его описание «забытой войны» 1914–1918 годов особенно важно теперь, когда наконец эта тема встала на повестку дня. Он был участником той войны с первых же дней, потом после революции пришлось бежать от красных, вывозить семью, чтобы ее спасти. Но и тогда, в самые страшные роковые минуты, не покидало его поразительное чутье: любовь к родной природе, отчаяние перед неминуемой катастрофой:

«Дорога шла сначала небольшим леском, потом полями. Необычайно было красиво, когда вдруг блеснула стальная гладь Волги. Что за река! Глядя на эту ширь, как-то не верится ни в революцию, ни во все это безобразие. И вот среди этой родной, русской, самой прекрасной в мире природы чувствуешь отчетливо каким-то подсознательным чутьем, что надвигается что-то грозное, неотвратимое, давящее, тяжелое», — записывает он 21 июня 1918 года.

А впереди был великий исход вместе с армией Колчака...

Париж, 2016

---

[1] Как ни странно, в сентябре 1955 года Иосиф Сергеевич писал в Москву своей родной сестре, Софии Сергеевне Сотниковой, что хочет вернуться в Россию.

* * *

Текст дневников Иосифа Сергеевича Ильина печатается в соответствии с современными орфографическими и пунктуационными нормами, с сохранением авторских особенностей, описки исправлены без оговорок. Числительные (кроме обозначений дат, времени в позициях датировки записей, денежных единиц, номеров воинских частей, адресных данных и артиллерийских терминов) даются словами; сокращенное и развернутое написание слов «год»/«г.», «век»/«в.», «часов»/«час.»/«ч.», «так как»/«т.к.», «то есть»/«т.е.», «губерния»/«губ.» унифицировано на полное написание. Общепринятые сокращения и авторские сокращения, не вызывающие трудностей при чтении, оставлены нераскрытыми; в тех случаях, когда сокращения раскрываются, реконструируемый текст приводится в квадратных скобках. Инициалы в авторском тексте по возможности раскрыты (кроме тех случаев, когда не удалось установить, о каком лице идет речь). В случаях, когда в тексте не хватает одного или нескольких слов, они приводятся в квадратных скобках.

Сведения о персоналиях, упоминаемых в тексте, вынесены в расширенный указатель имен, в постраничных примечаниях оставлена лишь та информация, которая нужна по ходу чтения (пояснения, перевод иноязычных вкраплений и т.п.).

Дневник
Иосифа Ильина

1914

Мобилизация. Объявление войны. В Чудово за лошадьми. Впечатление от событий. Жизнь в Чудове. В Вергежах. Петербург. Столица в дни мобилизации. Ариадна Владимировна. Последний вечер в Вергежах. Поход. К фронту. На позициях. Первый бой. Наступление. Ранен. В госпитале. Эвакуация. Москва. Лазарет Прохоровых. Самайкино. Жизнь в деревне. Поездка в Тамбов. Пенза. У Толстых. Снова на фронт. Брест-Литовск. Холм. Новое назначение. Люблин — приемка транспорта. Поход

18 июля

Вчера в одиннадцать часов сорок пять минут пришла телеграмма о мобилизации. В двенадцать часов ночи был вскрыт мобилизационный пакет. Итак, все предчувствия и ожидания сбылись. Никто, конечно, не спал. Настроение у всех напряженное.

Я, согласно мобилизационному плану, получил пакет, вскрыв который узнал, что мне надо ехать в Чудово за лошадьми для двух бригад — нашей и второочередной, которую мы выделяем.

Наши капитаны и старые штабс-капитаны получили батареи во второочередной бригаде, командиром которой стал Иордан. «Борх» тоже получил батарею, но он уверен, что его переведут по Ген. штабу.

19 июля

Начальник дивизии генерал Зайончковский телеграфирует, что Германия объявила войну, с чем и поздравляет. Никак не могу понять, с чем тут поздравлять?!

Итак, значит, война. Массовое избиение, разорение, сотни тысяч изувеченных, разоренные города и села, целые страны!

Отправился за лошадьми. На станции Спасская Полесть стон и плач. Откуда-то вдруг взялась масса женщин. Пристают, спрашивают — правда ли, что война? Одна баба так рыдает, что меня даже зло взяло: и чего ревет! Ведь даже точно ничего еще не знает. Она была в шляпке и, видимо, не крестьянка, бабы попроще, деревенские, ее же утешали.

20 июля

Чудово полно лошадьми и телегами. Можно подумать, что это не по случаю войны, а просто ярмарка. Не видно только женщин, да нет того характерного гула, который бывает обычно на ярмарках.

Слезы навертываются на глаза при виде, как крестьяне некоторые отдают последнюю лошадь.

Подошел ко мне какой-то немец, приехавший с возом; я сразу не узнал его, оказывается, из Александровской колонии[1] — возил нам сено. Просит, чтобы я освободил его лошадь и что он мне мигнет, когда будет перед комиссией. Я ответил, что сделать ничего не могу и что закон для всех один.

Комиссия наша состоит из воинского начальника, который председательствует, земского начальника, ветеринарного врача и меня — приемщика. Мы сидим прямо за столом на площади. Площадь уставлена возами, толчется множество народу, мои солдаты разбили уже коновязи.

Выходит седой крестьянин. Морщинистый, со скорбным лицом. У него пошел на войну сын и, кроме старухи, теперь осталась на руках молодуха-солдатка с пятью ребятами. Привел последнюю лошадь. Я стараюсь не глядеть на мужика и говорю, что лошадь, кажется, не подходит. Лошаденка на самом деле даже в обоз не годится.

— Ну что же, — отвечает ветеринар, — забракуем, пожалуй?

— Забракуем, — говорит воинский начальник.

— Забракуйте, вашсродие, — галдят кругом мужики, — не то пропадут они!

— Ну веди, — киваю я ему.

Старик широко крестится и, вздохнув, уводит лошадь.

Выходит мой немец. Лошадь у него крепкая, сытая, хорошая. Он смотрит на меня и комично мигает. Два мои солдата быстро меряют рост, смотрят зубы...

— Подходит в обоз, — говорю я.

— Принята, — говорят председатель и врач, и лошадь берут из рук немца мои солдаты.

Выходит баба. Муж мобилизован, теперь отдает лошадь. Неумело нукает, дергает лошаденку и тупо смотрит...

— Взята!

Баба передает лошадь солдату, мнется, смотрит на комиссию и говорит:

— Васькой зовут, Васькой, барин, не забудьте!

---

[1] Немецкая Александровская колония находилась на пересечении реки Осьмы и дороги Селищи — Малая Вишера в Новгородской области.

Обедать мы, всей комиссией, ездим на вокзал. Масса народу, толпятся запасные. Приходят и отходят поезда, битком набитые едущими. Едут на крышах, на буферах, висят на площадках.

21 июля

Остановился в каком-то доме, чистом, просторном, две хозяйки — старая и молодая, предложили мне парадную комнату: мебель в чехлах, на окнах герань, по стенам олеографии. Устроили мне постель на диване. За день устаешь смертельно. Все время за работой: с утра прием лошадей, потом их распределение, затем, после обеда, до темноты, снова прием. Кроме того, страх, чтобы не пропала ни одна лошадь. Дело в том, что среди мобилизованных лошадей много попалось жеребцов. Есть несколько прекрасных вороных молодых жеребцов по четыре — четыре с половиной года и по шести с лишком вершков; наших фабрикантов Кузнецовых, фабрика[1] которых против Волхова, на том берегу. Лошади невыезженные, горячие, а людей у меня мало.

Как на грех на обеих ногах вскочили нарывы под ногтями на больших пальцах — никогда в жизни ничего подобного не было — еле хожу, мука дьявольская. И вот наконец вечером добрался до своего дивана и завалился. И вдруг, только погасил лампу, как тело начало словно обжигать крапивой, зажег спичку, и — о ужас! — туча клопов. Отодвинул диван на середину и начал засыпать, как вдруг почувствовал, что что-то сыплется с потолка. Снова зажег свет — оказывается, проклятые мучители падают прямехонько сверху! В жизни ничего подобного не видел. Заснул под утро, уже начало светать, фейерверкер[2] еле добудился, когда пришел меня поднимать.

22 июля

С утра и до темноты все время приемка, с перерывом от двенадцати до часу, когда обедаем на вокзале. Площадь уже полна лошадьми, которые стоят на коновязях. Всего надо принять восемьсот лошадей, к завтраму вся приемка должна быть закончена. Не представляю себе, как поведут мои люди всю эту массу коней.

Работа и усталость не позволяют ни о чем думать, и как-то забываешь, что война, вернее, не думаешь о ней и не можешь себе ее представить.

---

[1] Завод фарфоровых изделий, основанный в 1880 году Иваном Емельяновичем Кузнецовым.

[2] Фейерверкер — унтер-офицерское звание в артиллерии русской армии до 1917 года.

Мои хозяйки испекли мне луковицу, дольки которой я на ночь положил на пальцы и к утру просто ожил. Устаю так, что привык к клопам и больше их не замечаю.

23 июля

Только что вернулся из Чудова. Принял восемьсот пять лошадей. Людей у меня было сто двадцать человек, по двадцати человек с фейерверкером от батареи. Таким образом, почти каждому пришлось вести семь лошадей. Пришлось некоторым дать и восемь, так как жеребцов выделил и больше трех на одного не дал. Шли походным порядком — шествие было умопомрачительное, надо сказать. Я поехал поездом.

К ужасу своему узнал, что по дороге несколько лошадей сбежало. Хорошо, что их словили, но трех так и нет до сих пор. Иордан начал было сердиться, но, когда я ему объяснил картину мобилизации и как пришлось вести, он успокоился. Выступаем, кажется, 27-го.

24 июля

Три лошади нашлись — их словили крестьяне, а посланные солдаты привели — слава Богу, а то все-таки неприятно было.

Вещи все Александр[1] уложил. Я собрал все книги в несколько ящиков — вышло довольно много — полкабинета оказалось заставленным ящиками. Сундук и ящик с охотничьими ружьями отправляю в Вергежи[2] к Тырковым[3]

Получил деньги, причитающиеся мне по мобилизации: 530 руб. С пароходом еду в Петербург за казенными покупками. Со мной едет и Абамеликов, чему я очень рад.

На пароходе все военные, наш казначей выгрузился буквально с мешком денег. Михаил Федорович[4], уже полковником, тоже поехал в Петербург — он получил дивизион, не разобрал в какой бригаде и завтра или послезавтра уезжает совсем.

25 июля. Петербург

Вчера мы с Абамеликовым приехали вечером. Петербург поразил необычно торжественным видом. К двенадцати часам все уже было закрыто и улицы пустынны. Абамеликов упросил, и я домой не поехал, а сняли мы номер и хорошо выспались в гостинице на углу Невского и Знаменской.

---

[1] Александр Пузанов, денщик Иосифа Сергеевича Ильина.

[2] Усадьба семьи Тырковых на берегу реки Волхов.

[3] Имеются в виду София Карловна Тыркова и ее дети: Ариадна Владимировна и Аркадий Владимирович.

[4] Михаил Федорович Нечай.

Утром бегали по магазинам. Купил себе в Гвардейском экономическом обществе кожаную куртку, ночные туфли. Заплатил все, что оставалось, портному Дмитриеву, потом повидал «сестру»[1] и Павла[2]

На Невском сидят запасные и с большинством женщины, и у всех в руках газеты. Газеты выходят пять раз в день — нет человека, который бы не читал газеты.

Был у Ариадны Владимировны[3] и видел всех. Ариадна Вл[адимировна] была особенно мила, все рассматривали карты и спрашивали меня, где, я думаю, начнутся военные действия. Гарольд Васильевич[4] собирается ехать на войну корреспондентом. Завтракал у них, а затем мы нежно простились и расцеловались.

Обедали с Абамеликовым у Кюба[5] — не только прекрасно поели, но и выпили водки.

26 июля

Приехал в Селищи[6]. Все собрано, и стоят только две кровати — моя в нашей комнате и Абамеликова в столовой. Получил от жены сразу два письма. Грустно, что ухожу, не повидав их. Беспокоит папа[7]; я даже не знаю, где он, так как до сих пор не получил ответа на телеграмму, которую я ему послал в день объявления войны. Кажется, выступаем завтра.

27 июля

Никто точно так и не знает, когда выступаем; говорят массу вздора и передают всевозможные слухи. Верно лишь то, что на западе немцы уже наступают вовсю и на нашей границе бои тоже начались.

Был в Вергежах. Дом опустел — все в Петербурге. София Карловна[8] и Аркадий Владимирович[9] с женой, вот и все население Вергеж. Сидел у них с шести до девяти часов. Было немного грустно, но и хорошо. Говорили о войне, о близких, о политике. Возвращался, когда стало уже совсем темно. Все небо ярко горело блестящими звездами. Было необычайно тихо, спокойно и хорошо. С Волхова доносился

---

1 Евдокия Николаевна Урядова.

2 Павел Дмитриевич Воейков.

3 Ариадна Владимировна Тыркова (в браке Тыркова-Вильямс).

4 Гарольд Витмор Вильямс.

5 Популярный ресторан французской кухни в Санкт-Петербурге.

6 Деревня в Новгородской губернии, на берегу реки Волхов. Там располагалась большая казарма, в которой размещалась 37-я артиллерийская бригада, где служил Иосиф Сергеевич Ильин.

7 Сергей Иосифович (Осипович) Ильин.

8 София Карловна Тыркова.

9 Аркадий Владимирович Тырков.

временами легкий всплеск воды, и опять все погружалось в сосредоточенное молчание, упруго, бодро шел рысью мой милый Зуав.

28 июля

Когда выступаем, так и не знаем. Наша второочередная бригада «лит. Б» 74-я, которой командует Иордан, скоро уходит в Стрельну, где и будет заканчивать мобилизацию. Часть офицеров ушли от нас, главным образом старших, все младшие — из прапорщиков запаса.

У меня в батарее Васильев назначен в парк, вместо него вышел молодой офицер Михайловского артиллерийского училища барон Майдель. Всего к нам в бригаду вышло из училищ двенадцать человек, но пять уже уходят в гвардию.

С Давыдовым временами трудно, он суетится, нервничает и все время всех пилит.

Наша батарея выступает в следующем составе: командир батареи подполковник А[лександр] А[лександрович] Давыдов, первый старший офицер Н[иколай] Н[иколаевич] Тихобразов, второй старший офицер я, младший офицер первой полубатареи барон Майдель и младший офицер второй полубатареи прапорщик Бедке. Бедке из запаса, петербургский, помощник присяжного поверенного.

Целый день занятия, а вечером страстное ожидание газет — так день и проходит.

29 июля

Приезжал проститься А[ркадий] В[ладимирович] Тырков. Приехал вечером. Мы сердечно с ним обнялись и оба прослезились, чуть форменно не расплакавшись. И подумать только, этот человек участвовал в убийстве императора!

Когда уходим, неизвестно. Проходит I корпус, 22-я артиллерийская бригада и Выборгский полк.

30 июля

По случаю окончания мобилизации был молебен на плацу. После молебна Добров сказал несколько слов о предстоящей кампании, прибавив, что война будет упорной, но очень короткой, так как ни одна страна не в состоянии содержать огромные армии долгое время. Вечер сидел у Игнатьевых[1], пили чай, читали газеты, живо обсуждали заявление Ренненкампфа о том, что через месяц он берется войти в Берлин.

---

[1] Вероятно, семья графа Николая Николаевича Игнатьева.

31 июля

С утра занятия. Я налаживал обоз и главное — съезжал лошадей. Некоторые положительно не хотят идти в двуколках. Получил из Самайкина[1] два письма, написал вчера и сегодня. Пришла телеграмма от папы, в которой он меня благословляет.

Ничего неизвестно о дяде и тете. Они уехали в Мариенбад, и до сих пор об них ни слуху ни духу, а между тем по газетам немцы Бог знает что выделывают с нашими путешественниками.

1 августа

Еще не ушли. То, что мы задержались, имеет и свою хорошую сторону: по крайней мере, всё закончили, пригнали, наладили. Сегодня приезжает Зайончковский. Надеемся, что он нам что-нибудь сообщит, а то ведь живем в полной неизвестности.

2 часа дня

Зайончковский сообщил, что мы простоим здесь еще дней десять, после чего отправимся прямо на австрийский фронт. Первоначальная версия, что мы будем охранять Петербург и Балтийское побережье, отпадает. Зайончковский и его начальник штаба Половцев[2] сидели с нами в собрании, где собрались все офицеры бригады во главе с Добровым. Зайончковский рассказывал нам про опыт Японской войны, как он не раз прибегал к скобелевским приемам, ободряя солдат под огнем. Солдаты его полка дрогнули, тогда он скомандовал «смирно» и начал делать ружейные приемы, несмотря на огонь японцев.

После отъезда Зайончковского были занятия, вечером провели время в собрании, где тоже все собрано и уложено.

2 августа

Дни стоят чудесные. Тихо, тепло и хорошо в Селищах — первый раз за всю службу я в это время в Селищах, обычно попадал сюда к сентябрю, когда уже деревья все оголенные и моросит осенний дождь.

Много занимаемся — теперь батарея страшно разрослась и в людском, и в конском составе. На Западном фронте дерутся вовсю. Все газеты полны [сообщениями] о зверствах немцев — какие мерзавцы, хуже всяких разбойников!

Еду сегодня в Петербург на один день, Абамеликов едет тоже, Нарушевичи[3], Васильев, Майдель — целая компания.

---

[1] Село Самайкино Сызранского уезда Симбирской губернии — родовое имение Воейковых.

[2] Николай Петрович Половцо́в.

[3] Виктор Антонович и Константин Антонович.

Трудно передать очарование чудесного дня на пароходе. Гулко шумят колеса, вздымаются стаи уток, плывут деревни. Вот монастырь «Званка», куда мы в мирное время (как странно говорить «мирное время») не раз ездили зимой целой компанией с дамами в гости к монахам варить жженку. Медленно проплывают белые колонны вергежского дома и ровная аллея лип.

3 августа. Петербург

Петербург совсем переменился. Через весь город тянутся полки в защитных формах, обозы, везде много офицеров. В двенадцать часов ночи все закрывается. Сегодня все утро ходил по делам, потом с Абамеликовым завтракали у Кюба. Выпили водки, съели два блюда, и все стоило 12 руб. Дали на чай 4, итого 16 рублей.

Пошел к своей старушке-гадалке на Офицерской 17, ученице мадам де Теб. Оригинально я с ней познакомился: когда Ольга Александровна[1] и Катя[2] уехали в Италию, а я томился ожиданием, мне, не помню кто, рассказал про гадалку-хиромантку, которая училась своему искусству в Париже. Я тогда же отправился к ней, и вот что она мне сказала, я запомнил почти буквально:

— Вы проживете долго, от матери вы унаследовали такие-то черты, от отца такие-то. В семье вашей вас всех было семь человек, осталось трое. Теперь вы скоро женитесь, но невеста ваша где-то далеко, и вас это беспокоит, а также смущает, что вы служите в глухом месте, и боитесь, что невесте вашей там не понравится. Имейте в виду, что гораздо лучше, что жизнь вы начнете в захолустье и сможете больше заниматься своим домом и друг другом — смолоду это всегда полезнее...

Потом она мне рассказала про характер невесты, причем поразила меня, что во многом была права. Проводила она меня тепло и даже благословила. И вот я попал к ней сегодня перед Ариадной Владимировной. Я ее застал. Маленькая, сухенькая, в косынке и с одним зубом, она мне открыла дверь, когда я постучал к ней в комнату. Гадала она мне на этот раз не по руке, а по картам и сказала.

— Вы пойдете на войну и вскоре около вас будут убиты и ранены люди, так что даже вас забрызгает кровью одного из них. Вы будете ранены, но не опасно для жизни. Потом всю войну будете находиться на разных должностях, то в тылу, то близко от позиций, но больше ничего вам угрожать не будет. Впоследствии будут моменты в жизни вашей очень опасные, но вы их минуете и через несколько лет отправитесь далеко-далеко на Восток, но это будет не путешествие.

---

[1] Толстая-Воейкова, теща автора.

[2] Екатерина Дмитриевна Воейкова-Ильина, жена автора.

Потом она сказала, что я потеряю мать много раньше, чем отца, рассказала, как к ней заходил какой-то казак и она увидела, что он будет убит, но не сказала ему этого, а только сказала, что его тяжело ранят.

Ну, посмотрим! После гадалки поехал к Тырковым и у них обедал. Ариадна Владимировна просто молодчина — хлопочет, всем интересуется, все знает, в курсе всех событий, организует различные общества и кружки.

4 августа

Утром приехали из Петербурга. Весь день были, как всегда, занятия, а вечером в шесть часов приказал поседлать Зуава и поехал в Вергежи. Посидел вечер, ужинали, много говорили, я рассказывал о своей поездке и о том, как хлопочет и занята Ариадна Владимировна.

В одиннадцатом часу возвращался. Было очень хорошо. Чудная августовская ночь. Вообще погода просто прелесть.

5 августа

Получил от жены письмо. Александр Дмитриевич[1] мобилизован и попал во второочередной пехотный полк — 318-й Красноярский — прапорщиком. Дима[2] призван кондуктором инженерных войск и отправится, верно, в Туркестан, Павлик[3] хочет ехать каким-нибудь уполномоченным от земских организаций, Ваня[4] думает попасть в Красный Крест.

6 августа

К нам в батарею назначен штабс-капитан Юзефович. Таким образом, командиром первой полубатареи остается Н[иколай] Н[иколаевич] Тихобразов, второй — Юзефович, а я — заведующим хозяйством. Осипов переведен в парк. Юзефович кончил академию Генерального штаба по второму разряду. Он пробыл всю осаду Порт-Артура, имеет все боевые награды вплоть до Золотого оружия. Очень милый и симпатичный человек, мы с ним сразу сошлись.

7 августа

Выступаем, кажется, 12-го. Чем объясняется такая задержка, сказать трудно, так как никто ничего толком не знает.

Занятия целый день.

---

1 Воейков.

2 Дмитрий Дмитриевич Воейков.

3 Павел Дмитриевич Воейков.

4 Иван Дмитриевич Воейков.

8 августа

Неизвестность начинает надоедать. Главное, что все готово, все уложено и осталось только тронуться. Шесть молодых офицеров уехали, так как прикомандированы к 1-й и 2-й гвардейским бригадам. Вчера вечером в собрании провожали их. Порядочно выпили, варили жженку, пели песни.

9 августа

Говорят, что выступаем завтра или послезавтра. Написал письма папе, сестре, Кате. Папа пишет, что беспокоится о Соне[1], которая в Париже, про Париж что-то тревожные вести и все французское правительство будто бы собирается выезжать в Бордо.

10 августа

Оказывается, и сегодня еще не выступаем. Погода чудесная. Заходил прощаться Федор, хотел, чтобы сходили на охоту, но какая тут охота, все уложено, ружья в Вергежах.

Штабс-капитан Шелгунов прелестный человек, кутила, бесшабашный человек, которого некоторые просто обирали потому, что у него были хорошие средства, да и сейчас еще кое-что осталось, с полгода как женился, жена в интересном положении[2], влюблены они друг в друга страшно, и грустно смотреть, как все время она его всюду провожает.

Когда я вышел в бригаду, Шелгунова не было, я о нем только слыхал. Он служил до меня несколько лет, выйдя в бригаду из Константиновского артиллерийского училища. У него было хорошее имение в Псковской губернии. Там он в семье был тринадцатым после двенадцати сестер. Одна из сестер вышла замуж за инженера Лачинова и уехала в Харбин на Китайскую дорогу. Сам Шелгунов очень добрый, очень хороший человек, сильно закучивал, а компания, окружавшая его, очень пользовалась этим: пили на его счет, занимали, даже С-ов обыгрывал в карты. Говорили, что он пропил тысяч 25–30 в короткий срок. Потом перевелся куда-то, чуть ли не прикомандировался к Главному артиллерийскому управлению, но в [19]12 году снова вернулся к нам в бригаду. У него, между прочим, всегда было «vin triste»[3]. Стоит Шелгунову лишнее выпить, как становится он необычайно мрачен, трагичен, готов плакать и все видит в необычайно мрачном виде. В последних лагерях, под Лугой, с ним несколько раз

[1] Софья Сергеевна Ильина, сестра автора.

[2] Автор ошибается, у них уже родилась дочь Елена 20 марта 1914 года (см.. РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 18369).

[3] «Грустное вино» *(фр.)*.

случалась такая история. Но вообще после женитьбы он очень остепенился.

Компаньоном по кутежам был в свое время Миша Држевинский, тот тоже получил наследство в 8 тысяч и почти все пропил, а потом, когда женился на тихонравной, сильно изменился.

Сегодня как раз я встретил Шелгуновых и с ними разговаривал — оба они производят необыкновенно славное впечатление, и жалко становится, когда подумаешь, что им надо расставаться.

Мейшен словчился: Добров назначил его адъютантом к командиру корпуса, причем так формулировал свое распоряжение: «Пускай немец к немцу и едет».

11 августа

Наконец мы выступили. Утро восхитительное, яркое солнце, совсем еще зеленая купа лип, тихий Волхов, поблескивающий своей серебристой чешуей. Долго переправлялись по номерам батарей, затем, на той стороне, прочли молитву и тронулись. Долго нам махали платками и шляпами наши дамы, оставшиеся в Селищах, и жители — все высыпали на берег.

12 августа

Вчера вечером пришли в Чудово и погрузились в эшелон. У нас, офицеров, вагон второго класса. В одном купе поместился Давыдов, в следующем Юзефович и я, потом Тихобразов, Майдель и Бедке. Ночью тронулись. С утра педантичный Николай Ник[олаевич][1] начал заниматься правилами стрельбы. Под мерный стук колес раздавался его спокойный голос: «Предположим, у вас испортился уровень...»

13 августа

Ночью прошли Гатчину, днем были в Луге, подходим к Пскову. Александр пришел сказать мне, что Бекас сломал себе переднюю лапу. Он как-то неудачно соскочил на остановке, зацепившись ногой. Бедный пес! Самое поразительное, что нога болтается, как на веревочке, а он хоть бы что, как будто бы и не чувствует. Перебинтовали ему ногу.

На станциях только войска и воинские эшелоны.

Прошли Режицу. Хотя нас и стараются пропускать скорее, но в общем идем мы очень медленно из-за того, что всюду двигаются воинские поезда.

Юзефович написал своим письмо и дал его мне на случай, если с ним что-либо случится, то же самое сделал и я.

---

[1] Тихобразов.

14 августа[1]

В Двинске были с Юзефовичем в бане. Хорошо вымылись. Городок грязный и скверный. Юзефович, между прочим, говорит, что благодаря каким-то соображениям весь план кампании в последнюю минуту изменен. По плану, разработанному в мирное время, все наши крепости первой линии должны были быть срыты и в случае войны с Германией наша армия сразу отступала, под прикрытием передовых частей происходила мобилизация, вся Польша отдавалась, и главные силы сосредотачивались на второй линии крепостей. На этом основании, между прочим, была взорвана крепость Либава, стоящая бешеных денег, с знаменитым портом императора Александра III. В результате получилось, что крепости первой линии остались в заброшенном виде, крепости второй же линии еще не укреплены и не переделаны под современные требования, а план кампании оказался в корне измененным, и Польшу решили не отдавать...

15 августа

Стояли часа два под вечер — было около шести часов — на опушке Беловежской пущи. Боже, какая величественная красота! Какой сказочный лес! Вот где, верно, охота-то!

На станции Белосток встретились с 23-й арт. бригадой; командует генерал-майор Добророльский. Сердечно с ним поздоровались, вспомнили старое время, школу, наш винт. Тут уже пахнет войной и все полно военными. Слухи самые разнообразные. Говорят, что в Восточной Пруссии мы уже подошли к Кенигсбергу, но зато тут дела неважны — Московский гренадерский корпус разбит и бежал, так что вот-вот будет взят Люблин. Наш корпус, состоящий в числе войск Петербургского военного округа, и Гвардейский корпус идут, чтобы спасти положение.

Вечером пришли в Ивангород. Тут уже война. Пошли с Юзефовичем в район крепости. Только что привезли раненых, один капитан — командир роты — убитый. Есть несколько пленных немцев. Пришли посмотреть этих пленных — их трое — все в германских бескозырках, фисташкового цвета мундирах и шароварах, на воротнике петлицы. Вид сумрачный и злой.

16 августа

Подошли к Люблину и остановились в десяти верстах на разъезде, где начали выгружаться. Уже вечерело. Вдали вспыхивали зарева

[1] 13–18 августа 2-я армия Самсонова в Восточной Пруссии потеряла 70 000 убитыми и примерно 100 000 пленными.

орудийных выстрелов и белели облака разрывов. У забора полустанка палят туши огромных свиней — оказывается, тут расположилось полевое интендантство.

Узнали, что гренадеры московские действительно разбиты, знамена еле спасли и оказались в самом Люблине, как и остатки полков.

Мы вышли из вагона и на пригорке за станционными строениями наблюдали отдаленные вспышки, которые полыхали как зарницы. Вот и война.

В полной темноте начали выгрузку и затем под охраной роты пошли на позиции. Необыкновенно странно было идти по незнакомой местности. Темень непроглядная. Шли всю ночь. Под конец все ужасно устали. Около четырех часов утра остановились на какой-то поляне и тут же, прямо на траве у пушек, легли спать. Было сыро, и под утро выпала сильная роса. Я проснулся совершенно сырой, но уже светило солнце, и потому стало теплее. В семь утра все проснулись, и я первым делом стал записывать события. Юзефович куда-то уезжал, а сейчас вернулся и сказал мне, что начальник дивизии прикомандировал его к штабу.

8 часов вечера. Позиция у Ковальских высот

Полтора часа тому назад стали на позиции. Пишу при свете фонарика. Утром сегодня вытянулись в походную колонну и тронулись дальше. Кругом поля, фольварки[1], фруктовые сады с массой зрелых яблок, вишен и груш — все время приходилось следить за солдатами, которые имели тенденцию обрывать фрукты, особенно пехотные солдаты, которые шли по бокам батареи длинной цепочкой. Край прежде всего поразил своей культурой. В полдень сделали привал, где-то вправо, уже не очень далеко, нет-нет [да и] появлялись белые облачка разрывов. Пехотинцы, расположившиеся в лесу, моментально оставили массу следов своего пребывания. Приезжал разъезд лейб-гвардии Уланского Его Вел. полка. Потом тронулись дальше и в два часа снова остановились в резервной колонне всем дивизионом в какой-то деревне, впереди нас стал Новочеркасский полк.

У новочеркассцев моментально задымили костры и все окуталось облаками пуха — начали щипать гусей. Удивительное дело эта пехота — у них всегда все находится и могут есть в любом случае жизни. Мне страшно хотелось есть, наши кухни еще не подошли. В центре нашего расположения стоял автомобиль Зайончковского, который разговаривал с Добровым. Впереди нас все чаще трещали винтовки и урывками тявкал пулемет. Я зашел в какую-то избу, где с наслаждением вымылся холодной водой и выпил молока — женщина-хозяйка

[1] Фольварк — небольшая польская усадьба.

вся в слезах и хочет уходить, трое ребят сидят на лавке и жмутся друг к другу. Только что я вышел из избы, как кто-то закричал:

— Неприятельская кавалерия!

Началась суматоха, крики «смирно!». В пехоте чуть не паника.

— Смирно! Смирно! Сволочи! — неслось оттуда. Какой-то высокий штабс-капитан подскочил к солдату и начал его бить по лицу. Мне стало неприятно: ведь мы на войне пред лицом смерти!.. На пригорке показались три всадника с пиками, оказавшиеся нашими же уланами.

Пулеметы строчили все чаще. Мимо нас стали проносить раненых. Увидел носилки, за которыми вели поседланную вьюком маленькую пехотную лошадь. Подошел. С окровавленной повязкой на голове, покрытой шинелью, лежал офицер с закрытыми глазами. Я спросил кто, санитары сказали, что капитан Кириллов, раненый в голову навылет, и что скоро «кончатся». Капитан тяжко и хрипло дышал. Ужасная вещь эта война!

Подошли, наконец, кухни, и я, набрав полный котелок гороху, стал с аппетитом есть. Многие тоже начали подниматься, так как успели заснуть у передков, и брать себе горох.

В шестом часу, когда уже начало темнеть, прискакал разъезд с известием, что наш правый фланг обходят. Зайончковский отдал распоряжение выезжать на позиции и, сказав «с Богом!», укатил, а мы тронулись. Раздалась команда «по коням!», потом «садись!». Батареи вытянулись, пропуская впереди себя батальоны новочеркассцев. Справа стоял батюшка, подняв крест и благословляя нас. Что стало делаться в деревне, передать невозможно — начался общий плач и вой. Все жители вдруг выскочили и стали плакать, причитать и куда-то собираться со своими пожитками. Солнце уже село, когда мы выехали рысью на позицию. Давыдов, уехавший с разведчиками вперед, стоял вправо, тут же на бугорке, под склоном, остановил батарею. На прицеле 80 и 90 мы открыли огонь. Давыдов забрался на высоченный стог с телефонистом и оттуда отдавал команды. Жутко визжа, понеслись наши снаряды. Огромное, слепящее пламя полыхало из пушек при каждом выстреле.

Всю ночь не спали, пушки были заряжены на картечь — ожидали атаки. Вдали, там, куда мы стреляли, из ночной тиши неслись какие-то крики, лай псов, крик гусей и перепуганной птицы, в нескольких местах алело зарево пожаров.

17 августа

Яркое солнечное утро. Теперь всё яснее и можно ориентироваться: вправо от нас стоит пятая батарея, влево — довольно далеко —

шестая, еще дальше на опушке леса первый дивизион, который вел пристрелку по австрийцам. Мы хорошо видели, как ложились их снаряды и как разрывы австрийцев расплывались облачками над ними. Как только рассвело, австрийские аэропланы стали кружиться над нашим расположением.

Много правее нас бухали пушки 23-й арт. бригады. Ездил по просьбе Давыдова с Майделем на разведку на случай перемены позиции. Забирались на стога, которые тут необычайно высоки, но позиций австрийцев не видели.

Собственно, здесь не стога, а скорее скирды, потому что это сложен хлеб. Скирды высокие, совершенно правильной формы по пятишести саженей вышины. Теперь все, конечно, пропало, потому что весь этот хлеб в колосьях тащится на подстилку. Таковы законы войны: все разрушать. Доехали до наших цепей. Пехота лежит, вырыв себе в сырой земле ложбинки и, как кроты, набросав бугорков в виде прикрытия.

7 часов вечера

Час тому назад произошла трагическая история. Впереди нас, влево, раскинулся фольварк — небольшой каменный дом с верандой, окруженный садом. Еще утром в нем были люди — потому что, когда загрохотали орудия влево от нас, на веранде появились две белые женские фигуры. Потом было заметно движение, стояли запряженные экипажи и возы, и из фольварка стали выезжать. Не хотели расставаться до последнего момента с родным гнездом, всё не верили, что тут война — жестокая, беспощадная!

И вот вдруг галопом прискакал казачий разъезд с хорунжим во главе, осадили у нашей батареи и сообщили Давыдову, что в этот самый фольварк вошли австрийцы и его заняли. Определили и число: батальон. Выходило, что наше расположение обойдено и что австрийцы начинают нас окружать, отрезав от правого фланга. Давыдов немедленно протелефонировал в штаб дивизии, и оттуда ответили, чтобы немедленно открыть огонь по фольварку. Быстро перезарядили пушки, Давыдов направил батарею, и мы, начав с прицела 40, начали катать по роще. Со второй очереди взяли вилку и перешли на беглый огонь. Уже совсем стало темнеть. Из парка начали выбегать пачками люди. Тихобразов, глядя в бинокль, сказал:

— Кажется, это не австрийцы!..

То же самое заметил и Давыдов. Мне и Майделю показалось, что это наши солдаты. Вдруг фигуры начали махать белыми платками и какими-то тряпками. Мы прекратили огонь, к нам скакали два всадника. Оказывается, парк занял батальон Новочеркасского полка, а

казаки приняли их за австрийцев. Они даже не потрудились хорошенько рассмотреть!

В результате мы ранили шестнадцать человек, из которых пятерых тяжело, и убили подпоручика Резникова. Впечатление получилось настолько тяжелое, что до сих пор не можем опомниться. Александр Ал[ександрович][1] говорит, что хорош тоже и штаб дивизии, который совершенно не ориентирован в обстановке. Форменное безобразие! Это наш первый боевой опыт, и как на грех стреляли-то отлично — старались!

18 августа

С утра ездил в тыл в деревню Щучки, где должен был находиться обоз второго разряда и наш денежный ящик. Ехал через штаб корпуса, по дороге в поле наткнулся на убитую лошадь, мой Зуав захрапел и начал «бочить» при виде ее. Она лежала страшно вздутая, словно бугор с торчащими, как чурки, ногами. Когда я ее уже проехал, потянуло таким удручающим духом, что меня стало мутить. Какой-то крестьянин сказал, что недели две назад, еще до нашего прихода, тут встретились наши казаки с разъездом австрийских гусар и казаки убили под одним лошадь, а самого взяли в плен.

Штаб корпуса расположился в большом поместье с хорошим домом и отличным парком с дорожками, аллеями и клумбами. Первое, что увидел, — массу пленных, которых сортируют, переписывают, распределяют. Пленные сидят большими группами прямо на земле под охраной двух-трех часовых. Мейшен сообщил, что Крузенштерн ругательски ругал пленных офицеров, махая перед носом стеком, за то, что австрийцы стреляют разрывными пулями.

В надворных постройках и большом сарае раскинулся корпусный лазарет, всюду около лежат рядами раненые. Каких только нет. Боже мой, что за ужас! Их сотни. Окровавленные, некоторые со вздутыми, посиневшими лицами, заплывшими, закрытыми глазами: это раненые в голову. Только по странному, едва уловимому вздрагиванию припухших синих век можно догадаться, что они еще живы. Черная запекшаяся кровь брызгами покрывает лица, серо-синие шинели, оторванные руки или ноги. Все австрийцы, наши внутри, там кипит работа, идут перевязки, делаются операции, производятся ампутации. Снуют в окровавленных халатах сестры милосердия, санитары, доктора.

Очевидно, что очередь до этих лежащих австрийцев вряд ли дойдет, потому что и своих еле успевают перевязывать, а раненых всё подвозят и подвозят. И над всем этим мириады мух, которые роями

[1] Здесь и далее, вероятно, Давыдов.

вьются, жужжат, кружатся, сидят на вспухших лицах, которые передергиваются мелкой нервной судорогой.

Дальше, за оградой обширного сада, лежат тоже рядами, но уже умершие, те, которым теперь ничего уже не надо. В головах у них глубокая длинная яма с большим валом земли — общая «братская» могила, тут найдут вечный покой и враги, которые только что убивали друг друга. Я стоял, смотрел на эти мертвые лица и думал: «А ведь, наверное, все хотели жить, каждый шел с надеждой вернуться и что не он будет убит, иначе наверняка никто бы не пошел, и война стала бы абсурдом. Каждого из них ждут дома родственники, может быть, жены, дети, невесты. И кому все это надо? Неужели же на свете нет справедливости, элементарной, простой? Если есть Бог, как он "смотрит" на это? На преступление, называемое войной?» Вот с запрокинутой головой лежит русский пехотный капитан, вероятно, командир роты. Он почему-то без сапог. Одет во все новенькое, виднеются теплые, вязаные кальсоны, худые, восковые ступни странно торчат. Оба плеча в черной со сгустками крови: пуля попала в одно плечо и навылет вышла в другое. А ведь тоже собирался, хлопотал, о чем-то думал!

Солдат лежит сжав зубы, с серьезным сосредоточенным лицом, как будто что-то увидел, ему непонятное; рядом с ним другой русский — «земляк» — с открытым ртом и выпученными остекленелыми глазами; кажется, что он так и не перестает кричать свое жуткое «ура».

Все не одинаковые, в каждом застывшем лице, в каждом теле что-то свое — видно, что каждый умирал по-разному, «по-своему» и каждого смерть застигла в его особое мгновение.

С краю лежит австрийский офицер: у него бледное, восковое лицо, с черными усами и черной бородкой, горбатым носом, судя по всему, еврей. Он без мундира, в одной рубашке, которая вся окровавлена. В левом боку у него зияет рана — страшная, штыковая рана. Вокруг рваного, кровавого отверстия чернеют сгустки крови, запекшейся, почти черной: быть может, его проколол вот этот самый солдат, который лежит тут же с искаженным лицом и застывшим в горле «ура»? И оба будут теперь тесно, сжато лежать вместе уже вовеки, навсегда!..

Какое отвратительное, ужасное, жуткое зрелище! На помощь, чтобы успешнее убивать, люди призывают Бога, служат молебны, говорят громкие фразы о чести, праве, справедливости, прикрываются гуманностью и лицемерно сваливают вину за убийства один на другого. И очевидно же, что война — преступление, раз каждый старается оправдаться и прежде всего торопится заявить, что не он начал ее.

Я стоял и думал; мысли крутились в голове, когда увидел, что подходит батюшка с солдатом-псаломщиком. Началась скорая панихида. Батюшка торопливо помахивал кадилом, подпевал и говорил слова молитвы, шаг отступя, солдат запевал «Вечную память» и «Со святыми упокой».

Так и встала в памяти картина Верещагина[1], только на картине не так ужасно.

Я пошел к Зуаву, прошел по аллее мимо лазарета и рядами лежащих раненых, миновал клумбы, кучей сидящих пленных с выражением любопытства и радостного спокойствия на лицах, которые как бы говорили: «Для нас война кончена», и, отвязав Зуава от коновязей для штабных лошадей, выехал на дорогу. Когда приехал в Щучки, оказалось, что никакого обоза второго разряда тут нету и денежного ящика нашей батареи тоже. Я поехал обратно. Уже становилось совсем темно. Изредка попадались двуколки с ранеными. Дорога шла через большой лес, густой и одинокий, я как-то почувствовал, что потерял направление. Ехал, и мне казалось, что это не война, а маневры, и что скоро все это кончится, и никакой войны на самом деле нет и не было. Благодаря дурной черте — большому упрямству я вместо того, чтобы вернуться и попытаться сориентироваться, ехал все дальше. Наткнулся на цепь Гроховского полка — полка совершенно другого корпуса, долженствующего от нас находиться далеко. Меня окликнули, я ответил и проехал еще дальше, совершенно забыв, что мог так попросту попасть в плен.

Совсем ночью, по счастью, я набрел на казачий разъезд, который привел меня к расположению сотни. Командир сотни и младший офицер хотя и спали, но проснулись, встретили меня очень тепло и немедля начали устраивать ужин, хотя сами давно уже поели. Сотня оказалось Донской — второй очереди.

Разогрели ужин из рыбы, поросенка, предлагали курицу. Всё всегда у них есть, у этих казаков! Говорят, что ждут не дождутся, когда можно будет пограбить, — так и говорят просто — «пограбить».

Втроем рядом легли мы на сене, покрытом бурками, и, еще поболтав немного, крепко заснули.

19 августа. Утро, 7 часов

Только что приехал к батарее. День чудесный. Когда я проснулся у казаков и вышел на воздух, то все, что казалось ночью таким таинственным, теперь стало необычайно простым. Вон на горизонте фабричная труба, по которой наша батарея строила параллельный

[1] Скорее всего, имеется в виду знаменитая картина В.В. Верещагина «Апофеоз войны» (1871).

веер, и Ковальские высоты, за которыми стоит батарея. Сел в седло и прямиком поехал на трубу и через полтора часов был у наших передков. Увидел сидящих группами солдат, которые пили чай, и вокруг все заброшено консервными банками. Перед выездом на позиции я роздал всем солдатам батареи по две банки консервов на тот случай, если придется наступать и кухни не поспеют, то у них пища будет на руках. Строго наказал не трогать консервов, и вдруг едят вовсю! Оказывается, стали немедленно есть с чаем. Я позвал подпрапорщика Мышинского и сделал ему выговор, но он сказал, что трудно было что-либо сделать, прибавив:

— Пущай себе жрут, потом голодные посидят, тогда поумнеют.

И так всегда. сейчас едят гусей, в котле варят целых боровов, так что щи получаются такие, что ложка, как говорится, стоит, а нет ничего или всё слопали — будут терпеливо голодать...

Вымылся, выпил чаю и пошел на батарею. Оказывается, денежный ящик приехал вскоре после моего отъезда. Ал[ександр] Ал[ександрович] очень за меня беспокоился и уж думал, не угодил ли я в плен.

Хотелось очень спать, но как-то не мог и потому стал писать письма Кате, отцу и Ариадне Владимировне. Мы не стреляли; справа от нас вела редкий огонь шестая батарея. В синеве неба реют время от времени аэропланы и жужжат словно шмели, то удаляясь, то приближаясь.

Как странно на войне: в общем мы совершенно отрезаны от мира, ничего ровно не знаем, ни о чем не имеем понятия. Сейчас мы — бывший Петербургский военный округ — находимся в армии ген. Эверта и, как говорит Ал[ександр] Ал[ександрович], скоро начнем наступление.

8 часов вечера

Под вечер передали, что завтра предположена общая атака и что артиллерии рекомендуется беречь снаряды и зря не расходовать, ведя строгий учет. День прошел в общем спокойно. Написал письма, после обеда приходил на батарею Добров, и мы все, офицеры, вместе с ним ходили далеко вперед почти до наших цепей. Удивительно он спокойный человек.

20 августа. 9 часов вечера. Госпиталь

Вот я уже и ранен! Боже мой, как все молниеносно быстро. Словно сон какой-то! Но по порядку. В четыре часа утра, когда уже светало, приехал наш начальник отряда и прочел диспозицию. С ручными фонариками у лафета, сидя на корточках, мы слушали, разгляды-

вая карту. Несмотря на серьезность настроения, мне стало немного смешно, и я вспомнил Толстого: в диспозиции говорилось, что атаку мы должны начать в два часа ночи, прикрываясь темнотой, а нам ее только читали в пятом!

Уже при ярком солнце под грохот соседних батарей взяли мы в передки и покатили. Негодяй Зуав форменно бесился, а я изводился, потому что хотелось сосредоточиться, да и выезд был трудный. В одном взводе на галопе (орудие подтягивалось) упала лошадь и запуталась в постромках. Произошла задержка и легкая заминка. Ал[ександр] Ал[ександрович] с разведчиками ускакал выбирать наблюдательный пункт.

Вскоре приехал разведчик и повел нас на позицию. Позиция оказалась за пологим очень удобным скатом длинного холма. Справа от нас встала пятая батарея. Почти сейчас же батарея была ориентирована с точкой отметки назади и построен параллельный веер. Начали с прицела 70. Давыдов передал, что австрийцы разбиты и отступают. Судя по тому, что прицел все прибавлялся, они действительно отступали. Сзади нас, в сотне саженей, прямо в затылок встал гаубичный дивизион. Когда гаубичные батареи открыли огонь, ощущение получилось прескверное, потому что над нашими головами гудели гаубичные снаряды, а один разорвался у дула, и большой осколок, шипя, упал около Майделя.

Через полчаса непрерывной стрельбы, на прицеле 100, мы остановили огонь и получили приказание переменить позицию, выехав вперед. Ал[ександр] Ал[ександрович] опять поехал вперед к командиру дивизиона. Н[иколай] Н[иколаевич] Тихобразов сказал, что мы деремся против лучших австрийских частей — мадьяр.

Быстро взяли в передки. Зуав все время шел тротом, «бочил», горячился. Подъехали к небольшому пруду, вправо от которого стояла брошенная мельница, а впереди довольно большая сосновая роща. Через пруд шла небольшая плотинка с деревянным полусгнившим настилом. Через эту плотинку мы переехали, свернули вправо от рощи и, упираясь правым орудием на опушку, снялись с передков. Впереди был пологий холм, позиция была очень хорошей, но рискованной, так как в случае отступления или сильного обстрела назад уходить было очень трудно. Пятая батарея стала левее нас, шестая еще дальше. Передки всего дивизиона расположились в роще. У мельницы остановился наш перевязочный пункт с молодым нашим доктором.

После пристрелки на дистанции 80–90 мы дали несколько очередей беглого огня и затем начали редкий огонь по отступающему противнику.

Какое ощущение боя? Сказать трудно и описать чувства, столь разнообразные и столь быстро меняющиеся, весьма трудно. Прежде всего, конечно же, я боялся, и было мне страшно, и временами охватывало такое чувство, что вот если бы не дисциплина и связующий всех в одно целое закон подчинения, я бы бежал, да, с удовольствием бежал!

Не знаю, что думали другие. Во всяком случае, солдат, который был поставлен считать выстрелы, стоял сзади батареи на одном колене с карандашом и записной книжкой и спокойно выкрикивал:

— Пятьдесят патронов. Пятьдесят шесть патронов... Девяносто патронов... Сто двадцать два патрона!

Он так был спокоен, что, слушая его голос, успокаивался и сам, и казалось, что все вообще чрезвычайно просто и ничего страшного нет.

Огонь становился все реже. Я подошел к Ник[олаю] Ник[олаевичу], который необыкновенно спокойно все время стоял на правом фланге, командуя огнем и передавая приказания, которые получал по телефону, и спросил разрешение пройти к передкам за папиросами. На самой опушке стоял подпрапорщик-фельдфебель пятой батареи молодец Ермолаев. Красавец мужчина с большой русой бородой, он начальствовал над передками пятой батареи, с нашими передками был прапорщик Бедке.

За Японскую войну Ермолаев имел три креста, и эти кресты и медали всегда украшали его широкую грудь. Я подошел к нему·

— Ермолаев, есть у вас папироса?

— Никак нет, не курю, вашбродие, — ответил он.

— Вам осталось только один крест получить, а? — кивнул я на его грудь.

— Так точно, — улыбаясь, проговорил он.

Я прошел несколько дальше — всего с десяток шагов. Обратил внимание, что время от времени по стволам деревьев как будто кто-то ударяет, и верхушки и ветки странно срезает, точно их кто срывает невидимо рукой. Я не сразу сообразил, в чем дело, пока не увидел вверху среди зеленой хвои дымок и хлопок разрыва. Австрийская батарея нас искала, но искала не за пологим холмом, а за леском, думая, что батарея стоит где-то тут. Таким образом попали под обстрел передки.

Светило солнце, в роще было прохладно и тенисто; лошади стояли смирно, помахивая хвостами, солдаты-ездовые сидели или лежали группами на траве, некоторые курили, прислонившись к передкам. На разрывы и щелкание пуль внимание обращали мало. Звонко, отдавая гулким эхом, гремели наши пушки через ровные промежутки.

Увидя меня, подошел прапорщик Бедке. Пошли с ним назад к опушке, я закурил. До Ермолаева оставалось шагов пять-шесть, тут же оказались еще два фейерверкера и три канонира... Вдруг в моих ушах раздался страшный, оглушительный свист, и в ту же минуту все смешалось в полной темноте. «Убит!» — промелькнуло у меня в голове, и в следующую минуту я почувствовал, что валяюсь в пыли, перед глазами стояло черное облако. Кто-то дико, пронзительно, тонко визжал. Почувствовал, что могу подняться на ноги, меня шатало. Сквозь туманную пелену дыма, грязи, копоти и пыли я увидел около себя лежащих и ползающих людей.

Ермолаев лежал раздетым: вместо шапки на голове будто красная ермолка, а вместо живота дымилась кровавая пена и каша, ног ниже колен не было, одной руки не хватало, а открытый рот испускал тонкий бабий бизг, даже не бабий, а поросячий, крик, когда колют или режут поросят. Пытался подняться Бедке, но падал и ползал на четвереньках. Тут же лежал тоже голый человек, тело которого было сплошь в ссадинах и ранках, но мелких, словно царапины... Где-то кричали:

— Санитары, санитары!!!

Я пошел машинально вдоль передков и увидел еще лежащего солдата — это был ездовой Андреев, с рябым лицом, весельчак-парень, отличный солдат. Теперь он лежал, раскинув руки и неподвижно глядя куда-то вверх. Меня обогнали бегущие санитары с носилками, на них лежал Бедке. Но в эту минуту снова раздался свист справа, и санитары, бросив несчастного Бедке, кинулись бежать. Их кто-то стал останавливать, ругая на чем свет стоит. Кое-как удалось вернуть, и Бедке понесли дальше. Пронесли еще одного солдата, кто-то говорил:

— Подпрапорщика Ермолаева убило.

Тут я заметил, что рука у меня повисла, точно плеть, и такая тяжелая, что я не могу ее поднять, что-то теплое и липкое ползло в рукаве. Я посмотрел: кисть вся была в крови. Пошел к перевязочному пункту. Тут доктор уже перевязывал Бедке, который, оказалось, ранен в ногу — шрапнельная пуля попала прямо под левое колено и застряла в ноге. Солдат весь в ссадинах и царапинах, голый, лежал тут же и тяжко, предсмертно дышал. Рядом с ним был другой с распухшими глазами, отекшим лицом и окровавленной головой.

Наш молодой доктор был летом выпущен из академии и по новому сухомлиновскому правилу приехал к нам в бригаду вольноопределяющимся. Он кончил первым академию, избрал специальностью хирургию и работал уже над диссертацией, так как после лагерного сбора его оставляли при академии. Жил он в одном бараке, где была и моя комната — через стену.

Теперь уже врачом, с засученными рукавами, он перевязывал раненых, тут же писал перевязочные свидетельства.

А разрывы в лесу становились все чаще и чаще, и наши батареи снова стали греметь...

— Что с вами? — обратился ко мне доктор. — Покажите-ка?!

Я протянул руку. Болтался почти оторванный мизинец, ладонь вся была окровавлена, ломило голову, шумело в ушах. Но разговаривать было некогда. Он быстро меня перевязал, определил контузию головы и шеи и указал на двуколку, куда уже двоих положили. Бедке, который со скрюченной ногой лежал на сене, привстал, его подняли и тоже погрузили в двуколку. Солдат с окровавленной головой лежал тут же, сильно напирая на меня. Мы с Бедке сидели, вытянув ноги и упершись спинами в задок.

Всего нас было шесть раненых и возница. Но Боже, что началось, когда двуколка тронулась. Стало невероятно трясти, раненного в голову начало рвать, дорога пылила, и пыль летела на нас густыми облаками от малейшего дуновения ветерка.

По дороге, когда проезжали деревню, женщины выносили нам молоко и хлеб, молоко пили, но есть, конечно, ничего не могли. Раненный в голову, кажется, умирал, потому что у него на губах пузырилась пена и сукровица.

Уже стало темнеть, когда мы, наконец, остановились у ворот усадьбы с большим двухэтажным белым домом в саду.

Вышли санитары и сестры милосердия, и нас начали выгружать. Солдат с окровавленной головой скончался и был так тяжел, что придавил здоровую ногу Бедке. Я поднялся по лестнице. Длинный тускло освещенный коридор, мерцают керосиновые лампы. Вдоль стен белеют носилки, покрытые кусками белой бязи или холста, под которыми вырисовывается человеческая фигура. Некоторые лежат просто без носилок. Около одних носилок лежит окровавленная, словно восковая, нога, отрезанная выше колена, около других рука почти по самое плечо. Странное и жуткое впечатление производят эти отрезанные члены! Спешит сестра, я ее спрашиваю, кто это, лежащие на носилках, — она торопливо бросает:

— Скончавшиеся.

Санитар, который светил нам, когда мы выгружались, показывает мне палату· комнату с двумя кроватями, на одной уже лежит Бедке, я сажусь на свою. Чувствую необыкновенный нервный подъем, хочется без умолку говорить, объяснять, как все было, рассказывать. Вспоминаем с Бедке подробности, я поражен своими словами к Ермолаеву: «Вам, Ермолаев, недостает четвертого креста!» — «Так точно, вашродие», — ответил он. Останься я около него лиш-

нюю минуту, я был бы изуродован, как тот солдат, что лежал голый и весь оказался израненным, или, м.б., был бы растерзан, как Ермолаев. Моя фуражка, вся тулья, оказалась забрызганной кровью и сгусточками какой-то кровавой массы, словно мозги, и вот я ярко вспомнил, рассмотрев эту фуражку только уже тут, в госпитале, удивительное предсказание ученицы де Теб, моей милой старушки-хиромантки.

У Бедке пуля под коленом, и застряла, видимо, глубоко, и оказывается, только мы двое уцелели, остальных буквально растерзало: Ермолаева, голого солдата, наконец, смертельно ранило того, который умер по дороге, и, кажется, еще кого-то. Видимо, влетел очень низкий разрыв, который меня контузил, а остальных перебил и ранил Бедке, причем пуля одна попала ему в ногу, а другая мне в руку.

Доктор успел, конечно, написать нам и перевязочные свидетельства, на которых значилось, что ранены мы 20 августа[1] в одиннадцать с половиной часов утра у местечка Млынки-Крач Люблинской губернии и уезда.

Вскоре вошел доктор с усталым, измученным видом. Он присел на кровать к Бедке, а мы начали ему тараторить события дня. Он устало смотрел на нас, и, видимо, не мы одни уже в тысячный раз повторяем всё один и тот же рассказ всякого раненого: про бой, про то, как он был ранен и как чудом он уцелел, а других перебило. Доктор не стал нас осматривать. Он сказал, что предпочитает, если только возможно, не разбинтовывать ран, так как госпиталь переполнен и нас скоро эвакуируют и тогда уже осмотрят. Сказал, что дела наши идут очень хорошо, что видно по раненым: много тяжело раненных, это всегда признак наступления.

В восемь часов вечера приехал Мейшен от командира корпуса узнать о нашем положении. Он рассказал, что Ермолаева растерзало и вместе с ним еще четырех человек, стоявших рядом: одного фейерверкера, ездового и двух канониров. Кроме того, убило двух ездовых нашей батареи. В пехоте потери огромные, и некоторые роты потеряли три четверти состава.

Преображенский полк ходил в атаку во весь рост с дальних дистанций по нескольку раз, австрийцы в полном отступлении.

21 августа

Приходила сестра и сказала, что рядом палата тоже офицерская и что, если хотим, можем навестить. Я пошел, увидел у окна сидящего в халате человека с повязкой на лбу, на которой виднелась бледная сукровица. Я представился.

---

[1] 2 сентября по новому стилю.

— Капитан Кириллов, — сказал он мне в ответ.

Я удивился и объяснил ему, что одного капитана Кириллова проносили мимо нашей батареи и что он был убит, по крайней мере, так сказали санитары.

— Это я и есть, — ответил он улыбаясь. — Я ранен в голову навылет. Пуля вошла в лоб и вышла в затылок, и вот, видите, уже сижу, курю и хоть бы что!

Я был поражен:

— И не болит у вас голова? — полюбопытствовал я.

— Да нет, ничего. Думаю скоро к роте отправиться, а то скучно, знаете ли, без своих-то.

Раненых все больше и больше. Доктора, сестры и санитары сбились с ног. С засученными рукавами доктора все время делают операции, больше ампутируют. В большую комнату — операционную — носят все время на носилках раненых. Двери открыты, и все видно. На столе, окруженном группой в белых забрызганных кровью халатах, оперируют одного, а несколько уже лежат на носилках, стоящих на полу вокруг, ждут своей очереди. Слышны сдержанные стоны, тяжелые хрипы под хлороформом, горячечный бред, воздух необычайно тяжел. Поминутно выносят тазы, полные крови, кровавой марли, каких-то ошметков и сгустков, а то и с рукой или ногой.

Около пяти часов пришли к нам в палату два пана — один хозяин поместья, другой его сосед. Принесли польскую газету, в которой сообщается о том, что наши войска разбили австрийцев у Львова и взяли этот город. Особенно отличился корпус генерала Щербачева. Зато в Восточной Пруссии мы, видимо, потерпели большое поражение, так как армия Самсонова отступает, а о некоторых корпусах даже нет точных сведений, и полагают, что они окружены. Недурно! Ренненкампф брался взять Берлин! Недаром Игнатьев[1], который знал его по Японской войне, говорил, что это необыкновенный Хлестаков, а главное, чудовищный вор и казнокрад. Он даже однажды растратил целиком весь денежный ящик полка, но дело замяли.

Бедке беспокоится за свою ногу и даже хотел просить, чтобы ему теперь же сделали операцию по извлечению пули, но сестра его отговорила.

22 августа

Как необыкновенно приятно просыпаться в кровати. Какой душевный покой, какая истома во всем теле, какой приятный упадок сил после нервного подъема, всего пережитого. Похоже очень на ощущение, которое я испытал в детстве, когда стал выздоравливать

[1] Алексей Алексеевич Игнатьев.

после кори. Все кажется каким-то обновленным, чувствуешь, как мир Божий хорош и прекрасен.

С утра грохочут пушки, но уже много дальше, чем вчера, паны говорят, что наши перешли в наступление по всему фронту. Зато про Сольдау слухи подтверждаются, и наша армия, кажется, сильно пострадала.

Перед самым обедом вдруг появился Александр, нагруженный моим гинтером[1] Я ему очень обрадовался. Хотел даже тащить и мое седло — вот комик! Говорит, что он как раз нес на позицию в котелках мне обед, когда узнал, что я ранен. Наши наступают, и батарея ушла верст на десять вперед от Млынки-Крач. Он ехал с ранеными, часть шел пешком. Тепло с ним простился в надежде скоро опять увидаться. Отличный он человек — Александр.

Вечером нас отправляют, то есть эвакуируют, так как госпиталь переполнен до отказа. Весь коридор забит носилками с ранеными, много и мертвых тут же. Приходил доктор, он сказал Бедке, что с операцией можно вполне повременить и ему сделают ее в Москве без всякого риска заражения, а меня осмотрел и нашел потерю чувствительности всей левой стороны, особенно в области шеи и спины, последствия контузии. Говорит, что это со временем пройдет, но, вероятно, будут головные боли и надо лечиться.

Сейчас начнем грузиться и поедем на станцию. Пришли проститься паны. Они бодро настроены и веселы, потому что им не надо бежать, так как наши войска наступают.

Бедке, я, еще один офицер, которого я раньше не видел, сели в экипаж пана — хозяина дома, солдаты разместились в лазаретных линейках. Сестры, доктора, санитары, помогавшие нам, все с нами простились.

Погрузились в эшелон — мы, офицеры, в вагон второго класса, солдаты в теплушки.

22 августа. Вагон

Ночь спали в вагоне. Поезд наш стоит прямо на станции. Сейчас еще привезли раненых, и в нашем вагоне уже человек двадцать офицеров. Один офицер Преображенского полка только что сел. Он производит впечатление совершенно здорового, но говорит, что у него сильное нервное потрясение. В их полку, по его словам, потери очень большие. Сели три австрийских офицера, все легко ранены, они все время восхищаются русской артиллерией.

— Артиллери зэр гут русише, зэр гут[2], — повторяют они.

---

[1] Гинтер — чемодан-кровать системы поручика И.И. Гинтера.

[2] Artillerie (ist) sehr gut russische, sehr gut *(нем.)* артиллерия очень хороша русская, очень хороша.

На весь поезд две сестры милосердия. Солдаты помещаются в теплушках прямо на соломенной подстилке. Многие тяжело ранены и сами не могут вставать. Когда тронемся, никто не знает. Рядом с вокзалом большой пакгауз из железных листов, весь наполнен австрийскими ранеными. Они лежат ровными рядами и почти все в полубессознательном состоянии. У многих синие, вспухшие лица, из носу течет сукровица, веки опухли и заплыли, и над всеми вьются, жужжат, носятся миллионы мух. У некоторых целый рой сидит на лице, и лицо только судорожно вздрагивает, тогда мухи слегка взлетают и снова садятся. Вот где ужас-то настоящий!

Сестры говорят, что все это происходит потому, что еще нет настоящих санитарных поездов, ничего еще не готово и что и для своих-то нет никаких удобств, а уж куда тут думать об неприятеле. Все это верно, конечно, но все же кто-то виноват в том, что ничего нет, ничего не готово?

Говорят, что скоро тронемся. Один поручик, раненный в руку, волнуется и скандалит, ругая коменданта.

Пленных раненых австрийских офицеров от нас убрали, мне их было жалко, они, видимо, очень радовались, что попали к нам в вагон второго класса. Послал Кате телеграмму.

24 августа

Вчера под вечер поехали. К нам еще прибавилось раненых, всего нас тридцать человек. В моем отделении пехотный поручик, Бедке, капитан, раненный в руку выше локтя осколком, и я. У всех у нас настроение одинаковое — радуемся, что едем вглубь России к родным местам; кажется, все так: и офицеры, и нижние чины. Хотя вот Кириллов сидит и думает, как бы скорее вернуться назад, «к своим», без которых ему скучно.

24, 25, 26 августа

Останавливаемся на больших станциях и питательных пунктах. В большинстве мест кормят вполне удовлетворительно. Плохо другое — нет присмотра. Мы, офицеры, еще полбеды, но вот солдаты по дороге умирают, потому что за ними нет никакого ухода, лежат они просто на соломе, у многих делается заражение крови. В Орше стояли долго, и потому, кто мог, выходили и много гуляли.

27, 28 августа

В Смоленске обедали и долго стояли. Война тут совсем не чувствуется, но много военных и серых шинелей. Ходили осматривать город, который ничем ровно не отличается от всякого провинциаль-

ного русского города. Зато очень хороши окрестности — ездили на извозчике и погуляли в лесу. Завтра, вероятно, будем в Москве.

30 августа. Москва. Госпиталь Прохоровых

Вчера во втором часу ночи приехали в Москву. Москва! Все мы были взволнованы. На вокзале столпотворение: масса публики, студенты, курсистки, женщины — кричат «ура», машут платками, фуражками. В вагон ворвались целой толпой, к нам в купе влетело сразу несколько человек. Какая-то молодая особа села со мной рядом с записной книжкой и карандашом в руках. Она торопливо стала спрашивать меня мой чин, фамилию, имя, отчество, кто у меня в Москве есть из родни и кому сообщить о моем прибытии. Я ей все сказал, дав адрес матери[1]. Потом с теми же вопросами она обратилась к Бедке и поручику.

Студенты всех выносят на руках и даже хотели нести меня, но я еле отбился, тогда повели под руки. Двигались через сплошную толпу, которая нас приветствовала; какие-то женщины пытались подавать медяки, хлеб, калачи. Все это было так трогательно, что мне стало даже стыдно, так как я чувствовал, что совершенно не заслуживаю такого отношения и таких восторгов. В зале вокзала комендант, несколько адъютантов и какие-то штатские, сидя за столом, распределяли всех по госпиталям. Большинство из нашего вагона назначили в лазарет фабриканта Прохорова, фабрики которого известны под названием «Прохоровской мануфактуры». Тут же оказались и санитары от этого лазарета, которые нас быстро подхватили и повели к автомобилям. Мы еле протискались сквозь толпу, которая так же нас приветствовала, как и на вокзале, и кричала «ура».

В три часа мы подъехали к великолепному особняку на Малой Садовой. Нас встретила сама мадам Прохорова[2] и две ее дочери, прелестные девушки, все в сестринских костюмах. Ждали они нас с нетерпением и решили не ложиться до тех пор, пока не приедут раненые. Оказывается, мы первые раненые, попавшие к ним в лазарет. Вообще до нас прибыл только один эшелон, и, следовательно, мы почти первые раненые, которые попали в Москву. Как только мы вошли в великолепный вестибюль, сама хозяйка и дочери стали настаивать, чтобы мы взяли ванну, и они нас сами будут мыть. Я запротестовал категорически, но мадам так настаивала, что еле удалось отговориться. Неловко мне было ужасно и от этих уговоров, и от того, что в этом великолепии, при ярком

[1] Наталия Владимировна Ильина (урожд. Даксергоф).
[2] Татьяна Григорьевна Прохорова.

электрическом свете, я казался себе грязным, пыльным, в той самой кожаной куртке, в которой был ранен, с рукавом в крови. После долгих уговоров все же пришлось согласиться, чтобы мыла в ванне горничная.

— Нет, вы меня уж простите, я помоюсь один, — сказал я.

— Да чего вы стесняетесь? — уговаривала мадам Прохорова, сама еще интересная и нестарая дама. — Ведь на то они и сестры, — кивнула она на дочерей.

— Нет, нет, я и сам могу.

— Неужели вы и меня стесняетесь?

— Я, право, не так тяжело ранен, чтобы меня надо было кому-нибудь мыть.

— Сами вы одной рукой не вымоетесь, если уж так вам неловко, хотя я не понимаю, чего тут стесняться, тогда пусть вас Даша вымоет. Даша! Даша! Идите сюда! — тут же крикнула она, и я очутился во власти Даши. Делать было нечего. Я был отведен в отличную ванную, где Даша весьма старательно и начала меня мыть... Чувствовал я себя неважно, надо отдать справедливость.

Только после всех этих церемоний, в четыре часа мы разлеглись на отличных кроватях с сетками, на чистом пахучем белье. Только тот, кто был на позициях, под огнем, пропутешествовал почти десять дней в санитарном поезде, может понять, что значит лечь на мягкую чистую кровать в большой светлой спальне с матовыми колпаками под потолком, льющими молочно-белый мягкий свет. Несмотря на усталость, головную боль и на то, что руку стало отчаянно мозжить, я лежал как блаженный и долго не мог заснуть.

А сегодня утром едва мы раскрыли глаза, как увидели наших очаровательных сестер. В девять часов был подан кофе, и кто мог, сели за столы, покрытые белыми полотняными скатертями. У Бедке почему-то скрючило ногу, и он не может ее разогнуть.

В десять часов пришел врач и нас стал всех осматривать. У меня появилось легкое нагноение, но в общем все сравнительно хорошо, хотя рана и открытая. Бедке завтра будут делать операцию.

В одиннадцать часов приехала московская капелла служить молебен. Пришел и сам Прохоров, высокий, элегантный человек. Молебен произвел сильное впечатление. Пели так, что когда после молебна раздалось «Со святыми упокой», а потом «Вечная память» по «убиенным» нашим товарищам и воинам, многие зарыдали и у всех на глазах стояли слезы.

И в эти минуты мне представилась картина, которую видел и которая врезалась в память на всю жизнь: растерзанный Ермолаев, убитые и раненые, свист и вой снарядов и весь ужас войны. И сколь-

ко уже убитых, сколько уже изуродованных! Ряды трупов, лежащих у братской могилы, капитан с простреленным туловищем, солдат с открытым ртом и выпученными глазами, сотни раненых с опухшими лицами, кровь, ужас и опять кровь!..

Мы все стояли на коленях на паркете, блестящем полу, склонив головы с повязанными руками, головами и слушая «Вечную память», думали об одном, и мысли были сосредоточены на одном...

В двенадцать с половиной нам подали отличный завтрак. В два часа все, кто мог, отправились в город. Я поехал к матери, уверенный, что она предупреждена. Мама, оказывается, лежала в больнице, у нее сильно разболелась нога и плохо с сердцем. Увидя меня, она была страшно потрясена и не могла понять, в чем дело: оказывается, рано утром ей принесли записку, что ее сын прапорщик Бедке ранен, находится в Москве. Она гадала и никак не могла понять, в чем тут дело?! Мама все время волновалась, спрашивала про руку, временами плакала. Говорит, что на этих днях выпишется, так как чувствует себя лучше.

После мамы поехал к Ванечке[1], он живет в комнате, которую снимает в доме Мусиных-Пушкиных. Его не застал и оставил ему записку. Погулял по Москве. День чудесный. Какая все-таки разница с чиновным и чинным Петербургом: Москва проще как-то, «домашнее». Прохожие смотрят с нескрываемым уважением и симпатией, а простые люди, так те иной раз тянут руку — подать раненому.

1 сентября

Вчера произошло целое приключение. Часов в семь приехал Ваня после получения моей записки. Отправились с ним ужинать в «Прагу». Свет, благоговейная тишина, блестящий паркет, лакеи в белом одеянии с красными шнурами на поясе — сразу ослепило и ошеломило, так все это забылось и казалось далеким... Мы заказали себе икры, чудесных раков, молочного поросенка под хреном и водки. Затем ели ростбиф, на сладкое крем, выпили с кофе ликеру. Я совершенно забыл про свою голову и что я слаб, и когда мы закончили наш пир, почувствовал, что опьянел.

Поехали ночевать к Ване. Он устроил меня на диване, но вместо того чтобы спать, я всю ночь болел.

Сегодня утром приехал в госпиталь, где узнал, что все желающие могут отправляться по домам. Я, разумеется, быстро собрал свой гинтер, простился с милыми нашими сестрами и их мамашей и поехал на вокзал. Сейчас сижу в вагоне Московско-Казанской ж.-д. во втором классе на плацкартном месте, провожает меня Ваня.

[1] Иван Дмитриевич Воейков.

2 часа дня

Еду прекрасно. Мой попутчик, инженер с Урала, охотник, и мы увлекаемся охотничьими разговорами. Завтра в Самайкине. Ваня послал с вокзала телеграмму о том, что я выехал.

На душе полный покой и блаженство. У меня нижнее место, голова не болит.

Ужинали в вагоне-ресторане, потом нам постелили прекрасные кровати, и мы, еще поболтав, заснули.

2 сентября

Перед глазами знакомые, родные пейзажи. Сжатые нивы, синеющий пар, бархатная зелень озимей, змейки дорог, сероватые раскинувшиеся русские села, белеющая колокольня с горящим крестом — русская земля! И никакая Польша, никакие культурные фольварки, никакой пейзаж мира так не волнуют душу и не навевают таких сладостных, грустных и томительных грез, как милая сердцу родная земля. Пусть серая, пусть убогая, пусть непонятно-несуразная, но русская, русская земля! И чем больше смотрю в окно на картину мирных полей, сел и деревень, тем отвратительнее кажется война. Ермолаев — он никогда больше не увидит ни этой земли, ни близких ему людей...

Пили кофе в вагоне-ресторане, потом говорили много о войне, об охоте, о сказочном богатстве России.

В час приезжаю. Душу охватывает волнение.

8 часов вечера. Самайкино

Катя выехала на тройке на станцию Рачейка меня встречать. Я сразу заметил ее фигуру, когда поезд подходил к платформе. Все так же, как и было, как будто бы и никакой войны нету. Простился с инженером. На станции несколько крестьян, некоторые здороваются:

— С приездом, Осип Сергеевич, поздравляем с благополучным возвращением!

Вышел начальник станции, сторож, стрелочник. Все расспрашивают, интересуются войной.

День чудесный, теплый, солнечный. Тройка весело бежит по знакомой дороге среди сжатых полей. В корню машисто идет Гром — тот самый молодой жеребенок, который рос на глазах, а потом я на нем ездил, когда готовился в академию. Пристяжной идет Юшка — старая, верная, с разбитыми ногами, но бодрая и еще крепкая. Правая пристяжка — Серый, славный конек, который на все случаи: он воду возит и в тройке может ходить, иной раз в поле работает. Царевна, которая всегда ходила в корне, прошлым летом пала. Поехали к Ам-

бразанцевым, а когда возвращались, ехали быстро в гору по песку, поднимались махом, и чистопородная красавица, рослая Царевна вдруг остановилась и упала.

Вот мы и дома. Наталочка[1] крохотная, худенькая, только большие, лучистые глаза глядят внимательно и серьезно на мир Божий. На нее голенькую страшно смотреть: словно голодающий индус.

3 сентября

Завтра или послезавтра должен приехать отец. Пришла от него телеграмма. Вчера узнал, что Александр[2] тоже ранен и тоже в левую руку в один день со мной, тоже в Люблинской губернии. Он ранен сильно в левую руку разрывной пулей, у него раздроблены кости ниже локтя. Сейчас он лежит в Москве. Телеграмма от него, что он ранен, пришла на несколько часов раньше моей.

Дома живут Ольга Александровна, Катя, Мара[3] Денисов на мантуровском хуторе и изредка приезжает. Во флигеле живут «Мамзя»[4], Алик[5] и Юра[6] Вчера после обеда пытался заснуть, но от волнения так и не мог, почти не спал и ночь, а когда засыпал, то бредил.

Все как-то не верится, что дома. Как хорошо в деревне и как не хочется думать ни о какой войне. Получили письмо от дяди Алексея Ушакова, в котором он пишет, что Сергей[7], его сын, поручик 44-го Галицкого полка, тяжело ранен, и тоже в левую руку. Рана настолько серьезна, что опасаются ампутации, — тоже разрывная пуля. Мерзавцы эти австрийцы!

Пришло от дяди Оси[8] письмо. Оказывается, мобилизация их застала в Мариенбаде. Немцы словно переродились и стали грубыми, хамили и даже устраивали враждебные демонстрации. Тетя[9] очень испугалась и думала даже, что не удастся выбраться. С большим трудом и муками доехали до Дании, а из Дании на пароходе отправились в Швецию, откуда добрались до России.

Дядя пишет, что первым делом, как приехал, позвонил на квартиру Воейковым, чтобы узнать обо мне, но никого не было кроме «сестры», которая ответила, что я ранен и, кажется, уже выехал в деревню.

---

[1] Наталия Иосифовна Ильина, старшая дочь автора.

[2] Видимо, Александр Дмитриевич Воейков.

[3] Мария Дмитриевна Денисова.

[4] Швейцарская бонна детей, мадемуазель Фуассар.

[5] Александр Александрович Воейков.

[6] Юрий Васильевич Денисов.

[7] Сергей Алексеевич Ушаков.

[8] Иосиф Иосифович Ильин.

[9] Жена Иосифа Иосифовича Ильина.

4 сентября

Приехал отец. Ездили его встречать в Репьевку[1]. Он очень мудро поступил: ехал через Саратов по Волге на Сызрань и потому не мучился ни в Ртищеве, ни в переполненных поездах. После обеда пошли с ним в лес пешком через поле. Лес стоит весь в золоте осеннего убора. Опавшие листья шуршат сухо под ногами. Мы прилегли на опушке, у поляны, и молча слушали природу.

Потом говорили о войне, о жизни, о том, как бессмысленно избивать друг друга и как современная война ужасна. Папа говорил о том, как глупо у нас призывают запасных, как в тылу, в городах, за недостатком ружей обучают призывных с палками. Макс[2] командует подводной лодкой, а Катя[3] живет в Николаеве.

5 сентября

Приехали Мертваго — тетя[4] и Катя[5] — посмотреть на меня. Тетя, вылезая из экипажа, сказала, когда увидела меня на крыльце:

— Ну, показывайся, герой!

В конторе открыли лазарет на двенадцать кроватей, и уже из Новоспасского, из земской больницы, прислали двенадцать человек. Катя и Мара взяли на себя уход за ними и присмотр. Я у них был сегодня с папой. Все раненные не тяжело. Два донца, остальные пехотинцы, у них чисто, хорошо, опрятно. Контору перенесли в комнату управляющего — рядом.

После обеда ездил в Новоспасское на перевязку к нашему земскому доктору. Он много видит народа, встречает поезда и раненых и говорит, что вести неважные — нет снарядов и ружей для обучения пополнения. Интересно знать, как же это мы начинали войну неподготовленные?

Думаю завтра съездить в Сызрань к воинскому начальнику, чтобы заявить о себе и узнать, когда надо возвращаться.

6 сентября

Папа рассказывает, что ночью я бредил и подавал команды «первая», «вторая» и т.д., а потом определял расстояние... Мы спим с ним в комнате рядом со столовой, которую я занимал когда-то, когда приезжал первый раз в Самайкино в гости. Катя с няней и Наталочкой. Сегодня утром ездил в Сызрань. Воинский начальник

---

[1] Родовое имение Толстых, а затем Мертваго, в Симбирской губернии.

[2] Возможно, лейтенант Максимович, муж Екатерины Сергеевны Ильиной.

[3] Видимо, Екатерина Сергеевна Ильина, сестра автора.

[4] Александра Александровна Толстая-Мертваго.

[5] Екатерина Борисовна Мертваго.

сказал, что ему пока ничего неизвестно относительно раненых, но взял меня на учет и обещал сообщить. Посоветовал, когда рана заживет, наведаться.

Успокоенный всем этим, я решил, не теряя времени, съездить с папой к нему в Тамбов на несколько дней.

10 сентября. Тамбов

Приехали сегодня в Тамбов. Путешествие по Волге было восхитительно. Мы с отцом доехали до Сызрани, пообедали в клубе, где видели М[ихаила] М[ихайловича] Бестужева — он в какой-то компании ел блины и пил водку. Икра стояла в большой пятифунтовой банке. В Сызрани стоит кавалерийский запасный полк и ходят уланы, павлоградцы, драгуны, много молодежи, только что выпущенной из училищ.

После обеда поехали на пристань. День солнечный, даже жарко. Взяли билеты на пароход «Лермонтов» общества «Самолет». Оригинальную картину представляет из себя волжская пристань. Чего и кого тут только нет. Оживленная торговля в ларьках, бочонки, бочки, ящики, доски, запах сельдей, смолы, рыбы. Грузчики потные, загорелые, в пропотелых рубашках, пахнущие по́том, сидят или лежат в живописных позах. Кто курит, кто ест артелью арбузы, некоторые пьют водку и закусывают салом.

Сейчас подойдет пароход. Уже слышен издалека шум, явственно доносящийся по зеркальной глади реки, и виден его силуэт с вьющимся дымком на фоне бирюзового неба.

Поднимается суета, толпятся грузчики, подходит какая-то публика — бабы, крестьяне, посадские...

Вот пароход и причалил. Мы с папой имеем по прекрасной каюте первого класса. Пароход дрожит от топота босых ног, грузно переступающих под тяжестью ящиков, тюков, бочонков. Сколько поднимают волжские грузчики — подумать страшно.

Свисток, протяжный, густой, басистый, и мы, — нет, не мы, а берега — медленно поплыли. Боже, какая красота! Сара-Тау, Саратов — «Белая гора». И действительно, он весь белый с розоватым нежным оттенком под лучами утреннего солнца... Большой, богатый город с трамваями, хорошими улицами. Тут находится управление удельного округа, в котором служил папа, когда был управляющим удельным имением в Ставрополе. И управлял округом в те времена Дмитриевский. По дороге на вокзал папа вспоминает его, вспоминает дорогого Дмитрия Павловича, с которым вместе служил, Дмитриевского, который приезжал с ревизией и всегда останавливался в нашем удельном доме...

Я помню Дмитриевского, помню и его приезды. На вокзале мы обедали, а потом сели в тамбовский поезд и вечером были в Тамбове.

12 сентября. Тамбов

Второй день живу в Тамбове. Здесь стоит запасный кавалерийский полк и тоже полно кавалерии: эскадроны даже расквартированы по частным дворам.

Женя Загряжский в форме поручика запаса и состоит здесь при управлении воинского начальника. Войны и тут совсем не чувствуется. Единственно, что стало много военных, солдат, открылся большой госпиталь и вообще гораздо больше народу. Клуб полон, и идет самый широкий картеж в баккара, железку и пр.

Сделал визит губернатору Салтыкову и познакомился с его падчерицей, премилой и преинтересной девушкой. Салтыков — паж, бывший преображенец и страстный охотник, особенно с борзыми. У него есть небольшое имение в Тульской губернии, поэтому мы с ним сразу заговорили про охоту и так увлеклись, что не заметили, что визит мой очень затянулся.

13 сентября

Папа получает «Русское слово», а кроме того, каждый день выходит здесь экстренный выпуск телеграмм. Наши сибирские полки разбили немцев и спасли Варшаву. Бои, видимо, носили характер очень упорный. На Западном фронте благодаря нашему наступлению в Восточной Пруссии французы остановили продвижение немцев, и угроза Парижу миновала. Обедал сегодня у нас Женя Загряжский. Вечер провели с папой вдвоем. Вспоминали далекие времена и милого нашего друга Дмитрия Павловича. Ему было не суждено дожить до этой войны. Папа говорит, что хорошо представляет себе, как бы он ругал немцев и говорил «проклятые колбасники», пожимая плечами и фыркая...

Дмитрий Павлович умер в прошлом году в мае, я готовился тогда летом в академию и случайно узнал о его смерти. Папа потом ездил на его могилу и помог Любови Павловне[1], дав ей денег, чтобы заплатить расходы по похоронам. Милые племянники, разумеется, даже пальцем не пошевелили.

14 сентября

Утром после кофе папа ушел в банк, а я ходил в госпиталь на перевязку. Раненых много. Работают сестрами милосердия некоторые

[1] Предположительно жена или сестра Дмитриевского, сведений о ней не нашлось.

дамы, падчерица Салтыкова Тамара Николаевна тоже ухаживает за ранеными. Мы с ней вместе вышли и отправились гулять. Ходили к Цне, были на том берегу, переехав на лодке.

Возвращаясь домой, встретил Загряжского и у него обедал. Вечером отправился в кино, где был весь тамбовский «бомонд».

15 сентября

Все утро читал, наслаждаясь чудесной папиной библиотекой. Смотрел Бюффона[1] Семьдесят два томика в кожаных переплетиках. Издание это — величайшая редкость 1792 года, и все рисунки животных и птиц сделаны от руки акварелью. Портрет моей прабабки Нарышкиной со стороны отца работы Виже-Лебрен висит над диваном. Красивая молодая женщина с кудрями, спускающимися до плеч, сидит в кресле красного дерева, и в руке у нее томик вот этого самого Бюффона. Она держит его полураскрытым на колене, заложив пальцем длинной и красивой руки.

Тихо, хорошо, никто не мешает. Прямо перед диваном письменный стол, с которого на меня смотрит строгое лицо бабки, матери отца, Елизаветы Валериановны Новосильцовой.

Отец всегда подчеркивает: «Новосильцо́ва, а не Новосильцева — это большая разница», — говорит он всегда своим спокойным голосом. Направо, вдоль стены, и налево — книжные полки, шкафы, тут все французские классики, и, глядя на давно знакомые корешки книг, я вспоминаю далекое, милое, невозвратное детство, Ставрополь, Мутнянку, удельный дом, друга Никишку, Дмитрия Павловича. На столе лежат табакерки изумительной работы, и все они пахнут стариной и тем запахом, который я знаю с детства. В париках, с бритыми синеватыми щеками, глядят вельможи разных эпох — все мои предки. Работа такая тонкая, такая изумительная, что кружева выглядят настоящими, нарисованными на слоновой кости.

26 сентября. Самайкино

Рана моя почти затянулась, не действуют только пальцы — мизинец и безымянный, но доктор говорит, что это пройдет. Голова болит, но редко. Спокойная, тихая жизнь удивительно хорошо действует на нервы и на здоровье. Из Тамбова ехал тоже на Саратов, потом на пароходе до Сызрани. Наслаждался Волгой и чудесной тихой осенней погодой. В Сызрани был у воинского начальника, который сказал, что все раненые вскоре будут отправляться в маршевую роту в Пензу, откуда после комиссии поедут на фронт.

---

[1] Вероятно, имеется в виду его «Естественная история» (1749–1788).

В Тамбове узнал, что Турции объявили войну. Мне очень понравился приказ по войскам Кавказского округа, короткий и категорический: «А потому приказываю перейти границу и атаковать турок».

28 сентября

Сегодня после ужина, собравшись в гостиной, говорили о предсказании знаменитой французской ясновидящей де Теб. Ее предсказание прочли в «Солнце России». Она говорит, что видит французских сестер милосердия на берегах Рейна, склонившихся над немецкими ранеными, затем, что мир будет поражен невиданной изменой. Над этой «невиданной изменой» спорили и не могли понять, в чем дело: кто будет изменять?

Я, кстати, вспомнил о моей старушке и о ее удивительном предсказании мне. Посмотрим, как оно исполнится дальше. В газете, в списке убитых, прочли о смерти Шелгунова и Хоцянова. Ах, бедняга Шелгунов, как жалко его молодой жены, а сколько этих жен, матерей сейчас во всем мире.

30 сентября

Катя получила письмо от Тихобразова. Шло оно больше месяца. В нем он сообщает, что я ранен, — милый Николай Николаевич. Пишет и о смерти Шелгунова и Хоцянова — оказывается, их батарея неудачно встала на позицию около леска, в котором оказались австрийцы, они открыли огонь по батарее. Хоцянов застрелился, а Шелгунов был смертельно ранен и через несколько часов скончался. После обстрела австрийцы бросились на батарею и было взяли, но подоспевшая рота наша кинулась в штыки и отбила.

Ходил к нашим раненым: некоторые совсем поправились, но просят отсрочки, чтобы их не отправляли еще.

2 октября

Был в Сызрани, получил от воинского начальника деньги и предписание отправиться в Пензу. Ездил в лес проститься с ним. Стоит тихий, молчаливый, уже осыпавшийся, шуршат листья под ногами.

Наталочка все худенькая и не хочет полнеть. Снимался с ней сегодня — приходил садовник с «Холмов»[1] с аппаратом Александра Дмитриевича[2]

---

[1] Хутор в имении Воейковых близ Самайкина.

[2] Воейкова.

5 октября. Пенза

Живем с Катей в гостинице. У нас большой номер. Питаться ходим к Толстым[1], где, в сущности, проводим весь день. Миша[2] ухитрился стать начальником санитарного поезда дворянской организации № 151, помощником у него Ваня.

Дядюшка и тетка живут как и всегда — постоянно кто-нибудь обедает или завтракает, у тети очередной поклонник. Дядюшка почти совсем поправился, что он приписывает устрицам, которые ящиками выписывает прямо из Крыма. Мы с ним за завтраком съедаем сотню, а то и больше, и радуемся, что наши дамы их не любят.

Являлся в казармы пехотного полка, которым в мирное время командовал полковник Ген. штаба Розанов, теперь там запасные батальоны и маршевые роты. Сказали, что, когда наберется достаточное количество возвращающихся, отправят одним эшелоном.

8 октября. Пенза

Тут имеется несколько госпиталей. Один, самый великолепный, дворянской организации, в котором во главе стоит тетушка, как вице-губернаторша. Ходили вместе с ней в этот лазарет, она нам его показывала. Раненые солдаты живут как институтки — их кормят шоколадом, нянчатся с ними, и тетка с гордостью рассказывала, что она и дамы их сами моют в ванне! Я сначала думал, что это шутка, но, оказывается, нет· на самом деле Вера Михайловна Толстая, супруга вице-губернатора, помещица, моет в ванне здоровенного «земляка» и чувствует себя на верху блаженства от сознания исполненного долга. А вот «мужичков» те же Толстые презирают и брезгливо к ним относятся! В чем тут дело? Как понять весь этот сумбур и всю эту неуравновешенную галиматью?! Я начал было возражать и даже возмутился, но, разумеется, ничего не достиг, и тетя не пожелала даже меня слушать, упрекнув, что я бесчеловечно рассуждаю. А я, во-первых, говорил, что всех этих солдат, за которыми такое нездоровое ухаживание, развратят, и они явятся назад в строй никуда не годными, а во-вторых, что такое отношение родит зависть, ибо, например, в казенных госпиталях постановка другая, а может быть и в земских, и вот получается абсурд: солдаты встречаются и обмениваются впечатлениями, неожиданно получаются выводы вроде того, что «в казенном госпитале крадут, нашу кровушку пьют, деньги отпускают, а ни шоколаду, ничего другого не дают!» И т.д. и т.д.!

[1] Дядя и тетка Екатерины Дмитриевны Воейковой-Ильиной, жены автора.

[2] Михаил Алексеевич Толстой.

И во многом так. Отец говорил, что в Тамбове было целое увлечение ранеными, и главным образом немцами, и дамы специально выходили встречать поезда и собственноручно прикалывали им цветы! Оказывается, и в Пензе та же история.

В то же время говорят, что Сандецкий свирепствует и как только замечает, что раненый начинает поправляться, так приказывает его отправлять.

Это жестоко и несуразно, но вместе с тем вызвано всеми поблажками и распущенностью, которая часто царит. В Москве, например, раненые солдаты ходили по городу, заходили в дома и побирались, прося им помочь, так как все охотно подавали. Разумеется, это тоже вызвало драконовские меры, ибо что же тут поделаешь! И вот так и получается: одни распускают и поощряют, а другие, чтобы исправить эту распущенность и навести порядок, свирепствуют и перегибают палку в другую сторону, а в общем нет никакой системы.

15 октября

Жизнь в Пензе такая же, как во всех русских провинциальных городах. Мы встаем утром, идем к Толстым и там проводим весь день. До завтрака я обычно еду в казармы, где каждый день говорят· «На днях отправляетесь». Меня несколько поражает такая постановка дела. Интересно знать, сколько времени я мог бы прожить в Самайкине, если бы сам не явился к воинскому начальнику? Думаю, что несколько месяцев!

У Толстых рядом со столовой целая отдельная комната, в которой живут попугаи. Их семь штук всевозможных цветов. У них там насесты, кольца, трапеции, лестницы и сухое деревцо. Целый день они возятся, кричат и разговаривают. Когда входишь в дом, слышишь несколько картавые, пронзительные голоса: «веаа, веаа», — и надо сказать, что интонация и манера ими очень уловлена: так дядюшка обычно зовет тетку: «Вера, Верааа!» Потом они насвистывают три колена «Боже, Царя храни»: «Боже, Ца-ря храни! Сильный, державный, царствуй на славу...» и тут вдруг обрываются, замолкают и начинают снова. Этому их научил Миша, постоянно насвистывая гимн.

Заказал себе теплую бекешу на белой мерлушке и папаху: бекеша, крытая защитным сукном, стоит 60 руб., а папаха 15. Кажется, скоро будет комиссия и мы затем поедем.

20 октября

Наша гостиница лучшая в городе, но уборные — это сплошной кошмар, ни ванн, конечно, ни умывальников приличных нету; в каждом номере стоит жестяной умывальник с тазом и кувшином,

вот и все «удобства». Я говорил про это дяде — он пожимает плечами и находит, что это вообще такова русская жизнь и что русские ни до чего еще не доросли.

Сегодня завтракали несколько человек, никого не знаю. Ели устрицы, икру, балык, множество всяческих маринадов и закусок. Дяде всего этого нельзя. Года полтора назад у него открылась язва в желудке, он бросил пить, курить, и теперь ему много лучше.

Разговаривали про войну и про тыл, я опять пытался доказывать весь вред такого несуразного обращения с солдатами, но дам не переспоришь, а дядя в этих случаях политично молчит.

24 октября

Через неделю будет комиссия. Живем тихо, читаем, сидим у Толстых. Скоро они празднуют свою серебряную свадьбу, ждут Мишу, который должен приехать по этому случаю. На фронте идут бои у Равки и какого-то фольварка «Могеллы», который наши солдаты прозвали «Могилы», так как потери там огромны.

2 ноября

Сегодня была комиссия под председательством полковника Веденяпина[1], который весьма строг и почти не признает никаких категорий. Однако, несмотря на это, меня нашли еще не совсем поправившимся, так как омертвение левой стороны не прошло, и зачислили в третью категорию второго разряда, то есть временно на нестроевые, или тыловые, должности.

Ну что же, пусть будет так! Из всех свидетельствующихся признали не поправившимися только троих — меня и еще двух, один зачислен совсем на нестроевые должности, у него короче одна нога на несколько сантиметров.

3 ноября

Приехал Миша. Массу рассказывает и три четверти, по-видимому, сочиняет. Говорит, как поезд его попал почти под чемоданы[2], как он сам спасал кого-то под огнем и т.д., и т.д. Тетка с него глаз не спускает. Выглядит Миша военным хлыщом: в форме, с погонами, с шашкой, наганом в кобуре, одним словом, в полном боевом снаряжении и даже со шпорами.

Обед был по случаю приезда Миши особенно великолепный. Миша выпил изрядно водки и совсем заврался, даже, кажется, дядя заметил и смотрел в тарелку сквозь свои большие очки.

---

[1] Вероятно, Сергей Николаевич Веденяпинский.

[2] Крупнокалиберные артиллерийские снаряды.

Вечером приехал Валуев Михаил Михайлович, брат тетки Веры, — он земским начальником в Симбирском уезде.

15 ноября

Очень торжественно праздновали серебряную свадьбу Толстых. Мы с Катей купили хорошенькую серебряную вазочку за 25 рублей. Днем были визитеры и большой завтрак, на котором был губернатор Лилиенфельд.

Лилиенфельд тоже, конечно, лицеист, но по курсу много моложе дядюшки. Он мне понравился: высокий, очень аккуратный. В нем, несомненно, гораздо больше немца, чем русского, — он из Прибалтики. Он сказал несколько очень прочувствованных слов, поздравив юбиляров.

Лилиенфельда вообще хвалят, и дядя говорит, что он очень честный и порядочный человек.

Странно, что дядя до сих пор не может получить губернии. Сазонов, министр иностранных дел, его товарищ по курсу. Они вместе кончили лицей, сам дядя не раз ездил в Петербург «нажимать», имеет связи, и вот никак, хоть что хочешь делай.

После завтрака все время приезжали и уезжали визитеры, разные представители, разные организации и пр., а вечером был чисто лукулловский ужин. В гостиной стоял стол с серебряными подарками, которые Толстые получили в этот день. Надо сказать, вещей набралось очень много, и некоторые весьма хорошие.

Ужинали до двух часов ночи, играли в карты, слушали граммофон и после трех начали расходиться.

18 ноября

Получил все причитающиеся мне деньги, и нас скоро отправляют. Выдали мне всего 366 руб., тут столовые, которые я не получал, суточные, кормовые, еще какие-то, одним словом, расписывался чуть не в десяти ведомостях. И к чему только вся эта канцелярщина, неужели нельзя как-нибудь сократить и платить деньги, называя их одним названием?

Завтра уезжает Миша. Погода какая-то странная: мокрый снег, ночью подмерзает, а днем тает и разводит грязь.

Снимались сегодня с Катей.

22 ноября

Завтра едем. Всего нас отправляется сорок офицеров и около четырехсот человек солдат. Странное совпадение — артиллеристов я один на весь поезд, нет ни среди офицеров, ни среди сол-

дат — исключительно пехотинцы и даже нет кавалериста. Много прапорщиков.

Начальником эшелона подполковник.

Весь день укладывались. Катя поедет проводить меня. Кое-что купили, Катя приобрела мне карманную аптечку, которую я не хотел брать, но она настояла, и я себе купил очень славную записную книжку в кожаном переплете «День за днем» и буду теперь весь [19]15 год писать каждый день в этой книжечке.

23 ноября

Днем простились с Толстыми, потом собрали свои вещи и после обеда, под вечер, поехали на вокзал, где уже стоял эшелон. Катя решила меня проводить до ст. Воейково, где скрещение ночью и она может прямо пересесть на сызранский поезд. Нам, офицерам, дали вагон третьего класса, солдатам теплушки. В моем отделении поручик Иванов, прапорщик и я. Мы с Ивановым внизу. Забрались в поезд и стали ждать отхода. Эти минуты были очень грустные. Поручик все утешал Катю, называя ее барынькой и говоря про то, как было ему тяжело расставаться с женой. В двенадцатом часу тронулись, а около двух Катя вышла в Воейкове. Мы горячо обнялись, поезд медленно поплыл, и я видел ее фигуру, освещенную бледным светом керосиновых фонарей, стоящую на платформе...

Долго не мог заснуть. Все думал о войне, о том, что нас всех ждет. В нашем отделении и в соседних тоже почти никто не спал — или разговаривали, или молча думали.

Верно, все-таки всем тяжело...

24 ноября

Сейчас девять утра. Я только что проснулся. Пили с моим визави чай. Потом я принялся писать письма. Трясет так, что получаются какие-то ужасные каракули.

25 ноября

Только что проехали Тулу. Останавливались на товарной станции, поэтому ни вокзала, ни города не видели. Надеюсь, что в Смоленске удастся побывать на городском вокзале. Нас стараются не задерживать, и коменданты гонят вовсю.

26 ноября

Подъезжаем к Смоленску. Начиная от Тулы идут дожди. В Тульской губернии нет ни снежинки, а тут тепло, как весной. Над землей стоит туманная дымка, да изредка кое-где сереет талый снег. Неужели и дальше так будет? Стоило брать с собой теплые вещи?!

В соседнем отделении все продолжают выпивать и играть в карты — веселятся, иначе говоря. Но, видимо, делается все это больше для того, чтобы не думать о будущем и о том, что впереди ждет каждого.

Сколько ни всматриваюсь, никак не могу увидеть ни у кого желания не только пылкого, а даже скромного ехать на позиции вторично. Не знаю, чем это объяснить, — может быть, тем, что все уже раз ранены и это психология людей, которые были ранены?.. Кадровые офицеры сдержаннее и молчаливее, они обязаны, это их долг — война, но те, кто из запаса, и прапорщики, те проще и меньше стесняются высказывать свое мнение и свое настроение.

Поезд остановился на какой-то станции, и я воспользовался случаем, чтобы написать домой письмо, а то каракули просто невообразимые.

Послезавтра будем в Бресте. Там как будет, Бог его ведает — куда пошлют, как пошлют? Сейчас трогаемся дальше. Поручик — мой визави — тоже занят писанием писем.

27 ноября. Барановичи

Сейчас стоим в Барановичах, где кормим нижних чинов. Пища очень хорошая на всех продовольственных пунктах, и я сам с удовольствием ем. Вчера встретили огромный поезд с пленными австрийцами — оборванные, голодные, бросались к нам за хлебом, из-за которого дрались.

Пришлось кричать на них. Я и подпоручик из нашего отделения, который спит наверху, раздавали им папиросы — сыпали в шапки, которые они подставляли, — ужасно жалкий вид. Уже второй день не видно ни снежинки. Голубое небо, как в начале августа. Яркое солнце. Совершенно нельзя сказать, что на носу декабрь. Ночью будем в Бресте.

28 ноября. Брест-Литовск

Приехали в Брест. Сейчас думаю съездить на центральный вокзал. Вчера в Барановичах простояли четыре часа. Осмотрели этот городишко. В Барановичах ставка. Живо вспомнился Николай Николаевич[1]. Говорят, Янушкевич страшнейший юдофоб и всякую неудачу приписывает «жидам»...

29 ноября. Брест

Здесь очень большой затор, и потому мы, верно, простоим два-три дня, пока с нами разберутся. Сначала наше положение не было

[1] Великий князь.

выяснено, и мы, прибыв вчера в восемь часов утра, стояли в четырех верстах от вокзала, думая, что нас отправят скоро дальше.

Я взял номер специально, чтобы выспаться на чистом белье и сходить в баню, откуда и вернулся час тому назад. Баня под названием «дивизионная» крепостного гарнизона очень хорошая и благоустроенная, и я сижу сейчас, пью чай и блаженствую, особенно при мысли о кровати после шести ночей на лавке в третьем классе. На вокзале все искал Мишин поезд, но вместо него и Вани встретил Колю Поливанова, поезд которого с час как пришел. Мы с ним расцеловались, болтали, и я осмотрел поезд и раненых — необычайно много обмороженных. Целых семнадцать суток лежали в окопах, а одну ночь стояли в болоте по колено — к утру вода в болоте замерзла. Есть раненые немцы-гвардейцы: рослый, здоровый народ, настроены скорее добродушно, но один был угрюм и мрачен. Один, высоченного роста, ранен в грудь навылет и все время харкает кровью; сестра говорила, что, будь он послабее, такой раны бы не перенести.

Коля сообщил мне, что Миша до моего приезда за час поехал на Радом и дальше за ранеными.

Мы много хохотали, когда я рассказал, каким героем Миша приезжал в Пензу.

— И ведь все врет, нигде он не был, — смеялся Поливанов.

— А вот роман у него там со старшей сестрой, это верно, — говорил Коля. — Но кажется, что среди наших дворянских поездов такой, как Мишин, единственный.

Мы простились, потому что Коля спешил получать мясо, а потом поезд отправлялся на Гомель.

Прочел в «Новом времени», что убит Амбразанцев[1] Бедняга, хороший человек он был. Теперь осталась одна его сестра[2] в Новоспасском.

Брест — маленький, почти исключительно еврейский городок. Сегодня суббота, все закрыто, извозчиков почти нет, так как из ста пятидесяти — сто тридцать евреи. Между прочим, впервые видел еврея на козлах. Их здесь, этих извозчиков, два сорта. одиночки и парные фаэтоны. Лошади — кожа и кости. Подхожу к одному·

— У тебя, пожалуй, лошадь сдохнет, не довезешь?!

— Ну ви развэ купить хотите — чтоо?!

— Нет, мне надо ехать.

— Ну тогда садитесь, а там ми увидим, чтоо?

Погода тут удивительная, восемь-десять градусов тепла. Это особенно кажется диким после глубокого снега, охоты на лис. Оказыва-

[1] Амбразанцев-Нечаев.

[2] Мария Алексеевна Амбразанцева-Нечаева.

ется, что здесь вообще зимы не бывает почти, а о санях никто и не думает.

За неделю до нашего приезда тут разыгралась целая трагедия, и сюда экстренно приезжал Николай Николаевич[1] Об этом запрещено писать, и стараются держать в секрете. Взорвалось восемьдесят тыс. снарядов, погибло около пятисот человек, целая рота саперов с офицерами, которых недавно хоронили. Взрывы шли последовательно, начиная с восьми утра до пяти часов вечера. В городе полопались почти все стекла, а из крепости сыпались осколки; большинство в панике бежали в поле за город. К счастью, все склады и погреба с пироксилином уцелели и не детонировали, иначе, как рассказывал мне один офицер, от города, жителей и крепости не осталось бы и следа. На станции как раз в это время, когда начались взрывы, стоял целый состав, груженный пироксилином, и лишь благодаря находчивости начальника станции и храбрости машинистов его вывезли, а то бы и весь вокзал ахнуло.

Говорят про злой умысел, так как здесь будто бы имеются шпионы, и всюду бросаются в глаза плакаты: «Остерегайтесь шпионов. За поимку вознаграждение тысячу руб.». Предполагают, что под видом солдата шпион прошел к складу, где работало много нижних чинов. Но, разумеется, ничего точно не известно и все одни лишь предположения.

Пищу к разным кривотолкам дает еще и то, что комендант тут генерал Лайминг Как все-таки много у нас немцев! В этот день, когда начались взрывы, он был на вокзале, где его с музыкой провожали, так как он уезжал куда-то на войну, получив новое назначение. Однако уехать он не успел, так как загрохотали взрывы.

Из дому ничего пока нет, а поручик получил на вокзале телеграмму, которая, правда, шла три дня, но успела как раз к нашему прибытию.

1 декабря. Брест

Вот и декабрь. Эшелон уходит завтра или послезавтра.

Мы же, несколько офицеров, поедем самостоятельно в Холм, где получим предписание, так как у нас нет наших нижних чинов и мы можем самостоятельно проехать. Остальные же с командами из Холма отправятся разыскивать части.

Мой поручик уезжает с эшелоном. Пока же мы с ним гуляем. Номер в гостинице я снял пополам с прапорщиком Бурским, который

---

[1] Вероятно, имеется в виду великий князь (еще один Николай Николаевич, упоминаемый в дневниковых записях, — Тихобразов — вряд ли относится к описываемому событию).

вчера что-то расхворался и вчера ездил в местный госпиталь. Он целыми днями лежит, мало говорит и производит впечатление какого-то «рамоли»[1]

Гостиницы тут нечто ужасное. Евреи нагнали цены невероятные. Мой номер раза в три меньше пензенского, с поломанным диваном и колченогими стульями, пыльный и грязный, с клопами и пр. прелестью, стоит 2 руб. 25. В мирное время здесь дороже рублевых номеров и вообще-то не было. И несмотря на это, везде все полно. Нет сомнения, что, будь на месте евреев русские, было бы то же самое, дело не в национальностях, а в том, что у нас нет ни порядка, ни системы. И цены, и вся жизнь, все должно было бы быть строго распределено и установлено в известном распорядке.

2 декабря

Бурский меня покинул. У него оказался сильнейший ревматизм, и доктор забрал его в госпиталь. Эшелон уходит завтра, завтра и я поеду в Холм.

Собираю все газеты и журналы, чтобы привезти на позиции, там, верно, в этом недостаток.

4 декабря. Холм

Невероятная грязь и слякоть. Приехал вчера и остановился на вокзале в комнате для проезжающих офицеров.

Это небольшая комната с железными кроватями или с походными — самих офицеров. Кровати стоят в ряд, и народу полным-полно. Я еле приткнул свой гинтер. Тут несколько пехотных офицеров, два сапера и два врача. Старший доктор, ложась спать, пьет стакан водки и затем принимает какой-то порошок. Когда я его спросил, что это за порошок, он сказал, что снотворный, так как без этого он не сможет заснуть. Он большой весельчак, хорошо рассказывает и, видимо, циник, который ни во что и ни в кого не верит. Двое его коллег все подбирают компанию играть в карты. Я было попытался, но проиграл и бросил, так как боюсь остаться без денег совсем.

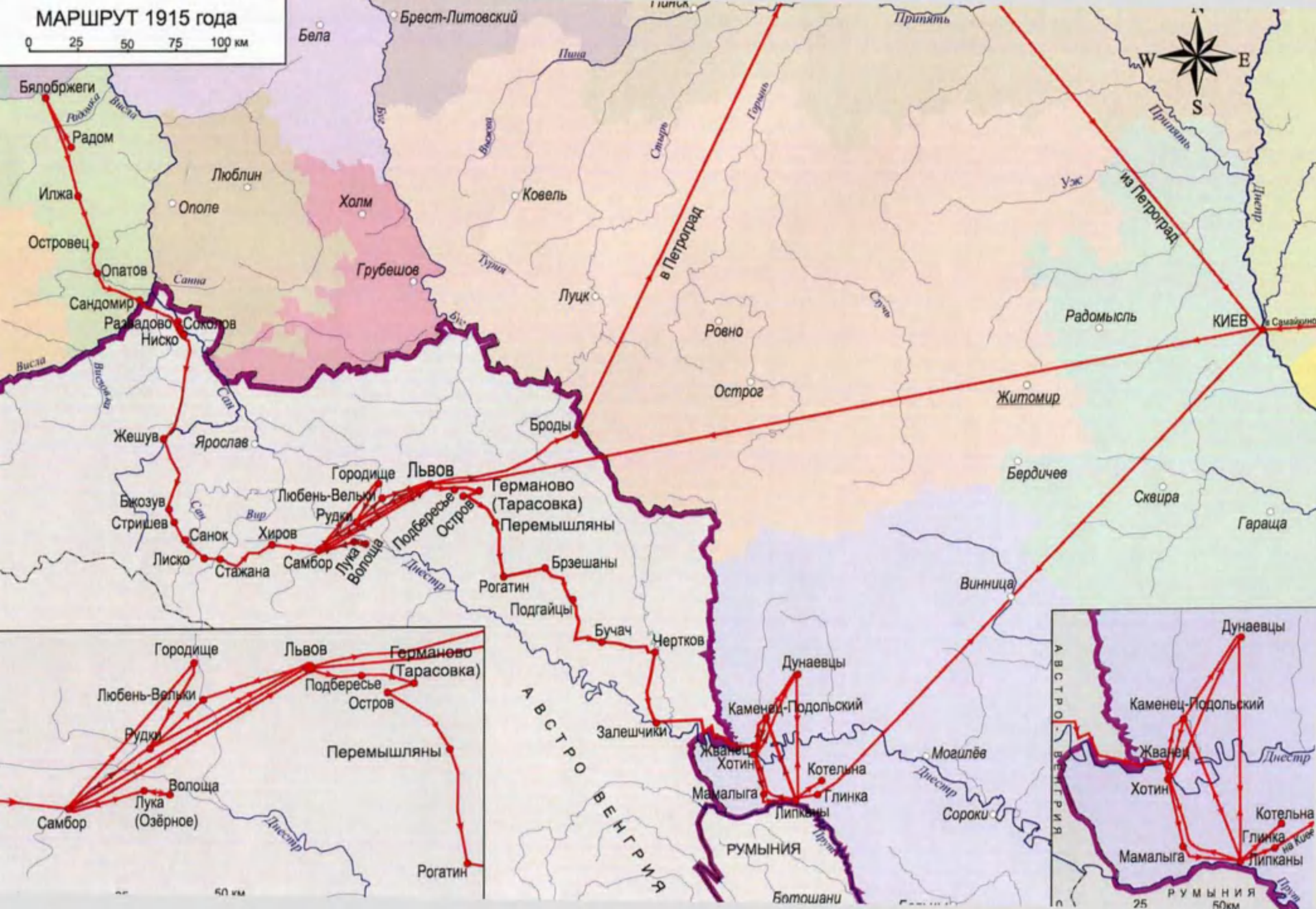
5 декабря. Холм

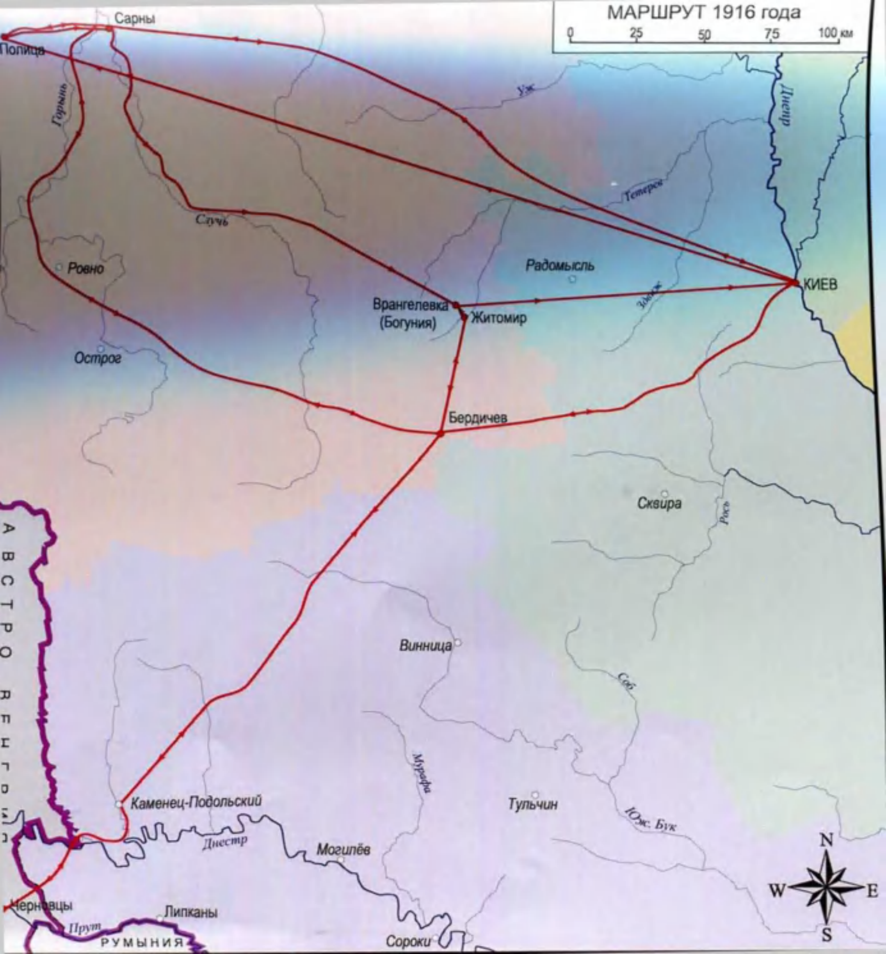
Ходил в штаб армии к дежурному генералу. Представил свои бумаги, и старший писарь мне сказал, чтобы я приходил послезавтра, так как завтра мой рапорт и бумаги пойдут к генералу на резолюцию.

Делать буквально нечего. Осматривал Холм. В мирное время здесь стоял Московский Его Вел. пехотный полк. Подумать только,

[1] Рамоли (*устар.; от фр. ramolli*) — расслабленный, немощный, впавший в слабоумие.


МАРШРУТ 1914 года
0 100 200 300 км
МАРШРУТ 1914 г. август-сентябрь
на Смоленск
Млынки
Коваля
Люблин
Островец
Ополе
Щучки
Менжвицы
Красник
Завихост
Холм
Сандомир
Надбржежие
река Висла
Висла
АВСТРО ВЕНГРИЯ
0 50 100 км
ШВЕЦИЯ
БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
Онежское озеро
Ладожское озеро
Тавастгус
Петрозаводск
Гельсингфорс
Выборг
Кронштадт
Ревель
Нарва
Петроград
Гатчина
Чудово
Луга
Спасская Полисть
Вергежи
Новгород
Селищи
Псковское оз.
Вологда
Вятка
Псков
Рига
Митава
Кострома
Ярославль
Режица
Волга
Тверь
Ковно
Владимир
Н.Новгород
Казань
Зап. Двина
Вильна
Витебск
Москва
ГЕРМАНИЯ
Сувалки
Днепр
Смоленск
Плоцк
Ломжа
Гродно
Минск
Калуга
Симбирск
Белосток
Рязань
Калиш
Барановичи
Могилёв
Тула
Варшава
Беловежская пуща
Самара
Самайкино
Новоспасское
Ивангород
Брест-Литовск
Сызрань
Пенза
Гомель
Орел
Люблин
Островец
Менжвицы
Холм
Тамбов
Сандомир
Буг
Курск
Дон
Чернигов
Саратов
Воронеж
АВСТРО-ВЕНГРИЯ
Житомир
Киев
N
W
E
S
Харьков
Каменец-Подольский
Полтава
Днепр


МАРШРУТ 1915 года
0 25 50 75 100 км
Белобржеги
Радом
Илжа
Островец
Опатов
Сандомир
Развадово
Соколов
Ниско
Люблин
Ополе
Холм
Грубешов
Брест-Литовский
Бела
Ковель
Луцк
Ровно
Острог
Броды
Жешув
Ярослав
Бжозув
Стришев
Санок
Лиско
Стажана
Хиров
Самбор
Лука
Волоща
Городище
Любень-Вельки
Рудки
Львов
Подбересье
Остров
Германово
(Тарасовка)
Перемышляны
Брзешаны
Рогатин
Подгайцы
Бучач
Чертков
Залещики
Жванец
Хотин
Мамалыга
Липканы
Каменец-Подольский
Дунаевцы
Котельна
Глинка
Могилёв
Сороки
Винница
в Петроград
из Петроград
КИЕВ
Радомысль
Житомир
Бердичев
Сквира
Гараща
РУМЫНИЯ
АВСТРО ВЕНГРИЯ
Висла
Сан
Днестр
Буг
Припять
Днепр
Стырь
Горынь
Случь
Уж
W E S
Городище
Львов
Германово
(Тарасовка)
Любень-Вельки
Подбересье
Остров
Рудки
Перемышляны
Волоща
Лука
(Озёрное)
Самбор
Рогатин
50 км
Дунаевцы
Каменец-Подольский
Жванец
Хотин
Котельна
Глинка
на Киев
Мамалыга
Липканы
РУМЫНИЯ
АВСТРО-ВЕНГРИЯ
25
50км


МАРШРУТ 1916 года
0
25
50
75
100 км
Сарны
Полица
Горынь
Уж
Днепр
Тетерев
Случь
Ровно
Радомысль
КИЕВ
Врангелевка
(Богуния)
Житомир
Здвиж
Острог
Бердичев
Сквира
Рось
АВСТРО-ВЕНГРИЯ
Винница
Соб
Мурафа
Каменец-Подольский
Тульчин
Юж. Бук
Днестр
Могилёв
Черновцы
Липканы
Прут
РУМЫНИЯ
Сороки
N
W
E
S

полк Государя и в такой дыре. Куда хуже наших Селищ. Грязь непролазная, население — одни евреи, да и то, видимо, бедняки, всюду какие-то конуры, нагроможденные одна на другую лавчонки. Разумеется, картина усугубляется еще погодой — сыро, мокро, как-то серо и промозгло. В казармах Московского полка сейчас госпиталь.

7 декабря. Холм

Был в Ставке. Оказывается, мои бумаги еще в докладе не были. Я очень этим огорчился, потому что деньги на исходе и не знаю, как быть, если придется прожить здесь еще несколько дней. Обедаю и вообще питаюсь на вокзале. Все столы все время заняты — всё офицеры.

Доктор рассказывает анекдоты и пьет свой стакан водки на ночь, закусывая порошком.

9 декабря

Сегодня был в Ставке, где помощник дежурного генерала сказал мне, что я назначен командиром 773-го транспорта 155-го обозного батальона и чтобы завтра я отправлялся в Люблин принимать транспорт. Я несколько смутился, слова «обозный батальон» меня как-то неприятно резанули. Бумаги сказали получить завтра утром. Очень обеспокоенный, вернулся к себе в вокзальную комнату, где доктор спросил, почему я такой мрачный и что со мной случилось. Я поделился с ним, сказав, что мне стыдно принимать транспорт и что хотя я имею право на нестроевую должность, но что, пожалуй, лучше ехать в свою часть, чем принимать какой-то транспорт. Доктор возразил, что мои рассуждения ребяческие, что нечего напрашиваться, но и незачем отказываться, раз назначили, так назначили, и командиры транспортов не менее нужны, чем офицеры на других должностях, и важно исполнять приказания и уметь подчиняться...

Я долго думал над словами доктора, и они меня очень успокоили, хотя убедили и не совсем.

Говорят, что командовать транспортом хорошо, что командир транспорта имеет права командира полка и что вообще большая нужда в командирах транспорта, так как офицеров почти нет, всем командуют чиновники, а теперь стараются ранеными офицерами заменить этих чиновников.

10 декабря. Люблин

Вчера приехал в Люблин принимать транспорт. Утром получил свои бумаги, хотел тотчас же отправиться, но задержался, так как встретил неожиданно Ваню. Третьего дня наконец-то увидел Мишин

поезд — 151. Разумеется, провел у Миши и Вани весь вечер, ужинал у них, осматривал поезд. Оказывается, действительно, у них влюбленная атмосфера. Миша открыто живет со старшей сестрой милосердия, которая была замужем, но с мужем разошлась еще до войны, кажется. Высокая, с орлиным носом, очень эффектная и, пожалуй, интересная женщина. Миша меня познакомил с ней и сказал, что это его невеста.

На несколько лет старше Миши, да и потом вообще что это за манера в санитарных поездах разводить все эти романы и флирты! Милый, слабохарактерный Ванечка только посмеивается, но, конечно, ни на что влияния не имеет.

А вчера перед отъездом смотрю — на вокзале Ваня. Я удивился:

— Ты что? Опять поезд пришел ваш?! — спросил я.

— Нет, я везу больного, — ответил он.

Я еще больше поразился:

— Как так везешь больного?

После долгих удивлений и объяснений выяснилось, что тут налицо целый роман: санитар их поезда, только что кончивший лицей двадцатилетний юноша, от неразделенной любви к старшей сестре и ревности к своему патрону Мише взял да и отравился. Его отходили, но оставлять в поезде оказалось неудобным, и вот Ваня повез его в Москву. Недурна история, хорош поезд! У Вани, разумеется, случился нервный припадок.

Батальоном командует полковник Сушкевич из запаса. В батальон входит четыре транспорта, Сушкевич настоятельно просил, чтобы ему дали офицеров, без чего он не брался формировать батальон. Транспорт — это большая и громоздкая штука с огромной отчетностью. По счастью, двухлетний опыт заведующего хозяйством мне, вероятно, сильно поможет.

Сейчас транспорты находятся в периоде формирования и на днях должны быть готовы к выступлению.

Завтра поеду знакомиться со своим делопроизводителем и каптенармусом. Хочу серьезно приняться за работу и поставить все на должную высоту. Транспорты стоят за городом.

Люблин — прелестный городок. Хорошие дома, отличные гостиницы, широкие мощеные улицы. Извозчики все в английской упряжи и с длинными бичами, в ливреях и длинными мохнатыми воротниками. Одно горе — масса евреев, которые своим приставанием способны довести до исступления. Буквально в каждую щель, в каждую скважину лезет еврей, предлагая женщин, спирт, коньяк, сигары, папиросы, ну, словом, что угодно.

Люблин мне напоминает очень Гельсингфорс, особенно некоторыми улицами; оба эти города похожи на заграницу, и только как-то странно, что нет трамваев.

Завтра после приемки транспорта отправлюсь осматривать город.

Неожиданно встретил прапорщика, оказавшегося из Пензенской губернии. Он был ранен в одно время с Шурой[1] и в одном полку с ним выступил. О Шуре говорит с некоторым раздражением — знакомая история — его почему-то все, с кем он сталкивается, недолюбливают.

15 декабря. Люблин

Живу в очень приличной гостинице и имею хороший номер за два с полтиной. Встретил здесь поручика Копреева, он одного из пехотных полков, стоявших в Пензе, был ранен, теперь возвращается. Транспорт принял и через несколько дней выступаю. Был очень занят приемкой денег и расчетами. Всюду воровство и недочеты, а с этим так неприятно возиться. Транспорт — большая часть, в которой двести человек людей и больше четырехсот лошадей. Каждый имеет свою подводу и пару лошадей. Он получает 29 руб. жалованья на полном казенном иждивении. Канцелярия состоит из делопроизводителя-чиновника, двух старших писарей, двух младших, затем имеется два фельдфебеля, четыре чиновника, командиры отделений, артельщик, шесть старших и младших унтер-офицеров и десять строевых нижних чинов.

Четыре чиновника, как и делопроизводитель, получают довольствие как младшие офицеры: подъемные, суточные, на седло, на теплые вещи и пр., что составляет достаточно крупную сумму. И вот между этими чиновниками и кандидатами, выдержавшими экзамены на зауряд-чиновника, но за неимением вакансии исполняющими должность старших писарей, страшнейшая грызня, и зависть, и интриги. Транспорт я принял от чиновника, который состоит теперь моим помощником. Он на руки получил сразу аванс 15 тыс. и, разумеется, обалдел от этой суммы. Если бы он брал с разумом, это еще полбеды, но он, видимо, аппетитом обладает слишком большим и попросту стал часть денег не выдавать, фуража полностью не закупать, а всем людям объявил, что в случае жалобы он будет расстреливать виновных.

Все это я выяснил, сделав смотр и опрос претензий. Говорить сначала не хотели, но я стал проверять выдачу фуража, потом продовольствия, открыл, что и сена, и овса недодают, а затем уже и сами люди заговорили, ну, тут и пошло.

---

[1] Александр Дмитриевич Воейков.

Мой чиновник испугался, тем более что я пригрозил судом. Стал просить прощения, начал клясться, что будет хорошо служить. Заменять его было некем, и я его оставил.

Я всех удовлетворил, роздал все недоданное, и кормовые, которые были не выданы, я предложил выдать чиновнику, и он выдал «из своих денег» — думаю, что не из жалованья или действительно своих, а из утаенных.

16 декабря

Чувствую себя очень одиноким в этой компании всех этих чиновников. ни положиться на них нельзя, ни что-либо поручить, хотя помощник мой старается вовсю и, видимо, искренне или нет, хочет служить на совесть.

Купил прекрасную книгу — альбом картин польских художников «Малярство польска». Репродукции очень хорошие, и я, написав письмо, отправил домой Кате. Приобрел также за 70 рублей хорошую камеру Эрнемана[1] девять на двенадцать и хочу снимать и Люблин, да и вообще все места, где побываю. Мое жалованье со всеми видами довольствия около 325 руб. Двести решил переводить в Сызрань на текущий счет Кати, а 125 оставлять себе на прожитие, мне этого более чем достаточно.

Тут в Люблине много старинных костелов и зданий, относящихся к шестнадцатому столетию. Очень хорошо здание трибунала, где висит распятие. Голова Христа наклонена на нем не влево, а вправо. Предание говорит по этому поводу, что во время одного заседания какое-то дело было решено неправильно, и вот голова Христа склонилась на другую сторону.

Хорошие чистые улицы, отличные гостиницы и прекрасные извозчики — парные с большими, просторными, мягкими экипажами.

17 декабря. Люблин

На днях закончу все дела транспорта и буду готов выступить. Каждый день к восьми утра мне подают к гостинице лошадь и я верхом отправляюсь в транспорт, где сижу в канцелярии, проверяю отчетность, потом осматриваю повозки, лошадей, имущество.

Сушкевич — спокойный, видимо, довольно симпатичный человек. После транспорта заезжаю к нему, мы говорим о делах, обмениваемся новостями, затем я обедаю с Копреевым в польском ресторане, вечером читаю, пишу, потом мы ужинаем и пьем чай.

Копреев, который оказался без денег, переселился ко мне и занял у меня 50 руб. Я просил его выслать эти деньги в Самайкино жене, когда он сможет их вернуть.

[1] Фотоаппарат немецкого производства.

19 декабря. Люблин

Вчера встречали Новый год по новому стилю в ресторане. К большой радости своей неожиданно встретил милого Юзефовича, он теперь в штабе армии, пока приехал по делам в Люблин. Говорит, что за 20 августа я представлен к боевой награде. Думаю, что совершенно не заслужил никакой награды. И вот мы втроем (я познакомил Юзефовича с Копреевым) встречали Новый год.

Пили водку, шампанское, ликеры — все подавалось в чайниках, молочниках и сельтерских бутылках.

Юзефович говорит, что в артиллерии почти нет снарядов и часты случаи, когда пехота совсем без поддержки своей артиллерии. Недурно, нечего сказать! Много говорили с ним о войне вообще, и оба были согласны в полной бессмысленности этого массового убийства. То, что Юзефович оказался такого же взгляда, как и я, меня очень подбодрило, он мужественный офицер, порт-артурец, имеющий все боевые награды до Золотого оружия, и, следовательно, его подозревать не приходится ни в трусости, ни в малодушии. Сам же я приписывал свой взгляд и обращение к войне исключительно страху...

20 декабря. Люблин

Все закончил и завтра выступаю. Много снимал, но, к сожалению, первую пачку пленок всю испортил, так как неправильно отрывал. Досадно очень. Копреев едет тоже завтра. Провел весь день с Юзефовичем. Необыкновенно он славный человек. Вечером вместе ужинали.

26 декабря. Островец

Наконец урвал время, чтобы взяться за перо. Запишу по порядку. Из Люблина выступил 21-го рано утром, имея маршрут Красник — Завихвост — Ополе — Сандомир.

День выдался морозный, дул сильный ветер, и мело. К вечеру так стало заносить, что в двадцати двух верстах от Люблина, в местечке Менжвицы, пришлось остановиться, где люди и лошади расположились на воздухе, а я в какой-то грязной, случайно уцелевшей харчевне, которую австрийцы не успели сжечь. До шести утра просидел в обществе какого-то милого поляка, тоже застигнутого бурей, но рискнувшего все же в три часа ночи ехать к себе в Красник, где он служит в ссудо-сберегательном товариществе. Разговорились, приглашал к себе, если придется в Краснике остановиться на ночлег. От Менжевиц до Красника двадцать две версты. Выступил утром 22-го. Погода утихла, разъяснило, и идти было хорошо. По сторонам от шоссе тянутся окопы и наскоро сколоченные крестики — грустное

зрелище. А перед Красником целое кладбище с этими крестами. На одном большая жестяная доска с длинным списком нижних чинов 71-го пехотного Белевского полка. Красник сравнительно сохранился, хотя и пострадал, как все здешние города. Битком набит евреями. Грязные, друг на друга налепленные лавчонки с выглядывающими из дверей пейсами.

Расположил свой транспорт на ночлег, а сам поехал к поляку. Он совсем еще мальчик, живет в хорошеньком трехэтажном домике товарищества, в котором брат его председатель правления. У него три уютные комнатки, очень чистенькие. Держит кухарку и уверяет, что ужасно любит самостоятельность и свободу. Оказался охотником, и пока я с наслаждением ел суп, он говорил мне про охоту. По дороге, между прочим, масса куропаток, которые целыми стаями сидели в полях недалеко от шоссе. Я просто страдал и даже пытался стрелять из револьвера, но, разумеется, ничего не вышло. Однако, когда стайка снялась, одна наткнулась на телеграфный провод и я ее поймал. Все очень веселились во время этой ловли. Подарил ее поляку и... сочинил: сказал, что убил ее из браунинга!

До восьми часов вечера спал, а затем мой хозяин пригласил брата и еще какого-то знакомого и сели играть в преферанс.

За ужином говорили о судьбах Польши и о войне. В шесть часов утра, совсем затемно, 23-го выступил дальше. Пройдя тридцать две версты, остановился в поле на ночлег. Тут я попал к какому-то патриархальному еврею с бородой по пояс, живущему в большой квартире, в которой стены украшены лубками, изображающими библейскую жизнь. На полках стоит посуда, чашки, тарелки, самовар, чайник и висят полотенца. Мне постелила полная, тоже весьма благообразная еврейка — жена хозяина, на мягкой кушетке в тесной, заставленной мебелью гостиной. Несмотря на усталость, я долго не мог заснуть: было жарко натоплено и воздух невероятно тяжел. Чем-то пахло, но чем, никак не мог определить.

Рано утром 24-го выступил и в одиннадцать часов вошел в Сандомир. Опять сплошь евреи. Очень старинный костел, сам город стоит на возвышенном берегу Вислы и очень красив с австрийского берега.

Тут все кипит работой: строят мосты, исправляют австрийскую станцию и т.д. Здесь главный пункт складов для отправки продовольствия под Краков. Весь день провел на австрийском берегу у железнодорожной станции Надбржежие, сдавал груз, а затем осматривал местность. Очень красива Висла — быстроходна и широка. Деревни на австрийской стороне только с женщинами и детьми, мужчины все на войне.

День выдался удивительный: солнце, голубое небо. А кругом все кипит: мост, новенький, чистенький, запружен транспортами, обозами, на станции склады растут как дома, и все везут и везут, а в стороне где-нибудь нет-нет [да] и крестик. Я просто не могу смотреть на эти окопы и кресты.

В Сандомире очень старинный костел, как я уже говорил, но его разграбили австрийцы, когда они тут были.

31 декабря. Близ Радома

Последний день старого 1914 года. Уже двое суток стоим и хорошо отдохнули. Много у меня возни с отчетностью, за всем надо следить, потому что все время стараются обмануть, поджулить, утаить.

Я остановился в крайней избе, где в одной комнате со всем семейством у железной печки поставил свой гинтер. Со мной разместился и наш ветеринарный врач. Однако он сегодня переселился в город, чему я рад, так как приятнее быть одному. Ездил в город обедать, потом вернулся, а в шесть часов был в церкви. Сейчас только что кончил пить чай и пишу. Одиннадцать часов — вот и новый год! Ни разу мне еще не приходилось так встречать...

1915

Поход. Польша. Картины войны и тыла. Галиция. Самбор. Львов. Встречи. В Петербурге. Великое отступление. Львовское шоссе. Залещики. Каменец-Подольск. Хотин. Липканы. Бессарабия. Неудавшееся наступление. Отъезд из транспорта

2 января. Близ Радома

Вчера так устал, хотелось спать, что не смог писать, а лег и, прочитав газеты, заснул. День провел между канцелярией и городом. Вечером сидел у Сушкевича и обсуждал с ним хозяйственные вопросы, Сушкевич — пехотный офицер, всю жизнь прослуживший в Кишиневе в пехотном полку, и в чине подполковника вышел в отставку. Ждет жену, которая должна к нему приехать из Кишинева — его навестить.

Утром занимался осмотром транспорта, ковкой, состоянием людей и лошадей, потом обедал с котла, а затем взял у какого-то крестьянина его ружьишко и пошел в поле, прямо против деревни. Тут кругом стоят фольварки, хорошенькие помещичьи усадьбы, фруктовые сады — видна большая культура. Куропаток масса, я такого количества никогда в жизни не видел. Бегают целыми стаями и словно черные комочки катятся по снегу. Близко не подпускают, но иной раз можно подойти на выстрел, зато на телеге подъезжай хоть вплотную. И никто их ведь не трогает и не уничтожает: убежден, что у нас давным-давно бы всех переловили сетями или какой-нибудь Агап[1] передушил своими псами.

В час дня неожиданно пришло приказание грузиться. К четырем часам подали к складам и лишь к одиннадцати закончили погрузку.

Моя хозяйка, что ни дай, все умеет — разогреть консервы или их приготовить. Оказывается, научили немцы, когда здесь были.

3 января

Встретил Мишин поезд совершенно случайно. Заехал на вокзал, чтобы достать в складе шомпол. Уже было темно, и я путался между

---

[1] Самайкинский мужик, заядлый охотник.

составами. Смотрю, какой-то человек с кокардой красного креста, спросил его, откуда он, оказывается, с поезда дворянской орг. № 151. Я полетел туда и вмиг очутился в родственных объятиях.

Кормили грибами, приготовленными по Мишиному способу, пили коньяк и красное вино. Познакомился с Мишиной «невестой». Миша кривляется и изображает из себя начальство.

Очень удачно вышло с письмами. Старший доктор поезда только что приехал и привез почту, Ване было два письма из дому, из Самайкина. Все благополучно у них, Наталочка и Катя здоровы.

Замечательная вещь: Наталочка сейчас питается кобыльим молоком. Когда Ваня приезжал в Самайкино и увидел нашего «голодающего индуса», он посоветовал жене попробовать лошадиное молоко. Сам поехал в Спасское, сторговал за 40 руб. кобылку, и стали Наталочку подкармливать молоком этой лошадки. Теперь девочку нельзя узнать: полненькая, здоровенькая, просто прелесть...

4 января. Близ Радома

Весь день бегал по делам по городу. После коньяку чувствовал себя неважно, заходил к поручику Головкову, только что принявшему другой транспорт. Он поселился коммуной с другими командирами транспортов. Оказывается, есть и такие командиры, которые транспорты получили сразу по мобилизации и на позициях и не были. Головков пригласил прийти вечером. Кончив все дела, был у него, и все играли в карты. Просидел всю ночь, выиграл рублей 55, в шесть часов кончили, я час поспал и отправился к себе. Приехал мой делопроизводитель. Привез талоны. Решил ехать в казначейство.

5 января

В казначействе денег еще не выдают, так как не поступили ассигновки. Пошел на почту, послал Кате телеграмму. Странное впечатление, между прочим, производят все чиновники казначейства и почтовых отделений: во-первых, все в военной форме, при военном снаряжении, а во-вторых — широкие погоны и большущие чины вплоть до всяких советников: статский советник, действительный статский и пр. Оказывается, одели погоны по должности, то есть если, например, заведует почтовой конторой, то и соответствующие погоны, хотя сам только регистратор. Какая все это чепуха, и у них у самих вид какой-то ненастоящий, и, видимо, они будто играют в маскарад.

После почты хотел пообедать и выспаться, как вдруг неожиданно пришло приказание выступать. Поехал к себе, выстроил транспорт и в шесть часов тронулся.

Погода отчаянная, невылазная грязь, и все время дует ветер. Появилось очень много холерных.

В пятнадцати верстах остановился на ночлег у помещика. Прекрасный особняк в два этажа с колоннами. Проспал как убитый до шести часов утра, а в шесть тронулся дальше. Ветер утих, погода разъяснилась. Шоссе как скатерть, и все обсажено деревьями.

6 января

В одиннадцать часов утра пришел в пункт назначения, деревню Белобржицы, где стоит на отдыхе вторая стрелковая бригада. Все шоссе на Варшаву сплошная аллея, я таких дорог в жизни не встречал. В шесть часов после разгрузки выступил обратно.

Офицеры обоза бригады, который стоит в Белобржицы, все имеют «Анну» за храбрость, хотя и не участвовали ни в каких боях.

Я хорошо пообедал в какой-то польской кухмистерской.

7 января

Пришел вчера в половине второго и сильно усталый, немедля же завалился спать. Днем получил деньги. Перевел жене 400 рублей. Затем в Европейской гостинице отыскал ванну и хорошо вымылся. После обеда выспался, а весь вечер сидел в канцелярии.

Дома, то есть у себя в избе, нашел неожиданно чугунку, и прямо около моего гинтера. Оказывается, хозяйка сжалилась и поставила ее. По утрам температура была действительно невысокая, два-три градуса, пар изо рта шел. Вообще хозяйка очень заботлива, кипятит мне молоко аккуратно каждый день. Ее муж приходит только ночевать, и то не каждый день, он работает по возведению окопов.

8 января

Сегодня встретил опять Данилович. Ехал к транспорту, который грузился, смотрю, она идет. Проводил ее до «Цукерни». Сообщила новости о бригаде. Давыдова отрешили от батареи и зачислили в резерв чинов за то, что лошади не вывезли передков на одном переходе. Вот и справедливость: человек участвует во второй кампании, пробыл на позициях всю Японскую войну, а теперь выгоняют! Нарушевич-длинный[1] заболел воспалением почек. Все это ей сообщил подпоручик Мирович, который вышел к нам в бригаду, а теперь прикомандирован ко второй гвардейской артиллерийской бригаде.

Целый день пробыл на ветру на погрузке, устал и продрог.

[1] Вероятно, Виктор Антонович Нарушевич.

9 января

Очень неприятная история: поймал сегодня артельщика — кормит гнилым мясом, подделывает счета, крадет. Ничего не может быть гаже, как грабеж своего же брата солдата. Не знаю пока, что теперь с ним делать. И всюду, куда ни ткнись, воровство, воровство и воровство — никому нельзя верить, просто наказание!

Все утро, даже весь день, сидел дома и в канцелярии. Написал Кате письмо, потом пристреливал немецкий карабин, прекрасное оружие. Затем обедал с котла, пища просто прелесть какая.

С почты привезли письмо от Кати. Все, слава Богу, здоровы и хорошо себя чувствуют. В восемь часов с Головковым отправились в кино смотреть «Сафо» по роману Додэ. Очень хорошо. Артисты играли отлично, и впечатление полное. В час был дома. Приходится скучать без книг.

10 января

Оригинальная история. Часов в семь вечера, приехав в город, зашел в магазин, чтобы купить для чая и сахара какие-нибудь коробочки. Ничего не нашел и разговорился с офицером, покупающим ружье. Оказывается, что в этом магазине все есть от чая и сахара и до охотничьих ружей. К нам подошел старик-полковник, оказался страстный охотник. Начал жаловаться, что он никуда не годится, стал глух, что был в отставке, получал пенсии 92 рубля, имел домик и две десятины, хорошо и спокойно жил с женой и дочкой.

— Ничего мне и не надо было больше! А вот теперь забрали, да чего доброго в окопы пошлют — а куда я гожусь!

Мы принялись его утешать и говорить, что ни в какие окопы его не пошлют. Затем стали говорить об охоте, и я поразил собеседников своих знанием охотничьего оружия.

— А знаете, я бы продал свое ружье и собаку, — сказал полковник. — Так ведь всем домом и выехал.

Я, разумееется, пошел с ним. Живет он в одной комнате. Накурено. Познакомился с его женой, уже очень пожилой женщиной. Меня поразило, что тут же была и их дочь — девочка лет восьми, а полковнику не меньше лет пятидесяти пяти, а то и все шестьдесят!

Показал ружье — хорошее, Франкотта, безкурковое. А собака — ирландский сеттер, сука. Предложил ружье попробовать; взял его к себе, бьет неплохо, есть некоторые дефекты в стволах, но это пустяки, думал, думал и решил покупать.

11 января

Съездил к полковнику. Он начал было уговаривать купить только одно ружье за сто руб., говоря, что сам заплатил за него до войны 240. Собаку ему жалко. Но я уже разохотился и стал его убеждать продать и собаку.

В конце концов, за 150 руб. он мне продал. Леда — прекрасная сука, славная, послушная, нежная. Сразу легла около моей кровати.

Я, конечно, не вытерпел и сразу же пошел в поле. Находит и стоит она отлично, немного горячилась, но это от того, что давно не ходила.

Застал у себя какого-то пана, который приехал из своего имения и, узнав, что я охотник, приглашает меня к нему поохотиться на коз. Сказал, что если удастся, то в пятницу или субботу утром приеду.

12 января

День провел, как всегда, занимаясь в канцелярии, осмотрел людей и лошадей. Сушкевич собрал нас, четырех командиров транспортов, и сказал, чтобы хлеб мы брали у еврея, который будет поставлять на все транспорты, а также и сено, овес отпускает пока интендантство.

Меня очень удивило, что сено отпускается по справочной цене 60 коп. пуд, тогда как здесь-то и цен таких нет, и самая высокая 30 коп. Несколько сот пудов я принял, а потом сказал Сушкевичу, что покупать дешевле в два раза. Сушкевич как-то промолчал. Головков мне все объяснил, он сказал, что Сушкевич с евреем в соглашении и что при нем, Головкове, еврей передал Сушкевичу пачку в 10 тысяч. Тут были жена Сушкевича, сам Сушкевич и еврей. Головков только что вошел. Сушкевич сильно смутился. Когда еврей ушел и они остались втроем, жена Сушкевича просто сказала:

— Да нечего тут особенно стесняться, довольно дураками были, всю жизнь служил и ничего не выслужил, хватит — нужно подумать и о себе, и детях.

Таким образом, все понятно: еврей поставляет хлеб и фураж по справочным ценам, что дает ему процентов пятьдесят барыша, если не больше, процентов десять-пятнадцать он платит Сушкевичу. Если принять во внимание, что в батальоне тысяча людей да вдвое лошадей, так сумма получится немалая.

13 января

Сено закупаю и от услуг еврея категорически отказался. Мой делопроизводитель предложил экономию не записывать и держать «на всякий случай», но я и от этого отказался и решил всю разницу между закупочными ценами и интендантскими записывать в экономические суммы.

Очень удачно охотился. Удачно в том смысле, что поднял и видел массу куропаток. Стрелял много, но неважно и убил всего лишь пять штук.

Сегодня узнал, что вскоре мы пойдем в Галицию. Замечаю в себе скверные признаки: стремление к деньгам. Много получаю и все время хочу копить. Это нехорошо. Главное, сейчас не такое время. Мои обеспечены, я им посылаю аккуратно, следовательно, о чем тут думать? А главное, что это не любовь к деньгам, которой у меня никогда не было, а просто некоторая жадность и, может быть, моя чрезмерная аккуратность.

14 января

Много работы с транспортом. Рано вставал, поздно ложился. Получил из Самайкина от Кати письмо. У них все благополучно. Скоро уходим в Галицию.

Леда — чудная собака. Ласковая, послушная, милая.

15 января

На фронте полное затишье. Кое-где местные бои. Весь день бегал между интендантством и казначейством. Получал ассигновки, талоны, отчетные листы. Казенные, 11 тысяч, положил в денежный ящик. Теперь, кажется, все более или менее наладилось, и в транспорте пока все благополучно.

Вечерами часто сижу в цукерне, где за стаканом чая читаю варшавские газеты. Скоро придется распроститься с этой жизнью: опять начнутся бесконечные переходы.

18 января

Благодаря этой войне русские ближе познакомятся с поляками, а поляки с нами. Я так, например, совершенно не знал ни самих поляков, ни их жизни, как, думаю, большинство из нас. У поляков есть многое, чему не мешало бы поучиться и нам. Они, например, отличные хозяева, любят землю и свои имения, которые содержат в образцовом виде.

Сегодня воскресенье. Вечер провел в цукерне, где играл с паном мирно на биллиарде на «едну склянку каве», то есть проигравший выставляет стакан кофе. Во вторник у поляков большой праздник.

19 января

С утра до одиннадцати сидел в канцелярии, потом ходил по зайцам. Зайцев масса, но снимаются далеко, так что даже не пришлось и стрелять. Затем ездил к Сушкевичу. Вечером пил чай в цукерне, чи-

тал газеты. А все же порядочно все это надоело, и как бы я променял все транспорты на свете и все положения на мирную, тихую жизнь.

Заснул поздно, зачитавшись романом Джека Лондона «Мартин Иден». Мне Лондон нравится. В нем много здорового, крепкого быта. Он, правда, не глубок, его романы не очень психологичны, но зато здоровы...

20 января

Сегодня весь день провел в транспорте. С утра раздавал жалованье до самого обеда. Пообедал отличными щами, гречневой кашей, час спал и снова пошел продолжать раздачу жалованья. Только в девять часов все закончил и теперь сижу и жду, когда вскипят сосиски. Леда лежит у моих ног, поразительно милая и умная собака.

Завтра день свободный и я поеду на коз.

21 января

Весь день пробыл на охоте. Выехал в пять с половиной часов утра. Погода неплохая — слегка подмораживает, тихо. Пан меня подвел. Я приехал, он еще не встал, потом стал пить чай и предлагать мне, я категорически отказался, тогда он послал за своим соседом. Пока сосед вставал, сообщил еще одному знакомому, в общем оказалось, что сразу он ехать не может, так как у него есть еще какое-то дело. Эти поляки удивительный народ — сладкие, неискренние. Меня все это очень извело. В общем, пошли по зайцам. Я взял четырех русаков и одну куропатку — стоило из-за этого ездить за сорок четыре версты, зайцев и куропаток и около нас достаточно. Русаки тут большущие, жирные.

Пришло распоряжение послезавтра, в пятницу, выступать.

22 января

Завтра выступаю. Пойду по старому маршруту· Илжа, Островец, Опатов, Сандомир, у Сандомира перейду государственную границу и направлюсь в Галицию.

На фронте затишье. Многие части отведены на отдых. Идут пополнения. Но в самом главном недостача: нет снарядов и нет тяжелой артиллерии.

Мой пан приезжал со мной проститься, но не застал меня дома — мне даже совестно стало, что я был с ним холоден. Ну, ложусь спать.

23 января

Ночевка в Илже. Иду по старому пути и даже опять остановился у гминного[1] старшины, где ночевал прошлый раз с нашим ветери-

[1] Волостного.

нарным врачом. Илжа — маленький еврейский городок Радомской губернии, замечателен тем, что на холме, у подножия которого он стоит, развалины замка королевы Ядвиги, построенного в пятнадцатом веке. Уцелела часть стены, и гордо возвышается башня. Она покосилась, но среди этих руин очень хороша, особенно издали. Разместив транспорт, поел консервы, куропатку, выпил чаю и принялся за «Мартина». Или оттого, что мой мозг изголодался по печатному слову, или потому, что Лондон хорошо пишет, но я просто упиваюсь им. Сейчас кончил «Мартина» и принимаюсь за Сегюра[1]. Как хорошо, что существует дешевая библиотека и эти маленькие удобные книжечки. Я сделал запас на вокзале в Радоме.

Гминному старшине, приютившему меня вторично, подарил зайца. Завтра в шесть часов выступаю дальше, в Островец. Сейчас заходил помощник гминного старшины прощаться и преподнес мне приложения к «Варшавскому дневнику», я ему в свою очередь подарил Джека Лондона.

24 января

Пришел в Островец и стал в ту же самую деревню. Но я поместился в другой избе — у какой-то польки, которая живет пятнадцать лет соломенной вдовой, так как муж у нее сбежал в Америку. Очень за мной ухаживает. Неудобно то, что спать, кажется, придется опять не раздеваясь: куда тут раздеваться, когда хозяйка тут же! Не люблю я этого ужасно, но что поделаешь, на войне ко всему привыкнешь.

Покончив дела с канцелярией, ездил в подвижной артиллерийский склад и встретил там Вадима Молоствова, когда-то отбывавшего лагерный сбор прапорщиком в нашей бригаде. Как много самых разнообразных и неожиданных встреч на войне. Я посидел у него, мы выпили чаю, много говорили и вспоминали. Завтра он обещал мне дать винтовки — я взялся достать Сушкевичу и доктору. Они меня звали к одиннадцати часам, с тем чтобы обедать и провести у них весь день. Послезавтра утром выступаю на Сандомир. Сейчас буду писать Ариадне Владимировне, дяде Осе и в Самайкино.

Между прочим, сюда ехал другой дорогой — не по шоссе, а лесом. Чудесная дорога. все двадцать пять верст сплошной строевой бор. Ах, этот лес! Какая красота! Бóльшая часть казенного, а последние восемь верст графа Велепольского.

---

[1] Возможно, имеются в виду произведения графа Луи Филиппа де Сегюра, автора «Записок о пребывании в России в царствование Екатерины II», — или его сына, Филиппа Поля де Сегюра: его перу принадлежат несколько исторических сочинений, в частности «История Наполеона и его великой армии в 1812 году» (1824).

25 января

Вечером был у артиллеристов. Они были необыкновенно милы, мы ужинали, потом сели играть в карты и проиграли всю ночь до утра. Я выиграл 210 руб., мне стало даже неловко — пользовался их гостеприимством, сидел у них и в конце концов еще и обыграл.

Мы трогательно простились. Вадим Молоствов снабдил меня тремя винтовками.

Отправил письма Ариадне Владимировне и дяде Осе.

26 января

Сегодня выступаем в шесть утра. В Опатове послал Кате выигранные 200 руб. Мне вполне хватит до 20-го оставшихся у меня в кармане 45 руб., тем более что тратить некуда.

К двенадцати часам дня погода разгулялась — небо прояснилось, стало солнечно. Однако к трем задул сильный северный ветер, и, несмотря на солнце, было очень холодно и скверно. Прошли сорок пять верст. Сейчас всех устроил и сам сижу в очень уютной комнатке. Хозяева русские. Сандомир опять поразил меня своими старинными башнями и костелом; как жалко, что нет времени разузнать и когонибудь расспросить подробнее про эту старину.

Вышла история с моими чиновниками. Ко мне назначили одного чиновника на исправление. Оказывается, он где-то проворовался. Выглядит франтом: с пробором, усы штопором и нафабрены, говорит витиевато — одним словом, из писарей главного штаба.

Смотрю — стоят лошади у гостиницы, спросил: «Кто?» Оказывается, чиновник и мой делопроизводитель. Я к ним. Они меня встретили и стали предлагать присоединиться. Я им сказал на это, что их место быть там, где транспорт, и что раз я там же, то они тем более должны быть при нем. На это франт начал возражать, уверяя, что в гостинице лучше. Я обозлился, назвал его хамом и решил в приказе объявить ему выговор.

27 января. Сандомир

Сегодня стоим в Сандомире. Снимал старинную башню с воротами, ведущими в город, и магистрат. Очень бы хотелось, чтобы вышло, эта башня мне ужасно нравится.

Чиновника Фурса, который остановился в гостинице, решил отдать под суд. Оказывается, моего приказания он не исполнил, в гостинице ночевал с женщиной, утром был пьян и не только решил не исполнять приказаний, но еще и глумился. В военное время наказывать нечем, и он, зная это и думая, что я его под суд отдавать не стану, позволяет себе все, что хочет.

Из-за плохого настроения совершенно зря избил бедную Леду и теперь ужасно мучаюсь этим. Ну, ложусь спать.

28 января

Пришел на ночевку в галицийский городок Развадово. Видимо, город был порядочный: много лавок, вывесок, но все пусто, все наполовину выгорело, и редкий дом не с пробитыми стенами или крышей. Всюду видны следы снарядов и пуль. От костела остался один остов. Здесь долго и упорно дрались — целый месяц. Вокруг все изрыто окопами, как и в Краснике, белеют крестики, одиноко и сиротливо.

Сильный мороз и ветер, тяжело.

По дороге увидел на опушке фазана — хотел его убить, но не удалось, а вместо него взял пару куропаток. Мои хозяева очень милы и обязательны, у них три девочки еще маленькие, сейчас кормил их конфетами.

Утром выступаю дальше.

29 января

Итак, углубляюсь в Галицию. Сейчас пришел в Сокаль, а завтра иду в Ржешев[1], или Ржешув. Тут уже настоящая суровая зима. Заносы и холод.

Только в Галиции можно постигнуть во всей полноте ужас войны. Деревни наполовину выжжены и почти пусты. Все в окопах — каждая рощица, все дороги, шоссе — все сплошное укрепление. Целы проволочные заграждения и совсем свежие могилы. Вот большой холм и на нем крест и надпись: «173-го пехотного полка братская могила, 86 человек».

«Ниско» все в развалинах. Тут стоят казармы 40-го пехотного австрийского полка. Были здесь и «цукерни», и рестораны, парикмахерские, прачечные. Одиноко покосившись, висит вывеска военного портного. Все выгорело, все полуразрушено, а через два дома в третий торчат обгорелые черные трубы.

Сами казармы очень хороши, но и на них следы шрапнелей. Крыши сорваны, болтаются железные листы, углы корпусов отбиты. Все здания выкрашены в желтый цвет. Я вошел туда — большой плац, обсаженный деревьями, в конце плаца кегельбан, у двухэтажного, довольно красивого здания погреб с надписью «для вин», видимо, погреб собрания. Остальные корпуса трехэтажные.

Попал, вероятно, дальше в управление, потому что валялись на полу и на столах масса бумаг, газет, бланков — все в полнейшем бес-

---

[1] В настоящее время Жешув, город на юго-востоке Польши, административный центр Подкарпатского воеводства.

порядке, грудами. Увидел какую-то книжку на полу, поднял, оказывается, французский роман. Я взял его в руку и, не глядя, задумался. Вспомнились Селищи, семь лет, проведенные там. Ярко представилась картина жизни в этих казармах, как живые встали образы всех этих лейтенантов, майоров, оберстов, которые тут служили, ели, пили, читали свои немецкие газеты, играли в кегли, потягивая пиво...

Стало обидно за свою родину — подумать только, на огромном протяжении всего Волхова стоят казармы, где сосредоточена масса войск, — и ни одних порядочных казарм, ни одного приличного помещения. Даже в Гатчине — ни гвардейские казармы кирасир, ни тем более 23-й бригады и в подметки не годятся этим казармам простого армейского австрийского полка в маленьком провинциальном городишке. Какое, в сущности, безобразие, неужели нам, русским, просто присуща свинская жизнь?!

А ветер шумел оторванными листами на крыше да гулко и пусто ударял дверьми и ставнями... И война показалась такой ужасной, такой отвратительной!..

Уходя, взял на память листок с широкой траурной каймой с памяткой генералу Рудзинскому фон Рудно. Кто он был, чем отличался? Бог его ведает, но этот траурный кусочек так подходил ко всей обстановке!..

30 января. Ржешов

Все больше и больше впечатлений. Утро было весеннее: грело солнце, таяло. День был тоже теплый. Но улицами Сокаля или Соколова — не могу установить, что правильнее, — шли наши резервы, и тепло и хорошо стало на душе от русской песни, разносившейся по Галиции.

И ведь где только эта песня не звучала? У стен недвижного Китая, и у Константинополя, и у Парижа, и у Берлина, и на далекой Аляске, и у знойной Кушки!..

Странный народ русские, что-то и то, и не то...

Огромные села, богатые усадьбы, а школы и костелы положительно стоят того, чтобы их поглядеть. Только всюду следы разорения и опустения. Одни женщины остались и дети, мужчин положительно нету. Тип женщин очень красивый, у нас в великорусской деревне, особенно в Поволжье, я таких не встречал: все высокие, стройные, в высоких сапожках, на высоких каблучках с подковками.

Дичи масса. Дуплетом убил пять куропаток, зайца прямо на лежке и потом еще куропатку.

Ржешов — город с узловой станцией. Тут есть гостиницы, рестораны, магазины — но все пусто и забито, все за малым исключением бежали. Сижу в очень опрятном домике у какого-то поляка. Съел суп из консервов, пью чай и наслаждаюсь отдыхом. Здесь у нас дневка. Все страшно дорого, особенно хлеб, которого почти нету.

У моего хозяина висит группа австрийских солдат, среди которых и он, когда отбывал повинность. Было это давно, теперь он уже старик.

31 января

Сегодня, воспользовавшись дневкой, ездил по городу. Вокзал такой, что по России надо долго поездить, чтобы в любом губернском городе увидеть что-либо подобное: большой зал с четырьмя кассами в два света. Для каждого класса — первого, второго и третьего — отдельные помещения и отдельные буфеты. Главная улица и улица 9 Мая большие, прекрасно мощенные, с отличными панелями и с хорошими домами по обе стороны.

Когда этот город освещен, с открытыми магазинами и окнами, он, верно, очень недурен. Уже совсем стемнело, когда я возвращался. Глядя на звезды, задумался о далекой России, которая особенно вдруг стала дорога на чужбине, в пустом завоеванном городе.

— Что, брат, — обратился я к своему трубачу, — как не кинь, а все клин, в чужой стороне плохо. Вот даже в Радоме и то как будто полегче жилось, все Россию напоминало, а тут не то...

Он словно обрадовался:

— Так точно, вашебродие, в чужой стороне плохо, в Радоме — там весело было, много наших российских живет, да и полячки другие, чем здесь, а тут не то, прямо и сам не знаю, как будто что за сердце хватает...

И по радостному тону, которым он откликнулся, я понял, что, когда мы молча ехали, и он, и я думали одну думу и оба грустили о России.

Только на войне, только в чужих разоренных краях можно испытать это чувство...

1 февраля. Ржешов

Мост через Сан снесло разливом, и мы будем здесь стоять неизвестно еще сколько времени. Сразу наступило тепло, снегу как не бывало, и дует теплый ветер.

Сегодня у меня большая радость — пришел мой Александр. Шел, бедняга, пешком из-под Келец, где бригада стоит на позициях. Принес сумку, мои котелки, оставил только седло, да куда было его та-

щить. Говорит, что боев нету, бригада стоит уже давно на одном месте, на позициях скучно и однообразно.

Был сейчас в усадьбе Мержеевича[1], там остановился Сушкевич. Дом — целый дворец с электрическим освещением, великолепной обстановкой. В комнатах гравюры, на полу ковры. Мержеевич, оказывается, был министром путей сообщения Австрии, а сын его — лейтенант австрийской кавалерии. Сам хозяин сейчас в Вене, а здесь управляющий, повар и прислуга.

Александр рассказывает, что командует батареей сейчас Тихобразов, а Александр Александрович Давыдов отрешен и уехал. Жалко бедного Давыдова.

Страшно разболелась голова — верно, контузия. Давно этого не было.

2 февраля

Осматривал усадьбу Янжеевича. Вчера я неверно записал фамилию. У него единственный сын, который женат и имеет двух маленьких детей. Смотрел комнату молодых супругов. Все прямо недурно. Сам лейтенант сейчас в войсках в каком-то штабе. Экономка говорит, что отец порядочно заплатил, чтобы сына устроили в штаб, хотя вообще рассчитывал, что совсем освободят.

В спальне висит и его портрет в форме австрийского улана на хорошей чистокровной лошади. Группы, которые развешаны по стенам, все изображают разные торжественные фамильные и семейные моменты, и все паны и паненки в старопольских костюмах. Костюм красив, но, пожалуй, слишком маскараден, особенно эта сабля сбоку. Многие мужчины носят усы и баки «а ля Франц Иосиф», видимо, что большинство галицийских помещиков весьма лояльно к нему настроены. В Австрии вообще поляки пользуются полным равноправием.

3 февраля

Сидел на вокзале и обедал, читая львовскую газету. В списке наград узрел свою фамилию — в одном награжден «Анной» 4-й степени «за храбрость», в другом — «Станиславом» с мечами и бантом.

Весь день был необыкновенный: тепло, безоблачное небо, яркое весеннее солнце. Снегу уже нет и в помине. Но галичане говорят, что это не настоящая еще весна, а что настоящая начнется около 10 марта по новому стилю. Все-таки, значит, ждать осталось недолго.

Читал сегодня много газет и журналов; теперь уже с почтой все наладилось, и мы получаем аккуратно все журналы и газеты, кото-

[1] Фамилия указана неверно, см. запись от 2 февраля 1915 года.

рые можно купить на вокзале. Хлеб дорог, 20–25 коп. фунт, коробка спичек 5 коп.

4 февраля

Сегодняшний день ничем не замечателен. Обедал опять на вокзале. Купил газет, которые до сих пор не читал. День облачный, пахло все время дождем — дождем весенним. Порой выглядывало солнце. Кажется, послезавтра уходим, потому что мосты готовы. На душе что-то тоскливо: во-первых, все время один, или служба и сидение в канцелярии, или сам с собой, во-вторых, нет-нет, а мысль переносится к родным местам. Когда-то удастся попасть туда, и когда будет конец всей этой канители, но это, разумеется, только временная слабость, такое настроение. Надо работать, надо служить и только об этом и помышлять.

Жители все очень хорошо настроены, и чувствуешь себя здесь, особенно пожив несколько дней, хорошо и свободно.

5 февраля

Брюшной тиф у меня в транспорте что-то разрастается. Каждый день одного-двух отвозят в госпиталь. Мало утешительного. Увлекаюсь газетами и каждый день прочитываю две-три, что называется, от доски до доски. Вчера был недурной фельетон в «Русском слове» — фельетон Чирикова «Ночь в обозе», хорошо он пишет.

Все эти дни как-то нездоровится: озноб, мутная голова — хина из Катиной аптечки очень помогла. Три ночи не могу спать и засыпаю под утро в три-четыре часа.

Всю Восточную Пруссию наши очищают. Когда же, наконец, мы сломим немцев? Порой кажется все это предприятие прямо безнадежным, но, разумеется, это только так кажется от нетерпения.

6 февраля

Думал, что выступаю завтра, но из-за сена, которое удалось отыскать, остался еще на день, и идем 8-го утром.

Много думал о семье, о своих. Что там в будущем ждет меня, как угадать, как узнать?!

7 февраля

Сегодня целое происшествие. У нас уже два-три дня как исчезли три лошади. Добиться я ничего не мог: кто уверяет, что сами сбежали, кто, что свели. Сегодня войт сказал, что в версте живет отдельно крестьянин по фамилии Потер и что он всегда ворует, его все боятся, и у него есть оружие.

Я написал коменданту, тот прислал двух конвойных, я взял своих трех солдат, и мы отправились, провожаемые точно в битву.

Люди оказались подозрительные, тем более что не раз уже попадались, но подвала нам отыскать не удалось, а лошади какие-то, видимо, были, да, как говорится, сплыли. Так мы ни с чем и вернулись.

8 февраля

Сегодня утром выступили. Если немецкий офицер в своем дневнике записал, что дороги у нас сверхъестественные, то как назвать здешние проселочные, я уж и не знаю. Ничего подобного не только не видел, но даже и не представлял себе. Зато местность очень красива: горы чем дальше, тем становятся все больше. Шоссе, вернее, дорога, носящая это название, вьется змеей, то поднимаясь, то опускаясь. С каждого гребня открывается панорама на холмы: поля по склонам и раскиданные то там, то тут халупы. Рядом с шоссе идет железная дорога, то перевиваясь с ним и пересекая, то убегая вдаль. То переезжаешь полотно по сводчатому каменному виадуку, то оно идет вверху по мосту, а шоссе внизу. Мосты через Санок разрушены, все средние фермы взорваны, но наши саперы крайние фермы поставили на место средних, а первые поставили из леса. Шоссе покрыто липкой жидкой грязью, доходящей по колено лошади — ничего подобного не видел. Слезть с лошади немыслимо. Как проходит пехота по таким местам?

Ночью пришел в Стришев — заброшенное, загаженное и разоренное местечко. Видимо, были недурные домики, нечто вроде дач с приличной обстановкой, но все теперь изломано и разорено. Александр топит печку остатками забора. В одном доме с выбитыми окнами и сорванными дверьми стоит прекрасный рояль, у него сломана крышка. Он весь исцарапан и изрублен — вероятно, наши казаки. Я узнал об этом рояле, потому что, проходя, вдруг услыхал странные звуки. Зашел, оказывается, несколько моих молодцов тыкали пальцами в клавиши.

Хочется спать, сейчас лягу. Съели с Ледой суп из консервов, больше ничего нет. В ушах стоит жалобный лепет ребятишек, голодных и оборванных: «Пане едну копиенку прошу».

Стараюсь щедрее платить всем этим хозяевам, у которых останавливаюсь.

9 февраля. Стришев

Утром ухожу. Галицийские поляки любезны, но настроены за австрийцев, и под их любезностью чувствуется недоброжелательность. В душе они если и не уверены, то уж несомненно все хотят победы Австрии и все уверены, что Варшава уже два месяца как взята, а Кав-

каз завоеван турками. Переубеждать их бессмысленно, они кивают головой, сладко улыбаются и соглашаются: чего спорить, ведь русский офицер иначе говорить и не может!

Сегодня дивная лунная ночь. Тихо и слегка морозит. Из-под Перемышля слышен гул канонады. Раскинулись светлыми, яркими точками костры моих людей, которые группами стоят или сидят около них. В некоторых группах молчаливо смотрят на огонь, в других перебрасываются отдельными словами, а в иных какой-нибудь рассказчик говорит сказку·

— И говорит Змый: «Дай мине испите еще одну кружку». — И дал Бронца и бачит, як у змия лопнуло одно кильцо. «Дай еще», — опять выпил змий, опять лопнуло кильцо. А як выпил четвертыю, так бачит Бронца: змий совсим освободилси... — долетали до меня тихие слова сказки. И невольно пахнуло далекой милой Россией, вспыхнуло в сознании детство, далекое, невозвратное, с его сказками.

Маршрут изменили: иду не в Кросно, а в Лиско.

10 февраля

Пришел на ночевку в Бржошов. Путешествие по Галиции — одно горе: так все разорено, в таком все запустении, что на душе делается грустно. Все разрушено, все в полусожженном виде, и в этих развалинах живут полуголодные оборванные женщины с кучей таких же ребятишек. По задворкам и помойным ямам валяются неубранные полусгнившие трупы лошадей, внутренности которых, оставляя кровавый, вонючий след, растаскиваются собаками.

И ведь это был богатый культурный край! Погода под конец стала скверной, захолодало, дует резкий ледяной ветер — чего доброго, пожалуй, пойдет снег. Хозяин дома, в котором я остановился, разорен так же, как и все в округе, и, стыдно сказать, на три четверти потрудились над этим наши казаки. И все в один голос говорят это, все от них в ужасе.

11 февраля

Сейчас восемь часов утра. Снегу выпало на четверть аршина, все бело — ослепительно. Все готово для выступления, и сейчас двигаюсь на Санок и Лиско.

Лиско. Вечер. Вид чем дальше, тем величественнее. Шоссе вьется между гор, покрытых елями, соснами и пихтой. Санок раскинулся на горе, у подножия которой течет речка Санок. Всюду рядом с польскими названиями не немецкие, а русские, тут всюду живут, вернее, жили русины. Около четырех часов перешел широкий и быстрый Сан. Очень красивая река, особенно среди этого величественного

горного пейзажа с крутыми обрывистыми берегами. Вспомнил детство и Кавказ...

В шесть часов пришел в Лиско, где сейчас сижу и пью чай. Завтра дневка, затем иду на Самбор[1].

Шоссе невообразимое — изрытое, все разбито и покрыто с пол-аршина липкой, скользкой грязью. Сел на лошадь, и слезть уже нельзя: делай что хочешь, иначе по колено будешь в грязи. Возы, передки, зарядные ящики и автомобили все время вязнут. Темными пятнами они стоят по дороге с безнадежно нукающими солдатами, которые, уже изломав бичи и плетки, сами по колено в грязи подпирают телеги или ящики. А вот автомобиль и впряженные четыре белых рогатых вола — и эти стоят, несмотря на гам и крики, и дико шарахаются то в одну, то в другую сторону.

Здесь уже близко позиции — везут раненых и больных, а туда снаряды, которых все больше и больше не хватает. Из Буковины отступаем, на Висле тоже.

12 февраля. Лиско

Утром выступаю дальше. Получил для нижних чинов винтовки и патроны. Грязь сказочная — перейти улицу целое происшествие. Одна женщина пыталась перейти при мне улицу, пыталась несколько раз, да так ничего и не вышло. Конный, если едет по улице, надо немедленно бежать, потому что всего обдаст с ног до головы. Грязь жидкая, точно кисель. Весь путь, сделанный через Бржошов, Стришев, Санок и Лиско, представляет собой картину полнейшего разрушения. Вот она, война, вот где яркая, полная картина войны! Вот где ужасное, смрадное, отчаянно-уродливое, дико-жестокое лицо войны. Одичавшие псы с кровавыми мордами, жрущие зловонное разлагающееся мясо и при приближении только отбегающие на десяток шагов и злобно глядящие — когда можно опять подбежать и жрать труп...

Места, где кипит жизнь, теперь пусты, и лишь кое-где остались евреи со своими длинными пейсами и в лапсердаках, чтобы торговать. Здесь, в Лиско, тоже все дома сожжены, окна выбиты, двери пошли на растопку. Один галицийский еврей с длинными-предлинными пейсами торгует, и очень бойко, хлебом, табаком, спичками и всякой мелочью, продает недорого.

Один предприимчивый казак, донец, бодрый и свежий старик, открыл торговлю консервами, маринадами и даже кетовой икрой. Берет не очень дорого и торгует бойко.

Сейчас мимо моего окна холодного полуразрушенного домика, где я остановился, рысью проехал казак, обдавая каскадами грязи

[1] Город в верховье Днестра в 75 км от Львова на Украине.

стены домов. У него под правой рукой было что-то квадратное, красное, я даже выскочил на крыльцо — так заинтересовался. Оказывается, стащил мягкое сидение кресла с бархатной обивкой. И к чему ему это? Удивительные грабители эти казаки.

Все, что уцелело, пытаются оберегать; есть полиция и стража и т.д., но движение войск так велико, грязь так ужасна, что уследить нет никакой возможности.

Комендант мне возмущенно рассказывал, что он подает рапорт на подпоручика Казанского, командира 772-го транспорта, потому что он в отведенной ему квартире напился пьян, наскандалил, обидел семью, у которой остановился, и в довершение всего увез какой-то тюфяк. Этот Казанский из запаса, имеет, кажется, имения в нескольких местах, женат и поразил меня с самого начала неразвитостью и тупостью. Я вчера в девять часов, как только пришел, зашел к нему. Застал его в полупьяном виде, в загаженной, видимо им самим, комнате, окруженного унтер-офицерами, которым он объяснял, что мы все пропали, что нас привели на съедение австрийцам и т.д., и потому он выступает в двенадцать часов ночи.

Написал домой письма. Очень грустно без вестей, газет.

Везут раненых с позиций, везут снаряды туда — вот все, что мы знаем. Что-то болтают про Румынию, будто она собирается выступить против нас, да, наверно, это утка...

13 февраля. Стажава

Пришел сюда на ночлег, сделав больше тридцати верст. Почему-то очень устал. Тут везде снег и холод — сильно замерз. Жители преимущественно русины. Все разорено дотла, и бедные детишки питаются тем, что дают им проходящие солдаты. Но вообще, видимо, и раньше они жили бедно — села все небольшие и убогие, мои солдаты и хохлы-обозники поражаются отсутствием полей:

— Все горы да лес, а где же хлеб-то они сеют? — удивляются они. Я тоже поразился не менее их: действительно, горы да лес и больше ничего; оказывается, что хлеба своего нет, а жители занимались возкой камня и леса, а хлеб получали из Венгрии.

Я сейчас у поляка — лесничего казенного леса; хороша изба, даже с претензиями, а комната рядом вся заставлена хлебами. Он запасся мукой, и его жена и невестка пекут эти хлеба и продают их проходящим войскам по 30–50 коп. за двухфунтовой хлеб в зависимости от сорта. Лесничий — охотник, и я, увидя шкуру кабана, разговорился с ним об охоте.

Хлеб чудесный, или, может быть, потому, что я проголодался?

14 февраля

Утром проходим Хиров. Здесь взял тридцать семь пленных офицеров-австрийцев и их вестовых — аккуратно сдаются все с вестовыми! Рассадил их по подводам и вез. Мои солдаты начали с ними сразу болтать, оделили их хлебом.

В Самбор, куда перешел штаб 8-й армии, пришел в восемь часов вечера. Назначили для стоянки какую-то деревню-слободку в семи верстах. Шел верст десять, взошла луна, по небу бежали серебристые облака, морозило, было уже около десяти часов. Слободки все не было, и никто ее не знал.

Разведчики мои тоже ничего не нашли. Устали все и измучились страшно — ведь шли с восьми часов утра без передышки. Наконец в пятнадцати верстах в двенадцать часов ночи стали на ночлег, пройдя за день более пятидесяти верст. Ах, никогда не забыть, как был зол! Но тепло, относительный уют, какой может быть в скверной, вонючей халупе, смягчили меня, и сердца мои прошли.

Поел, выпил чаю, лег и, несмотря на усталость и три часа ночи, наслаждался газетами, которые успел купить на вокзале, когда проходили город. В Восточной Пруссии опять разбиты. Ужасно — кажется, никогда не будет этому конца.

15 февраля

Самбор уже порядочный железнодорожный узел и недурной городок. Масса солдат, военных, движения. Посреди базарной площади, на которой кишмя кишат евреи и покупатели-солдаты, возвышается каланча, на верхушке которой гордо вьется русский флаг. Большое и красивое здание магистрата, потом семинария, которая занята штабом генерала Брусилова. Однако ужасающая невероятная грязь, грязь безнадежная. Сегодня чудный весенний день: тепло, солнце греет по-летнему, воздух упоительный.

Опять жалобы на казаков. Говорят, что они не только грабили, но и насиловали всех женщин и девушек. Были случаи, что евреек выбрасывали из окон второго и третьего этажей.

Сушкевич то же самое говорит. Это же слыхал и от многих офицеров.

16 февраля

Сегодня со своими коллегами представлялся в девять часов утра своему начальству. Командуют транспортом поручик Головков, офицер гренадерского пехотного полка, подпоручик Казанский, чиновник Стамбулов из чиновников мирного времени, служивший в Кишиневе, и, наконец, я.

Сушкевич поселился в городе, живет в довольно большой уютной комнате с приличной обстановкой. Придется заняться транспортом: здесь большие строгости.

День был чудесный: тепло, солнечно, даже жарко. Я послал Кате и папе телеграммы. Обедал на вокзале, в четыре с половиной был дома у своего поляка, который сосет неизменную трубку и с постоянной хитрой, любезной улыбкой на физиономии. У него дочь, муж которой в плену у нас в Сибири. Видимо, хорошо живут: большой каменный дом с просторными комнатами, вообще вся деревня большая и, видимо, была зажиточная. На нашем фронте полное затишье, на немецком как будто несколько лучше стало.

17 февраля

Отправил еще две телеграммы с указанием, куда писать. Обедал опять на вокзале и упивался газетами. Накупил целую кучу журналов и теперь буду читать. С глубоким возмущением читал «наших корреспондентов», которые пишут с восторгом о Галиции, о богатстве края, о том, как блаженствуют жители и как все благоустроено. Где они все это видели, интересно знать? Будто слепые, право! Очевидно, прокатили в автомобиле с каким-нибудь штабным офицером и готово дело, а на самом деле ничего ровно и не видели!

Погода начинает портиться, становится холодно.

18 февраля

Сегодня совсем холодно, а сейчас так даже форменная метель. Чувствую себя довольно скверно — сильное расстройство желудка. Принял меры, но пока что мало помогло. Надо беречься — вчера на вокзале ел какую-то дрянь.

Ездил со Стамбуловым в город, хотели попасть в кино, но, оказывается, никаких картин нету, хотя афиши и красуются. Выпили чаю и что-то скверное съели в когда-то, видимо, великолепном «Отеле Бристоль»; теперь там довольно походный вид.

19 февраля. Под Самбором

День прошел без всяких событий. Утро провел в транспорте, занимался в канцелярии, потом ездил в город к Сушкевичу, который проверял отчетность моего делопроизводителя.

Сушкевич говорит, что надо было бы командировать офицера за разными покупками и имуществом в Россию — вот бы хорошо бы, если меня, — он, кажется, склонен к этому. Вечерами я обычно сижу, пишу, потом читаю, пока не устану, и ложусь, продолжая читать в кровати. Это дурная привычка, но такая приятная.

20 февраля. Под Самбором

С транспортом перебрался в другую деревню всего в трех верстах от города и тут обосновался. Много ушло времени на подпись бумаг, требований и пр. Был со Стамбуловым в интендантстве, на почте, а потом питались на вокзале, читая, по обыкновению, газеты. Стамбулов из запасных, в мирное время был бухгалтером в банке — он славный человек.

Холодно и по утрам морозит. Сильный ветер и временами снег.

21 февраля. Под Самбором

Получил деньги. Отправил Кате и 25 маме в Москву. Был у Сушкевича, оказывается, он устроил мне поездку на два дня во Львов. Бесконечно доволен, сейчас собираюсь.

Сижу вместо Львова весь в грязи у себя дома. Во Львов сегодня уже нет ни одного поезда, поэтому еду завтра, а весь в грязи, потому что моя подлая кляча, на которой я езжу, невероятно труслива и больше всего боится автомобилей. Когда я ехал на вокзал, она увидела машину и стала «бочить», поскользнулась и упала на правый бок — я еле успел освободить ногу; хорошо, что цел остался и это случилось, когда я еще ехал на вокзал и не знал, что поезда нету!

22 февраля. Воскресенье

Вот я и во Львове. Что за вокзал! Ни с чем его сравнить не могу, потому что в России таких вокзалов не видел. Ехал не без приключений. Этапного поезда не мог дождаться, и комендант предложил отправиться на паровозе, который шел во Львов в ремонт, так как у него соскочил бандаж на переднем колесе. Проехали треть пути — бандаж все время грохотал и, наконец, соскочил, и паровоз сошел с рельсов. По счастью, это случилось недалеко от разъезда, туда я и пошел. Вскоре пришел этапный поезд.

Успел побывать в кафе, где светло, шумно, масса народу: офицеры всех чинов и родов оружия и кокотки. В поезде ехал с горцем Дикой дивизии: у него прострелен весь бешмет, оказывается, шел в атаку на деревню и в него из окна из карабина стрелял австрийский офицер. От волнения промахивался, и горец его зарубил. У него четыре креста солдатских, ему сорок два года, он хорунжий. Призван из запаса. Кроме войны ничего не признает. Большой комик, настоящее дитя природы! Ходит как дома, никого не стесняется, всем говорит «ты». Стал и мне говорить, только в кафе спохватился:

— Ты уж извыны, такая прывычка, всем «ты» говорю — буду с тобой на ты — хочешь?

Ну отчего бы мне не хотеть, конечно, захотел.

Завтра займусь казенными делами, а потом осмотрю город — целых два дня — времени хватит.

23 февраля. Львов

Сегодня день был посвящен делам, но все же познакомился с городом. Купил путеводитель, отметил все достопримечательности, завтра беру извозчика и осматриваю.

Город очень хорош, особенно главная улица — Карла Людовика, на которой стоят памятники Собескому и Мицкевичу. Великолепные магазины, чудные тротуары — пожалуй, не уступят Невским. Магазины знакомы хорошо, так как исходил их чуть не все, покупая и отыскивая подарки. Я, как немец, решил всем к празднику купить подарки, и накупил на изрядную сумму 50–55 руб.

Наталочке купил чудесную обезьяну шимпанзе[1]. Большую, с коричневыми ладонями, как у живой. Да и вообще она так хорошо сделана, что напоминает настоящую. Юрке[2] куклу — австрийского офицера в полной парадной форме, Кате три флакона для духов в красном сафьяновом футляре, Ольге Александровне ножницы в футлярчике, папе достал старинную книгу. Думаю послать Александра в Самайкино, да и в Петербург, может быть, проедет.

Был в бане, хорошо вымылся, поел в кафе, а сейчас только десять часов, я уже в номере и думаю завтра пораньше встать.

24 февраля. Львов

Осматривал и снимал достопримечательности. Чудный костел в готическом стиле и еще лучше часовня Боимов — памятник Ренессанса XVI века. Был в доме Яна III[3], смотрел прекрасные портреты польских королей, картины битв. Невольно перенесся в то далекое время, когда здесь жили, раздавались голоса, входили с трепетом в тронный зал Яна III, где теперь в эту минуту стоит русский офицер, участник великой войны 1915 года.

Да Бог ведает, что будет через несколько сот лет, не будет ли тут стоять какой-нибудь другой завоеватель?

Долго не мог уйти из Кармелитского монастыря[4], построенного двести лет назад Потоцким. Внутри он весь белый с золотом, густая

---

[1] Уже в эмиграции, в Харбине, Иосиф Ильин напишет для своих дочерей Наталии и Ольги прелестный рассказ, историю этой обезьяны. См.: *Ильин И.* Апа // Русский голос (Харбин). 1926. 5 января.

[2] Юрий Васильевич Денисов.

[3] Дворец Корнякта, памятник ренессансной жилищной архитектуры во Львове.

[4] Монастырь и костел кармелиток босых во Львове.

колоннада, основание колонн из мрамора, а колонны алтарные целиком из голубого мрамора.

Приходил два раза. Второй раз не было ни души, и я сел за парту, поставил аппарат и долгой выдержкой снял внутренность. Необыкновенно хорошо было сидеть в полной звенящей тиши и смотреть на всю эту красивую роскошь храма.

Прекрасный вид открывается с холма Люблинской унии: синеют окрестности, дымкой фиолетовой тянутся дали, откуда наступали русские полки, «стальной щетиною сверкая». Внизу стрелы готической часовни Боимов, купола монастыря...

В трамвае, на вокзале, встретил сестру Зубова[1], лицеиста, товарища Всеволода Мусина-Пушкина по московскому лицею, который последнее лето приезжал в Самайкино с Пушкиным.

По улицам шли полки, одна из сидящих сестер спросила другую, что это за палочки у солдат за спиной, я объяснил, что для палаток, и, видя, что они общедворянской организации, спросил, какого они поезда, оказывается, что 151-го.

— А что? — спросила одна из них.

— Да у меня родственник Миша Толстой заведует 151-м.

— Так вы не Ильин ли? — радостно тогда воскликнула сестра.

Ну тут и пошло. Оказывается, Екатерина Николаевна Зубова, разумеется, всех знает и знает, что я женат на Кате Воейковой, другая сестра, оказалось, все время работала в Черногории в институте с Софией Петровной Мертваго. Я взглянул на ее значок и спросил, что это, а она ответила, что получила его в Черногории. Тут уж совсем стало интересно. Пошли воспоминания, разговоры, вспомнили Петербург, Всевочку[2] с его стихами, потом всех Мертваго.

Одним словом, я оказался в их поезде, где пил чай и беседовал, как давно знакомый, свой человек.

День выдался редкостный: солнечно, тепло, хорошо, как раз для осмотра.

Мой этапный поезд должен был идти в семь часов вечера, но так как 151-й отправлялся в двенадцать и тоже на Самбор, то я, пользуясь случаем и тем, что меня очень уговаривали, устроился отлично в санитарном.

25 февраля

В десять утра, прекрасно выспавшись, с санитарным № 151 приехал в Самбор. С утра форменная метель. Валит снег, все занесло,

---

[1] Вероятно, Николай Николаевич Зубов.

[2] Всеволод Георгиевич Мусин-Пушкин.

и весны нет никакой и в помине. Как удачно съездил, повезло с погодой.

Заезжал к Сушкевичу, потом сделал в канцелярии все дела, пообедал с котла и лег спать, так как все-таки устал, да и лег вчера поздно с разговорами.

Завтра все будет готово для отправки Александра: приготовлю письма, дам мои подарки.

Получил письмо от мамы, оно шло сорок пять дней и написано 31 декабря, так за мной и ходило. Но все-таки хорошо налажена теперь почта, что доходит корреспонденция.

Вместе с маминым пришло письмо из бригады — Катино от 12 декабря вместе с открыткой Мары. Эти письма были тогда написаны, когда я обретался еще в Холме.

Александр, кажется, очень доволен, что едет в Россию, я, положим, его понимаю.

26 февраля

Завтра Александр едет, все для него готово. Написал длиннейшие письма Кате и папе. Погода сегодня еще хуже, чем вчера, снег валит не переставая, дует ветер — не представляю себе, как послезавтра пойдем за сеном. Сегодня, например, поезд из Львова не пришел из-за заносов. Как всегда, старожилы говорят, что такой погоды они не помнят.

Во Львове искал Павла[1], но узнал, что он уехал в Киев.

27 февраля

Сегодня уехал Александр. Снабдил его письмами и подарками. Все утро раздавал жалованье, потом обедал на вокзале, часа полтора спал и снова раздавал до девяти вечера. Завтра утром иду за сеном в Луки, что в двадцати одной версте. Привезем и сдадим в Самбор. Погода поразительная: валит снег не переставая, уже больше аршина нападало, и при этом ветер. Но жители говорят, что это скоро пройдет и должно установиться тепло: ведь по-здешнему уже март месяц. Жители боятся нас, но относятся не особенно доброжелательно, и, видимо, мы не особенно желанны здесь. Они к Австрии относятся с большей симпатией, потому что здесь все поляки. Думаю, что мы, русские, сами виноваты, ибо никогда наша политика в отношении Польши не была правильной, часто зависело многое от произвола и самодурства отдельных личностей, иначе говоря, не было ни системы, ни раз твердо усвоенного принципа.

---

[1] Павел Дмитриевич Воейков.

28 февраля. Луки

Сейчас я в Луки расположился на ночлег Выступил из Самбора в восемь с половиной утра и пришел сюда в два часа дня и немедленно начал погрузку. Теперь все сделано, и я сижу у пана Юркевича, который арендует имение — «посессор», как тут говорят, и поставляет теперь сено. Зашел к нему местный судья, и мы разговорились.

— У вас в России бесправие. Ведь вот у немцев, они действительно преследуют язык, да, правда, но у них есть законы, и эти законы никто не преступает. И они, поляки, знают, что они могут делать, на что имеют право и на что не имеют. А у вас в России? — закончил судья, обращаясь ко мне. Я не мог не согласиться с ним. Мне было немного стыдно за большую, могучую Россию — Россию бесправия, Россию произвола. В эту минуту почему-то вспомнил декабристов, вспомнил, почему они сделались декабристами...

Неужели эта война не принесет свободы, прав и всего того, за что мы воюем?

Утром в восемь часов ухожу обратно в Самбор. У Юркевича масса оленьих рогов — оказывается, в Карпатах много оленей, да каких! Вот бы словчиться да поохотиться!

Где-то сейчас мой Александр, хоть бы скорее возвращался да рассказал, что и как дома!

1 марта. Самбор. Воскресенье

Пришел в два часа дня назад и на вокзале сдал груз. Прапорщик Анненков замечательно милый и сердечный человек, все время зазывает к себе, всех кормит, старается чем-нибудь угостить.

Стали хорошо приходить письма и от Кати, и от папы. Замечательно, как отцу не везет всегда: только наладилась возможность перевода и получения лучшего места, как Зуров[1] умирает. И ведь всегда так. Катя пишет, что положение дяди Алеши Толстого[2] очень серьезно и язвы в желудке не проходят.

2 марта

Вчера после разгрузки сидел у Анненкова, где познакомился с прапорщиком Цуриковым из Дикой дивизии и опять увидел пана посессора и судью. Судья получил интересную бумажку, которая начинается так: «Предписываю Вам по праву войны начать занятия и т.д.»

Мне очень понравилось это: «по праву войны».

---

[1] Вероятно, речь идет об опасном для жизни состоянии, но не о смерти: Александр Александрович Зуров скончался не в 1915 году, а в 1937-м.

[2] Алексей Александрович Толстой.

Сейчас встретил опять на улице Анненкова, который так радушно упрашивал с ним пообедать, что я согласился и поехал к нему и великолепно пообедал.

Погода отвратительная, грязь по колено, временами моросит мелкий дождик; единственная надежда, что снегу-то уж и метелей больше не будет.

Получил карточки Наталочки, что за прелесть девонька, потолстела, поправилась...

3 марта

Утром стрелял из карабина, когда был вызван к Сушкевичу, с которым говорили о канцелярских делах. Обедал поздно на вокзале. Читал газеты, которые становятся очень однообразны, и видно, что перемен никаких существенных нету, не видно и конца.

4 марта

Вчера вечером написал письма Кате и ее подруге по курсам Каменской. Каменская очень симпатичная девушка, необычайно остроумная и пишет вроде Тэффи. Когда мы поженились, она написала нам в Селищи поздравление в остроумно-шутливом тоне. Я ей ответил. Ее отец — доктор, живут они на Каменноостровском в собственной квартире. Вся семья, видимо, очень славные люди. Они евреи.

Настроение что-то неважное. Берет сомнение, хорошо ли я делаю, что сижу с транспортом, а не на позиции, минутами как-то стыдно. А с другой стороны, разве я тут не приношу пользы? Разве не сберегу казне десятки тысяч рублей и не забочусь о людях и имуществе?..

Стамбулов приехал сегодня из Львова, привез мне коробку сигар.

5 марта

От Кати все чаще приходят письма с фотографиями Наталочки. Верно, Александр уже доехал и, может быть, даже уже из Самайкина отправился в Петроград.

Купил отличный автоматический револьвер австрийский за 35 руб.

6 марта

Стрелял из револьвера. Бьет хорошо, очень удобен, хорошо разбирается. Сегодня делал смотр людям, лошадям и повозкам.

Погода не исправляется, не видно просвета всей этой слякоти. Судя по газетам, дела наши идут хорошо.

7 марта

Получил телеграмму, что Александр благополучно доехал.

Вечером был со Стамбуловым в кино, было много комичных картин, и оба веселились.

9-го иду в Луки за сеном, там переночую, 10-го погружу и 10-го же вернусь.

Сушкевич потребовал мои бумаги для представления дальше, в чем дело, не знаю.

8 марта

Сегодня обедал на вокзале, а потом ездил покупать для транспорта экипаж. Очень недурной фаэтон с упряжью купил за 151 руб. Теперь будет возможность хоть поехать, когда надо, а то все время верхом и каждый раз надо брать с собой вестового, он должен держать лошадей и пр.

Завтра в два часа дня ухожу в Луки. Из-под Перемышля все время несется канонада, так и бухают пушки и день и ночь. Англичане и французы потеряли три броненосца у Дарданелл — все утонувшими.

9 марта

Сегодня был в городе, отправил домой телеграмму. Вернулся в транспорт, обедал с котла, а в три часа выступил, и по дороге сообщили, что Перемышль взят, что в Самборе торжество, кричат «ура», «евреи плачут» и т.д. Странно, я был в городе в двенадцать часов и ничего не заметил?

В Луки пришел в восемь часов вечера и застал мадам Юркевич в большом горе, так как ее мужа по доносу какого-то здешнего типа потребовали во Львов и три дня от него нет никаких известий. Она очень боится, что его ушлют вглубь России.

Уж не знаю, но кажется мне, что все это зря с ним проделали. Анненков, добрая душа, в грустях, так как он взялся быть опорой мадам Юркевич. Застал судью с женой и до ужина играли в дурака и короли — я несколько развеселил всех. Подумать только, где-то в Галиции, в каком-то местечке Луки играть в короли, игра, в которую двадцать лет назад в Ставрополе выучила меня Анна.

10 марта

Привез груз, пообедал на вокзале и поехал к Сушкевичу. Перемышль, оказывается, действительно взят — вот это хорошо. Сушкевич устраивает мне командировку — славный он человек, право. Подал уже рапорт, в котором пишет, что ему надо послать офицера, говорит, что это пройдет. Я так рад, что и думать об этом не смею.

Очень устал, но газету все-таки прочел.

11 марта

Война — это кошмар, везде и всюду зло. Одни крадут казенные деньги и заботятся о наживе, другие грабят жителей, третьи издеваются над этими жителями и ничего не признают.

Русский народ — великий народ, но он некультурен и темен. У нас мало культурных и в высших сферах, и в этом все зло — некому править. И строй держится на общей темноте и некультурности, в свою очередь и власть попадает в руки кому попало, темным и невежественным людям...

12 марта

Разрешение о командировке пришло. Завтра сведу транспорт в Волощу, в субботу приеду один верхом и 15-го, если ничего не случится, поеду.

По случаю такой радости пошли в кино. Нас было четверо: Стамбулов, Анненков, я и ротмистр   новый командир транспорта. Этот ротмистр — оригинальный тип: где он не был, даже исправником служил. Ему пятьдесят два года, но на вид лет тридцать пять. Сажень ростом, рука — что лапа медведя, а голос — труба.

После кино со Стамбуловым и Анненковым ужинали в «Рояле», где встретил Головизнина, товарища по морскому корпусу, которого исключили при Доможирове еще в третьей роте вместе с Клеопиным. Головизнин — прапорщик.

13 марта

Утром устроил все дела, подсчитал деньги, получил, что причитается, в казначействе, запечатал ящик и в два часа отправил транспорт в Волощу, а сам выехал в четыре и нагнал его под Луки. Погода стояла чудная, а сейчас опять холод и идет крупа. Завтра покидаю транспорт, еду в Самбор, где должен получить бланки, и 15-го сяду в вагон. Пленных ведут видимо-невидимо, все шоссе запружено. Сейчас остановился у униатского священника, которого австрийцы забрали в плен за «москвофильство», но дочь его тоже замужем за священником, которого в Самборе успели освободить русские. У старой хозяйки десять человек детей, дочь же эта — замужняя, молодая и очень миловидненькая. Ну, ложусь спать, а то поздно.

14 марта

Сегодня проделал тридцать верст. В девять утра выехал, в двенадцать с половиной уже был дома, почистился и поехал в город к Суш-

кевичу. Получил все бумаги, предписание, литеры, затем сделал все дела в канцелярии, подписал бумаги и завтра еду. Жалко оставлять Леду, она без меня грустит всегда.

15 марта

Итак, еду в Петроград. Во Львов приехал в четыре с пол[овиной] часа дня. Узнали, что поезд на Волочиск идет в пять часов, но все оказалось битком набито, и ни одного билета, а потому решили (мой попутчик капитан и я) подождать до двенадцати часов ночи, когда должен идти скорый на Броды-Петроград, но оказалось, что сегодня он не идет, а пойдет завтра. Пришлось покориться и отправиться ночевать в гостиницу.

Ночевали втроем: капитан, какой-то сотник и я. Болтали до поздней ночи.

16 марта

Сегодня ходили покупать кое-что. В двенадцать часов отправились на вокзал, где записались на двенадцатичасовой ночной поезд. Давка ужасная, народу масса. Позавтракали на вокзале, прочли газету, с моим капитаном вздремнули час у себя в номере, а в четыре часа к нам ввалился сотник, который утром опоздал на свой поезд и решил ехать завтра. Пошли все обедать в Европейскую гостиницу, оттуда в «Кафэ», где я с сотником играл в карамболь. Досидели до девяти часов с половиной и отправились получать билеты. В одиннадцать часов, наконец, билеты были получены, и мы, слава Богу, влезли в вагон, поезд наскоро составленный, мест нет, плацкарта — одна «профанация». Обещали Броды через два часа, а пришли, смешно сказать, в семь утра: это шли семьдесят пять верст!

17 марта

В Бродах пересели на широкую колею, но опять занимали места как попало, и номера на наших плацкартах ничего не значили. Кое-как, однако, устроились. В нашем отделении оказались хорошенькая ломающаяся сестра, мой капитан, капитан из штаба с болезненным чахоточным лицом — едет поправляться — и я.

В час дня нас прицепили к курьерскому поезду, и мы со штабным капитаном пересели в купе с электричеством и со всеми «онерами». В купе, кроме нас, сидели два каких-то шведа, которые курили сигары и играли в шахматы. Кондуктор сказал, что завтра в двенадцать дня будем в Петрограде. Как хорошо!

18 марта. Петроград

Наконец после пяти месяцев — Петроград. Как будто войны нет и не было, только разве не так людно, как в мирное время, как будто бы стало меньше народу. На Рождественской никого не застал, оказывается, все ушли по делам, Катя уехала в Селищи и к Тырковым. Я расцеловался с дядюшкой-профессором[1], немного разложился и отправился к Ариадне Владимировне. Но и тут не утерпел и зашел к Чижову. Поговорил с ним о ружьях, посмотрел, что у него есть.

С Ариадной Владимировной расцеловались, болтали больше двух часов, обоим стало грустно при воспоминаниях об ужасах войны, потом на Невском встретил Владыкина, затем князя Гаджемукова и Попандопуло — товарищей по морскому корпусу, пообедал с ними у Доминика.

Каково было мое удивление, когда я, придя домой, застал Катю — оказывается, что она в тот же день вернулась из Селищ.

19 марта

Весь день разъезжали вдвоем по магазинам. Настроение стало лучше, и я несколько попривык и пригляделся к Петрограду. Обедали немного раньше и втроем с Марой отправились в Павловский институт[2] на двенадцать Евангелий[3].

Днем повидал дядю Осю. Он и тетя[4] на Манежном. Дядя очень плох, по-моему, безнадежен. Страшно исхудал, что-то новое появилось в глазах.

Вечером после церкви сидели у Тырковой. Были еще какие-то люди. Очень мило провели время. Говорили о войне, политике, разных организациях и не заметили, как пролетело время, и было уже двенадцать часов ночи, когда разошлись.

Тетя сообщила, что завтра в одиннадцать часов вечера приезжает папа.

20 марта

Были днем у дяди, а потом обедали у тети. Дядя лежит все время. Он задыхается, если хочет встать. Потом бегали по магазинам. Утром брал билеты на обратный путь. Катя едет меня провожать до Львова. Папа, оказывается, приезжает не сегодня, а завтра в

---

[1] Александр Иванович Воейков.

[2] Павловский институт благородных девиц в Петрограде.

[3] Богослужение, совершаемое вечером в Великий четверг: читаются двенадцать евангельских отрывков, повествующих о событиях Страстной пятницы.

[4] Жена Иосифа Иосифовича Ильина.

семь часов утра, надо его встретить. В Петрограде как-то устаешь. Катя говорит, что в Селищах все в порядке, Волхов вскрылся и идет лед.

Интересно было бы посмотреть родные места...

21 марта. Страстная суббота

Очень устал. Встал рано встречать отца. Нашел, что он очень хорошо выглядит. Поезд опоздал на два с половиной часа, и мы лишь в одиннадцатом часу были на Манежном. Тетка моя, как верно выразился папа, шалая женщина. Она действительно говорит поразительные вещи, Бог ее ведает, о чем она думает, раздражает дядю и отравляет ему своей суетой последние его земные дни.

Разъезжали по магазинам, присматривали Наталочке колясочку и обедали вместо трех, как хотели, в шесть. У заутрени были в институте: Катя, Мара, Дима и я. Думали, что и папа с тетей приедут, но очевидно, что они пошли, как этого непременно хотела тетя, в Правоведение[1] Разговлялись у тети, а потом у нас. Папа сидел у нас до одиннадцати часов, а потом пошел за тетей, но опоздал и лег спать.

22 марта. Св. Воскресенье

День ясный, солнечный, но холодно, и после Галиции я хожу с насморком, разница все-таки большая. Днем приходил папа, рассказывал, как тетя сердилась на него: он засиделся у нас вчера, а когда пришел за тетей, чтобы отправляться в Правоведение, то увидел, что тетка совсем готова и уже собирается уезжать. Тогда папа, вместо того чтобы переодеваться, остался и, не дождавшись тети, лег спать.

Обедали все сегодня у тети. Был хороший обед, выпили даже водки.

У нас были Гиттисы. Белочка Гиттис[2] — подруга Кати по курсам, очень они милые люди. Затем заехали и мы к ним, и они, видимо, были тронуты нашим визитом.

23 марта

Сегодня у нас была Нина Андреевна Кофод и Каменская, с которой мы отправились к Оттокарам, где с час сидели. У Жанетты Петровны[3] прелестный сынишка. Поговорили о политике, о войне, а потом мы с Катей отправились домой.

Дима за кем-то ухаживает и на днях покажет нам свою счастливую пассию и ее несчастного супруга: устраивает им обед-гала. Зав-

[1] Императорское училище правоведения.

[2] Изабелла Васильевна Гиттис.

[3] Оттокар-Эберт.

тра вечером идем к Кочуковым, а днем едем к дяде Мите в Чесменскую богадельню и затем в лазарет к Лёле Палеолог и Нюсе Римской-Корсаковой.

24 марта

Дядя Митя изменился, но мало. По-прежнему не благоволит к тетке. По-прежнему все знает, помнит мелочи, каким-то образом хорошо осведомлен о событиях. Спрашивал, конечно, про Семеновский полк. Но, видимо, забыл про Осю, Леночку и все то, что было ему дорого.

Хоть автомобиль и стоит дорого, но зато мы успели побывать у тети Сони с папой, вернулись за Катей и в шесть были дома. Дима хлопотал у стола. В шесть с половиной приехал папа.

Димина симпатия так себе. Обед был отличный, постояли у закусочного стола, выпили водки.

Вечер провели у Кочуковых, где составилось несколько столов в винт, а потом был ужин.

Боже мой, как живо вспомнилась Знаменская 6, юность, все, что так быстро промелькнуло.

25 марта

Весь день собирались. Наш поезд отходит в одиннадцать часов вечера. Были у дяди, простились с ним, заезжали к Поливановым. У папы встретился с Аничковым[1], бывшим управляющим удельным имением в Симбирской губернии, когда папа был помощником управляющего удельным округом. Его пасынок Миша, друг детства Сони[2], теперь на войне в лейб-гвардейском Егерском полку. Аничков прелестный человек, и я очень рад был его видеть.

Нас провожали папа, Дима, и потом приехала Каменская.

26 марта

Едем втроем: Катя, я и какой-то штабс-капитан, который был ранен в Японскую войну и в эту тоже. Он ранен в позвоночник и говорит как-то запинаясь. Теперь служит в госпитале. Не расстается с карточкой своей жены. Вечером, когда мы все легли, он, забравшись к себе наверх, достал карточку и долго на нее смотрел. Оказывается, он молодожен.

Купе маленькое, грязное, хуже не выдумаешь. Завтра будем в Киеве.

---

[1] Георгий Викторович Аничков.

[2] Вероятно, Софья Сергеевна Ильина.

27 марта

Весь день ушел на хлопоты с пропуском. Ужасная возня. Катя разволновалась и уже решила, что ничего не выйдет и придется ей ехать обратно. Однако писарь за два рубля все в конце концов устроил. Встретили Игнатьева[1], который, оказывается, формирует здесь дивизион. После обеда были у него. Он с женой и Бобкой — сынишкой, с ним же и поручик Алексеев нашей бригады, который теперь его адъютант.

Оказывается, в Киеве и Абамеликов, ужасно жалел, что не мог к нему попасть из-за боязни опоздать на поезд.

28 марта. Суббота

Вагон оказался много лучше, но у меня страшно разболелась голова — все еще последствия контузии, минутами казалось, что череп лопается. В шесть утра пересели в Волочиске. Уже тут почти все военные, мы рады, что повидали Игнатьевых.

Киев нас встретил чудной весенней погодой, и Крещатик блистал оживленной толпой, среди которой масса нарядных красивых полек — все беженки из Польши и Западного края.

Как-то страшно быстро промелькнуло время, и все впечатления от поездки, а ведь кажется, что все было так недавно.

Катя очень рада, что поехала со мной. Господи Боже мой, хоть бы все это скорее кончалось, да благополучно для России!

29 марта

Львов встретил нас дождем — дождь безнадежный, совсем наша петербургская осень. Вчера в Волочиске вышла целая история с чиновниками, везшими деньги. Два чиновника вошли в купе, где сидели мы, шестеро пассажиров. Двоих они попросили встать, сами сели, через окно начали втаскивать мешки в купе и поставили часового. Когда мы стали протестовать, они заявили, что везут деньги. Я бросился к коменданту, который пришел и выдворил их. Они шумели, говорили, что пошлют телеграмму какой-то графине Шуваловой, но все же их выставили.

Бегали по магазинам, купил прелестный перламутровый бинокль парижской работы, очень недорого. Остановились у Андрея Андреевича Кофода, который здесь теперь занимает большое место от Департамента земледелия. Андрей Андреевич необычайно мил. У него прелестная квартирка какого-то бывшего австрийского ин-

[1] Здесь, вероятно, речь идет о графе Алексее Николаевиче Игнатьеве.

тенданта. На дверях трубочки с молитвой: интендант был еврей. Газовая кухня, отличная ванная. Выезжаю к себе сегодня в двенадцать часов ночи. Жалко мне, что Катя попала во Львов в такую погоду.

30 марта. Самбор

Путешествие в этапном поезде ужасно. К десяти часам дотащились до Самбора. В транспорте все хорошо и благополучно. Весь день после обеда дрыхнул, отсыпаясь от путешествия в этапном поезде. Завтра займусь делами и отчетностью. Дождь льет, не переставая ни на минуту.

31 марта

Сегодня весь день сидел в канцелярии, принимал счета и ведомости. Погода не исправляется.

Завтра еду во Львов на одни сутки.

1 апреля

В десять часов был на вокзале и с превеликими трудностями забрался в санитарный поезд, который вез раненых во Львов. Сидел с санитарами в обществе двух раненых офицеров, которые говорят, что присылают очень плохое пополнение и что большинство из этого пополнения сдаются при первом удобном случае в плен.

В пять часов был во Львове. Привел себя в порядок, побрился и поехал к Андрею Андреевичу. Катя очень обрадовалась сюрпризу. Вечером бегали с ней в аптеку, она неважно себя чувствовала.

Оказывается, во Львове Гарольд Васильевич[1], а завтра приезжает и Ариадна Владимировна.

2 апреля

Вчера вечером сидели в кафе «Американ», куда пришел и Вильямс. Сегодня приехала Ариадна Владимировна, и мы с утра были в музее, а потом обедали в Европейской гостинице — Катя, Ариадна Владимировна, Вильямс, Кофод и я. После обеда отправились все на холм Люблинской унии и смотрели чудную панораму Львова. Погода смилостивилась, и даже выглянуло солнце. Потом бегали по магазинам и, наконец, вечером все собрались за чаем у Андрея Андреевича Кофода. В одиннадцать часов я поехал на вокзал. Очень грустно было расставаться.

---

[1] Вильямс.

3 апреля

Поездка обратно оказалась ужасной. Поезд вместо двенадцати часов ушел в четыре утра. Весь разбитый — наконец к двенадцати дня попал в Самбор: Приехав в канцелярию, застал комиссию полевого контроля, которая производила у меня поверку. Все нашли в полном порядке, после поверки я наскоро пообедал и лег отсыпаться. Вспомнились Селищи, как я всегда приезжал из Петрограда.

4 апреля

Сегодня решили провожать Анненкова, он уезжает в Киевскую губернию до 20-го в отпуск. В пять часов я зашел к нему, мы захватили двух чиновников с хлебопекарни, один из которых горный инженер, затем у Анненкова устроили ужин, я принес своей закуски.

Вечер майский — тепло и хорошо.

5 апреля

Сегодня что-то захолодало. В двенадцать часов подле канцелярии был у Сушкевича, чтобы застать у него Анненкова, которому нужны бланки на проезд. Заехал на вокзал, думая получить газеты, но их не оказалось, пришлось сидеть без новостей, хотя эти новости, откровенно говоря, так однообразны, что можно пропустить хоть неделю и все будет одно и то же: у французов без перемен, Италия накануне разрыва, Германия подыхает с голоду и т.д. в продолжение четырехпяти месяцев.

6 апреля

Весна вступила в свои права. Чудное небо, яркое солнце, весенние звуки широким гамом вливаются в раскрытое окно. Мысли уносятся далеко к мирной обстановке, к далекому бору. В шесть с половиной взял местного мальчика и пошел, чтобы он показал места тяги. Но кроме зайцев и куропаток ничего не нашел, разумеется, их не трогал. Вечер был так красив, а талая пробуждающаяся земля так ароматна, что я с наслаждением посидел молча на бугорке.

7 апреля

После обеда вынес гинтер к завалинке и лежал с час на воздухе. Погода дивная.

8 апреля

Ничего нового. Жарко, ночи лунные, на лампу летят мошки и ночные бабочки.

9 апреля

В городе идут большие приготовления к встрече Государя[1], который должен приехать сюда. Командующий армией генерал Брусилов чаще показывается на улице верхом и все сам осматривает. Развешивают флаги, на балконах вывешивают ковры, улицы чистые, посыпаются песком. Польза от посещения Государя уже несомненная: все уберется и хоть раз-то в году почистится.

Проявлял почти до трех часов ночи. Все снимки Львова вышли очень удачными. Лег спать, когда стало совсем уже светло. Вспомнился последний лагерь: светлые ночи, заливистые трели соловьев в утреннем туманном воздухе — как все это кажется далеким, далеким.

10 апреля

Сегодня день торжества в Самборе. Город весь разукрашен флагами, арками с надписями «Освободителю» или «Давшему Свободу». Улицы лоснятся чистотой. А день жаркий, совсем летний. Очень тихо. Царский поезд прибыл в час. Мне пришлось ждать у переезда, где пропускали только до одиннадцати часов, а я на несколько минут опоздал, но все же удалось пройти. Очень красиво было зрелище войск, стоящих шпалерами по улицам, по которым проезжал Государь. Государь с вокзала проехал с великим князем Николаем Николаевичем в штаб армии, а затем около трех часов поехал обратно. Все время до отхода поезда я стоял как раз против окна, из которого смотрел Государь. Рядом с Государем, в другом окне, виднелся Воейков. На перроне стоял генерал Брусилов, сзади него конвой Ставки, штабные и офицерство.

Государь очень бледен, у него необыкновенно скорбное выражение. Он все время держал руку под козырек. Поезд медленно, плавно, почти незаметно начал отходить, и мы все, стоящие на перроне, закричали «ура». Государь поехал в Перемышль. Николай Николаевич стоял на площадке.

11 апреля

На душе что-то грустно. Как-то смотришь на все и видишь кругом злоупотребления. Честных людей до крайности мало, они единицы, которые теряются в общей массе и потому ничего не меняют... И все эти злоупотребления, видимо, так вошли в плоть и кровь, что считаются совсем естественным явлением и никого не удивляют.

---

[1] Николай II Александрович (1968–1918), последний российский император.

12 апреля

Всё чаще заболевают холерой, как бы не было эпидемии. Занимаюсь в канцелярии, потом читаю или пишу.

13 апреля

Утром совершал прогулку на велосипеде. Мой делопроизводитель встретил своего брата и купил у него велосипед за 20 руб., а брат в свою очередь купил у какого-то солдата за четыре рубля, солдат же попросту его где-то «реквизировал». Я ехал по узенькой тропке между рядом верб по берегу речушки и наслаждался видом чудесной молодой зелени. Хрустели сучки под колесами, шуршали ветки, которые я задевал. Леда бежала рядом.

Я полежал немного «по-тургеневски» на зеленой травке и глядел на плывущие медленно облака в лазоревой вышине.

14 апреля

Утром приезжал врач и делал полную дезинфекцию. Кроме холерных случаев оказался еще и тиф — вчера у одного определили. Доктор говорит, что могут совсем изолировать, если случаи не прекратятся. Вот будет история — это совсем не улыбается.

15 апреля

Ничего нового, стоим на месте.

16 апреля

Сушкевич говорит, что, может быть, придется идти в Турки, совсем к позициям. Я очень рад этому: надоело стоять на месте. На войне все так-то загоняют, но ничего не делаешь.

Погода чудная, весна в полном разгаре.

17 апреля

Ездил после обеда в город к Сушкевичу, а утро провел в канцелярии и в осмотре лошадей. Вернувшись, читал газеты, у французов начинается оживление, и мне кажется, это же думает и Сушкевич, что если так пойдет дальше, война к осени может закончиться.

18 апреля

Сегодня познакомился с капитаном Генерального штаба японцем, который находится в прикомандировании в штабу 8-й армии. Фамилии его не расслышал, но все зовут его Тарас Матвеевич — странное имя для японца. Смотрел на него, на его невысокую фи-

гурку, черные хитрые глаза, смуглую кожу и неизменно сдержанно-вежливую улыбку, вспомнил купринского штабс-капитана Рыбникова.

19 апреля

Утро в канцелярии. После обеда сидел у реки и читал, Леда вошла в воду и стояла, как изваяние, следя за головастиками.

20 апреля

После канцелярии поехал к прапорщику Вишинскому, который снимал Царя во время приезда. Перепечатывал у него снимки и для себя, очень хорошо вышли и Государь, и Николай Николаевич.

21 апреля

Получил удостоверение и завтра еду во Львов — надо кое-что купить для канцелярии и транспорта. Удивительные, говорят, дела делаются во Львове: градоначальник Скалон[1], как только приступил к исполнению своих обязанностей, сейчас же послал в магистрат разменять 20 000 рублей на мелкие австрийские. Ему разменяли по установленному курсу по 30 копеек за крону, после чего он через еврея послал разменять эти деньги на границу, где получил за них уже по австрийскому курсу, то есть 40 коп. за крону. После этой операции он захотел проделать то же самое вторично, но магистрат, узнав об этом, отказал менять, сказав, что если Скалон будет настаивать, то об этом будет сообщено Бобринскому. Скалон не настаивал. Но каково должно быть впечатление у населения от новой власти, которая пришла как «освободители». Стыдно делается, когда слышишь такие вещи.

22 апреля

Сегодня выехал во Львов санитарным поездом. До Львова доехал, читая газеты. Приехав, пообедал на вокзале и отправился к Андрею Андреевичу Кофоду, но его не застал, а на лестнице встретил его секретаря. Я собирался уже идти в гостиницу, но он устроил меня у Андрея Андреевича, а к себе пригласил обедать. Я за это водил его в кино и кормил ужином. Прибегал расстроенный Антоневич, служащий Андрея Андреевича; его, оказывается, обыскивали, избили кухарку, все перевернули:

— Я не привык к этому, я русский! Правда, я жил в Австрии, но к этому я не привык! — взволнованно восклицал он.

Хороша наша полиция в завоеванных местах, нечего сказать!

[1] Алексей Александрович Скалон.

23 апреля

Поползли тревожные слухи. Говорят, что Радко-Дмитриев разбит, Санок взят. В газетах ничего нет, и никто ничего толком не знает. Мы, разумеется, и совсем ни о чем не имеем представления наше дело маленькое.

Турки собираются оставлять, и мы, верно, туда не пойдем.

24 апреля

Вчера приехал из Львова Андрей Андреевич, который вернулся из поездки, тоже говорил, что положение стало тревожным. Здесь никто ничего не знает, но чувствуется в воздухе какая-то тревога. Самое главное, что евреи собираются кучками, о чем-то все говорят и заметно переменились.

28 апреля

В четыре часа вызвал Сушкевич и сообщил, что мы отступаем. Приказано забрать хлеб и идти в Городище, где ждать приказаний.

Слухов самых нелепых масса. говорят, что Италия объявила войну Австрии, говорят, что Радко потерпел жестокое поражение и т.д. Но верно то, что мы отступаем, и это особенно видно по жителям...

29 апреля

Итак, отступаем. Ах, как обидно! Стою сейчас в Городище, одиннадцать часов вечера. Самбор эвакуирован, забрали все, что можно, бросили много фуража. К Туркам уже подходят немцы. Сейчас величественная и грозная картина: жгут Турки. Все шоссе запружено, и стоит несмолкаемый гул и скрип. По небу рыщут прожектора. Сразу все перестали что-либо понимать и знать. Утром выступаю в Рудки. Что-то уж очень быстрое отступление, даже не верится, неужели отдадим Галицию, может ли это быть?

Глядя на зарево, вспоминаю август и первые бои.

30 апреля. Рудки

Отступаем дальше. Жители в глаза не смотрят, русины грустны — стыдно и больно. Говорят, что против Радко давно велись интриги и что Драгомиров нарочно решил его утопить. Говорят также, что Радко давно просил его поддержать и прислать помощь, но ее не дали. Может ли это быть? Или у нас все может быть!

Ясно одно, что три месяца писалось и три месяца говорилось, и это знал самый завалящий репортеришко, что главный удар немцев будет направлен на участок Тарнов-Ясло, и мы все это знали, знал это каждый солдат так почему же все-таки допустили все это? И какой

иронией звучат два манифеста на имя Николая Николаевича и генерала Иванова об освобождении «подъяремной Руси».

А эти взрывы, а эти пожары!

1 мая

Положение неопределенное. Тут за Рудками сейчас же позиции, ночью подойдут главные силы. Самбор в огне, слышны потрясающие взрывы: рвут вокзал, пакгаузы, мосты, дорогу. Весь горизонт в зловещем зареве: горит Драгобыш, горят нефтяные бассейны. Часть нефти разлилась по реке, и получилась пылающая вода. Горит Перемышль. Все небо в облаках копоти, и мы все ходим в саже, которая сыплется, как дождь.

Обидно, что отступают победители, а наступают битые. Австрийцы еле преследуют — сами не верят, и наши отступают, не имея снарядов и патронов, их колотят. Наша артиллерия уходит без снарядов и идет часто впереди нас.

Кто же все-таки виноват во всем этом? Кто все это допустил? Бросить все то, что полито русской кровью, что завоевывалось с такими жертвами!

Вместе с нами, вернее следом за нами, идут толпами беженцы-русины. Они со скотом, скарбом, ребятишками. Коров и телят продают за пять рублей и три-два целковых, а то готовы отдать и даром. Коровы еле идут, уже все с набитыми ногами и провалившимися боками. Сами русины голодные, жалкие. Говорят, что мадьяры зверствуют и вырезают всех поголовно вплоть до детей. И куда только денутся эти несчастные?

При всем желании помочь им нечем, и даже нельзя купить у них коров, так как их буквально девать некуда, а на мясо они не годятся, да и его нам не надо.

2 мая

Сегодня в пятом часу авангард австрийцев начал бой. Завтра или послезавтра перебираюсь в Любен-Велькие[1]. Часть отправил с канцелярией сегодня, а сам остался.

Что-то будет дальше? Девять месяцев побед и вот результат. Теперь Карпаты дальше от нас, чем были в августе. А все-таки земля вертится, а все-таки мы победим.

3 мая

Бой идет вовсю. Австрийские шрапнели рвутся над лесом в четверти версты от нас. Поехал в штаб дивизии, дорога шла к лесу. Звон

[1] Великий Любень, курорт, в 22 км к юго-западу от Львова (Украина).

разрывающихся снарядов опять будил знакомое чувство жути и в то же время желания заставить себя быть совершенно спокойным. На поляне полк, находящийся в резерве, производит учение.

Мои люди нервничают, и я, чтобы их успокоить, рассказываю веселые истории и шучу. Какая все-таки ответственность — быть начальником.

4 мая. Любен-Велькие

Вчера вечером приехал сюда. Тут сосредоточилась большая часть всевозможных транспортов. Всю ночь грохотала канонада. Тут стоит штаб корпуса. Австрийцы, которые вообразили себя победителями, пошли было в атаку, но их раскатали и отбросили на двадцать верст одними штыками и ручными гранатами. Шпионаж поразительный: стоило только вчера пройти в «Городок» штабу армии, как появились аэропланы и начали сбрасывать бомбы. Ранило нескольких человек, а одну женщину убило.

Завтра еду в «Городок» за деньгами в казначейство.

5 мая

Ездил в «Городок» в интендантство и казначейство. Рассказывали про вчерашние аэропланы. Жарища ужасающая. Завтра думаю на лошадях проехать во Львов и, может быть, у Андрея Андреевича коечто узнать.

Надо отдать справедливость, что хоть Гинденбург и талантливый полководец, но мы с нашими порядками играем ему на руку. Все ругаются и говорят, что все ждали, когда Карпаты станут проходимы, — теперь они стали проходимы, да мы уходим.

6 мая

Утром, в семь часов, был разбужен трескотней ружей под самым окном. Сразу ничего не мог сообразить и совсем забыл со сна, что война. Оказывается, налетели аэропланы. В девять часов выехал во Львов и в одиннадцать с половиной был там. Сидел весь день у Андрея Андреевича. Очень его люблю, необыкновенно милый и хороший он человек. Во Львове настроение тревожное и все взволнованы. Говорили, разумеется, исключительно про события. Слава Богу, что Драгомирова прогнали, а Радко оставили. Ему посланы подкрепления. Но все же его армии очень туго приходится.

Приехал в три часа ночи с адъютантом штаба дивизии, мы с ним ездили вдвоем.

7 мая

Получил неожиданно от Кати сразу три письма. В одном сообщает о смерти дяди Оси. Бедный мой дядя, как мне жалко его: какой это был чудный человек, высоких душевных качеств. И не удалось его повидать. Теперь, когда ежедневно гибнут тысячи людей в кровавом безумии, смерть одного человека какое имеет значение? Вспомнил мое последнее свидание с ним теперь на Пасхе. Он был уже совсем плох. Дядя всегда был неверующим. Он никогда об этом не говорил, но не признавал ни обрядов, ни церкви, не верил и в Бога. И вот, когда, за день перед отъездом сюда, я сидел у него, он вдруг сам заговорил о Всевышнем. Так и сказал: «Если угодно будет Всевышнему». Я удивился и спросил, что он подразумевает под этим и верит ли он в Бога: ведь раньше он как будто иначе относился к этому вопросу. Вдруг я заметил, что лицо дяди стало просветленным и каким-то «потусторонним», если можно так сказать, и он ответил:

— Как, батюшка, знать, что ждет нас там? И нет ли силы, всемогущего духа, который всем руководит и над всем царит!

Так дядя в предсмертные часы увидел Бога!

Получил приказ быть готовым к выступлению.

8 мая

Пока перемен никаких. Питаться устроился в дивизионном обозе. Компания самая разношерстная. Дивизионный доктор с какой-то драмой в прошлом, почему он ежедневно изрядно нагружается коньяком и пускается в философию, затем смотритель арестантского отделения — прапорщик с темным прошлым и, кажется, настоящим, какой-то художник-архитектор — прапорщик, грубый, тупой тип. Командует всей этой братией безвольный капитан. В общем все это довольно скучно.

9 мая

Неожиданно мы встретились. Стоял посередине улицы и вдруг вижу, едет шарабан, а в нем Павел. Бросился за ним, обнялись. Его питательный пункт, оказывается, стоит на станции. Отправился к нему. В Павлике большая перемена. прежнего вялого петербургского чиновника с тусклым взглядом нет и в помине. Загорел, оживлен, исчезла мешковатость, видимо, к нему очень хорошо относятся все его подчиненные — с удовольствием наблюдал в нем эту перемену.

10 мая

Утром был у Павла. Большинство было в церкви. Потом снимал пленных, которых вели с позиций. Обедал у Павла, по случаю Троицы у них был молебен и хороший обед с выпивкой, икрой и закусками. В четыре часа Павел прислал за мной с просьбой их снимать. Снимал очень много, потому что все хотели запечатлеться.

Павла переводят в краснокрестный транспорт, но, кажется, на время.

11 мая

Сегодня узнали о том, что Италия объявила войну Австрии. Еще одна страна впуталась — посмотрим, что будет. Писал письма домой.

Дивизионный доктор не лишен юмора. Его жизнь, кажется, заключается только в том, чтобы поесть да выпить, но рассказчик он забавный. Сегодня интересно передавал, как по нему и дивизионному ветеринару, с которым они хотели пройти как-то в штаб, стреляли свои же:

— Идем мы с командиром и Александром Петровичем (ветеринар), а впереди мост. Вдруг сбоку рахтах-тах-тах, пули как засвистят. Я бац на землю и ползу на животе, да так ползу, что землю рою, дополз до моста, да под него. Только слышу, что пахнет что-то сильно: ну, думаю, не до запахов, после разберемся. А на мосту фурманы стоят и сами под телегами лежат. Пуля просвистит, а они: «Господи, о господи!» Смотрю только, что затихли, ну, думаю, эти готовы, мелькает в голове: вот сейчас кинутся грабить добычу и меня прикончат заодно. Слышу топот на мосту — выглянул: наши земляки с винтовками наперевес. Ну тут я из-под моста и пошел вспоминать родителей!!!

12 мая. Любен-Велькие

После обеда ездил в штаб дивизии, который, оказывается, ушел в Мосцыска, а тут остались одна бригада и дивизион артиллерии. Все сосредоточивается у Перемышля. Положение еще серьезно, и прорыв не ликвидирован.

Капитан Генерального штаба Калинин оказался очень милым человеком. Мы с Александром Петровичем попили чаю у капитана и поехали обратно. Александр Петрович — дивизионный ветеринар, прелестный человек, очень образованный и культурный. Кончил юридический факультет и ветеринарный институт. С большим характером: не курит, не пьет, строгий вегетарианец, увлекается теософией и индийской мудростью.

13 мая

Снова спешка и беспокойство. Приказано выступить в десять веч[ера] на Львов — это значит, надо идти всю ночь.

Мы переведены в 9-ю армию в Буковину.

Я транспорт собрал и пустил вперед, а сам остался и ужинал с докторами и командиром див. обоза. Нагнал транспорт под самым Львовом. Остановились на чистом месте, Александр мне раскинул койку, и все улеглись спать.

14 мая. Львов

В девять часов утра поехал к Андрею Андреевичу. Его не застал и пошел делать покупки. Встретил его в экономическом обществе, как всегда, расцеловались. У Андрея Андреевича есть уже свой автомобиль, на котором он собирается сегодня вечером ехать в Тарнополь. Я хорошо вымылся у него, взял душ, потом мы вместе пообедали. Простившись, я поехал к транспорту и в пять часов выступил.

Шоссе — просто неописуемая красота. Горы и зелень. Шоссе перевивается полотном железной дороги. Внизу, утопая в зелени, на манер замка усадьба Закружевского. То тут, то там виднеются парки и рощи поместий. Сегодня узнал, что штаб дивизии в Любен-Велькие, где мы пили чай с доктором у милого капитана, стоял в великолепной усадьбе графа Бодени, который был австрийским премьером. Его дочь замужем за Замойским у нас в Польше, а его сын консул в Швейцарии.

15 мая

Город проходить, да еще большой — самая скверная вещь. Жители уже смотрят враждебно, и это самый лучший признак и лучшее доказательство наших неуспехов. Улицы полны народа, и чувствуется встревоженность и ожидание.

Проходим дивные места. В десять часов вечера остановился на ночлег в Подбересье-Германово в пятнадцати верстах от Львова. Сам ночевал у богатого русина. У него чисто, хорошо, аккуратно. Все постройки крепкие, хорошие, прочные. Он имеет четырнадцать моргов[1] земли, а морг, по его словам, стоит тут 800 рублей — мне что-то в это не верится.

Сегодня после обеда, в час, иду дальше. В трех верстах после того, как я тронулся, нагнал вестовой Сушкевича. Я остановил свой транспорт и поехал к нему. Оказывается, приказано стать на дневку и два

[1] *Морг* (от нем. *Morgen*, утро) единица измерения площади земли в средневековой Западной Европе, равная приблизительно 0,56 гектара.

транспорта стоят уже в Острове, где и сам Сушкевич. Я прошел три версты еще вперед и расположился в усадьбе князя Сапеги. Сапега жил в Киеве, в Белой Церкви, где теперь живет его жена, так как он умер. У него несколько имений в Киевской губернии, а здесь усадьба и триста моргов земли.

Вечером со Стамбуловым проявлял снимки, они очень хороши.

16 мая. Усадьба князя Сапеги

Вчера был проливной дождь, и я промок до нитки, возвращаясь к себе в усадьбу. Сегодня ездил в Остров к Стамбулову. Подумать только, у нас нет ни снарядов, ни вооружения. Кто же виноват в этом и кто будет за это отвечать?!

Завтра утром выступаем.

17 мая. Впереди Перемышлян

Прошел тридцать верст и встал на ночлег впереди Перемышлян. Перемышляны — город в Восточной Галиции, вроде Самбора. Он почти весь выгорел. Печально торчат обгорелые трубы, стоят развалины стен. Едешь по улице среди руин. Жителей ни одного человека. Деревни тоже сплошное пожарище — одни обуглившиеся развалины. В полях вдоль шоссе сплошь кресты и братские могилы. В некоторых могилах зияют черные дыры, прорытые голодными бездомными псами, они пожирают трупы...

Вот уж действительно каждая пядь земли полита русской кровью, и все это надо бросать!

Население в деревнях тут все русины, и это сразу заметно: совсем другое отношение. В городах же сплошь евреи. В Перемышлянах в некоторых уцелевших домах живут евреи, все они грязные, в длинных лапсердаках, с длинными пейсами.

Завтра в шесть утра выступаю на Рогатин, где штаб 9-й армии.

18 мая. Фольварк Чарторыйского

Остановился, не доезжая Рогатина. Весь город сожжен дотла, голые трубы да стены. Видимо, пожар бушевал не один день. В пять часов отыскал Сушкевича и перевел свой транспорт вперед Рогатина, сам же со Стамбуловым и доктором поместился в усадьбе князя Чарторыйского. У него здесь восемь тысяч моргов земли и великолепная усадьба на манер замка. У коменданта познакомился с главноуправляющим, только что приехавшим из Бухареста. Очень приличный и милый поляк — он русский подданный. Комендант говорит, что дела наши лучше и под Перемышлем все атаки отбиты.

19 мая. Фольварк князя Чарторыйского

Завтра выступаю в Подгайцы. Переход пятьдесят верст, кухни выслал вперед, оттуда иду в Залещики, где поступаю в распоряжение II кавалерийского корпуса.

Восточная Галиция сильно отличается от Западной: природа тут как-то богаче и красивее, и большую роль играет, что коренное население русины — они ближе нам и чувствуется что-то родное.

Объявлена мобилизация лошадей. У помещиков не берут совсем, объясняется это взятками, прямо изменники какие-то, и когда этому конец будет!

20 мая. Подгайцы

Сделал переход в пятьдесят шесть верст. Выступил в восемь, а пришел в одиннадцать, итого в пути был пятнадцать часов, а шел тринадцать, два часа большой привал был. Завтра дневка. Люди и лошади страшно устали.

Проходил Брзежаны[1], замечательно чистенький, милый городок, я такого еще не видел, и евреев мало. Много зелени, прелестные двухэтажные дома, белые нарядные костелы. Дорога после Брзежан делается прямо сказочной: шоссе вьется по горам между лесами и долинами. Влезешь на хребет, а оттуда дивная панорама: наше шоссе, которым мы шли, вьется, словно белая лента, опоясано курчавыми головами великанов-деревьев. То пропадет, то снова вынырнет в зеленом море. Лес самый разнообразный, много чернолесья, много дубовых рощ.

Подгайцы значительно меньше и хуже Брзежан. Хотя городок и чистенький, но много евреев, торгующих и ютящихся на базарной площади. Положение довольно красивое с юго-западной стороны: горы, покрытые лесом, у подошвы озерца с протекающей речкой.

21 мая. Подгайцы

Сегодня день ознаменовался скандалом. Дело в том, что Сушкевич всунул нам еврея-подрядчика, того самого, который был еще в Самборе. Я тогда же, после того как увидел, что он все ставит по справочным ценам и сено, которое стоит 25–30 коп. пуд, продает по 60–70, отказался иметь с ним дело, что дало мне сразу же экономии в 30 с лишком руб. Сушкевич, мягкий и безвольный человек, промолчал, да ему, видимо, и говорить нельзя было. Но другие транспорты брали у этого еврея. Теперь этот еврей устроил стачку: когда артельщик сунулся покупать мясо, то оказалось, что в городе мяса сколько угодно, но его

[1] Бережаны (укр. Бережани) — город в Тернопольской области Украины.

купить нельзя, потому что оно неизвестно кому все запродано и получить можно только через нашего поставщика. Когда мой артельщик пришел мне об этом доложить, я вскочил и побежал в лавки.

Смотрю, уже собираются евреи. Вошел в мясную, спрашиваю у еврейки, толстой и грязной, есть ли мясо, она отвечает, что все уже запродано, а кому не говорит. Я приказал немедленно мне отпустить: вдруг эта еврейка подняла вой, как будто ее резать собираются. У дверей словно из земли выросла толпа такая, что не продерешься. Еврейка вцепилась мне в руку, какой-то великан еврей начал угрожающе наступать, прямо черт знает что! Вижу, что ничего не поделаешь, но решил не сдаваться и приказал артельщику самому взвесить мясо, тогда и еврейка, крича, что я буду за все отвечать, отпустила мясо; я расплатился и сквозь толпу вышел с артельщиком. А подлец поставщик ухмыляется.

Сушкевич — это как Ольга Александровна, моя бельмер[1], второй раз в жизни встречаю такого человека: полная немощь, когда дело касается чего-нибудь, где требуется проявить волю или инициативу, лишь бы быть в стороне, и лишь бы не было шума и беспокойства. Я ему говорю, что ведь был приказ не брать никаких с собой евреев-поставщиков, а он его возит при себе! К 1 мая было приказано всех отослать, покончив с ними расчеты, а он мне на это в ответ:

— Ради Бога, я всю жизнь никогда ни с кем не ссорился, плюньте, Бога ради, — я с ним сам поговорю, я ему задам!

А когда вошел этот подрядчик, Сушкевич заулыбался, начал говорить о погоде, мило его спрашивать, как его дела. Ну что тут поделаешь! Стамбулов, который дал мне слово и клялся ничего не брать у еврея, тут же при Сушкевиче просил его поставить ему мясо. В результате чувствуешь себя каким-то дураком, скандалистом. Я Стамбулову сказал, что он делает дурно, заведомо поддерживая еврея, и что выходит так, что и Сушкевич, и он, вместо того чтобы стать на мою сторону, поддерживают, да еще противозаконно, еврея-подрядчика, грабящего казну, а Стамбулов мне в ответ·

— Плюньте, Иосиф Сергеевич, стоит ли ссориться?

Вот ведь тоже тип! Эта дряблость — чисто русская черта!..

Купался. Из реки тащат сотнями снаряды и патроны, тут утопили целый транспорт.

22 мая. Бучач

Пришел сюда в пять часов, сделав переход в тридцать пять верст. Очень симпатичный городок, весь утопающий в зелени, подъезжаешь к нему через деревню, которая на горе, а внизу у подошвы вдруг

[1] От belle-mère *(фр.)* — теща.

неожиданно из темного провала-туннеля вырывается железнодорожное полотно. Городок внизу сверкает своими костелами и крышами домов. Завтра, вероятно, будет дневка, а потом уже пойду ко II кав. корпусу. Послал домой телеграмму, а потом снимал. Необыкновенно живописны развалины замка Потоцкого[1] на горе над городом.

Утром снимал виды города и живописные развалины замка Потоцкого, разрушенного турками, кажется, в начале XVI ст. Получил «доисторические» письма из дому, одно от 17-го, другое от 20 января, адресованные еще в Кросно. Рад был им, потому что тут ничего нет, и мы в полной неизвестности.

Завтра выступаю в Чертков, где ночую, а оттуда в Залещики. В Черткове есть и почта, и телеграф. Остановился в какой-то польской семье в славном домике. Хозяева, мать и два сына-гимназиста, отца нет, не знаю, где он. Младший, видимо, потихоньку курит, видел его сегодня на улице осторожно курящим.

24 мая. Чертков

Маленький в зелени городок встречает казармами кавалерийского полка, которые стоят на окраине. Сравнительно немного пострадал, и жизнь достаточно заметна. Много евреев. От нашей границы двадцать восемь верст. Отправил телеграммы папе и Кате. Узнал печальную новость: Перемышль окончательно сдан. Остановился в грязном заброшенном еврейском доме, еврей сам приходил встречать. Утром выступаю дальше.

25 мая. Залещики

Залещики — полуразрушенный городок на берегу Днестра. Подъезжая, видишь окопы, проволочное заграждение и неизбежные при этом могилки. На душе грусть, наши дела, видимо, очень плохи. Тут штаб 2-й кавалерийской дивизии. Левицкий — командир одного из наших транспортов, о котором я, кажется, уже писал, ужасный тип: грязный и физически, и нравственно, страшно нахален, ужасный мордобой, чуть что, так сейчас же кричит: «революционер» и бац в морду. Тип настоящего исправника. Поговорил с ним пять минут, и стало тошно.

25 мая. Залещики

Сегодня весь день вывозили сахар с завода, который здесь стоит. Завод построен в 1912 году и оборудован так, как умеют делать это

---

[1] Бучачский замок. Строительство начато в последней четверти XIV века. Утратил свое оборонное значение в начале XVIII века, пришел в запустение, стены были частично разобраны местными жителями на стройматериалы.

немцы. Теперь все разорено. Отчего сахар не вывезен раньше? Отчего около ста тысяч пудов разграблено? Отчего? Эх! Этих «отчего» куча!

Снимал оба моста через Днестр — шоссейный и железнодорожный, оба со взорванными фермами посередине, потом взбирался на правый берег к австрийским позициям во время первого нашего наступления. Страшная отвесная круча, на которую можно взойти по деревянной, извилистой лестнице на стальных тросах. Панорама оттуда чудесная: все как на ладони на многие версты. Городок раскинулся на полуострове, который круто огибает Днестр, делая излучину, он весь в шапке зелени, среди которой то там, то здесь как стражи высятся гордые тополя.

27 мая. Залещики

Целая кутерьма. II кавалерийский корпус отступает, пошли страхи и спешка, все велено эвакуировать. Завод на том берегу, к нему плохая дорога и понтонный мост; идти довольно далеко, однако целый день грузили сахар.

Близко в стороне слышны выстрелы. Канцелярию отправил в Чертков, так же как и кухни, сам решил туда идти в пять часов и вдруг совершенно случайно узнаю, что мой транспорт должен находиться при 10-й дивизии III кавалерийского корпуса графа Келлера. Все долой, погружаться завтра и идти в совершенно противоположную сторону. Разослал вестовых, чтобы вернуть канцелярию и кухню, ужинал с поручиком Петрункевичем: в мирное время был киевским полицмейстером или харьковским, точно не разобрал, а теперь интендант. Накормил икрой, балыком, была водка — роскошь, которую я забыл даже.

28 мая

Всё перемены: теперь отступает уже и III корпус; спешно укладываемся, грузы, которые не можем взять, приказано сжигать. В одиннадцать часов я все закончил и собирался выступать. Вдруг раздались три последовательных взрыва: взрывали мосты ввиду подхода австрийцев. Поднялась форменная паника. Об этих взрывах никто не был предупрежден, и многие приняли их за орудийную стрельбу. Больше всех постарался комендант, который выбежал в растерзанном виде на середину улицы и стал метаться и кричать: «Спасайтесь, кто может!» Что получилось, и вообразить трудно. Все кинулись на шоссе, мои телеги карьером помчались. Взводные ничего поделать не могли. Были, правда, и храбрые хохлы, которые отнеслись совершенно спокойно. Я сам был готов поддаться панике, но вид несущихся телег, передков и обоза меня отрезвил, и я, встав на краю шоссе,

всех останавливал. Мне удалось собрать весь мой транспорт, остановить и привести в порядок, не оставив ни клочка груза.

Тридцать семь тысяч пудов сена и десятки тысяч пудов овса интендантство подожгло. К канцелярии и кухням послал вестового, чтобы шли на Ивано-Пустынь и Жваницу кружным путем, очень боюсь за них и денежный ящик.

Пришел на ночлег в Иваново-Пустынь — тридцать четыре версты от России. Опять страхи, и настаивают, чтобы идти дальше ночью, но я решил ночевать, так как иначе загоню лошадей.

29 мая. Жваница

Да, я понял чувство путешественников, которые видят родину после долгой разлуки. У меня было такое чувство, когда издалека сквозь пыльную дымку накаленного воздуха показались купола русских церквей. Сердце так и запрыгало, а на душе стало спокойно и радостно — как-то все забылось, и даже то, что тут в силу печальной необходимости. Да, родина! Как я понимаю это слово теперь. Так и повеяло Русью: плохое шоссе, неустроенность. Где чистота и культура Галиции? Но все это родное. И евреи-то здесь другие, как-то лучше и симпатичнее. И стоит в зное и пыли провинциальный городишко, обедают на берегу Днестра рабочие, строящие постоянный мост, — ну не Россия ли; только сейчас догадались начать строить мост, а то все время переправлялись на пароме — Боже, Боже! А вот паршивенький городок Залещики соединен двумя железобетонными мостами. Очень много везут раненых — многие смертельно. Мучаются третьи сутки. Один особенно производил тяжелое впечатление — раненный в живот. Лицо посинело и опухло, под глазами черные круги, на губах запеклась кровавая пена. Он стонал при каждом толчке, то есть все время. Я пытался ему помочь, да что сделаешь?..

30 мая

Все тревожно. Поговаривают о том, как бы не пришлось отступать дальше. Один кавалерийский корпус сдерживает чуть не тридцать тыс. австронемцев. А ведь в спешенном каз. корпусе едва ли три тысячи будет. У нас ни снарядов, ни патронов, мы похожи на дикарей, которые воюют с европейцами, вооруженными по последнему слову техники. Этому безобразию нет названия!

31 мая

Сегодня уже тревога настоящая, приказано быть наготове. Австрийцы лезут как оголтелые, да еще подгоняемые германцами, а у нас цепи по один-два эскадрона, то есть шестьдесят — сто двадцать чел.,

а то и меньше, и неизвестно, чем стрелять. В восемь вечера транспорт пошел на Каменец-Подольск, а я сам в одиннадцать выехал с раненым прапорщиком гусаром и уланом. Парки все тоже идут в Подольск.

Каменец очень живописный и старинный город, въезжали в него в три часа утра через старинную знаменитую польскую крепость, ту самую, на стенах которой будто бы погиб пан Володиевский[1] Но Боже, какой контраст с «городишками» Галиции: по улицам можно ездить только шагом — сплошной дикий булыжник — и кому пришла в голову мысль так замостить улицы?

1 июня. Каменец-Подольск

Жители сильно встревожены и под гул совершенно явственной канонады укладывают монатки и потихоньку бегут. Тянутся нагруженные возы. Евреи имеют довольный вид. Узнал грустную вещь: штаб-ротмистр Дылевский — брат Сергея Дылевского, женатого на Лиде Случевской, — убит позавчера ночью во время атаки в лесу. Он служил в 10-м Ингерманландском гусарском полку, там же, где и Сергей.

2 июня. Каменец-Подольск

Наступление остановили и немцев поколотили. Вот чудеса-то? Может быть, перестанем теперь отступать?

У меня целая история. Мои молодцы, пять-шесть человек, забрались на винокуренный завод Оболенского и там забрали разной чепухи вроде каких-то ремней, обрезков и еще чего-то. Управляющий, недолго думая, полетел к полицмейстеру и позвонил к Игнатьеву[2] Одним словом, поднял такую историю, что только держись. Может кончиться плохо, и мне неприятности. Вороваты все-таки русские люди. Я уже было согласился уплатить управляющему 500 руб., которые он требует, но делопроизводитель и взводные правильно говорят, что хоть кража и была, но сам управляющий теперь шантажирует и хочет нажиться, а поэтому я предоставил ему поднимать дело.

В два часа ночи пришла от Сушкевича телеграмма: просит «пожаловать».

3 июня. Каменец

Сушкевич сказал, что надо быть наготове, так как, возможно, пойдем дальше. Слава Богу. Дело с заводом все еще не кончено,

---

[1] Польский шляхтич, герой романа Г Сенкевича «Пан Володыевский» (1888), историческую основу романа составляет война Речи Посполитой с Османской империей в XVII веке.

[2] Имеется в виду Алексей Николаевич Игнатьев.

управляющий уже требует 1000 рублей. Я и разговаривать не хочу, в чем меня поддерживает пристав, которому полицмейстер поручил разобраться. Одного не могу понять: хочет ли пристав получить взятку или делает от души, уж очень он старается и проявляет большое рвение.

Моя хозяйка, где я снял комнату, необыкновенно заботлива, и когда я прихожу, у меня на столе розы, а Александр ухмыляется. Это меня положительно убивает.

4 июня

Сегодня приводил транспорт в порядок и утро был в канцелярии. Муж моей хозяйки на востоке, а брат — поручик уланского Литовского полка. Я очень стеснен ее заботами.

Третий день идут пластуны[1] Их везут на подводах. Что за чудесное войско! У нас нет снарядов и не хватает патронов. Необходимо народное представительство, иначе все равно ничего не выйдет.

5 июня

Днем был в интендантстве, где познакомился с полковником, командиром 158-го обозного батальона. Жаловался на воровство и говорил, как он отдает под суд. У него четыре сына саперы. Мы с ним обедали, он поведал мне историю своей жизни. Жена его — начальница института, а ему шестьдесят один год. Он производит впечатление настоящего деда Черномора, с длинной седой бородой, выглядит молодцом, полным энергии и свежести.

6 июня

Все утро ушло на погрузку и отправление транспорта. В двенадцать часов делал поверку сумм у Левицкого, комиссия была под моим председательством, члены: мой делопроизводитель, взводный и чиновник. Он кричал, говорил про революционеров и как надо с ними расправляться, потом угощал поросенком и варениками. Хотел бы съездить к Сушкевичу, да очень далеко он, в Бучаче, может быть, переедет сюда?

Вижусь и вращаюсь исключительно среди кавалеристов, всё гусары, уланы и драгуны — дивизия стоит на отдыхе.

7 июня

Получил от Кати два письма. Наталочка, слава Богу, полнеет и прекрасно себя чувствует. Катя пишет, чтобы я пошел к Игнатьеву, и удивляется, что до сих пор этого не сделал. Пойду завтра же. Ве-

[1] В России с XIX века до 1917 года казаки пешей команды.

чером играл в клубе в карты. Много офицеров и несколько человек местных.

8 июня

Днем был у Игнатьева в его губернаторском доме. Очень мил и очень мне понравился, мы с ним болтали часа полтора. Он рассказал мне про уход Маклакова, и мы оба радовались этой «победе».

9 июня

Думаю на днях послать Александра домой.

Беспорядки творятся ужасные. Корпусный интендант явно ни с чем не может справиться. Говорит, что шесть-семь тысяч пудов можно погрузить в два-три часа. Когда я ему доказал, что на это надо минимум пять-шесть часов, он предложил мне взять пятьдесят крестьянских подвод по наряду. Я категорически отказался, во-первых, потому, что не могу взять на себя ответственность за груз, который окажется в чужих частных руках, а во-вторых, потому, что крестьян просто сгоняют на эту повинность, ни им, ни лошадям не дают корма, и в результате, хотя им и полагается платить, им никто не отдает денег, а ограничиваются или расписками, или же попросту гонят. И вот эти несчастные люди отрываются от своих работ, а кто-то крадет! Я пытался было поднять этот вопрос и добиться ответа, где же они должны получать деньги за наряд, но ничего у меня не вышло: везде получаю один ответ: «это меня не касается».

10 июня

Купил для дома трех лис и белый козий мех, за все заплатил 42 руб., необыкновенно дешево. Завтра Александр едет.

Офицеры положительно делаются революционерами, и ведь это кавалеристы! Возмущаются порядками, хищениями. Познакомился с очень милым прапорщиком Довгели.

12 июня

Отправил Александра. Написал всем письма. Довгели пошел под Львов. Все очень грустим о Львове и последних событиях; выходит так, что надо всю кампанию начинать сначала. Спорил с гусаром-поручиком, он кавказец, говорит, что войну мы не выиграем при таких порядках. Общее желание, чтобы Дума взяла все в свои руки.

14 июня

Познакомился с Кравченко. Увидел автомобиль на дворе гостиницы (где и ресторан), спросил, чей. Оказывается, корреспондента

«Нового времени» и «Вечернего времени» Кравченко. Я прямо направился к нему. Вместе обедали. Он рассказывал про Львов и гомерическое воровство и грабеж, которые там творились. Грабили не войска, конечно, а тыл и администрация. Скалон, тот самый, что менял деньги, вывозил целые поезда обстановки, ковров, ценных вещей. Даже часть картин вывезли. То же делали интенданты и другие начальствующие лица.

После обеда провел вечер в обществе Кравченко в его номере за стаканом вина и сигарой. Много говорили о положении, он тоже смотрит безнадежно и говорит, что если так будет продолжаться, нам войны не выиграть.

Одним словом, куда ни посмотришь, все гадко и мерзко, надо, чтобы все в корне переменилось.

15 июня. Каменец

Получил сразу два письма от Кати. Наталочка растет и уже по карточке моей говорит «папа».

Все только и говорят о том, что нет снарядов, и о тяжелых жертвах и потерях, настроение самое пессимистическое. Вечер провел с Кравченко, он ездил в штаб Келлера. Говорит, что все плохо, но это еще не самое худшее. Хорошо утешение!

16 июня

Сегодня за обедом Кравченко взял из альбома листок и нарисовал меня. Вышло очень хорошо, я похож. Вспомнил и сказал ему про выставку его картин и рисунков, которую я видел в Петербурге в 1907 году молодым офицером. Рисунки были все из времен Китайского похода и Японской войны. Только и говорят, что о войне, правительстве и о Думе.

17 июня

Получил от Сушкевича сообщение, что высочайшим приказом за выслугу лет произведен в чин штабс-капитана 9 июня, со старшинством 3 ноября 1913 года.

Верховное командование принимает Государь. Великий князь Николай Николаевич едет принимать Кавказскую армию. Относятся к этой перемене неодобрительно, говорят, что Государь приносит несчастье. Что стоило ему, например, приехать в Галицию и посетить Самбор, как Галицию оставляем и отступаем по всему фронту! Принесет, мол, несчастье и теперь!.. И ведь на самом деле есть какая-то доля истины в этом поверье, что ли? Но какой ужас, когда император окружен таким ореолом!..

18 июня

Рослан-Бек занял у меня 100 рублей и еще 100 проиграл, другой офицер Протопопов взял 120 рублей.

Протопопов отдаст, что касается Рослан-Бека, начинаю сомневаться, что-то этот горячий кавказец уж очень много играет и все проигрывает.

Кравченко уехал к Келлеру вместе со своим компаньоном, тоже журналистом Ярошко, который поедет дальше в Киев. Кравченко богатырского роста и атлетического сложения, грузный и сильный; он мне рассказывал, что в былое время выступал в чемпионате борьбы, и довольно успешно.

18 июня

Познакомился с полковником, который назначен начальником этапного участка, предложил мне к нему в помощники, говорит, что это лучше, нет такой ответственности и меньше возни с канцелярией. Не знаю, что ему ответить.

С заводом кончилось все тем, что вещи, которые украли, вернули, а пристав настоял, чтобы управляющий умерил свой пыл.

19 июня

Кажется, штаб корпуса перешел в Проскуров[1], неужели придется и дальше отступать? Скоро жду назад Александра.

22 июня

Полковник уехал в Тарнополь в штаб армии, я дал согласие, посмотрим, что выйдет. Завтра тут годичная ярмарка, славящаяся главным образом вышивками: полотенцами и бессарабскими кофтами и коврами.

23 июня

На ярмарке купил ковер, несколько полотенец. Работа красивая и очень оригинальная. Все очень дешево.

24 июня

Сегодня на ярмарке купил целую кучу блузок. Есть замечательно красивые вышивки бисером и мишурой, есть кофты с рукавами и грудью, вышитыми розами. Решил подарить Кате, сестре Кати и Ариадне Владимировне.

---

[1] Ныне Хмельницкий (Украина).

25 июня

Сидел с Кравченко, он приехал. Упал с лошади, получил растяжение сухожилия и теперь лежит у себя в номере. Настроен он невесело и ничего хорошего не видит в дальнейшем.

В шесть часов приехал Александр, привез массу писем. С наслаждением читал их. Дома все благополучно. Мама гостила в Самайкине, а теперь в Москве на 2-й Мещанской, дом Солодовникова, 8-й подъезд, комната 756.

26 июня

Перемен никаких. Вечер провел с Кравченко, пили красное вино и вместе ужинали. Был еще доктор.

27 июня

Сегодня пришел вьючный транспорт Сережи Ушакова, очень обрадовались друг другу. Он славный парень и честный, хороший офицер. Пороху не выдумает, но зато твердый и настоящий. Рука его почти сухая и совсем не действует, хорошо, что хоть левая. Сидел сначала у него, а потом он у меня пил чай с кексом, который привез Александр. Занял у него 300 рублей: карты меня совсем погубили, все проклятый клуб. Играют казаки, кавалеристы и здешние помещики, и все ведут крупную игру. Я соблазнился, сначала выиграл 250 руб., а потом и пошло. Дал себе слово не играть больше.

Жена[1] Сережи с сыном Димой гостит у Мертваго[2], и Сережа просил, чтобы я написал, чтобы Катя свезла 300 рублей его жене в Репьевку. Я так и сделаю, это меня устраивает и Сережу тоже.

4 июля

У пластунов огромные потери. Их все время посылали в атаку. Их трупы висят на проволочных заграждениях. Нет человека, который бы не бранился: укладывают лучшие войска.

Ушаков все жалуется на трудность командования вьючным транспортом. Лошади у него от беспрерывных походов все сбиты, и надо их лечить, я дал ему несколько советов. С ним часто видимся, он стоит недалеко.

19 июля

Ходил с доктором Ломницким на охоту. Этот доктор — преоригинальный тип: он старшина клуба, очень милый человек, сам не игра-

---

[1] Фани Ушакова.

[2] У Александры Александровны Мертваго, в имении Репьевка.

ет, страшнейший скупердяй, но большой охотник. Старый холостяк живет вдвоем с сестрой в славной чистенькой квартирке, где уютно и хорошо. У него тут кабинет, гостиная, столовая и спальни — его и сестры.

Перепелов тут очень много. Я наслаждался предутренней прохладой, видом наполовину сжатых полей. Мы ходили по полям, а потом, когда стало жарко, прилегли на траву и долго беседовали. Он очень интересный человек. Говорил про свою жизнь, попенял на меня, что я напрасно играю в карты, и так мило и тепло меня уговаривал, что я дал ему слово больше не играть.

22 июля

Граф Келлер лечится — у него был удар. Новостей с позиций никаких. Жизнь в Каменце течет так, как в любом провинциальном городе. Все-таки нужно отдать справедливость: поразительно некультурна наша провинция и удивительно некультурны и мало развиты люди: ничего не знают, ничем не интересуются — или играют в карты, или сидят в городском саду на скамеечках. Тамбов, Симбирск, Ставрополь, Сызрань и т.д. Везде то же самое, только Каменец хуже, потому что грязнее и больше евреев. Хотя много состоятельных помещиков — поляков, фамилии всё такие: Градовский, Маковский, Беднаровский, Гумовский.

Все они очень милые люди, воспитанные и вежливые.

24 июля

Градовский пригласил меня к себе в имение на охоту. Имение его в двадцати пяти верстах, я, разумеется, с радостью согласился, но полил такой дождь, что поехать не удалось.

Мое назначение помощником начальника этапного пункта, кажется, не пройдет, так как в транспортах не хватает офицеров — ну что делать!

26 июля

Штаб дивизии, кажется, скоро переходит, поэтому передвинут и меня верст на шестьдесят вперед к Днестру. Мой транспорт хотели куда-то переводить, но корпусный интендант, ничего мне не говоря, ездил хлопотать, чтобы был оставлен именно я. Меня тронуло такое отношение.

Из дому получил письмо, в котором между прочим Катя пишет, что урожай у нас превосходный, зато здесь последнее время все время льют дожди и у крестьян погибли все хлеба, осталась вся надежда на кукурузу.

После прихода на новое место, вероятно, поеду в отпуск. Сушкевич приезжал, делал поверку, нашел все в порядке и обещал отпустить.

Мне немного жалко моей милой уютной комнатки и заботливой хозяйки мадам Эйсымонт, дочь которой, пятнадцатилетняя девочка, постоянно ставит мне на стол цветы. Вот и сегодня прихожу, а у меня две чудесные розы. Не знаю, чем и отплатить им. Хочу купить конфет, да здесь нет порядочных кондитерских.

29 июля. Каменец

Познакомился с милым прапорщиком Сулима, он крупный помещик Полтавской губернии, очень богатый человек, сосед Бискупского. Мы с ним сразу сошлись.

Скоро выступаю. Перемен и новостей никаких.

6 августа

Завтра в четыре часа утра транспорт выступает в Липканы[1]. Это пограничное местечко на самой границе Румынии, по эту сторону Буга. Вечером ужинал с корп. интендантом Домбровским и ротмистром Заамурской пограничной стражи Будагосским, порядочно выпили водки и вина.

7 августа

Транспорт отправил, а сам сидел у Сушкевича, который приехал с женой и едет в Киев за новыми кухнями. Мой отпуск уже разрешен, и я после возвращения Сушкевича поеду в Чертков, где получу все бумаги, и отправлюсь.

8 августа

Липканы — маленькое местечко, населенное главным образом евреями. На той стороне Буга раскинулась румынская деревня. Здешняя аристократия — земский начальник, непременный член землеустроительной комиссии и следователь. Я сразу же с ними познакомился и вечером пил у земского начальника, очень милого человека, чай в обществе непременного члена и следователя.

9 августа. Липканы

Сегодня познакомился с командиром 220-го транспорта Шеболдаевым, кажется, симпатичный человек. Охотник.

---

[1] Местечко в Бессарабской губернии, Хотинского уезда, в 30 верстах от уездного города, на левом берегу реки Прут.

10 августа. Липканы

Ездил за покупкой сена и овса и познакомился с помещиком Константином Дмитриевичем Флондор-Альбати. У него прекрасная усадьба, конский завод. Его брат живет в другом имении, мать в третьем «Глинки», сестра старшая замужем, и недалеко ее муж арендует землю, то есть «посессор», как здесь говорят. К[онстантин] Д[митриевич] ведет странный образ жизни: он не спит всю ночь и ложится под утро. Встает около двух часов дня круглый год, а зимой и позже. Все хозяйство ведет, в сущности, его управляющий, который, думаю, грабит основательно. Флондоры собираются друг у друга и проводят время в игре в маус, играя ночи напролет, а то и в железку.

Закупив фураж, Флондор нас с Шеболдаевым приветствовал отличным обедом с кофе и ликерами, после чего мы играли на бильярде. У Флондора гостит его друг, учитель реального севастопольского училища Дымбовский, очень милый человек.

12 августа

Стоят чудесные дни, погода изумительная. Познакомился со вторым Флондором — необычайно толстым человеком. Он несколько комично выглядит со своим огромным животом.

Ходили на охоту, тут масса перепелов. Кругом кукурузные поля с богатейшим урожаем, и мы с Александром сначала набросились на нее.

13 августа

Завтра еду в Каменец, а оттуда в Хотин получать казенные деньги. Вечер провел у К[онстантина] Флондора, где собралось несколько человек.

14 августа

Был целый день в дороге, сделав по жаре шестьдесят пять верст. Ехал через усадьбу Георгия Дмитриевича Флондора, где делал остановку. У него красивая супруга и двое ребят, младшему полтора года, почти ровесник Наталочки, славный бутуз.

В Каменце остановился в гостинице, получив ужасающий номер, это все, что имеется в этом городе, в таких жили все: и Кравченко, и другие, лучшего здесь ничего не сыскать. Какая-то обезьянья клетка...

16 августа. Каменец

Сделал все дела, получил деньги, потом навестил моего доктора, где застал товарища прокурора, поболтали, потом я зашел к Иг-

натьеву и узнал, что он скоро уезжает, так как его назначают киевским губернатором.

17 августа. Липканы

Приехал к себе. Побывал у Домбровского. Он очень хорошо устроился в усадьбе Дитмара[1]. Отличный дом, хозяева то ли в Петрограде, то ли еще где. Много хороших картин, славная обстановка, есть и старина.

Шеболдаев имеет крупный недостаток: много пьет и часто соблазняет и меня, а я не имею характера отказать.

22 августа. Липканы

Оригинальное место Липканы: грязь невероятная, улицы с большими ямами, в которых лежат свиньи, тротуаров нет, так как дома почему-то торчат выше улиц и из дверей на улицы мостки. Первый раз, кажется, вижу что-либо подобное. С румынской стороны везут контрабанду, главным образом румынский спирт. С этого берега видны румынские посты, которые сами, говорят, участники провоза. Жарко, и пыль сказочная, а если дождь, то грязь непролазная.

24 августа

Наш корпус на отдыхе. Время провожу за работой в канцелярии, осмотром лошадей, а потом по большей части отправляюсь к К[онстантину] Флондору. Его имение в восьми верстах, а имение его брата «Волчаница» в тридцати двух. Туда, разумеется, я не забираюсь, далеко. Все Флондоры, видимо, ведут свои дела безалаберно и бесхозяйственно. Старший весь в долгу, Константин целый день спит, это летом-то, когда благодать Божия кругом разлита! Интересов, как я говорил, никаких, кроме карт и ужинов друг у друга. А имения прекрасные. Дом с колоннами, большие комнаты, паркет, зал, биллиардная...

Видел усадьбу Крупенского, тоже отличное имение.

25 августа. Липканы

Всё по-прежнему. Несколько раз ходил на охоту по куропаткам и перепелам. Жизнь идет однообразно, жду возвращения Сушкевича.

27 августа. Липканы

Приехал наш ветеринар осматривать лошадей и сообщил, что Сушкевич вернулся, решил завтра ехать к нему вместе с доктором.

---

[1] Усадьба принадлежала на тот момент, видимо, наследникам генерал-лейтенанта Николая Петровича Дитмара и его супруги Александры Романовны.

28 августа

Едем в Скалу завтра. Доктор Леонардов пил у меня чай. Он все остался таким же стесняющимся и застенчивым человеком, боялся взять кусок хлеба — ужасный комик.

29 августа

Выехали в восемь утра. Дорога — нечто невообразимое. Все время моросит мелкий дождь, никаких шоссе тут не существует, и густой чернозем превратился в липкую, густую кашу, пудами налипающую на колеса и ноги лошадей. В шесть часов еле добрались до Каменца. Доктор остался, а я отправился дальше. Последние пятнадцать верст нельзя описать, хорошо, что я переменил в Каменце лошадей в парке. Приехал ночью, еле отыскал квартиру Головкова, где и остановился.

30 августа

Утром приехал Головков, который сообщил, что он переведен в автомобильную роту в Петроград. Пошли вместе с ним к Сушкевичу. Получил отпускной билет и сегодня же решил ехать. В двенадцать часов поехал вместе с Головковым, он до Каменца, где сядет в поезд на Петроград. Проводил его. Встретил на улице Лешу Лашкарева, он корнет Киевского гусарского полка и служит в мотоциклетной команде. Боже! Как летит время! Леша, который был совсем малышом, и мы даже его не замечали, подумать только — теперь корнет!

Петя — прапорщик и служит в каком-то штабе.

31 августа. Липканы

В Ларге немного заблудились и приехали в Липканы в четыре часа утра. Сильно продрог, так как было холодно. Ночь лунная и ясная. Думал уехать сегодня, но не успею: надо заплатить Флондору за фураж, подписать нужные бумаги и пр.

1 сентября. Липканы

Был в Глинке. За скот надо, по счастью, расплачиваться с самой Флондор, я приехал и застал Константина Д[митриевича], поэтому все дела сделал, и сделал сразу. Завтра выезжаю!

2 сентября

В девять часов сел в поезд. Попутчиками до Киева оказались поручик 10-го гус. Ингерманландского полка, полковой казначей и два казака, сотник и есаул — все едут в отпуск. В Окнице пересадка. При-

личный вокзал, сидеть надо два с половиной часа. Обедали все вместе. Вечером приехали в Жмеринку.

3 сентября

Приехали в Киев. Имея два свободных часа, поехал себе купить фуражку и конфет домой. На вокзале столпотворение, так как Киев который день переживает тревогу, доходящую до паники. Как волна, наше отступление только теперь дошло сюда. Толпа такая, что не продерешься. Сидят на узелках с банками, картонками, торчащими рупорами граммофонов, с фоксами под мышкой. В вагоне 1-го класса достал себе верхнее место. Вагон завален так, что шагу нельзя сделать. В Воронеже буду завтра, а вечером в Самайкине.

4 сентября

Ночью приеду в Самайкино. Как всегда, чем ближе свидание, тем дольше тянется время, а поезд, как нарочно, опаздывает на десять часов.

5 сентября

Вот я и среди своих. Застал, к своей радости, отца. Он приехал отдохнуть и повидать меня. Вчера мы беседовали бóльшую часть ночи. Он очень расстроен делами Максимович[ей][1], их личные отношения что-то усложняются. Моя Наталка чудесная толстенькая девочка — вот что сделало кобылье молоко. Изображает, как кричит петушок, болтает много слов.

6 сентября. Самайкино

Сидел долго с отцом. Говорили о Кате.

Когда я беру на руки Наталочку, она смотрит на меня и говорит раздельно и протяжно «Па-па», а потом все повторяет «Няня, няня, няня» или «Мамама», что означает «Мадемуазель», которую она очень любит.

10 сентября

Необыкновенно хорошо и тихо в деревне. Войны и не чувствуется, и не заметно совсем. В Самайкине работает двадцать человек военнопленных: два немца, пять мадьяр и остальные русины и словаки. Старший над ними германский фельдфебель. Лучшие работники и самые исполнительные — немцы и мадьяры, самые нерадивые и недисциплинированные — славяне. Обидно. Мара говорит, что немцы берутся за работу и быстро и точно выполняют то, что им поручено.

[1] Речь идет, по-видимому, о семье лейтенанта Максимовича и его жены Екатерины Сергеевны Ильиной.

24 сентября. Липканы

Отпуск пролетел быстро. Обратно ехал через Москву вместе с отцом и женой. В Москве пробыл полтора дня. Повидал мать. Все вместе обедали в Лоскутной, где нам подали такие расстегаи, что одного хватило бы на всех четырех. Москва по-прежнему живет старой жизнью, и война, кажется, нисколько ни на чем не отразилась. Рынки, базары, ряды изобилуют чудеснейшими продуктами, в ресторанах чего-чего только нет.

Путешествовал с собакой Тюрби, которую подарил мне отец. Тюрби с коротким подшерстком, вся белая в мелких черных крапинах, высокая, мускулистая, очень красивая. Отцу подарил ее в Москве весной известный собачник Спиридонов — богатый человек. За отца Тюрби, выписанного еще до войны, он заплатил 10 тысяч франков, а за мать 5 тыс. Сама Тюрби получила на московской выставке малую золотую медаль. В аттестате значится, что Тюрби породы «брак-бурбоне».

26 сентября. Липканы

Здесь всё по-прежнему. Между службой пьют и играют в карты. Особенно меня поражают помещики, которые других интересов буквально не имеют. Ездим то к Флондору, то в имение его матери, то к Поплавским. Бруно Брунович Поплавский — поляк, муж сестры Флондора. У них две славные девочки, и вот ежедневно по очереди собираются друг у друга. Ужин, много выпивки, потом маус или девятка. В усадьбе Дитмара, где живут полковник Домбровский, интендант и его помощник Лавриненко, времяпрепровождение такое же. У Шеболдаева с утра до вечера лукулловские обеды и ужины и разливанное море. У Левицкого тоже обеды и чревоугодие процветают. Один я по-прежнему сижу на котле, и никто у меня не бывает, и я так себя и поставил, хотя Шеболдаев и удивляется, почему я не заведу хорошего стола, но я говорю, что считаю бессмысленным тратить деньги на еду.

Между моим транспортом и Левицким стоит корпусный авиационный отряд. Там все очень милые люди, и я иногда к ним захожу, у них служит известный летчик — прапорщик Шацкий, которому принадлежит честь изобретения пулеметной стрельбы сквозь пропеллер[1]. Говорят, что он отчаянный человек и рано или поздно разобьется. Вообще же летают они вдоль границы и на разведку, и все по очереди для «налета часов».

---

[1] Впервые прерыватели — устройства синхронизации пулеметной стрельбы с вращением винта самолета — были установлены на немецких истребителях «Fokker E.I» в 1915 году. Примерно в то же время появился ряд аналогов этой системы. Указанный Шацкий не был ее изобретателем.

6 октября. Липканы

Приехал генерал Блохин[1], он назначен инспектировать все армейские транспорты. Делал смотр и у меня, все нашел в порядке.

7 октября. Липканы

После смотра все обедали в усадьбе у Домбровского вместе с Блохиным. Он — бывший гвардеец, был в резерве чинов, а потом стал инспектировать транспорты.

16 октября. Липканы

Погода изумительная, тепло, солнечно, тихо, здесь это время самое лучшее. У Тюрби щенки. Сообщил мне об этом событии Александр, как всегда, немногословно и мрачно:

— Вашебродие, Тюрба рассыпалась...

Целое событие. Происходило все это в моей комнате. За Александром начинаю замечать пристрастие к водке. Он напивается, становится мрачным и или забивается в угол, где сидит, или куда-то исчезает.

17 октября

Сегодня мы все, то есть Левицкий, Шеболдаев, летчики, штабротмистр Ахтырского гусарского полка Давыдов, устраивали облаву. Зайцев масса. Давыдов взял лису, я трех зайцев, другие тоже несколько зайцев. Завтракали в лесу, летчики подвыпили и изводили нас всех потом шумом, зряшней стрельбой. После облавы все обедали в собрании летчиков, было хорошо и мило.

Между прочим, Давыдов говорит, что он родственник нашему симбирскому Давыдову[2]. К нему приехала гостить дочь, красавица барышня.

18 октября

Никаких новостей и никаких перемен.

28 октября

Застал у себя, придя из канцелярии, письмо, неизвестно кем привезенное, с приглашением в Глинки на именины Анастасии — матери Флондор. Вечер провели с Шеболдаевым у Поплавских.

---

[1] В списке генералов по старшинству за 1915–1916 годы генерал Блохин отсутствует.

[2] Видимо, Николай Николаевич Давыдов.

29 октября

Утром делал выводку, потом занимался в канцелярии, обедал, к сожалению, у Шеболдаева — к сожалению, потому что пришлось много пить. У него собрались летчик, только что приехавший из авиационной школы, прапорщик и вольноопределяющийся с четырьмя крестами. После обеда заказали букет, немного отдохнули и поехали с Шеболдаевым в Глинку. Собралось много народу. Все Флондоры, Поплавские, два доктора из нашего краснокрестного отряда, который стоит в Липканах, еще какие-то люди. Обед был в семь часов с массой закусок, водкой, ликерами, шампанским, после чего составилось несколько столов в маус и девятку. Я не играл, но мазал и сначала проиграл рублей 80, а под конец все вернул и выиграл около 160 руб., с чем под утро и уехал.

30 октября

День чудесный, тепло и хорошо, прямо лето. С утра, поспав часа два, занимался в канцелярии, потом осматривал и приводил в порядок с каптенармусом амуницию, а в четыре с половиной часа поехал в Глинку, так как обещал на черствые именины приехать. Каково же было мое удивление, когда я застал всех за картами, как оставил. Оказывается, никто не ложился и все так и играют напролет. Вот так жизнь, да еще в деревне!

Мой делопроизводитель в двухнедельном отпуску, без него довольно трудно, приходится вести самому сложную отчетность. Три дня назад корпусный контролер Окулич приехал делать поверку и ревизию и запечатал ящик до приезда делопроизводителя.

Этот Иван Иванович Окулич забавный человек. Из маленьких чиновников контроля он дослужился до надворного советника, чем очень горд, а теперь занимает, как любит подчеркнуть, генеральскую должность.

31 октября

Утром приехал делопроизводитель. Я очень обрадовался ему и сейчас же послал за Иваном Ив[ановичем], который пришел, открыл ящик и занялся поверкой. Все оказалось в полном порядке. После обеда (обедал дома с котла) лег спать и только что заснул, как вдруг услыхал странное жужжание и свист с сильнейшим грохотом. Вскочил, вышел на крыльцо и увидел целую эскадрилью аэропланов, которая кружилась над нашим расположением и бросала бомбы. Бомбы падали все над расположением Левицкого, ни одна не попала к летчикам и ко мне. Пока наши летчики чесались и ехали на автомобиле к своим аппаратам, австрийцы благополучно улетели. Левиц-

кий пережил несколько неприятных минут и ругал наших летчиков вовсю.

1 ноября

Аэропланы сбросили всего девять бомб. Убило одного солдата и двух коров.

День провел в транспорте, а вечером играл в преферанс с Домбровским, Окуличем и Лавриненко. К Окуличу приехала жена, очень милая дама. Окулич переживает горе: у него, оказывается, сын кокаинист, и ничем его отучить нельзя, юноша совсем погибает.

2 ноября

Днем занимался в транспорте, а вечер провел с докторами в отряде, где много говорили об охоте.

Тюрби, которая необыкновенно похорошела после родов, вдруг неожиданно заболела и сдохла, забравшись под кровать Александра. Никак не могу понять почему. Щенков взяли доктора, передал им и великолепный «Тюрбин» аттестат.

4 ноября

Погода испортилась, моросит дождь, грязь и слякоть. Весь день просидел в канцелярии, заканчивая месячный отчет.

8 ноября

Сегодня сумбурный день. К Шеболдаеву приехала жена, почему он устроил целое пиршество. У него собрались все летчики, все население усадьбы во главе с Домбровским. Госпожа Шеболдаева очень интересная женщина, несколько деланно-натянутая, старается все время держать высокий тон и играть гранддамистую роль. «Липканский Кюба», как я прозвал Шеболдаева, отличился, его кухарка Маня показала чудеса. Пили, конечно, массу. Познакомился с очень милым подполковником Пионтковским, офицером 44-го Галицкого полка, который был ранен и после ранения получил батальон, в котором транспорт Шеболдаева. Он хорошо знает обоих Ушаковых — Александра и Сергея.

После обеда я узнал, что меня, то есть мой транспорт, переводят отсюда, и потому вечером мне были устроены проводы, продолжавшиеся в усадьбе у Домбровского всю ночь.

9 ноября

Пришла телеграмма, по которой я остаюсь, переводят одного Левицкого.

10 ноября

Сегодня ушел транспорт Левицкого. Заезжал в нему, распростились. День чудный: солнечный, тихий, легкий морозец.

Вечер провел в собрании у летчиков.

13 ноября

Весь день занимался в канцелярии и затем провел вечер дома. Получил от отца письмо на десяти почтовых страницах. Пишет все о Максимовичах.

Послал телеграмму жене, что остаюсь в Липканах пока и она может приехать.

17 ноября

Завтра приезжает Катя. Весь день прошел в ожидании. Нигде не был, кроме канцелярии.

18 ноября

Сегодня приехала жена. Я, разумеется, по своей рассеянности опоздал ее встретить. Хоть на станции и дежурил мой солдат Пултус, но и он не успел мне вовремя сообщить о приходе поезда. Я собрался ехать в восемь часов, когда увидел, что он бежит с известием, что поезд подходит. На полпути встретил экипаж Шеболдаева и его с женой, оказывается, он ее подвез, так как тоже приехал, проводив свою жену.

19 ноября

Отлично устроились, я показывал Липканы, а вечер провели дома. Домбровский прислал записку с приглашением ужинать, но мы извинились, сказав, что сегодня заняты. Катя привезла икры и чудесного балыка, я делаю сам яичницу и чай, в общем, уютно и хорошо.

20 ноября

День провел в канцелярии, потом с женой. Пришла телеграмма о том, что мне надо ехать в Каменец на переосвидетельствование.

Погода чудесная, и после канцелярии ездили кататься.

Глядя на тот берег, румынский, Катя сказала:

— Как странно, что там другая земля, на которую нельзя ступить. Это кажется чем-то неестественным, и, пожалуй, можно понять Вильгельма, который взял и двинулся через Бельгию, не ожидая героического сопротивления маленького народа!

Потом ездили в Котельню, доехав почти до самой Глинки.

Вечером получили от Поплавского две бутылки чудеснейшего вина, натурального бессарабского его собственных виноградников, оно оказалось очень кстати.

21 ноября

Комиссия назначена на 25-е, а потому решили завтра ехать в Каменец. Погода прекрасная: солнечно и тепло.

22 ноября. Каменец

Целый день ушел на путешествие. Остановились все в той же единственной гостинице.

23 ноября

Осматривали Каменец. Игнатьева уже нет, он в Киеве.

25 ноября

Утром был на комиссии. Комиссия из целого сонма врачей во главе с главным действительным статским советником с утра осматривала всех приехавших офицеров. Большая комната управы была полна офицерами. Когда я вошел, чтобы не затруднять врачей, не раздевался, а прямо заявил, что чувствую себя здоровым и могу ехать в строй. На том дело и кончилось.

26 ноября

Весь день ехали. Вся дорога запружена войсками, идут большие перегруппировки. Слышатся глухие удары орудий. Вообще началось оживление на нашем фронте.

Приехали поздно ночью, усталые и измученные.

27 ноября

Получен секретный приказ, запрещающий всякие переезды и передвижения частным лицам, даже офицерским женам или родственникам. Мы было впали в панику, ведь Кате надо ехать, но выручили доктора, они дали ей удостоверение, что она — сестра милосердия отряда, командируется в Киев, а Пионтковский, который едет завтра в отпуск в Москву, взялся ее сопровождать. Таким образом все уладилось.

На фронте намечено наступление и прорыв австрийского фронта в районе Черновиц.

28 ноября

Проводил Катю и Пионтковского. Завтра или послезавтра думаю съездить к Сушкевичу, который находится в Дунаевцах, где и дежурный генерал.

Сулима получил телеграмму от Бискупского с предложением быть при нем в качестве штаб-офицера для поручений, а сам Бискупский — начальник санитарной части.

Шеболдаев ездил тоже на осмотр, он остается на нестроевых должностях, так как у него левая нога после перелома в бедре несколько короче правой. Перелом он получил в мирное время, упав вместе с лошадью на барьере в манеже. Когда полк выходил на войну, он вскоре же пошел на освидетельствование и его признали к строю негодным.

30 ноября

Транспорт вскоре переходит в деревню Мамалыгу, которая в восемнадцати верстах от Липкан.

5 декабря

Когда сдам транспорт, не имею понятия, потому что должен приехать заместитель. Получил от Кати из Киева совершенно неожиданно телеграмму с вопросом, не хочу ли я перевода в бронированный поезд, подробности письмом. Ответил согласием. Она живет у губернатора графа Игнатьева[1], сделав остановку в Киеве.

10 декабря. Липканы

Завтра годовщина, как я командую транспортом. Год назад в Люблине я принял его. Отчетливо помню этот день. Сколько прошло времени, Боже мой! А войне и конца не видно!

Вчера ездил на именины Анны Дмитриевны Поплавской в Глинки, а вернулся сегодня утром. Ужинали, веселились, потом, разумеется, играли в карты.

В одиннадцать часов на отрытом воздухе был молебен по случаю годовщины транспорта. День чудесный, солнечный и теплый. После молебна, как только я вошел в канцелярию, мне подали телеграмму: «прикомандирование состоялось — точка — выехала Новоспасское — точка — граф Игнатьев».

15 декабря

Ездил в Каменец в штаб фронта, чтобы узнать, когда я могу сдать транспорт. Проболтался там два дня, 12-го и 13-го, и ничего не мог узнать, потому что еще нет никаких распоряжений. А сегодня, приехав, застал записку от Сулимы, который приехал через час после моего отъезда, в которой он сообщает, что скоро приедет принимать транспорт мой заместитель. Глупо вышло — зря съездил.

Шеболдаев уехал в отпуск в Одессу.

[1] Алексей Николаевич Игнатьев.

16 декабря. Мамалыга

Перешел в Мамалыгу. Это большое молдаванское село. Жители все молдаване и плохо говорят по-русски. Избы с чистой половиной и жилой. В жилой живет семья, а в чистой большая печь, стол и лавки по стенам, а в углу сложены до потолка ковры ручной работы. Чем больше этих ковров, тем считается богаче дом. Пол, как и всюду в Бессарабии, глинобитный, чисто выметенный. Я поселился в одной из таких изб и купил сейчас же два ковра чудесного рисунка по 12 руб. за штуку. У меня в «чистой половине» на самом деле чисто и прохладно.

20 декабря

Три дня жил в Липканах у Сулимы. Соединились все втроем: Пионтковский, Сулима и я. Сегодня Пионтковский уезжает на праздники домой. Днем приехал вестовой и сообщил, что прибыл мой заместитель принимать транспорт. Я очень обрадовался и поскакал к себе. Сейчас сидим в канцелярии. Новый командир — милый человек, поручик из кавказских людей.

22 декабря

Скоро и Рождество, а у нас пошли лить дожди, и развезло такую грязь, что просто ужас! На фронте полное затишье. Наше наступление совершенно не удалось.

Завтра поеду к Сушкевичу узнавать, когда могу ехать, всю отчетность уже сдал, а предписания до сих пор не имею.

23 декабря

Утром выехал. Дорога превзошла все ожидания, и на середине пути мы застряли, и лошади не могли вывести экипажа. По счастью, ехал верхом на деревенской лошаденке какой-то мальчуган, мы впрягли его лошадь и кое-как тронулись. С дикими криками, уханьем и улюлюканием еле протащились две версты до Данкауц, где, по счастью, оказался головной этапный пункт, которым ведает полковник. Он оказался милый, крепкий, шестидесятидвухлетний старик, который накормил меня обедом и дал еще двух лошадей в припряжку, так как до Хотина оставалось еще восемь верст.

Совершенно не понимаю, как можно, чтобы тыловые пути сообщения были в таком состоянии — ведь ни пройти, ни проехать! Широкая черная полоса, изображающая дорогу, густая, липкая грязь, и целые пуды налипают на обода, так что экипаж нельзя с места сдвинуть.

В Хотине ночую.

25 декабря. Дунаевцы

Сушкевич очень тепло встретил, сказав, что до сих пор обо мне ничего не известно, и посоветовал сходить к начальнику этапно-транспортной части полковнику Всеволожскому. Тут я узнал, что предписание о моем командировании получено 9 декабря, то есть больше двух недель, но его положили под сукно и забыли о нем. Интересно знать, сколько же я мог бы сидеть, если бы не приехал сам?

Сегодня Рождество, и мы с Сушкевичем провели вечер в маршевом батальоне, где было очень мило. Солдаты хорошо пели, нашлись комики и артисты.

26 декабря

Хотел ехать сегодня, но Сушкевич уговорил остаться, тем более что целый день льет дождь, дорога же и здесь ужасная, и только теперь начали от Дунаевцев спешно проводить временное шоссе. Я, когда ехал, видел эти работы под моросящим дождем. Воображаю, какое выйдет шоссе, а вгонят, вероятно, в копеечку?!

Сушкевич живет в великолепной усадьбе Крупенского, где занимает две большие комнаты. Вечером приехали человек восемьдесят штабных и инженеров с водкой, закуской и оркестром, соблазнившись большим залом дома, и всю ночь веселились так, что мы с Сушкевичем не могли спать. Моя комната как раз примыкает к залу, и потому все буквально было слышно. Гремела музыка, танцевали, дирижировали.

27 декабря

Получил, наконец, предписание на руки, сердечно простился с Сушкевичем и поехал. Все-таки год я командовал транспортом, и ни одного недоразумения с Сушкевичем не было, если не считать столкновения из-за фуража, который я отказался брать у подрядчика, да мяса. Сушкевич не придирался, не стеснял, никогда не подводил и был хорошим, добрым начальником. Он был тип человека, который дорожит больше всего своим покоем, хочет, чтобы все было хорошо и гладко, чтобы не выходило никаких недоразумений, и ради этого он готов был поступиться многим.

Это люди, которые в случае чего стараются быть в стороне и в критическую минуту говорят: «Бросьте, ну Бог с ним! Стоит ли путаться, только неприятности наживать, все равно исправить ничего не исправишь, а только себе неприятности наживешь».

29 декабря

Кончил все дела в транспорте. Простился с людьми и моими помощниками, с которыми год дружно прожили без единой шероховатости. На душе даже стало немного тяжело.

Поручик Дидов все от меня принял, и завтра я еду в Киев, а оттуда к новому месту служения в Сарны, где стоит штаб 2-го Заамурского железнодорожного батальона, в котором находится и броневой поезд. От Кати пришло письмо, которое мне все объяснило. Она, оказывается, познакомилась в Киеве с Наталией Владимировной Духониной и, с ней разговорившись, решила хлопотать о моем переводе, так как ей кто-то сказал, что меня могут назначить в пехоту. Она побывала по совету Наталии Владимировны у Колобова[1], командира Заамурской ж.д. бригады, и быстро все устроила, так как Наталия Владимировна написала в свою очередь мужу[2] — помощнику генкварма[3] Юго-Западного фронта.

---

[1] Михаил Викторович Колобов.

[2] Николай Николаевич Духонин.

[3] Генкварм генерал-квартирмейстер, одна из высших штабных должностей в русской армии. В обязанности генкварма входили изучение местности, организация расположения и передвижения войск.

1916

*2-й Заамурский железнодорожный батальон. Сарны.
Жизнь в батальоне. Полковник Устимович. Полицы.
Штабс-капитан Харченко. Передовой отряд. Броневой поезд.
Приезд жены. Весна. Налеты аэропланов. Первые жертвы.
Смерть доктора. Поездка в Ставку. Генерал[1] Духонин.
Назначение в школу прапорщиков Юго-Западного фронта. Школа.
Состав руководителей. Подполковник Глязгер. Состав юнкеров.
Мои лекции. Жизнь школы на Врангелевке в Житомире*

2 января. Сарны

В Киеве провел два дня, после чего приехал в батальон и явился к командиру — полковнику Устимовичу. Высокий, стройный человек, с тонкой талией, лысиной во всю голову, бородкой, аккуратно расчесанной на две стороны, и пушистыми великолепными усами. Устимович все время рисуется, кокетничает форменным образом, выпячивает грудь, изображает из себя молодца и лихача.

Тут стоит штаб батальона. Помощником по строевой части Церетели, красивый кавказец, по хозяйственной части другой: подполковник, полная противоположность Церетели, рябой, мелочный, видимо, придирчивый и всеми нелюбимый. Адъютантом у Устимовича прапорщик Похвалинский с университетским образованием, хамоватый тип, затем капитан Даниель, отличающийся жестокостью и мордобойством, старший врач Ливанский и два чиновника.

Меня назначили в передовую роту, которая стоит в Полицах, где находится броневой поезд. Командир броневого поезда, оказывается, имеется: штабс-капитан, артиллерист, а потому я буду заместителем.

3 января. Полицы

Полицы — маленькая станция среди лесов Волыни. Приехал с этапным поездом. Тут уже почти позиции. За станцией стоит эшелон

[1] На момент знакомства с Иосифом Сергеевичем Ильиным и до Пасхи 1916 года — полковник.

второй роты, которой командует штабс-капитан Харченко, рядом броневой поезд, дальше идет мост через небольшую речку, которую поезд, собственно, и охраняет, вправо шагах в пятистах расположена на опушке леса батарея.

Явился Харченко. Это толстый рыжий встрепанный человек в совершенно пьяном виде. У него в роте прапорщик Педер из запаса, старый железнодорожник, служивший дежурным по станции Николаевского вокзала в Петербурге. Мне отвели купе, где Александр устроил кровать на диване и мои вещи. С места началось пьянство. Напротив стоит немного сзади передовой отряд Красного Креста, Харченко сейчас же послал за доктором и сестрами, и все принялись спрыскивать вновьприбывшего, то есть меня. Пили всю ночь. Оказывается, Харченко и Педер так проводят все время, так же как и доктор со своими сестрами.

5 января. Полицы

Утром проснулся от орудийной стрельбы — наша батарея ведет редкий огонь. Оказывается, такой обстрел — снарядов десять-пятнадцать в день — бывает ежедневно.

Вагон у нас двухосный 2-го класса, с тремя купе и небольшим салоном, где помещается наша столовая и канцелярия Харченко. Дела буквально никакого. В двенадцать часов начали обедать с выпивкой, потом сели играть в карты, затем пришли доктор и сестры, и снова началось пьянство. Харченко пьет как бочка, встрепан, грязен, от него дурно пахнет, потому что, по моему мнению, он никогда не моется. Нижние чины живут в вагонах-теплушках, один вагон — мастерская.

7 января. Полицы

Сегодня день начался так же, но я ушел осматривать местность. Сплошной лес и лесные болота, вероятно, охота тут чудесная. Наши позиции у Чарторийска, недалеко за мостом, мост иной раз обстреливается австрийцами, но в общем полное затишье. Обедать пришли к докторам.

Одну сестру зовут «Чик», как я узнал, за ее любвеобильность, и она всегда готова на любовь со всяким. Смотрел на нее с некоторым любопытством, и какое-то брезгливое чувство порой подступало. Невысокого роста, с полными красными губами, с помятым лицом, она в общем добрый парень и хороший товарищ. У других сестер тоже, кажется, периодические романы. Харченко со свойственной ему грубостью говорит про отряд «б....к» на колесах. Вообще Харченко напоминает скорее какое-то грязное и скверное животное. Он не-

развит, груб, глуп, кричит, постоянно на взводе, но в душе страшный трус и малодушен до последней степени. Педер говорит, что у него запутаны дела, так как он пропивает и проигрывает ротные деньги.

8 января

С утра играем в карты. Из Сарн приехал поручик Кучкин, жених дочери Устимовича, и засели в преферанс. Он привез три ящика подарков, присланных батальону из Харбина. папиросы из магазина Чурина[1], коньяк, ром, консервы, слушал рассказы про Харбин и Маньчжурию, про жизнь там наших заамурцев, про сказочную дешевку и пожалел, что мы вообще так мало знаем о России. Стыдно сказать, я даже не имел понятия, где это Харбин.

К обеду собрались все сестры во главе с доктором. Вместо водки пили ром. Педера сестры зовут «Педерастович», причем произносят это слово с ударением и в растяжку. Сам Педер напоминает евнуха. высокий, сухой, немного сгорбленный, с бледным, без кровинки лицом и совершенно лишенным всякой растительности: буквально ни единого волоска ни на черепе, ни на физиономии, и вот имеет у сестер успех.

9 января

Проснулся с дикой головной болью, очевидно от рому, отчасти, может быть, и контузия, потому что буквально не мог поднять головы. Думал о том, что сделал большую ошибку, согласившись на этот дурацкий перевод: тут не жизнь, а кошмар, лучше было ехать в бригаду. Теперь как выбраться отсюда, не знаю.

11 января

Сегодня случилось целое происшествие, чуть-чуть не кончившееся катастрофой. Дело в том, что сюда из Сарн обычно ходит, и то нерегулярно, паровоз, которым управляют солдаты батальона, — другого сообщения нет. Иногда прицепляют вагон, и это называется этапным поездом.

С утра Харченко пил, потом за обедом опять пили, а затем пришли доктора и сестры. Младшему доктору Котленко надо было попасть в Сарны, и он решил ехать с паровозом. Котленко еврей, очень симпатичный человек. Вдруг Харченко заявил:

— Я тебя повезу.

Саша, как все зовут Харченко, со всеми, конечно, на «ты». Он начал хвастать, что лучше его машиниста нету, что он имеет стаж

[1] «Чурин и К°» крупная русская торговая фирма, работавшая в конце XIX начале XX века на Дальнем Востоке и в Маньчжурии.

десятки тысяч верст и пр. Одним словом, в семь часов он влез на паровоз и предложил всем нам тоже прокатиться. Педер, сестра Чик и я забрались на паровоз. Я сейчас пишу и в ужасе от того, как вспомню, как мы были глупы, что сели с пьяным Харченко. Он сам взялся за рычаг и пустил паровоз. Паровоз шел задним ходом. Харченко с расстегнутым воротом, с всклокоченной копной рыжих волос высунулся в окно, а правой рукой все нажимал рычаг. Паровоз начал нестись, как бешеный. Профиль пути неровный, с поворотами, минутами казалось, что мы слетим под откос немедленно. Котленко побледнел как полотно, и с ним почти стало дурно. «Чик» храбрилась, а Педер начал ругаться. Тогда Харченко взял наган и хрипло заявил, что он застрелит всякого, кто осмелится вмешиваться. Между тем паровоз все наддавал ходу и мы летели со скоростью, вероятно, семьдесят-восемьдесят верст! Машинист, унтер-офицер, тихонько, когда Харченко отпускал рычаг, слишком высовываясь, отводил его назад, но в ту же минуту Харченко опять нажимал на него. Котленко было почти дурно, а меня разбирала такая злость и страх тоже, что хотелось избить этого дурака. Я вообще решил, что мы погибли, и в мозгу все время мелькала мысль, как это случится и куда я вылечу. По счастью, замелькали огни Сарн, но Харченко и тут ничего не хотел признавать — он пролетел семафор, станцию, и лишь далеко впереди мы все оттащили его и машинист остановил паровоз...

Обратно мы все отказались ехать, и этот тип, видя, что мы можем пойти на скандал, сразу вдруг протрезвел, утихомирился и стал шелковым. Обратно ехали уже ночью, и Харченко сидел и мирно дремал.

Храбрее всех оказалась Чик, она вообще была спокойна, но так как смеялась, то этим скорее подбадривала Харченко — я ее за это выругал.

13 января

Все чаще и чаще подумываю, что предпринять, чтобы убраться отсюда. Жизнь положительно никчемная. Я даже ни писать, ни читать не могу. Только проснешься, как слышишь ругань Харченко: он иначе, как ругаясь самыми последними словами, не разговаривает с солдатами. Как он ведет вообще хозяйство, понять не могу. Все, что подается на стол, он относит за счет роты, казенные деньги проигрывает и никакой отчетности не ведет. Затем начинается выпивка, потом карты. Мы с Педером оба слабохарактерные и хотя собираемся не принимать участия, но это никогда не проходит.

14 января

О счастье! Из батальона пришла бумажка с требованием командировать меня в штаб. Хоть вырвусь из этой клоаки.

В батальоне Устимович сообщил мне, что я командируюсь осмотреть все частные узкоколейки на линии Сарны — Киев. Я радовался страшно, завтра выезжаю.

Обедал в столовой батальона. Отличный американский вагон, отделанный под столовую, большую и поместительную. Тут тоже процветает картеж, и вечером у чиновника Оверина многие играли в девятку.

15 января

Утром выехал с пассажирским поездом. Сижу в купе 1-го класса и наслаждаюсь одиночеством и тем, что далеко от Харченко.

25 января

Как быстро пролетели десять дней. Я жил точно в сказке, путешествуя по необозримым лесам, болотам и долам. Я еще не видел таких могучих боров с крепким запахом смолы, избушек полещуков[1], заброшенных среди могучих сосен, — странного народа с заросшими головами и лицом и говорящего на польско-русско-малороссийском языке.

Я останавливался на всех полустанках и разъездах, нанимал полещука, если не удавалось приехать по узкоколейке, и углублялся в самую чащу. Узкоколейки оказались в имении Уваровых[2] и в казенном лесу, но и то в не очень большом количестве. Во всяком случае я точно записал протяжение и количество подвижного состава.

На одном разъезде было необыкновенно интересно проехать в дом управляющего, который отстоял от линии на двадцать две версты. Туда идет узкоколейка, и миниатюрный паровозик с несколькими платформочками как раз стоял у разъезда. Уже вечерело, и солнце опускалось за молчаливый сумрачный лес. Я сел на одну из платформочек, паровозик тоненько свистнул, звонкое, перекатное эхо далеко-далеко разнесло по всему лесу, ударяясь в станционное зданьице, и, тарахтя и подскакивая, загремели платформочки. Скоро стемнело совсем, и только вверху над головами горели звезды в просветах мохнатых сосен, да местами в болотцах, колеблясь, отражался

[1] Полещук — житель Полесья, области, расположенной на территории Полесской низменности, на территории четырех государств: Белоруссии, Польши, России и Украины.

[2] Вероятно, речь идет об имении графа Владимира Александровича Уварова.

их свет. Было жутко и странно в этом глухом незнакомом лесу ехать на тарахтящей и пыхтящей машине. Паровозик сопел, стучал, иной раз вспугивал тишину тонким свистом, который катился эхом Бог знает куда.

Я приехал часа через два и вылез в темноте среди балок, бревен, сараев. Пахло смолой, опилками. С фонарем вышел встречать сторож. Светился дом управляющего, большой двухэтажный сруб. И так странно было видеть в этом лесу огоньки в окнах, тепло и уютно светившиеся! Управляющий оказался милым лесничим, который чуть не полжизни провел в лесу и любит и знает его. В чистых, пахнущих смолой комнатах пили мы чай и говорили об охоте. Стены были увешаны рогами козлов, чучелами глухарей и тетеревов, кабаньими головами, лосиными рогами... Он живет одиночкой и кроме лесного хозяйства и охоты ничего не признает, говоря, что хотел бы прожить так всю свою жизнь.

И я искренно завидовал ему и думал, что и сам бы с наслаждением зажил такой жизнью.

Днем он мне показывал свое хозяйство, потом прошлись по лесу, и я, увидев на некоторых соснах колодки и дубинки на привязи, удивленно спросил его, что это. Оказывается, дикие ульи. Полещуки ставят колоды, а дикие пчелы роятся: чтобы уберечь мед от медведей, привязывают поленья.

Живут полещуки среди леса, где стоят несколько изб, низких и приземистых, на полянке среди обступившей чащи — кругом засеян картофель — это и все хозяйство. Едят картофель, собирают мед и охотятся, вот и все.

Но все кончается, кончилась и моя командировка, и завтра я уже буду опять в обществе Харченко, Педера, докторов и сестер. Должен сказать, что с тяжелым сердцем думаю об этом.

28 января. Сарны

Третий день живу при штабе, сдаю отчет о поездке. Для офицеров рядом со столовой вагон 1-го кл. Николаевской ж.д., пульмановский с отдельными купе. У меня второе купе. Казалось бы, чем плохо: прекрасные диваны, мягко, удобно, но на практике, оказывается, нет ничего хуже жизни в вагоне, да еще мягком: пыль, и самое главное — температура: так, Церетели и Похвалинский не переносят холода, и потому в вагоне температура поддерживается градусов восемнадцать-двадцать, а я в такой атмосфере спать не могу, да и вообще жары не перевариваю.

Жизнь тут такая: встают к восьми часам, идут пить чай или кофе в столовую, после чего занятия в канцелярии. Капитан Даниель

уходит к роте, которая стоит тут же в теплушках за канцелярией, в одном составе. В двенадцать часов обед, после которого некоторые спят, а некоторые играют, попивая чай, в домино. Вечером опять канцелярия.

Чиновник Оверин занимает две комнаты в частном домике внизу за полотном, и у него почти постоянный картеж. Ему страшно везет, и он всегда в огромном выигрыше.

Завтра еду в Полицы.

30 января. Город Полицы

Живем без перемен. Харченко пьет каждый день, доктора и сестры у нас, или мы у них. Солдаты живут сами по себе, ими никто не интересуется и никто не занимается. Вообще какие обязанности у кого, я понятия не имею. Я числюсь заместителем командира броневого поезда, который так же, как и я, тоже ничего не делает. Педер, кажется, и сам не знает, зачем он и что он и т.д.

На фронте полное затишье.

3 февраля. Полицы

Сегодня много гулял. Кругом лес, и потому очень хорошо. Вечером пролетал высоко цеппелин, и мы думали, что он будет бросать бомбы, но все обошлось благополучно. Вправо и влево от полотна в ста шагах стоит по зенитной батарее, но это только одно название; на самом деле обыкновенные наши трехдюймовые полевые пушки, снятые с лафетов и поставленные на деревянные козлы дулами, вот и зенитное орудие. В каждой такой батарее по четыре орудия. Подумать только, [19]16 год, война в самом разгаре, уже полтора года, как люди истребляют друг друга, а у нас ничего ровно нет.

5 февраля

Получил от папы длинное письмо, много пишет о Кате. Пришло письмо из Самайкина от Кати, она собирается приехать и просит телеграфировать, можно ли. Я послал телеграмму, что пускай приезжает в Сарны, я всегда на день могу туда показаться.

8 февраля

Опять повезло. Сегодня уезжаю в Сарны с паровозом, которого скоро ждем. Из штаба пришла бумажка с требованием командировать меня для принятия должности казначея, так как казначей уезжает в двухнедельный отпуск. Значит, на две недели избавляюсь от Полиц.

10 февраля

Необыкновенно удачное совпадение. Только что я приехал в Сарны, как получил от Кати телеграмму уже из Киева, что она приезжает, а сегодня я ее встретил и мы уже живем в комнате в домике железнодорожника, которую я снял. Тут у нас уютно, хорошо и мило. Вечера проводим за чтением, вместе гуляем.

12 февраля. Сарны

Праздновали свадьбу поручика Кучкина, который женился на дочери полковника Устимовича. Все было очень хорошо, торжественно. Венчались молодые в здешней церкви, а потом в вагоне-столовой был обед. Вагон мастерски декорировали, убрали цветами, гирляндами электрических лампочек, вензелями. Когда молодые вошли, все сразу загорелось разноцветными огнями сотен лампочек.

Обед был чудесный, с массой закусок, всяческих вин, вплоть до шампанского и пломбира.

13 февраля

Сегодня опять торжество: проводы князя Церетели, который получил отдельный железнодорожный батальон. Церетели — красивый бледный грузин, с матовой кожей лица и черными жгучими глазами. Он большой циник, но, кажется, вполне порядочный человек. В обществе дам он показывает ловкие фокусы с картами, гадает, рассказывает не без мастерства полуприличные анекдоты, которых вообще знает массу.

Два дня подряд мы с Катей веселимся. Ей очень понравилось — все очень милы и предупредительны.

21 февраля

Погода совсем тепла, и кажется, что никакой зимы вообще тут не существует. Завтра сдаю казначейство, так как казначей приезжает сегодня вечером, и послезавтра еду проводить Катю до Киева, откуда имею намерение съездит в Бердичев, так как это совсем близко, и попытаться похлопотать о том, чтобы выбраться отсюда — оставаться с Харченко, да и вообще в ж.д. батальоне, положительно не вижу никакого смысла. Моему Александру тоже что-то не нравится вагонное житье.

23 февраля. Киев

Отпущен на целых шесть дней, и надеюсь все успеть сделать. Погода чудесная, остановились в гостинице, но весь день, конечно, бегаем. Завтракали у графа Игнатьева[1], потом сидели и разговари-

---

[1] Имеется в виду Алексей Николаевич Игнатьев.

вали о последних событиях. Сам Игнатьев, и в особенности графиня[1], очень милые, простые и симпатичные люди. Игнатьев говорит, что из-за Распутина вдовствующая императрица[2] не хочет жить в Петрограде и что она ненавидит свою невестку[3]. Государыня живет сейчас здесь, в Киеве. Вообще влияние Распутина как будто не уменьшается, а даже увеличивается, и ничего с этим поделать не могут.

Игнатьева говорит, что она удивляется мужеству защитников Вердена и что тут французы показали себя на высоте.

Вечером пошли смотреть «Летучую мышь» Балиева[4], которая гастролирует в Киеве. Необыкновенно хорошо, остроумно и интересно. Мы сидели в шестом ряду, а сзади нас как раз за мной, в седьмом ряду, сидела вел. кн. Ольга Александровна, теперь Куликовская, в сестринском костюме[5] Все-таки как она похожа на Государя.

24 февраля. Киев

Днем были у Игнатьевых.

Игнатьев, смеясь, встретил нас словами:

— Как вы великолепны, впереди великой кн. сидели!

Мы удивились, откуда он знает, а он сказал, что уж за его добрыми знакомыми смотрят вовсю и каждый шаг ему известен, так как при утреннем докладе полицмейстер почтительно сообщает об том, что делали эти знакомые.

После Игнатьевых заехали к Наталии Владимировне Духониной, которую застали дома. Наталия Вл[адимировна] очень красивая молодая женщина высокого роста. Она очень проста и мила и, видимо, очень хороший и добрый человек. Так заговорились, что и не заметили, как пролетело время.

25 февраля. Бердичев

Катя проводила меня в Бердичев, а сама поехала к Игнатьевым, которые пригласили ее остановиться у них до поезда, который уходит на Москву завтра утром.

---

[1] Мария Юлиевна Игнатьева.

[2] Императрица Мария Федоровна (1847–1928), с 1866 года — супруга, с 1894 — вдова императора Александра III.

[3] Императрица Александра Федоровна (1872–1918), супруга императора Николая II.

[4] Московский театр миниатюр «Летучая мышь» — дореволюционный пародийный камерный театр под руководством Никиты Федоровича Балиева.

[5] Ольга Александровна Романова (во втором браке Куликовская), сестра императора Николая II, в годы Первой мировой войны на свои деньги оборудовала госпиталь и работала в нем сестрой милосердия.

Только что вернулся из Ставки, где был у Духонина[1] Вот что произошло. Приехав, я остановился в гостинице в скверном номере, кое-как вымылся и пошел в штаб. Я явился в управление генкварма — генерала Дитерихса, где обо мне адъютант доложил его помощнику полковнику Духонину. Духонин меня немедленно принял. Когда я вошел, за большим письменным столом сидел красивый, очень розовый, несколько полный человек с резко черными волосами, бровями и небольшими усиками. Не знаю почему, но внешне он мне почему-то напомнил Ставрогина, которого Достоевский описывал именно таким, главное, этот замечательный контраст необычайно белой кожи, румянца и темноты, жгучей темноты волос.

Духонин очень любезно попросил меня сесть и прямо спросил, что бы я хотел. Я сказал ему, что жизнь в ж.д. батальоне не только не удовлетворяет меня, но я просто тягощусь ею и, кроме того, решительно никакой пользы никому не приношу и что считаю лучшим или вернуться в бригаду, или получить какое-то другое назначение.

На это Духонин сказал, что у чего есть две хорошие вакансии — это командира отдельного артил. парка или зенитной батареи, обе должности вполне самостоятельные. Он еще не знает точно насчет парка и поэтому просил зайти завтра утром.

Таким образом, приходится ночевать. Бердичев — скверный, грязный, еврейский городишко.

Духонин произвел на меня редкостно хорошее впечатление. Он необыкновенно спокойный, сдержанный человек. Видимо, и офицер, и работник хороший. Он георгиевский кавалер.

26 февраля

Оборот совершенно неожиданный. Утром пошел в штаб, пришлось подождать с полчаса, потому что у Духонина был доклад. Потом он меня принял. Когда я сел, он сказал:

— Ну вот что, у меня есть другое предложение. Дело в том, что я состою во главе двух школ прапорщиков Ю.-З. фронта, которые находятся в Житомире, одна в самом городе, другая на Врангелевке[2]. Эти школы мною основаны и подчинены непосредственно мне. Ни в той, ни в другой школе нет офицера-артиллериста для чтения лекций по артиллерии. Хотите, я вас сейчас же назначу. Место интересное, дело хорошее, вполне самостоятельное. Кроме жалованья по должности

[1] Николай Николаевич Духонин.

[2] Врангелевка — район Житомира, где находилась Школа подготовки прапорщиков пехоты военного времени Юго-Западного фронта, в которой преподавал И.С. Ильин. В 1922 году район был переименован и с тех пор называется Богуния.

ротного командира, будете еще получать лекционные и наградные два раза в год. Вот подумайте и приходите часа через два с ответом.

Я вышел в сильном раздумье. С одной стороны, школа мне очень улыбалась, было в самом деле интересно читать лекции, сама работа мне очень нравилась и приходилась по душе, но с другой — соблазнял и парк, главным образом походами и постоянными путешествиями. О батарее, сказать правду, думал меньше всего. Затем, за школой было то, что предлагал сам Духонин, и казалось неудобным не принять этого предложения. Я походил по городу, выпил чаю в каком-то скверном ресторанчике и менее чем через час вернулся. Духонин сразу меня принял.

— Я, г-н полковник, согласен отправиться в школу и очень вам благодарен за честь, которую вы мне сделали, постараюсь оправдать ваше доверие, — сказал я ему.

Духонин тут же взял телефонную трубку, вызвал помощника дежурного генерала и сказал ему, чтобы он телеграфировал в ж.д. батальон о моем назначении. Затем мы с ним поговорили о делах на фронте, и он отпустил меня, сказав, чтобы я ехал в батальон, где получу предписание ехать в Житомир.

2 марта. Сарны

Из Киева приехал прямо в Полицы, а вчера приехал в штаб батальона, чтобы узнать, как обстоят дела с моим новым назначением. Оказывается, ничего еще нет, это меня беспокоит, и я ничего не понимаю.

7 марта. Киев

Ездил вторично в Бердичев. Видел Духонина, который сообщил, что задержка произошла, потому что дежурный генерал нашел нужным запросить 11-ю армию о согласии на мой перевод. Я удивился — зачем это, но Духонин сказал, что раз он так решил, то ничего не сделаешь, надо ждать. Сегодня приехал и застал в Киеве Устимовича. Он очень мило на автомобиле подвез меня к Колобову[1], и мы вместе с ним пошли к нему. Колобов согласился вполне на мое откомандирование и был тоже мил. Колобов — маленький сухенький генерал инженерной академии, необыкновенно сухой человек, формалист и «трынчик». Вся его служба сводится к мелким придиркам, требованию соблюдения уставных формальностей и всяких мелких правил. Лишь только я вошел к нему после доклада адъютанта, как он первым делом спросил, несмотря на то что Устимович стоял тут же:

---

[1] Николай Александрович Колобов.

— А полковник Устимович разрешил вам явиться ко мне?!

— Так точно, я разрешил капитану, — за меня ответил Устимович.

Итак, значит, все дело в ответе 11-й армии — ничего не поделаешь.

10 марта. Полицы

Ответа все еще нет, и меня все больше разбирает нетерпение, и все сильнее хочется убраться отсюда поскорее. По правде говоря, жизнь здесь мне помянуть нечем.

Погода божественная. Весна в полном разгаре. Такой бурной, такой пышной весны я еще в жизни, кажется, не видел — это какая-то сказка. Весь лес живет. С утренней до вечерней зари несмолкаемый гомон стай уток, гусей, перелетных пернатых всех пород. Блеет бекас, крякают утки, хоркают вальдшнепы, кричат журавли, бухают выпи. Багровый пламень заката отражается в бесчисленных болотцах, заводях и лужицах; темный бор стоит оживший и таинственный, проникнутый какой-то божественной работой, таинством творения. Мы с Педером каждый день рано утром и с вечерней зарей ходим за версту в лес и стоим на тяге. Вверху поминутно свист утиных стаек, где-то в глубине чуфыркает тетерев, хоркая, тянет вальдшнеп.

Моя Леда с нервным трепетом прислушивается ко всем этим звукам и, замерев, стоит насторожившись...

11 марта. Полицы

Не дают житья аэропланы. Повадились ежедневно летать целыми эскадрильями, сбрасывая массу бомб — очевидно, решили разрушить станцию. Должен сказать, что это самое неприятное ощущение, которое я когда-либо испытывал. Только начинает светать — слышится густое жужжание где-то высоко в небе. Все, разумеется, поспешно вскакивают. Потом над нами появляются десять-пятнадцать аэропланов в «гусином» строе, то есть треугольником, очень красиво, надо сказать. Затем раздается резкий свист и грохают разрывы бомб. Они падают со всех сторон, и близко, и далеко, и нет никакой возможности от них скрыться.

Я вообще решил раз и навсегда оставаться там, где меня застигает налет. Сегодня, как только раздался шум, я встал, пошел умываться, а потом сел в столовой и сидел. Кругом грохотали взрывы. Убило двух солдат и четырех ранило. Все санитары, доктора и сестры изобрели замечательный способ: они забираются под вагоны и зацепившись ногами и руками за ось колес, висят на ней, плотно к ней прижавшись. Их примеру следуют и наши солдаты. Вообще же каж-

дый раз начинается с паники и беготни и криков: «Аэропланы! Аэропланы!» Наши батареи открывают огонь. Очень красиво, когда все небо покрывается белыми барашками и кольцами дымков, словно от гигантской папиросы. Но вся стрельба совершенно безрезультатна, и пока что ни разу не было попадания.

12 марта. Полицы

Сегодня опять налет. Убило на вокзале трех солдат, ранило сестру милосердия, которая там в это время находилась. Одного солдата маленьким осколком прямо пронизало.

Вечером опять был налет. Бомбы так и ложатся вокруг вагонов, и мы просто подскакиваем все вместе с вагонами от их взрывов. Я убежден, что рано или поздно, но станция будет разнесена.

14 марта. Полицы

Сегодня я стоял на площадке, когда вдали раздался шум пропеллеров и солдаты стали кричать: «Аэропланы!». Я поднял голову и увидел в голубом небе, словно майских жуков, десять аэропланов. Их крылья были прозрачны под лучами утреннего солнца и розовели, как у настоящих жуков. Лишь только они стали приближаться, как вокруг них стали появляться комочки белых перистых и тоже розовых дымков — рвались наши шрапнели.

Загудели разрывы, гулкие и потрясательные. Куда тут денешься! Наблюдал, как подвешивались санитары и доктора. Странное ощущение — стоишь и в голове мелькает· ну вот сейчас ахнет в вагон. И так и кажется, что каждая следующая бомба непременно уж попадет.

16 марта

Неожиданные перемены. Харченко вызвали в штаб батальона, приказав немедленно сдать роту капитану Бачинскому. Я был очень поражен, когда увидел Бачинского — он мой товарищ по морскому корпусу. Лейтенантом вышел в запас, а на войну попал в инженерные войска. Мы с ним радостно встретились, и он просил меня помочь ему принимать отчетность и проверить списки роты. Пошли с ним в вагон-мастерскую и там за столом расположились. Только что стали читать — Бачинский мне диктовал, а я клал на счеты, как зажужжали аэропланы и через несколько минут загрохотали взрывы бомб. Забегали люди, начались крики «аэропланы, аэропланы!», но Бачинский продолжал спокойно сидеть и диктовать. Вагон наш так дрожал, что подпрыгивали счеты, и я все время путал. Сбросили, кажется, бомб двадцать — двадцать пять. После налета один солдат принес стрелу — оказывается, сбрасывают и стрелы — это тонкие

стальные стрелы, небольшие, длиной немного больше пальца. Говорят, что они пронизывают человека насквозь.

Получил письма из дому и узнал из них, что от Миши Толстого поезд в конце концов отняли и даже за что-то он был арестован. Теперь он поехал в Петроград в инженерное училище, так как его могут призвать.

Оказывается, Миша незадолго до своего отрешения привозил свою невесту в Каранино, так как он ей нахвастал про свое имение и богатство. Но дядюшка Толстой, увидев ее и узнав, что она старше Миши лет на пять, избрал свою обычную тактику молчания и не отвечал ни на один вопрос, а когда Миша с невестой уехали, он написал, что если Миша женится, то ровно ничего не получит. После этого пыл старшей сестры остыл.

18 марта. Полицы

Был на охоте на глухарином току. Поехал один на ближайший разъезд, откуда прошел к охотнику-крестьянину и с ним отправился. Сначала, забравшись в лес, слушали, долго сидя среди молчаливого бора. Глухарей не слыхали, но мне показалось, что в одном месте был какой-то шум. Потом разогрели чай и поспали у костра. Трудно описать прелесть этой полесской ночи. Еще до зари, по темноте, встали и пошли тихонько по лесу и вдруг услыхали характерное пение глухаря: чики-чики-чикикикик — та-тататата... Быстрыми широкими шагами стал прыгать, делая по три шага. И вот когда уже воздух стал молочно-беловатым, вверху слегка зарозовело, увидел на высоченной сосне, на толстой средней ветке, красавца глухаря. Он медленно передвигался, распушив чудесный хвост, вытянув шею и дугой расправив крылья. Между мной и им была чистая поляна, и я решил стрелять. Прицелился — и грянул выстрел, он не упал, а слетел прямо на меня, видимо, раненый, вторым выстрелом я его убил. Глухарь оказался большим и старым.

Вернувшись на разъезд, я застал поезд из Сарн и в нем прапорщика батальона Губаря, который сообщил мне радостную весть, что вчера вечером пришла телеграмма о моем командировании в школу прапорщиков. Обрадовался очень. Положительно день удач. Приехал в Полицы, быстро собрался, простился со всеми и с этим же поездом с Александром и Ледой поехал в Сарны.

19 марта. Сарны

Завтра утром уезжаю совсем. Сегодня мне устроили прощальный обед, на котором фигурировал и мой глухарь, которого я преподнес Устимовичу. За обедом много говорили о Маньчжурии. Устимович

рассказывал про жизнь в Харбине, о Китайской Восточной железной дороге. Его жена, оказывается, инспектриса женского коммерческого училища в Харбине.

Тут тоже, хоть не так часто, налетают аэропланы, и несчастный Похвалинский совсем извелся: он говорит, что невозможно спокойно работать, и все пристает к Устимовичу, чтобы тот испросил разрешение передвинуть штаб батальона дальше.

20 марта. Имение Цилиакуса

Наконец-то я еду к новому месту службы. Между прочим, в Полицах вчера утром произошла целая трагедия. Налетели, как обычно, аэропланы и начали сбрасывать бомбы. На этот раз убило одного офицера, нескольких солдат, многих переранило и тяжело ранило старшего доктора. Он, оказывается, был под вагоном, как всегда, но осколок каким-то образом рикошетировал от рельса и попал ему в пах. Мало надежды, что он выживет. В вагоне познакомился с Иваном Александровичем Цилиакусом, который ехал из какой-то организации к себе в имение. Он оказался охотником, и мы разговорились. Узнав, что я еду в Житомир, он стал меня уговаривать вылезти в Олевске и переночевать у него с тем, чтобы утром пойти на глухарей. Я долго колебался, но предложение было так заманчиво, что я вылез вместе со своими манатками, оставил Александра и Леду с вещами у знакомого техника Мазуркевича, с которым познакомился во время объезда линии, и поехал в имение Цилиакуса.

Набралось нас пять человек гостей: начальник станции, Мазуркевич, доктор какой-то и я. Сам Цилиакус оказался на редкость гостеприимным человеком. Мы приехали в усадьбу среди векового бора, где нас встретила сестра хозяина. Вся семья эвакуировалась в Киев. Мы сразу же отправились на тягу.

Вечер был чудесный, и вальдшнепы тянули беспрестанно, так что мы, пять охотников, все время стреляли. Затемно вернулись с богатой добычей в усадьбу, где нас ждал уже ужин. Мы с аппетитом поели, выпили водки и сели играть в преферанс, а перед самым рассветом вышли снова в лес на глухариный ток. Я, к сожалению, совершенно не знал мест, и так как мы все разбились, то и бродил себе в сказочно чудесном лесу, прислушиваясь к его жизни, но глухаря не слыхал. Набрел на самого Цилиакуса, который, замерев, стоял у сосны — оказывается, он слушал глухаря и как хозяин не стрелял его, ожидая, что подойдет кто-нибудь из гостей. Когда я приблизился, глухарь слетел...

В пять часов дня я выехал в Житомир, сердечно распростившись с гостеприимным хозяином, а в три часа ночи уже ломился к Мише

Кострицыну, который в одной рубашке открыл мне дверь. Миша в Житомире живет в качестве гидротехника-агронома. Долго с ним болтали и лишь под утро заснули.

21 марта. Житомир

Сегодня узнал, что в Житомире стоят ополченские дружины, во главе которых генерал-лейтенант Генерального штаба Глинский, который является в то же время и начальником гарнизона, ему же подчинены в хозяйственном отношении и две школы прапорщиков. Поэтому в одиннадцать часов утра я пошел в управление генерал-лейтенанта Глинского, где в зале собрались офицеры разных частей и по разным причинам для представления — оказывается, это практикуется несколько раз в неделю. Вскоре вышел высокий, молодящийся, но несколько согбенный генерал, прилично одетый, и начал обходить представляющихся. Когда он подошел ко мне и я ему отрапортовал, он спросил, в какую школу я бы хотел — одна в городе, другая же за городом на Врангелевке. Я, совершенно не зная условий, несколько заколебался, но Глинский сказал:

— А впрочем, тут как раз в канцелярии начальник первой школы с Врангелевки подполковник Глязгер, вы пройдите к нему.

Я так и сделал и увидел в канцелярии Глязгера — начальника первой школы. Он, узнав, в чем дело, сейчас же забрал меня, посадил в свой прекрасный экипаж и повез прямо в школу, по дороге рассказывая про жизнь в школе, мои будущие обязанности и пр. Глязгер произвел на меня скорее хорошее впечатление: низенького роста, коренастый, с погонами подполковника 2-го кадетского корпуса в Петербурге, с сильно красным кончиком носа, рыжеватый, он очень старательно рассказывал главным образом про хозяйственные мероприятия и сразу же по приезде начал мне показывать свои начинания.

Школа помещается в двух — двух с половиной верстах от города — среди леса, на речонке Каменке, в казармах 44-го пехотного Галицкого полка, в котором служили Александр и Сергей Ушаковы. Казармы расположены справа от шоссе. Сразу — с левой стороны и с правой два больших трехэтажных кирпичных флигеля — офицерские квартиры, прямо — двухэтажное здание — собрание, за собранием плац, посередине которого аллейка, упирающаяся в тоже двухэтажное здание — канцелярию; по обеим сторонам плаца четыре — по два с каждой стороны — корпуса двухэтажных зданий — казармы по числу батальонов. Масса зелени, черемухи, сирени, березок. Казармы много больше, новее и просторнее, чем в Селищах, но система и дух тот же — это, очевидно, образец, от которого наше инженерное

ведомство отступить никак не может. Те же асфальтовые полы, такие же уборные, те же темные коридоры, лестницы, правда, светлее, шире и чище. Ни ванн, ни душей. Сами квартиры офицерские шире, больше, светлее. Глязгер сразу повел меня в собрание и познакомил с хозяином собрания, прапорщиком Барабашем, а потом начал показывать свое хозяйство — огромные корзины с утиными, гусиными, куриными яйцами — все с надписью его собственной рукой. Оказывается, он разводил птицу, мечтал о коровах, имел хороших лошадей.

Он объяснил мне, что питает офицеров сам хозяйственным способом, стол в собрании — обед и ужин — обходится офицеру всего лишь 12 руб. 50 коп. в месяц.

— Стол отличный и, как видите, очень дешевый, но некоторые все-таки чем-то недовольны и постоянно интригуют, — жаловался Глязгер.

Сейчас кончается курс, и 27-го начнутся занятия с вновь поступившими юнкерами. Курс в школе пять месяцев. Глязгер сказал, что я пока свободен, а затем он даст мне квартиру и назначит часы лекций. Днем поехал к Мише Кострицыну.

22 марта. Житомир

Утром пошел в штаб, где познакомился с очень толстым, милым адъютантом Бушеном — он отличается тем, что рассказывает уморительные анекдоты и все время острит. Говорил про Глязгера, что он кроме кур и хозяйства ничем не интересуется и что вздумал даже делать офицерам и их женам подарки. Так, на Рождество устроил в собрании елку, на которой офицерам дарил разные вещи, а дамам — кому чулки, кому перчатки, что многие офицеры этим возмущены.

— Вообще этого сукина сына надо убрать, какой он начальник школы, но у него сильная рука, сам генерал Иванов[1], главнокомандующий Ю.-З. фронтом, — закончил Бушен.

Значит, и тут интриги, недовольство, злоупотребления! Хорошо, что по моей должности я могу стоять от всего этого в стороне.

Обедали с Мишей. Он мне рассказывал забавную историю. Оказывается, он сидит тут и ровно ничего не делает. Он числится первым помощником, а сам заведующий гидротехнической частью неизвестно даже где. Житомир очень хорошенький городок, весь в зелени и в это время года весь в цвету. Через заборы свешиваются грозди усыпанных, точно снегом, веток яблонь, вишен, черемухи. Аромат одуряющий. Миша рассказал, что это город отставных и что обычно приезжали отставные генералы и офицеры, так как жизнь необычайно дешева, и коротали тут свои дни, греясь на солнце.

[1] Николай Иудович Иванов.

23 марта. Житомир

Ходил в школу. Получил очень милые две комнаты во втором этаже, куда и устроил Александра с Ледой. Весь день хлопотал о получении двух ведер спирта. Из Сарн приезжал солдат от батальона, но ему спирта не отпустили, несмотря на требование за подписью Устимовича, сегодня он приехал вторично с письмом Даниеля ко мне, просит устроить получение. Я взялся помочь ему и благодаря Глязгеру получил два ведра. Знакомлюсь понемногу с офицерами. Школа большая — около тысячи юнкеров, а бывает и больше. Занятий много, и ротные командиры и офицеры много заняты. Офицеры все побывавшие на фронте, многие раненые, есть георгиевские кавалеры. Глязгера многие ругают, говоря, что он слишком свободно распоряжается казенными деньгами, а разными подачками старается офицеров привлечь на свою сторону. Но есть и его сторонники, которые говорят, что он прекрасный организатор и что не дело офицеров судить начальника, тем более что живется в школе очень хорошо, а что если кто недоволен, может всегда уйти.

В общем впечатление такое, что кругом интриги, сплетни и чуть ли не доносы — во всяком случае Бушену противники Глязгера все доносят и тот тщательно собирает все улики про Глязгера. Должен сказать, мне это противно.

Говорят, что Иванов скоро уходит и будет вместо него генерал Брусилов.

26 марта. Житомир

Дни стоят жаркие, чудесные, все благоухает, масса ландышей, сирени, всевозможных цветов — что за благодатный край!

27 марта. Житомир

Сегодня присяга юнкеров и потому большое торжество. Служил Питирим[1], из Бердичева приезжал Духонин. После молебна был парад, а потом завтрак. Узнал, что Духонина смертельно боятся юнкера, боятся до того, что иной раз падают в обморок. Он очень строг, без сожаления отчисляет в строй, но и необыкновенно спокоен и сдержан.

28 марта. Житомир

Сегодня начались мои лекции. Утром были две, завтра тоже две. Курс такой: изучение материальной части на практике орудия, в классе

---

[1] Точных сведений установить не удалось. Нельзя абсолютно исключить вероятность того, что это был митрополит Питирим (в миру Павел Васильевич Окнов; 1858–1919), но, учитывая его перевод с Кавказа на петроградскую кафедру 23 ноября 1915 года, приходится признать, что вероятность эта невелика.

же понятие о порохах, теория порохов, понятие о теории стрельбы. Состав юнкеров очень невысокого культурного уровня — большинство с образованием двух — четырех классов, много сельских учителей, кончивших учительскую семинарию, со средним образованием едва несколько десятков человек на тысячу, с университетским — два-три.

Когда я начал читать, я сразу же увидел, что большинство не имеют понятия даже о простейших правилах физики, и потому начал параллельно объяснять и физику, иначе ничего не поделаешь. Мне очень нравится преподавать и очень по душе.

Я читаю с наслаждением и рад, что далек от строя, всяких учений и пр. День у меня распределяется пока следующим образом: утром два часа лекций, и не каждый день, а три-четыре раза в неделю. Потом я езжу верхом, Глязгер просил проезжать его лошадь, на которую он совсем не садится, — я страшно рад этому обстоятельству. В двенадцать обед в собрании, после обеда до двух в школе отдых, все остальное время я читаю, пишу и подготавливаю следующую лекцию. Принялся за французский и, чтобы не забыть, каждый день читаю Вольтера «Жизнь Карла XII».

Роты с утра занимаются большею частью в поле и к двенадцати возвращаются с песнями, которые юнкера прекрасно поют. С двух часов до четырех опять занятия, а потом подготовка уроков. Система лекционная и репетиции еженедельно.

29 марта. Житомир, Врангелевка

Переселился в свое помещение на Врангелевке, ездил в город к Мише. Он рассказывал, что назначен еще второй помощник, но это так дико, что он собирается съездить в Киев, узнать, в чем дело, так как думает, что это ошибка. Дела никакого нет буквально, а жалованье получают большое.

31 марта. Врангелевка

Погода что-то испортилась, стало холодно, и идут дожди.

Каждый день пишу и читаю по-французски, своей жизнью очень удовлетворен. Тут тоже сильно развит картеж, видимо, занесли эту привычку с позиций, и каждый вечер у некоторых ночь напролет играют в девятку.

Я безвыходно сижу дома, езжу в город затем, чтобы переменить в библиотеке книги да повидать Мишеля.

2 апреля. Врангелевка

Наступают праздники. Погода исправилась и стоит чудесная, все распустилось, зазеленело. Читаю лекции и сижу дома. Занимаюсь французским, историей Греции и Рима.

Познакомился с ротным командиром капитаном Балкашиным. Он заамурец, живет вместе с штабс-капитаном Игнатовичем, тоже заамурцем. Игнатович — курсовой офицер. Оба очень милые люди. Игнатович — умный, способный, интересный человек, но, видимо, большой авантюрист. В Японскую войну он был разжалован в рядовые из-за того, что у него пропал порох казенный, говорят, что он проиграл в карты и порох продал. Но больше всего сошелся с поручиком Евстратовым. Он из крестьян Херсонской губернии, его дед был крепостным. Евстратов — георгиевский кавалер. Он высокого роста, широкой кости, немного неуклюжий, очень сильный, прекрасно поет — у него незаурядный бас. Миша — курсовой офицер. Его однополчанин-литвин штабс-капитан Донейко — тоже курсовой офицер, имеет все боевые отличия вплоть до Георгиевского креста и бельгийского Военного ордена. Донейко — хороший офицер, но хитрый, себе на уме, и его не очень любят. Больше всех бурлит против Глязгера Игнатович, вообще же, как полагается в нашей русской среде, тут тоже все разбиты на группы: приверженцев Глязгера, его врагов и нейтральных — сплетен и разговоров очень много. Сегодня у нас в собрании кинематограф.

4 апреля. Врангелевка

Заутреню всей школой стояли на плацу. Ко мне приехал Миша Кострицын. Было очень хорошо: чудесный вечер, тихий и благоухающий, темное небо горело мерцающими звездами. Потом все офицеры разговлялись в собрании, где был устроен отличный стол. И все это без всяких расходов и вычетов — действительно несколько непонятно, как Глязгер ухитряется все это делать?! Выдали наградные, и я неожиданно получил 100 рублей. Необыкновенно типичен прапорщик Булюбаш, самый доверенный человек Глязгера. Он ведает собранием и хозяйством. Плотный, скорее полный, он говорит, что единственный принцип в жизни — это уметь угодить едой. Надо только знать вкусы каждого и уж на этом играть. После еды, хорошей и по вкусу, всякий человек добреет, и с ним можно сделать что угодно! Игнатович называет Булюбаша приживалкой Глязгера, и отказался демонстративно столоваться в собрании, и во время обеда нарочно садится с тарелкой картофеля на скамейке перед флигелями и ест его.

С нетерпением жду, когда можно будет купаться. Тут чудесно, все в зелени и кругом леса, а недалеко, в полуверсте, за канцелярией, большой омут, который образует Каменка, где вода прозрачная и чистая, с каменистыми берегами.

8 апреля. Врангелевка

Мне пришла в голову хорошая идея — съездить на охоту. Дело в том, что техник Клыков, тот самый студент, который приезжал в Самайкино с Иконниковым последнее лето, что я жил там, теперь в дорожной организации на ст. Охотчиково, где я видел его, когда ездил по линии. Он звал меня поохотиться. Лекции у меня с первой недели располагаются так, что я занят только понедельник–вторник, и вот решил просить Глязгера отпустить меня. Пойду к нему сегодня вечером.

9 апреля. Врангелевка

Глязгер меня отпустил. Я сидел с ним вчера вечером. Оказывается, он любит выпить и выпивает большею частью тихонько в одиночестве, оттого у него и нос красный. Ко мне он относится очень хорошо и вчера особенно разоткровенничался. Говорил, что никто его почти не понимает, что он старается для того, чтобы сделать как можно лучше, что офицерам он идет во всем навстречу вплоть до того, что дешево всех питает. Говоря об этом, Глязгер даже прослезился.

— Но все равно, меня сюда назначил сам генерал Иванов, который меня давно знает и сам мне и предложил, — добавил Глязгер, — я, как вы знаете, был воспитателем 2-го Петербургского корпуса, и что бы там ни замышляли, как бы ни интриговали, а я никуда не уйду.

Второй слабостью Глязгера оказалось пение. При всяком удобном случае, особенно после выпивки, он в собрании подходит к роялю, просит ему аккомпанировать и начинает истошным голосом реветь-реветь, потому что ни слуха, ни голоса у него абсолютно нету. Его партия почтительно рассаживается и слушает, нейтральные посмеиваются, а противники демонстративно уходят. Аккомпанирует обычно поручик Нехведович, которого за это прозвали мыловаром, а Игнатович сочинил стишки, начинающиеся так: «Есть у нас на Врангелевке юный мыловар, мыловар, вроде как Брокар...»

Игнатович вообще очень талантлив и прекрасно пишет стихи, он написал несколько песен для юнкеров.

Из Катиного письма узнал, что мама очень больна и лежит в больнице.

16 апреля. Врангелевка

Утром пришел домой, прочитав свои лекции от восьми до девяти и от девяти до десяти, а теперь пишу. Ездил к Клыкову, где среди дремучих волынских лесов и болот провел трое суток. Ночевали с

Клыковым в лесу все три ночи, питались картошкой и, с зарей встав, целый день бродили. Какая божественная красота! Хотелось бы так пожить не три дня, а месяц, три месяца, хоть год! Лишь занимается первая зорька, я уже, выпив чаю, вскипяченного на костре, на ногах. Лес начинает жить, на полянах бормочут переливчато, словно прибой морской, тетерева, сквозь густую чащу алеет полоса восхода. Хоркает вальдшнеп, кричит где-то журавль.

Удовольствие получил полное. Видел полещуков, заросших и волосатых, ездили на утлой лодчонке по протокам среди лесных мшистых болот, ели дикий мед.

Поезд пришел в Коростень в пять часов утра, а тот, с которым должен был продолжать путь, ушел в четыре тридцать. Подумать, какая точность! Это при опаздывании поездов систематически на десятки часов, при нашей безалаберности. Поезд, приходящий из большого губернского города, не застает следующего. И вечно так. Оказывается, видите ли, нет еще расписания, потому что новая ветка. Удивительно умно, хорошо и основательно. Одним словом, приходится ждать до семи часов вечера. К моему счастью, в таком же положении очутился и какой-то доктор, возвращающийся из отпуска. Познакомились. Он сказал мне:

— А знаете, пойдемте смотреть «Ольгины ванны».

Я выказал свою полную темноту, потому что удивленно спросил, думая, что это купальное учреждение:

— А разве сейчас, вы думаете, можно купаться? — на что он мне объяснил, что так называют заливчики и лагуны, где в действительности Ольга крестила древлян. Стыдно сознаться, но я не подозревал, что Коростень — колыбель русского царства и православия.

На крутом, обрывистом, скалистом берегу речки Уши остались следы городища древлян. Сюда Ольга приходила мстить за убийство мужа своего Игоря, сбросив с берега в воду многих, а Владимир св. перенес свое княжество в Овруч, а потом в Киев. Все это рассказал мне доктор-поляк, и картина прошлого, окутанного седой стариной, встает перед глазами.

Река Уша бурлит и извивается по каменистому дну, с обеих сторон сдавленная гранитом. Местами она успокаивается, затихает — тогда становится шире, и неподвижная гладь отражает в себе громады скал. На другом берегу, от городища в полуверсте, кладбище древлян еще языческой эпохи. Это все точно муравьиные кучки, холмики, зеленеющие сочной муравой и заросшие леском. Среди холмиков некоторые больше и солиднее — вероятно, могилы более знатных древлян. В городище теперь усадьба, которая раньше принадлежала генералу Любовецкому. Этот Любовецкий в 1792 году ко-

мандовал польскими войсками под началом молодого еще Костюшко и Иосифа Понятовского в сражении с русскими. В решительный момент он изменил и перешел на сторону русских, за что Екатерина II наградила его поместьем в Коростене и дала корпус. Когда он умер, его похоронили недалеко от усадьбы. Теперь над могилой стоит часовня, очень недурно сделанная, с порталом и колоннами, упирая портиком в два широких ветвистых дуба. Мой доктор полагает, что часовня выстроена много позже, так как на могиле появлялись оскорбительные надписи, но мне кажется, не ошибается ли он, так как стиль часовни всецело александровской эпохи.

Только в девять часов мы вернулись обратно на вокзал, три с половиной часа проходив по историческим местам, усталые и голодные, хотелось очень спать. До поезда был весь день, и мы, поев, спали на вокзале.

19 апреля. Врангелевка

В конце апреля или начале мая жду сюда жену.

Жизнь вошла вполне в норму: читаю лекции, много пишу и читаю, к сожалению, иной раз соблазняюсь картами. Что касается юнкеров, то поражаюсь все больше тем, какие из них могут выйти офицеры? Может быть, они вполне достойные люди, но в огромном большинстве совершенно безграмотные и некультурные и вряд ли могут быть руководителями и начальниками. Что можно сделать за пять месяцев?

20 апреля. Врангелевка

Приезжал Духонин. Он произведен в генерал-майоры на Пасху.

В одной из рот он спросил о чем-то юнкера, который был дежурным, тот по привычке назвал его «Господин полковник». Духонин посмотрел на него и спокойно спросил:

— А вы не видите разве, в каком я чине?

Юнкер, кстати с университетским значком, растерявшись, ответил:

— Тьфу ты! Ваше превосходительство! — и бац в обморок...

В конце месяца перебираюсь в новую квартиру в первый этаж и жду жену.

15 мая. Врангелевка

Приехала жена. Мы очень хорошо устроились в милой квартирке в две комнаты с кухней, которую недавно получил. Многое здесь напоминает Селищи и общим духом, и самими казармами, которые только отличаются тем, что новее и свежее. Познакомился с семьей

Волошиных — сам Волошин[1], бывший офицер Галицкого полка, теперь на Кавказском фронте, командует бригадой, он генерал-майор. Семья большая — пять сыновей, из них три офицера. один артиллерист — штабс-капитан, другой — поручик лейб-гвардии Волынского полка, третий прапорщик — он неудачник, ничего не окончил и лишь теперь окончил школу прапорщиков. Сама Волошина очень милая женщина, младший сын и дочь живут дома. Здесь же в Житомире живет старый генерал-майор Зарембо-Рацевич[2], бывший командир Галицкого полка, теперь призванный из отставки и командующий ополченской бригадой. Его дочь Фаня замужем за Сергеем и живет у Мертваго в Репьевке, тут же живет и жена[3] Александра Ушакова.

20 мая. Врангелевка

Читаю свои лекции и сижу дома. Иногда ездим в город. Каждый день хожу купаться. Оказывается, никто до меня не догадался купаться, и я открыл купание, и теперь стали водить и юнкеров. Мы с Игнатовичем организовали теннис, и просил Глязгера сделать площадку, и теперь устроили кружок, но теннисистов оказалось всего нас двое, жена да Нехведович. Больше никто не играет — все больше смотрят и иной раз критикуют нашу затею. Игнатович злится и называет всех «пошехонцами», которых ни на что не раскачаешь.

25 мая. Врангелевка

Были с женой в театре, а потом ужинали в городском саду с целой компанией: с Евстратовым, поручиком Хамицким, приехавшим с фронта поручиком Волошиным. Смотрели пьесу «Иванов Павел»[4].

Против Глязгера целая компания, мне даже его жалко. Я очень рад, что мое положение позволяет мне ни во что не вмешиваться и ни в чем не принимать участия. Читаю свои лекции и знать ничего не знаю. Приезжал Духонин и присутствовал на моей лекции. После лекции поблагодарил и сказал, что доволен тем, как я читаю. Должен сказать, что я искренно увлекаюсь своей работой и даже нахожу, что лекций у меня мало. Жалко только, что юнкера очень неразвиты. Так, например, недавно выяснил, объясняя давление порохов, что

---

[1] Федор Моисеевич Волошин-Петриченко.

[2] Аркадий Иосифович Зарембо-Рацевич.

[3] Нина Ушакова.

[4] Опера-буфф «Ива́нов Павел» С.М. Надеждина и В.Р. Раппапорта, посвященная злоключениям гимназиста — лентяя и невежды, была впервые сыграна в апреле 1915 года в петроградском Троицком театре и сразу стала знаменитой. Во время Первой мировой войны пьесу много раз ставили самодеятельные артисты — на фронте, в лазаретах и т.д. Подробнее см.. http://vadim-i-z.livejournal.com/4097801.html (дата обращения: 13.10.16).

они понятия не имеют о координатах и об оси абсцисс — пришлось сначала объяснить это. Затем не знали, что такое торричелиева пустота и т.д. Чем дальше, тем уровень все понижается, и каждый следующий выпуск все неразвитее. Вторая школа меньше нашей в два раза, она помещается в городе, начальником там полковник Финляндского стрелкового полка Полонский, георгиевский кавалер, говорят, очень хороший человек.

2 июня. Врангелевка

Проводил жену до Киева. Были у Игнатьева, на обратном пути заехал в Бердичев повидать О.Н. Ржевскую, которая служит сестрой в лазарете Кауфманской общины[1]. У них великолепно и страшно шикарно. По субботам на пятичасовой чай собирается весь генералитет Ставки. Ржевская необыкновенно хорошенькая и интересная и покоряет все сердца. Заходил и к Духонину, который в приподнятом настроении, так как говорит, что наше наступление блестяще развивается. Все-таки сказалось, что фронт принял генерал Брусилов!

От Бердичева до Житомира идет узкоколейка, такая же, как и в Селищах, но еще хуже и трясучее. Болтает так, что с непривычки кажется, что все время сходишь с рельс или несешься на утлой лодчонке по бурному морю. Поэтому предпочтительнее всего ездить по отличному шоссе на автомобиле, и штабные так и делают. Тут всего сорок верст.

Ставка расположена в Бердичеве и у нас в Житомире. В Бердичеве вся оперативная часть, тут снабжение и хозяйственные учреждения.

10 июня. Врангелевка

С фронта потрясающие сведения: масса пленных, австрийцы в полном отступлении. Вдруг конец войне — вот бы хорошо было!

Погода стоит чрезвычайно жаркая. Приехал Сергей Ушаков, он назначен курсовым офицером, с ним Фаня и сын Дима — славный мальчик, почти ровесник Наташи.

20 июня. Врангелевка

Занятия идут нормально. Я читаю лекции, много занимаюсь, а иногда играю в карты, за что себя каждый раз браню. Бушен говорит, что теперь, когда Иванов ушел, Глязгера обязательно уберут и что позор иметь такого начальника школы.

[1] Сестринская община сестер милосердия.

Получил от папы телеграмму о том, что мама скончалась 17 июня.

1 июля. Врангелевка

Пленных сотни тысяч, снова подходим к Карпатам. Вот молодчинище Брусилов!

9 июля. Врангелевка

С Глязгером у многих отношения совершенно невозможные, говорят определенно, что он уйдет, а вместо него будет начальником Полонский, который сейчас во второй школе. Вероятно, Глязгер уйдет в августе после выпуска.

Я читаю лекции. Теперь я уже вполне выработал программу и рассчитал ее на пять месяцев. Я не гонюсь за большими знаниями, а стараюсь научить лишь необходимому и дать обо всем понятия и сносные представления. Каждая рота имеет на артиллерию три часа в неделю — час я занимаюсь материальной частью, а два — теорией. Рассказываю историю порохов, причем популяризирую, что, видимо, нравится. Вчера на лекции изобразил целую картину жизни первобытных людей, их предметы домашнего обихода, первобытное оружие, первый проблеск о метательном оружии, камешек с дыркой, насаженный на конец палки. Отсюда дальнейшее усовершенствование, наконец, Средние века и появление в Европе пороха — Азия знала его давно.

Такие лекции гораздо лучше запоминаются и, главное, нравятся и со вниманием слушаются. А пытаться этим малоразвитым людям за пять месяцев преподать курс хотя бы сокращенный, но настоящей теории стрельбы, положим, или огромный курс порохов совершенно бессмысленно.

1 августа. Врангелевка

Сегодня проходили экзамены зауряд-прапорщиков на чин прапорщика. Приехала из Бердичева комиссия из всяких генералов. Вошел в эту комиссию и я. Экзамены начались в одиннадцать часов утра, а потом в пять часов после окончания я вместе с комиссией поехал на автомобиле в Бердичев. В Бердичеве посетил Кауфманскую общину, пил там чай, мило поболтал, а затем на штабном автомобиле, возвращавшемся в Житомир, приехал домой. Наши дела на фронте блестящи, теперь, говорят, все есть и даже с избытком, но нет другого: той кадровой армии, которая начинала войну и которой никаким образом не восстановить. Вместо нее вот эти самые прапорщики.

6 августа. Врангелевка

Глязгер очень ко мне хорошо относится и часто делится своими горестями. Мне его в общем жалко. Он, конечно, не годится начальником школы прапорщиков, но он прекрасный организатор и хозяин. Я лично убежден, что он не вор, в том смысле, чтобы самому наживаться или красть казенные деньги, но он просто смотрит на школу как на вотчину или имение и ведет соответственно дело: закупает, разводит живность, не терпит никакого вмешательства. Приобрел прекрасный аппарат Цейса 12 на 18, и юнкер, хороший фотограф, устроил настоящую студию. Увеличенные снимки украшают собрание и сделаны прекрасно.

Жду завтра жену.

7 августа. Врангелевка

Начинаются экзамены. Юнкера прекрасно натасканы в смысле маршировки, строя, но очень мало развиты и совсем не культурны. Что касается их стремлений, то они сводятся к тому, чтобы поскорее получить прапорщичий чин, деньги и съездить в отпуск — ни о чем другом они не думают.

12 августа. Врангелевка

Большое торжество — второй выпуск юнкеров. Приехали генерал Брусилов, Духонин, генерал Раттель. После молебна на плацу и парада Брусилов всех поздравил с производством, а потом тут же на воздухе был общий завтрак с офицерами школы и дамами. Жена заболела к своей огромной досаде: у нее колит и ночью была высокая температура, так что ей не удалось повидать Брусилова. Брусилов производит большое впечатление — сухой, стройный, прекрасно сложенный, в гусарском долмане[1], с энергичным, резко очерченным лицом и белыми небольшими усами, он выглядит настоящим кавалерийским генералом, решительным и твердым. Такого я знал одного только генерала Струкова, которого часто видел в Красном Селе и встречал у Багговут в былое время.

Булюбаш в полной мере проявил свое искусство, и завтрак на открытом воздухе под зеленью акаций и берез вышел на славу.

В третьем часу генерал Брусилов и весь штаб его на автомобилях уехали в Бердичев.

13 августа. Врангелевка

Юнкера нарядились в форму, лица сияющие, теперь они «господа офицеры». Сейчас наступает период отдыха и приезд новых юнке-

[1] Долман (доломан) или венгерка — часть гусарской форменной одежды: короткая (до талии) куртка с воротником-стойкой и шнурами.

ров. Был у Глязгера и просился в отпуск. Он отпустил и опять жаловался на несправедливое к нему отношение. Прослезившись — кажется, он выпил, — он сказал:

— Ведь сколько я им сделал, а что вместо благодарности?

Он же напирает на дешевое довольствие и на то, что «даже дамам подарки делал на праздники». Я сказал, что вот это и вызывает неудовольствие и что я на его месте предоставил бы офицерам жить, как им угодно, в смысле стола и пр., что такая система принимается как подачки и вызывает неудовольствие. Он опять всхлипнул и сказал, что все равно он решил уходить и теперь пускай живут, как хотят!..

5 сентября. Врангелевка

Давно не брался за перо. Время необычайно бежит. Успел побывать в отпуску, пожить в Самайкине и вернуться.

Мы уехали вместе с женой через Киев в деревню. Был жаркий день, когда мы приехали на станцию Коптевка, и, как всегда, нас ждала тройка. Когда подъезжали к дому, выбежали встречать Алик и Юрка — они совсем большие стали. Рысили рядом с экипажем, радостно на меня смотрели и сообщали новости:

— Дядя, у нас жара какая! Больше сорока градусов! Знаешь? — говорил Юрка.

— Дядя, у чумазой двенадцать поросят — все живые! — сообщал Алик. Действительно, стояла исключительная жара. Я купался, гулял и наслаждался тишиной деревни. Среди мужиков недовольство — словно нарочно кто-то делает: как мобилизация дополнительных возрастов, так непременно в разгар уборки! Вообще полная неналаженность и неразбериха. Масса разговоров, конечно, о Распутине, об измене, о предательстве. Ольга Александровна со своей светской усмешечкой говорит, что министерская чехарда — исключительно результат распутинского влияния и что это до добра не доведет.

Александр Дмитриевич освобожден совсем и живет на Холмах. Рука у него искалечена сильно, но не так, как у Ушакова, но все же действует он ей с трудом.

Время промелькнуло быстро, и я не заметил, как надо было уже собираться в обратный путь. Моя Тата — совсем большая девица. Ходил несколько раз на охоту с Агапом, который очень удивляется, как это Леда ищет, зато учитель в восторге был и своего Мисс не брал.

Ехал назад через Москву посмотреть могилку мамы и взять ее вещи и фотографии. Побывал на Ваганьковском кладбище и посидел на ее могилке. Перед глазами прошло детство, Мутнянка, Ставрополь — как все быстро промелькнуло, теперь ее уже больше нету! Прожила она свою жизнь, милая, добрая, взбалмошная, глубоко несчастная.

В Киеве от поезда и до поезда гулял по Крещатику, а потом обедал в Купеческом клубе. Какой чудесный город все-таки, какая красота, особенно в такие дни — ясные и теплые. Вид на тихий Днепр божественный. На улицах необыкновенно много интересных и элегантных женщин, оказывается все польки — беженки из Варшавы.

В школе застал большие перемены. Глязгер ушел, а на его место назначен начальник второй школы Бронислав Станиславович Полонский. Уже пожилой человек, георгиевский кавалер, всю жизнь прослуживший в армейской пехоте — в Финляндском стрелковом полку. Впечатление он производит очень хорошее, и говорят, что он кристально честный человек.

С Глязгером вышла целая история. Во-первых, ему не устроили никаких проводов, а затем на вокзал поехали проводить только небольшая часть его приверженцев да штаб-офицеры, остальные демонстративно не провожали. По-моему, это свинство, и я так и сказал Евстратову, когда он мне все это рассказал. Нет ничего хорошего в том, чтобы лягать человека. Немалую роль, конечно, тут сыграли сплетни и наши милые дамы.

В общем, большинство вели себя низко — интриговали, сплетничали, осуждали, в глаза или молчали, или подлизывались, обеды исправно ели, подарки принимали, а когда человека начали лягать...

Заведующий хозяйством — новый штабс-кап. Ососов, из запаса, бывший стрелок императорской фамилии, ему уже за пятьдесят, но он бодрый, красивый человек, у него две взрослые дочери. Булюбаша тоже отчислили от школы, и заведующий собранием теперь прапорщик Иванов. В общем, масса перемен. Балкашин уходит в строй. Он получил подполковника, Золотое оружие и теперь хочет в полк.

8 сентября

Ездил на несколько часов в Бердичев на штабном автомобиле, который за мной приезжал. Не мог понять, в чем дело, оказывается, Духонин вспомнил обо мне, и вот по какому случаю: генкварм генерал Дитерихс едет с бригадой во Францию и меня Духонин рекомендовал ему как офицера-артиллериста для связи с французской артиллерией.

Когда я вошел в кабинет Духонина, там суетился какой-то маленький, сухенький генерал — оказывается, генкварм Дитерихс. Я явился, а Духонин, обращаясь к Дитерихсу, сказал:

— Вот, ваше превосходительство, отличный офицер, знающий язык, который будет для связи с артиллерией французов.

Дитерихс на меня посмотрел, потом быстро подошел, крепко сжал руку и сказал:

— Хотите?

Что было говорить? Ехать Бог знает куда, да еще так неожиданно! Аттестация Духонина меня совсем смутила и была вполне незаслуженной. Я стоял, не зная, что сказать, а Дитерихс быстро говорил:

— Ну что? Или моря испугались! Хотите подумать?!

Я придрался к этому предложению и просил дать мне время подумать и запросить совета домашних. Положение было ужасно мучительным, я прямо не знал, что и делать. Не могу понять, почему Духонин так хорошо ко мне относится? Просил дать сроку мне до послезавтра и ответить по телефону, а сам послал телеграммы жене и отцу.

10 сентября. Врангелевка

Много думал и все ни на что не мог решиться. В два часа получил срочную телеграмму от папы: «Ехать не советую», а через час от жены: «Лучше оставаться на своей земле». Пошел к Полонскому — он оказался необыкновенно милым и сердечным человеком, в нем видно настоящее благородство. Он выслушал меня, потом посмотрел телеграммы и сказал:

— Оставайтесь-ка вы лучше в школе! От добра добра не ищут. Тут все равно нужен офицер артиллерии, вы уже насобачились читать лекции, чего вам еще надо?

По телефону из канцелярии вызвал адъютанта Духонина и просил передать, что я хоть и очень польщен предложением, но хотел бы остаться в школе.

Игнатович, узнав об моем отказе, весь вскипел и подал рапорт о желании ехать с экспедиционным отрядом.

На место Дитерихса генквармом назначен Духонин, а его помощником — ген. Раттель, который, таким образом, теперь будет ведать нашими школами.

11 сентября

Все свободное время хожу на охоту. Места чудесные, много вальдшнепов. Сегодня убил чудесного козла пудов на пять с большими рогами. Пошли на охоту Ушаков, капитан Останькович, командир роты и я, взяв с собой десять юнкеров, которые делали загоны. Убили нескольких зайцев, а потом, когда встали на опушке, подойдя к лесу, только что юнкера загалдели, вдруг на меня из травы выскочил пулей козел и прямо в лес. Я, почти не целясь, выстрелил, и козел скрылся; был уверен, что промазал. И вдруг слышу лай Леды и потом

голоса юнкеров, бросился в том направлении и гляжу· лежит большущий козел. Останькович — мелкий, завистливый полячок — чуть не лопнул от досады.

12 сентября

Устроил по случаю удачной охоты отличный ужин. Приготовили в собрании козла, и я пригласил Полонского, Зимина, компаньонов по охоте, капитана Пшеничникова. Очень веселились. Когда Полонский ушел, играли в карты.

21 сентября. Врангелевка

Кажется, школу собираются переводить, потому что уходит из Бердичева и штаб фронта. Говорят, что пойдем в Староконстантинов Волынской губернии. Дыра страшная, где кроме казарм ничего нету. Но вернее всего, что здесь мы останемся до выпуска.

25 сентября. Врангелевка

Отношения у меня с Полонским самые лучшие. Он вообще прекраснейший человек. Его жена, которая много моложе его, несколько любит играть роль, делает из себя гранддаму, очень молодится, но в общем тоже хорошая женщина. Они нежны и любят друг друга, проявляя заботливость и внимание один к другому. Так, например, она не позволяет ему после обеда поспать, что он очень любит, говоря, что от этого жиреет сердце и что это очень вредно, а он, когда представляется возможность, спит, и если она его на этом ловит, то восклицает:

— Ну, Бронислав! опять сегодня спал! прямо безобразие, ведь это вредно.

Они мне напоминают очень милых Нечай: дядю Жука и тетю Женю.

26 октября. Врангелевка

Не писал больше месяца. Жизнь течет размеренно и однообразно. Читаю лекции, иной раз хожу на охоту. Тут чудесные места и много вальдшнепов. Чаще всего ходят со мной Останькович и Ушаков.

5 ноября. Врангелевка

Евстратов сообщил, что в академию Генерального штаба будут принимать без экзаменов на младший курс по аттестациям начальства и что он хочет попытаться попасть, советовал и мне, сказав, что Духонин мне в этом может сильно помочь. Я, однако, не очень скло-

нен к академии Генерального штаба — какой я военный, да и потом уверен, что Евстратов ошибается, ибо не может же быть, чтобы так-таки всех и принимали, кто в Бога верует.

15 декабря. Врангелевка

Приехала экзаменационная комиссия, в которую вошли несколько генералов и полковников из резерва чинов Киевского округа. Я тоже, как всегда, вошел в комиссию. Это будет уже третий выпуск со времени моего пребывания. Прошлые два выпуска не произведенных было в первом выпуске три человека и во втором два — все остальные были выпущены прапорщиками. Разумеется, может быть, десяток достоин только быть офицерами и руководителями нижних чинов, так как ни по своему развитию, ни по культурному уровню все эти юнкера стоят не выше хороших фейерверкеров и безусловно уступают фельдфебелям и сверхсрочным, но все же, несмотря на это, их выпускают и они идут командовать солдатами.

16 декабря. Врангелевка

Приехал генерал Раттель, помощник генерала Духонина. Раттель служил в одном полку Варшавской гвардии с Духониным. Раттель производит впечатление хитрого, умного человека. Он мало говорит и почти не делает замечаний.

Говорят, что после выпуска нас переводят в Черновицы, куда переходит и штаб фронта.

Вечером ужинал у капитана Пшеничникова. Капитан Пшеничников — ротный командир, в мирное время служил в Крыму в стрелковом Его Вел. полку, который часто охранял Государя. Пшеничников очень способный художник, и по личному распоряжению Государя был командирован в Академию художеств на казенный счет, но не успел кончить, так как началась война. На войне он пробыл недолго и попал в школу. С комиссией приехал полковник — его однополчанин, и вот Пшеничников устроил ужин.

За этим ужином вышла целая история — совершенно неожиданно разгорелся спор. После закуски, разумеется, заговорили о политике. Полковник, а за ним и Пшеничников и его жена Ольга Ивановна говорили, что всему виной Дума и что ее надо попросту разогнать и Государь должен управлять один. На это я стал возражать, сказав, что наши неудачи — отсутствие снаряжения, патронов, снарядов и вообще всего — результат безответственных правительств, и что нельзя стоять на месте и народное представительство необходимо, иначе ничего не выйдет.

На это Пшеничников восторженным голосом воскликнул:

— Власть Государя должна быть неограниченна, и только он один должен править, и мы с полковником верно служили Царю, будем верно служить и никогда не снимем вензеля его величества.

Ольга зааплодировала, другие тоже, а полковник, обращаясь ко мне, заявил:

— Я удивляюсь, капитан, что вы носите погоны при таких взглядах.

Я разозлился и ответил, что ношу по необходимости, потому что не могу не носить, но что с удовольствием могу и не носить, если разрешат. Ольга Ивановна, видя, что спор становится неприятным, поспешила замять вязкий разговор, но настроение было уже испорчено, и я вскоре ушел.

18 декабря. Врангелевка

Сегодня Полонский сказал мне, что командирует меня в Черновицы для выбора и осмотра помещений для школы и офицерских квартир. Школе отводится здание митрополии, то есть резиденция митрополита. Долго с Полонским говорили. Он прекраснейший человек, настоящий рыцарь. Бронислав Станиславович Полонский поляк, но любит Россию лучше, может быть, и даже сильнее многих русских. Что больше всего я уважаю в человеке, это гражданское мужество — умение не молчать, когда надо, не предавать, не отмалчиваться, не подводить. Полонский именно такой — он прямой и честный человек.

Экзамены еще продолжаются, но моя артиллерия уже кончена и все проэкзаменованы — завтра или послезавтра выезжаю. Проведу, значит, праздники на Галицийской земле.

20 декабря. Бердичев

Еду в Черновицы. Встретил подполковника Ген. штаба Добжеловского, которого знал еще поручиком Гродненского гусарского полка и затем, когда он был в академии. Я его постоянно встречал у Редер. Поговорили с ним о Петербурге. Между прочим, он сообщил мне, что будто бы Распутин исчез и неизвестно где; его разыскивают и не могут найти[1]. Неужели же удалось убрать этого гнусного типа — вот было бы хорошо!

28 декабря. Врангелевка

Рождество провел в Черновицах. Ехал в Черновицы по железной дороге, автомобилем и, наконец, тридцать верст грузовиком. Слякоть такая, что я живо вспомнил Галицию в это же время года.

[1] Г.Е. Распутин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года. Его тело было обнаружено в Малой Невке в проруби под Петровским мостом 1 января 1917 года.

Остановился в хорошей гостинице и сразу же явился к коменданту со своим предписанием. Он дал мне прапорщика, с которым я и отправился осматривать здание митрополии и затем частные квартиры, находящиеся на учете коменданта и запечатанные его печатью.

Митрополия — резиденция митрополита. Это большое прекрасное здание в готическом стиле, в котором живут монахи и духовенство — сам митрополит уехал, когда наступали русские войска. Святые отцы были несколько потрясены и удивлены, когда я сообщил им цель своего визита. Осмотрел большие залы, великолепно обставленные комнаты. Везде солидная и богатая обстановка. Вдоль всего здания по фасаду идет веранда с колоннадой — очень красиво. Все же помещение мне казалось не совсем подходящим и школа с трудом бы поместилась — особенно я думал, что будет с паркетными полами и со всей этой обстановкой, когда поселятся тут юнкера наши.

На следующий день ко мне зашел тот же прапорщик и мы отправились осматривать квартиры, которые прапорщик и отпирал. Прапорщик откровенно рассказывал, как из этих квартир реквизировали вещи и вывозили наиболее ценные. Одна квартира оказалась какого-то австрийского лейтенанта и поразила меня тем, что вид у нее был такой, будто хозяева только что вышли на некоторое время, куда-то спеша. В светлой, хорошо обставленной спальне — двухспальная кровать со смятыми простынями и сброшенным одеялом, на туалете безделушки, рассыпана пудра. В открытом шифоньере дамские платья и мужские костюмы, а в комоде белье, воротнички, носки и пр. В открытой большой желтой картонке цилиндр и шляпы. В гостиной, около дивана на столике, в пепельнице окурки, на этажерке много безделушек. В столовой чашки с недопитым кофе и кофейник, а на кухне посуда неубранная. Видимо, хозяева, застигнутые паникой, спешно бежали, все бросив.

Мой прапорщик сам страшно удивился этой квартире и сказал, что тут еще никто не был и ее не успели осмотреть, а просто только опечатали, да и забыли.

Прожил я в Черновицах в общем ровно пять суток. Портила погода: мокрая и слякотная, но город очень был, видимо, благоустроенный, с хорошими магазинами, отличными тротуарами и улицами, с хорошими домами. По типу он напоминает галицийские города. Совершенно очевидно, что каждый народ придает свой отпечаток, свой дух и своим поселениям, и своим городам.

Теперь же в Черновицах население очень малочисленно, и то больше евреи. На улицах встречаешь почти одних военных — главным образом офицеров.

Один офицер мне рассказывал, что снабжение поставлено очень плохо и что солдат кормят чечевицей, которую они настолько не любят, что почти целиком выплескивают из котелков. По этому случаю солдатня сложила даже песню, которая начинается словами: «Если будет щи и каша, Кирли баба будет наша, если ж будет чечевица, отдадим в Черновицы».

Полторы тысячи рублей, которые мне выдали на наем помещений и задатки, я целиком привез, так как просто дал коменданту перечень помещений, которые наметил — платить же вообще было и некому. Оказалось, что вышло очень удачно, так как, приехав и явившись к Полонскому, узнал, что мы никуда не идем и школа, так же как и Ставка, остаются на своих местах.

Юнкеров производят к Новому году, после Нового года еду в отпуск в Петроград.

29 декабря. Врангелевка

Масса самих разнообразных слухов и разговоров про Распутина. Но одно верно, что он исчез. Говорят даже, что его убили Пуришкевич и еще кто-то. В газетах ничего нет, потому что будто бы запрещено писать.

1917

Отпуск. Убийство Распутина. Революционное настроение. Знакомят с будущим министром. Англо-русский клуб. Врангелевка. Тревожное настроение. Телеграмма о революции. Новое правительство. Отречение Государя. Пшеничников и Хазов. Начало развала. В отпуску. Деревня и крестьяне. Московское совещание. Приезд Деникина. Наступление. Корниловское «восстание». Бердичев. Прапорщик Шамраев. Аресты генералов. Генерал Огородников. Положение арестованных. Уход Полонского. Полковник Духонин. Поездка в Петроград. У Ариадны Владимировны. Доклад в кадетском клубе. Уполномоченный от партии «ка де». Поездка по фронту. Стремление на юг. Депутация к генералу Духонину. Разговор с Крыленко. Убийство генерала Духонина. Рождество на Врангелевке. «Писарь нестроевого разряда». В Самайкино

7 января. Врангелевка

Невероятно бежит время — страшно подумать — три года этой ужасной, кровавой войны. В школе уже выпущено три выпуска юнкеров, а кажется ведь, что приехал сюда так недавно. Занятия начнутся с новыми юнкерами в конце месяца, и завтра я еду в отпуск в Петроград.

Масса самих разнообразных слухов про Распутина — говорят определенно, что он убит — вот хорошо-то, если это только правда.

10 января. Вагон

В Киеве узнал определенно о том, что Распутин убит в доме Юсупова. С вокзала на радостях послал Ариадне Владимировне телеграмму: «Поздравляю избавлением». Все только об этом и говорят.

Может быть, теперь все переменится? Может быть, с исчезновением этого злого гения многие одумаются? Ведь дошли до того, что дальше и идти некуда!

В вагоне, в котором я еду, очень хорошо. У меня место во 2-м классе спального вагона международного общества. Вагон чистый, но-

вый и великолепный. Едут всё офицеры и всё штабные. Чем дальше на север, тем больше пахнет зимой, в окнах мелькают белые, занесенные снегом, поля и села. Когда же наконец заживем мы все мирной жизнью? В моем купе едет какая-то интересная молодая дама и штабной адъютант, который все время ухаживает за ней.

12 января. Петроград, Суворовский 9

Вот я и в Петрограде. Дома застал Ольгу Александровну, Диму и Владимира Павловича Носовича, который живет у нас.

Не было лишь дядюшки профессора[1], который в прошлом году скончался семидесяти двух лет от роду. Он остался верен себе до последних дней. Он не оставил после себя ни одного неоконченного труда и работал до самых последних дней своей жизни. Он промочил ноги в своих сандалиях и простудился слегка, но не обратил на это внимания и продолжал ходить в разлетайке и без калош, в результате легкая простуда перешла в инфлюэнсию, и в три дня его не стало.

Очень трогательную статью в «Речи» посвятила ему Ариадна Владимировна. Похороны были очень торжественные: была вся профессура и ученые.

Год перед тем Александр Иванович хоронил с теми же профессорами академика Ламанского, а теперь настала его очередь. Так постепенно сходят со сцены люди, так уходят поколения...

Катя собирается стать матерью.

Хозяйничает по-прежнему наша «сестра» Урядова. Мара в Самайкине, Ваня в Москве, он ушел из поезда после истории с Мишей.

Везде только и разговоров, что о последних событиях. Оказывается, что Распутина убили в доме Юсупова Пуришкевич и сам молодой Юсупов. Юсупов пригласил его ужинать, сам за ним заезжал и за ужином на сладкое дали ему отравленных пирожных, но цианистый калий, которым они были начинены, не подействовал, и тогда в Распутина стреляли. Говорят, что его никак не могли добить и даже после нескольких выстрелов он поднялся и пошел к дверям. Все это подробно рассказывал Владимир Павлович. Теперь Владимир Павлович занят делом Сухомлинова, в котором он выступает обвинителем.

Сразу после завтрака пошел к Ариадне Владимировне. Тут тоже только и разговоров, что об убийстве. Ариадна Владимировна рассказывала про безобразия с общественными организациями, и в частности с Союзом городов, которому правительство не доверяет всячески тормозит работу и во всем видит крамолу и революцию. Дума настроена самым революционным образом, и многие говорят, что если так будет продолжаться, то революции не миновать. Госу-

[1] Александр Иванович Воейков.

дарь будто бы совсем готов был дать конституцию, но в последнюю минуту передумал под влиянием Государыни. Ариадна Владимировна говорит, что Государь собственноручно сделал надпись на всеподданнейшем докладе Дмитрия Павловича[1], которого хотят сослать: «Никому не дано права убивать» — и написано-то не по-русски.

В четыре часа пошли с Гарольдом Васильевичем в англо-русское объединение, где, оказывается, собираются англичане и по рекомендации гости для общего сближения. Попали на пятичасовой чай, а потом Гарольд Васильевич представил некоторым англичанам — все офицеры английского флота, которые состоят при военной миссии.

Смотрел большие альбомы с снимками войны на Западном фронте. Снимки чудесные. Гарольд Васильевич предложил мне отобрать, и я получил целую пачку в триста снимков.

Обедал дома. Вспоминали с Владимиром Павловичем дядю Осю. Владимир Павлович очень тепло о нем отзывался. Говорили про Протопопова[2]. Оказывается, Катя две недели назад завтракала у него, ее пригласила Наташа Чельцова. Протопопов просто сумасшедший. Он все время ходит в жандармском мундире и за завтраком при всех читал мятлевские[3] стихи, про него написанные. Владимир Павлович говорит, что не желает его видеть и иметь с ним дела, а его сестра Ольга Павловна Протопопова, если хочет повидать Владимира Павловича, приезжает к нам.

14 января. Петроград

Петербург как будто бы преобразился, и чувствуется в нем что-то новое и необычайное.

По телефону, как только берешь трубку, кто-то сейчас же подслушивает, очевидно шпики; правительство, Протопопова и даже Государыню бранят везде и всюду, не стесняясь.

Вчера провел необычайно интересный вечер. По телефону Ариадна Вл[адимировна] позвала меня и жену вечером, сказав, что у нее собираются интересные люди. Катя устала, плохо себя чувствовала и не пошла, а я отправился. Когда я пришел, уже сидели три англичанина — морских офицера, которых привел Вильямс, два француза из миссии, затем Д[митрий] Д[митриевич] Протопопов, А[ндрей] И[ванович] Шингарев и А[лександр] И[ванович] Гучков.

Андрей Иванович стоял посередине гостиной и картинно показывал Гучкову борьбу Думы с правительством.

---

[1] Речь идет о великом князе, одном из участников убийства Г.Е. Распутина.

[2] Речь идет об Александре Дмитриевиче Протопопове.

[3] Имеются в виду стихи Владимира Петровича Мятлева.

— Мы играем точно в мяч: бросим его, а Протопопов[1] толкает нам обратно, мы опять к нему, и так далее, — при этом Шингарев отталкивал от себя воздух обеими руками.

— Да, положение, конечно, серьезное, — заметил Д[митрий] Д[митриевич] Протопопов.

— Не серьезное, а совершенно безнадежное, во всяком случае, пока сидит Протопопов, — сказал Гучков. — Да, впрочем, дело не в одном нем.

— Не дай Бог только впутывать в политику армию, — заметил Д[митрий] Д[митриевич] Протопопов.

— Ну, мы с Иосифом Сергеевичем революции не боимся, — сказала Ариадна Владимировна, глядя на меня.

Тогда Протопопов[2] спросил меня, что делается на фронте, каково настроение офицеров и солдат. Я ответил, что кадровой армии почти не осталось, уровень офицеров весьма низок и, конечно, все или бóльшая часть всех этих прапорщиков из сельских учителей, настроены озлобленно, а главное, общее утомление от войны несомненно.

Разговаривая, все ждали Милюкова, который должен был приехать то ли с какого-то совещания, то ли с обеда с иностранцами.

Англичане молча сидели с вежливыми лицами, безукоризненно одетые. Я встал и подошел к Вильямсу, который стоял у этажерки сбоку от сидящих англичан. Я его спросил тихо:

— А разве положение, Гарольд Васильевич, так серьезно?

Вместо ответа он кивнул на стоящего с Шингаревым Гучкова, который курил, поблескивая темными очками.

— Вот ваш будущий министр.

Я поразился и думал, что ослышался.

— Какой министр, Гарольд Васильевич?

— Военный, — ответил Вильямс.

— Значит, все уже решено.

— Только никому об этом не говорите пока.

Чай пошли пить в одиннадцать часов; за самоваром и холодным ужином продолжали говорить о событиях. Гучков, на которого я с любопытством и тайным недоумением смотрел, почти все время молчал. В голове вдруг припомнилась его история, которую я или слыхал, или, м.б., читал где-то. Он служил в охранной страже КВЖД, дрался на дуэли, был, кажется, исключен со службы и вообще отличался авантюристическим складом характера.

До двенадцати часов сидели все за столом, когда раздался звонок и приехал Милюков. Все перешли опять в гостиную. Милюков был во

[1] Александр Дмитриевич.

[2] Дмитрий Дмитриевич.

фраке. Он сел в кресло и стал рассказывать последние события, передавая, что, возможно, Думу распустят, так как к этому определенно ведет министр внутренних дел Протопопов и настаивает Штюрмер. Потом Милюков заговорил по-английски с англичанами. Я уже ничего не говорил и внимательно слушал, да и все, собственно, слушали одного Милюкова. Изредка вставляли замечания Шингарев и Протопопов. В общем чувствовалось, что что-то назрело, что-то готово, но чего-то недоговаривают.

Милюков просидел не больше получаса, когда поднялись англичане, а как только они ушли, мы все пошли провожать Павла Николаевича[1], на его квартиру по Бассейной улице. Шли в таком порядке: Милюков, Шингарев и я, сзади Протопопов и Гучков. Я воспользовался случаем и спросил Милюкова:

— Павел Николаевич, каким образом могло случиться, что Протопопов попал министром и сама Дума одобрила эту кандидатуру? — на что П[авел] Н[иколаевич] ответил:

— Дума не одобряла этой кандидатуры, потому что уже было ясно, что Протопопов сумасшедший. Это не подлежало сомнению после его беседы в Швеции с Вадбургом...

— А что он сам-то говорил про эту историю?

— Он начал болтать какой-то вздор про белых слонов, — ответил Павел Ник[олаевич].

— Ну и как же, я не понимаю: Дума не могла тогда повлиять, чтобы этого назначения не было?!

— Главным образом потому-то, вероятно, он и попал, что многие были против из влиятельных членов Думы, а потом... кто может бороться с влиянием некоторых лиц на слабого Государя, — сказал Шингарев.

В это время мы подошли к дому, в котором жил Павел Николаевич. Тут он нам стал показывать окно какой-то столовки в переулке, которое приходилось как раз напротив окна кабинета Павла Николаевича.

— Вот из этого окна, которое и сейчас освещено, как видите, — сказал он, — хотели в меня стрелять.

Мы немного постояли, посмотрели на это окно и простились. Шингарев и Гучков на углу взяли извозчика, Дмитрий Дмитриевич[2] тоже, а я, простившись с ними, пошел на Суворовский, раздумывая о всем слышанном и виданном. Кто мне понравился больше всех, так это Шингарев: необычайно умный, симпатичный, с чистой, светлой душой человек. Гучков как-то не располагает к себе своей некоторой

[1] Милюкова.
[2] Протопопов.

мрачностью, может быть от очень темных очков. Что касается Милюкова, то стоит ему заговорить — и можно все забыть и пойти за ним куда угодно. Дмитрий Дмитриевич Протопопов милый, культурный русский, мягкотелый интеллигент.

Что же, выходит так, что если это все всерьез, то вопрос о революции решен. Но все же, как возможно, чтобы Гучков стал военным министром? После завтрака опять пошел к Ариадне Владимировне. Застал ее одну — она писала. Думал, что помешал ей, но она оставила, и мы разговорились. Я не утерпел и спросил относительно вчерашнего. Она сказала.

— Иностранцам показывали. Вот погодите, все придет в свое время, мы с вами еще революцию увидим и будем принимать в ней участие!

— А почему вдруг известно, что Гучков...

— Будет военным министром, вы хотите сказать. Видите, все в области предположений, но возможно, что и не таких далеких!..

Потом мы вспомнили Львов, вспомнили Галицию. Ариадна Владимировна сказала, что у нее получилось впечатление, как будто бы огромный медведь все время старается убить и придавить лапой змею, которая все ускользает и нет-нет [да и] жалит. Вот так воюют русские с немцами. Рассказывала про колоссальные потери у Могелл, где был убит штабс-капитан Колюбакин[1], член Думы, который пошел добровольцем на войну.

Вскоре пришел Вильямс, и мы с ним пошли опять в англо-русский клуб, где было порядочно народу, главным образом англичан.

Вечер провел дома.

Наталка совсем разумная девочка, я читал сказку про Колобок, которую она очень любит, слушает с большим вниманием и все время спрашивает: «А почему?» — и вопросительно смотрит своими черненькими глазенками.

15 января. Петроград

Сегодня днем после завтрака пришел Андрей Андреевич Кофод. Он теперь после Львова снова при Кривошеине. Сидели все в гостиной, и Владимир Павлович очень остроумно скаламбурил. В газете было почему-то написано про зонтик «Парасоль», я на это сказал «есть и параплюи[2]»; Андрей Андреевич, смеясь, заметил: «Многое есть — есть парабеллум, Парагвай» — а Катя вставила: «И парашют». Тогда Владимир Павлович, выглядывая из-за газеты, объявил:

---

[1] Автор ошибается, Колюбакин был убит в сражении около Воли Шидловской.

[2] От parasol и parapluie *(фр)*. — зонтики от солнца и дождя.

— Самое правильное будет: пара — менять — правительство.

Днем ходил гулять с Катей, а вечером были дома. Владимир Павлович рассказывал, что Распутина отвезли в Царское, и что там[1] он похоронен в особом склепе, и что Государыня с Вырубовой ежедневно ездят к нему на поклонение. Полное неприличие.

16 января. Петербург

Говорят, что в рабочих районах и на заводах очень неспокойно, главным образом из-за того, что недостает хлеба.

Сегодня в экономическом обществе встретил Тоню Случевского. Пошел перед обедом получать по своей книжке крупу, пшено и муку. Народу масса, ярко освещено, нарядно, шумно. Поднялся во второй этаж и смотрю, стоит Тоня в форме Нежинского гусарского полка и уже подполковник. Мы с ним расцеловались и поговорили о войне. Он рассказал о двух атаках, в которых участвовал. С ним была и Ольга.

Идя около шести часов обратно, вспоминал прежние годы. Невский все такой же и даже, пожалуй, оживленнее и великолепнее. Ярко горят витрины и окна магазинов. Залит огнями Елисеев, мелькают рекламы, слышны покрикивания бородатых кучеров. «Ау, поберегись! Эй, бааабаа!!...» Матовым диском глядят часы на Думе, звенят трамваи... И все же что-то не то. Какая-то тревога, какая-то появилась вдруг неуверенность в чем-то, чего-то как будто не хватает и чего-то все ждут — не Гучкова ли военным министром? Вот будет-то штука!

Вечером пришли Ариадна Владимировна и Гарольд Васильевич, сидели и за чаем говорили о войне, о союзниках, об Англии. Владимир Павлович очень интересно рассказывал про Владимира Соловьева, которого хорошо знал.

17 января. Петроград

Поражает необыкновенное количество солдат — всё запасные гвардейские части и еще масса необыкновенно молодых пехотных офицеров в чине полковников. Иным, по-моему, лет двадцать восемь — двадцать девять, не больше. Не знаю, правильно ли такое производство. Гарольд Васильевич говорит, что в Англии так же производят, и вообще производство идет почти как в мирное время. Насколько знаю, во Франции тоже, и в Германии жалованье получают по должности, так что чин не играет роли.

---

[1] Распутин был похоронен в Александровском парке Царского Села на территории строившегося Анной Вырубовой храма Серафима Саровского. Труп Распутина был сожжен 11 марта 1917 года.

Навестил Кочуковых. Тетя, Аня с детьми все в Костроме. Миша и Коко по-прежнему служат в своих министерствах.

Амфитеатров опять написал фельетон, в котором высмеивает и ругает правительство, но написал, как всегда, загадкой. Владимир Павлович ухитрился как-то расшифровать и, входя в столовую сегодня утром с газетой в руках, сказал:

— Ну-ка, прочтите Амфитеатрова.

Я начал читать.

— Ну, что? — спросил он.

— По-моему, ничего, а что? — сказал я.

— Да вы читайте через три слова в четвертое.

Когда я последовал его совету, то оказалось, что смысл получается совсем другой. Мы оба решили, что это довольно глупо и такая манера весьма пошла и даже труслива, одно из двух: или имей мужество прямо говорить, или вовсе не говори, к чему эта трусливость. И, наверное, ведь и редактора подвел, весьма возможно, что поместили-то и сами не знают, что написано.

22 января. Петроград

Сегодня утром после кофе сидел с Наталочкой и читал ей. Все ушли.

Потом после завтрака пошел к Аничковым. Прелестные они люди. У обоих печать неутешного горя на лицах. Миша, друг детства Сони, убит в л[ейб]-г[вардии] Егерском полку. Бедная Мария Ивановна, она души не чаяла в единственном сыне. Какое безобразие эта война!

Вечер провел дома. Владимир Павлович все занят сухомлиновским делом, о котором пока ничего не говорит. Часов в восемь приехала Ольга Павловна Протопопова. Долго сидела, а потом в министерском автомобиле поехала домой. Странное ее положение и довольно тяжелое — она видит и понимает отношение всех к ее мужу и даже родственников и близких знакомых, и минутами даже кажется, что сама не на стороне мужа. Владимир Павлович, так тот даже не упоминает в разговоре с ней о супруге, как будто бы его и вовсе не существует.

23 января. Петроград

Читали новое мятлевское стихотворение «Царь поехал из Царского в Ставку»[1] Говорят, что все дела решает Государыня и что она положительно какой-то диктатор. Государь всецело под ее влиянием

[1] Стихотворение, о котором идет речь, с заголовком «Прошедшее. Настоящее. Будущее», без указания авторства, приведено в: *Алексеева И.В.* Агония сердечного согласия. Л.. Лениздат, 1990. С. 115.

и не делает ни одного распоряжения без ее согласия и ни одного назначения. Оказывается, что смерть Распутина ровно ничего не изменила, и, очевидно, дело тут не в одном Распутине.

Сегодня Дима снимал нас во всех видах: меня с Наталочкой, потом ее с Владимиром Павловичем. Читал ей сказки все про «Колобок» и затем «Красную Шапочку», Татка все время перебивает и спрашивает задумчиво: «А почему?»

Днем все ушли, сестра в госпиталь, Дима по делам — он, между прочим, освобожден и будет, вероятно, на заводе, Катя поехала что-то покупать, а я остался один. «Няня Паша»[1] стирала белье. Пока мы читали, раздался звонок и пришел Аничков с ответным визитом. Сидели втроем, он, я и Тата, которая присмирела и в конце концов задремала, забавно клюя носиком.

Говорили о Симбирске, вспоминали далекие, милые времена, уделы, Бланка. Когда он ушел, мне стало грустно. Захотелось увидеть отца, захотелось тишины и домашнего покоя. Здесь все что-то не то, нависло что-то странное, да и с Ольгой Александровной я никак не схожусь. Не могу понять ее холодного ко всему безразличия, никогда ни во что не вмешивается, от всего всегда в стороне, ни о чем с ней не заговоришь. А если говорит сама, так так и чувствуешь, что говорит абстрактно, для того чтобы только говорить и чтобы ее слушали и восхищались, как это она все знает и понимает. Мне кажется, что в ней вообще не живет никаких чувств и она положительно не знает, что такое простое волнение сердца...

25 января. Петроград

Сегодня готовили комнату для жены, где она будет во время родов. Рядом няня с Татой. Устроили очень уютно и хорошо.

Погода славная — легкий морозец, тихо и хорошо. На Невском встретил Ксюнина — он из бригады давно и теперь попал в артиллерийскую академию, говорит, что получил письмо, в котором сообщают, что Кадомнов, бедняга, убит. И погиб-то он как-то случайно. На фронте было затишье, никаких боев не шло. Он сидел в окопе, когда увидел змею. Змей он вообще очень боялся. И вот он выскочил на бруствер, а в это время какой-то шалый снаряд разорвался, тут же и его смертельно ранило осколком. Вскоре он скончался. Затем Рихтер тоже убит, его завалило в землянке тяжелым снарядом. Соколов получил Золотое оружие и командует батареей. Бергстрем получил где-то противоаэропланную батарею.

Вечер провел у Ариадны Владимировны. Мирно беседовали, рассматривали фотографии войны, а потом пили чай — Ариадна Вла-

[1] Прасковья Андреевна Матвеева.

димировна, Гарольд Васильевич, Соня и я. Немного позже пришел Чуковский, который читал нам своего «Крокодила». Он интересный и остроумный человек — этот Чуковский.

Скоро кончается мой отпуск и надо ехать в школу.

2 февраля. Врангелевка

Вот уже я и опять в школе. Как быстро летит время. Все время расспрашивают про Петроград и настроения. Сидел вечер у Полонских. Полонский говорит, что если так будет продолжаться, то войны мы не выиграем, но если будет и революция, то будет еще хуже. По его мнению, надо заключать мир, и чем скорее, тем лучше. Ососов, который тоже сидел с нами, и прапорщик Иванов были с этим вполне согласны и говорили, что мир надо было еще заключать в [19]16 году, и Государь ошибку сделал, что дал Думе слишком много разговаривать, ее давно надо было разогнать и идти вместе с немцами.

Я начал горячо возражать, сказав, что Дума — народные представители — не могут быть разогнаны и что, может быть, вся беда в том и заключается, что мы жили без всякой общественности и свободного голоса. Будь снабжение поставлено с самого начала хорошо, может быть, и война бы кончилась давно, а если бы было ответственное министерство еще до войны, то и войны бы не начали, так как, как оказалось, были совсем не подготовлены. Мясоедовы и Сухомлиновы были возможны только при безответственном правительстве.

Ососов назвал меня бомбистом и сказал, шутя, что я настоящий революционер.

5 февраля. Врангелевка

Занятия пошли нормальным темпом. Евстратов уехал все-таки в академию. Он ездил к Духонину, который ему это и устроил. Миша хороший человек, георгиевский кавалер, и я рад за него. Что касается меня, то я б хотел, если говорить об академии, попасть в юридическую. Игнатович уехал с Дитерихсом.

Уровень юнкеров совсем низкий, с университетским образованием никого, со средним, как исключение, — я даже не понимаю, кому нужны эти прапорщики. А главное, подумать, в двух школах — полторы тысячи человек!

17 февраля. Врангелевка

Время летит. Невероятная резня все продолжается и готова еще более усилиться и перейти в последнее, будем надеяться, отчаянное усилие. Протопопов и правительство продолжают вести страну к

гибели. Кажется, ничто не может образумить этих людей. С другой стороны, возмутительно и общество — в широких массах равнодушие, эгоизм, боязнь за собственную шкуру, жажда всяческих слухов, сплетен, больше политических, но стоит цыкнуть тому же Протопопову — и на задние лапки!

25 февраля. Врангелевка

Вчера получил телеграмму вечером от 22-го из Петрограда: «Поздравляем дочкой богатырем».

27 февраля. Врангелевка

Утром получил срочную телеграмму, что все идет благополучно и нормально. Слава Богу! Как-то все-таки страшно, когда далеко и ничего не знаешь.

С наслаждением читал Шиллера. Как хороши и оригинальны слова, которые Шиллер вкладывает Валленштейну, обращающемуся к Максу Пикколомини[1]: «Дверь мысли я пред ним раскрыл широко и осторожности ключи забросил». Ну не красота ли!

Теперь увлекаюсь Герценом и читал вчера до поздней ночи. Слезы навертываются на глаза, когда прочел о непонятной бессмысленной смерти всех его троих детей — и ведь, главное, все умирали. Что может быть тяжелее, как терять детей?

28 февраля. Врангелевка

Ползут какие-то слухи, но никто ничего толком не знает. Говорят, что в Петербурге беспорядки. Сегодня вечером я был в театре, в ложе, с Полонскими и Ососовыми: смотрели «Веру Мирцову»[2], театр был полон. Из штабных сидели Бушен, подполковник Ксидо и Степанов[3], в губернаторской ложе был губернатор. В антракте он подошел к Степанову, и он сказал, что в Петрограде беспорядок и полный хаос, будто бы восстали рабочие и к ним присоединились даже войска[4]

В антрактах только и разговоров, что о перевороте. Однако как все это тревожно!

---

[1] «Валленштейн» (1799) — драматическая трилогия Фридриха Шиллера. Состоит из «Лагеря Валленштейна» с длинным прологом, «Пикколомини» и «Смерти Валленштейна». Основана на исторических событиях вокруг гибели известного полководца Альбрехта фон Валленштейна.

[2] Правильное название «Вера Мирцева». Спектакль Александровского театра по пьесе Льва Урванцева.

[3] Николай Александрович Степанов.

[4] 25 февраля 1917 года произошла Февральская революция.

3 марта. Врангелевка

Какое счастье, какая радость! Новое правительство! Как красиво — совет старейшин постановил Думе не расходиться и всем оставаться на местах. Министры — вся эта банда, предатели и мерзавцы во главе со Штюрмером, Щегловитовым, Протопоповым и пр. арестованы.

Так досадно, так обидно не быть сейчас в Петрограде. Бедный Герцен! Он рано родился, как было бы ему сейчас хорошо в это интересное, историческое, великое время! Все, о чем он мечтал, наконец-то исполняется! Кажется, не дождаться утра — так велико нетерпение. Что-то принесут завтрашние телеграммы?

Говорят, что здешний губернатор Скаржинский, который хотел изорвать телеграмму, уже отстранен, а на его место назначен городской голова Лелявский. История с телеграммой происходила следующим образом: третьего дня у Скаржинского была чашка чаю. Говорили о политике и тревожных слухах из Петрограда, и вот на вопрос кого-то, как бы он, губернатор, поступил, если бы вдруг получил приказание от нового правительства, он ответил ясно и коротко:

— Конечно, бросил бы в корзину эту бумагу.

Чего бы я только не дал, чтобы посмотреть на эту милую компанию, арестованную и сидящую под стражей! Ведь из ста семидесяти миллионов человек дай Бог чтобы несколько сот человек не кляли их. Но слава Богу, их нету! Все это позади и как теперь свободно дышится!

Когда еще носились слухи, сегодня утром, то мы все крестились, узнавая ту или другую новость, — крестились, а самим не верилось: «А все-таки уж очень хорошо, не верится что-то!» А телеграммы печатаются: «По распоряжению распорядительного комитета Государственной думы», ну разве не восторг?!

Россия, Россия — ты ли не величайшая страна мира! Ты все вынесла: и войну с немцами, и измену, и отсутствие снарядов. Ты, сохраняя величайшее спокойствие, свергла правительство и стоишь по-прежнему грозная и непобедимая.

И как я, ничтожный человек, горд тем, что верил, что будущее России колоссально, что она не может во всем не победить!

4 марта. Врангелевка

Оказывается, вот как все происходило. Записываю точно, так как это необычайно интересно — ведь мы переживаем великие исторические дни. Совет старейшин пятой Думы, собравшись в экстренном заседании и ознакомившись с указом о роспуске, постановил: «Думе не расходиться. Всем депутатам оставаться на своих местах».

27 февраля, то есть уже на другой день после решения Думы не расходиться, на сторону Думы переходят Волынский, Преображенский, Литовский, Кексгольмский и саперный полк. В тот же день и 28-го взяты арсенал, Главное артиллерийское управление, тюрьмы и освобождены все заключенные. В общей сумятице много было выпущено и уголовных. При взятии охранного отделения много бумаг и документов сожжено.

Между тем еще 26-го Родзянко послал телеграммы царю, генералу Алексееву и трем главнокомандующим фронтами: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Часто войска стреляют друг в друга. Необходимо немедленно лицо, пользующееся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

Телеграммы главкомам содержали, кроме этого текста, просьбу поддержать перед Царем обращение Родзянко.

Брусилов ответил: «Вашу телеграмму получил, свой долг перед родиной и Царем исполнил».

Рузский: «Телеграмму получил, поручение исполнил».

27-го Родзянко посылает вторую телеграмму: «Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет поздно. Настал последний час, когда решаются судьба родины и династии».

В этот же день подал в отставку Голицын[1] и министры, кроме Протопопова. Говорят, что эту вторую телеграмму Воейков[2] не передал Государю. Полагаю, однако, что это дело не меняло.

Во всяком случае, насколько Государь не понимал положения, показывает тот факт, что он еще пытался посылать части для усмирения Петрограда, а сам выехал из Ставки в Царское и дорогой не отступал от обычного времяпрепровождения.

Части под командой ген.-ад. Иванова были остановлены в Царском артиллеристами, и наш Нарушевич длинный (младший)[3] вошел в поезд и объявил Иванову, что артиллерия откроет огонь по дворцу, где находятся Государыня с детьми, если Иванов продвинется дальше.

Между тем царский поезд вел командир железнодорожного полка Цабель. В поезде находились Государь, Воейков и Нилов — последний, кажется, как всегда, не совсем трезв. По дороге машинист нарочно испортил что-то, и поезд остановился. Государь спал, а Ни-

[1] Николай Дмитриевич Голицын.

[2] Владимир Николаевич Воейков, последний комендант Зимнего дворца.

[3] Вероятно, Виктор Антонович Нарушевич.

лов, выйдя, напевал какой-то романс. Когда опять тронулись, Государю доложили о том, что в Петрограде революция, причем Воейков старался скрыть истинное положение и смягчить, а Цабель был настолько честен, что говорил все откровенно. Тогда Воейков будто бы воскликнул:

— Нужно открыть минский фронт немцам, чтобы они пришли усмирить эту сволочь!

И все это происходило в минуты величайшей исторической важности, в минуту величайшего исторического сдвига.

Царский поезд не был пропущен в Царское Село и дошел до Пскова, где находился главноком Северного фронта генерал Рузский. В Пскове, этом древнем русском городе, и произошло отречение Романова за себя и за сына. Таким образом, династия, выбранная на престол России более трехсот лет назад, закончила царствование 2 марта 1917 года в 15 часов. Страница истории перевернулась, и русскому народу предстояло заполнить следующую.

К Государю в Псков явились члены Временного комитета Государственной думы во главе с Гучковым и обрисовали ему положение. Представитель комитета закончил свои слова извещением, что посылать эшелоны войск для усмирения совершенно бесполезно.

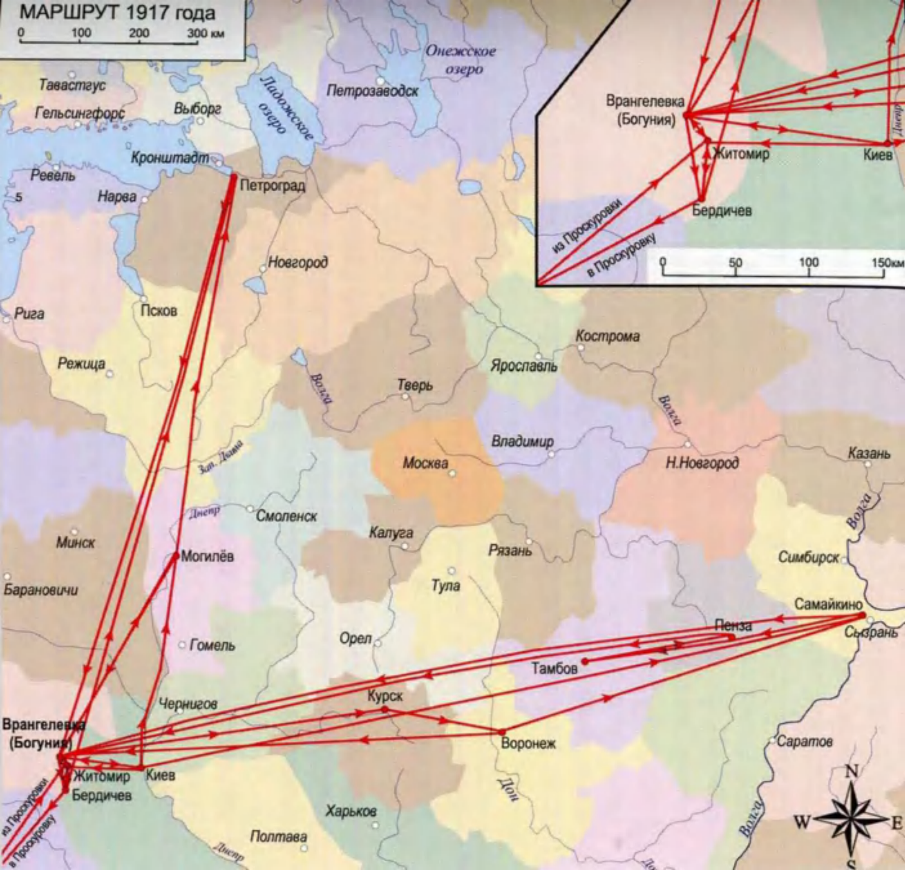
— Что же мне делать? — тихо спросил царь.

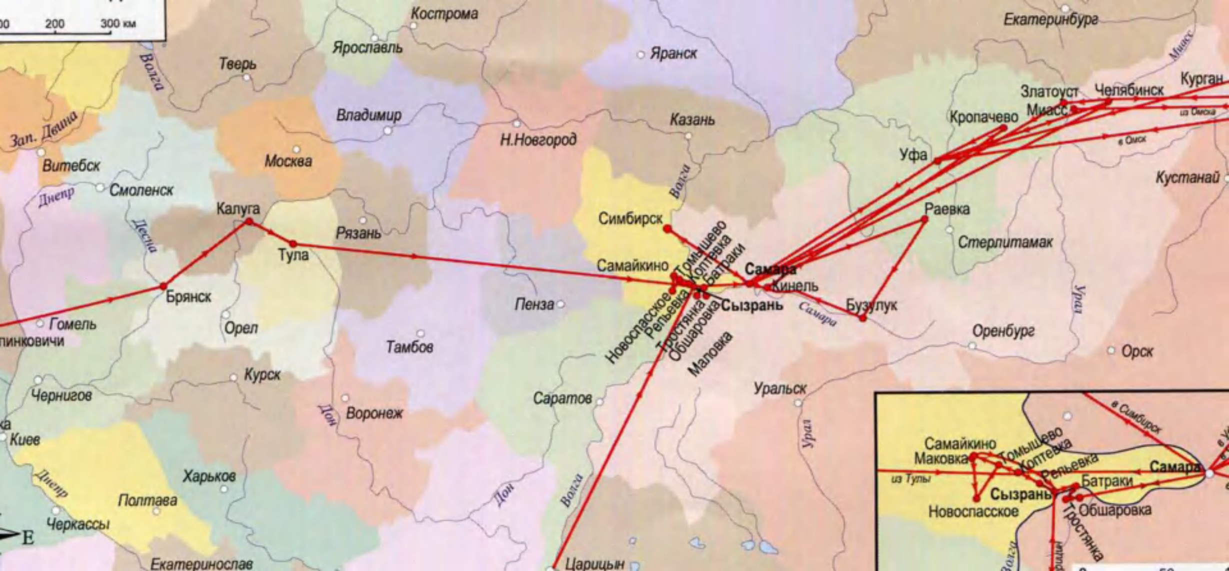
— Отречься от престола, — ответил Гучков.

Однако этим отречением династия не прекращалась, ибо первоначально было предположено, до Учредительного собрания, регентство Михаила, но последний, 3 марта, то есть на другой день, отказался от престола.

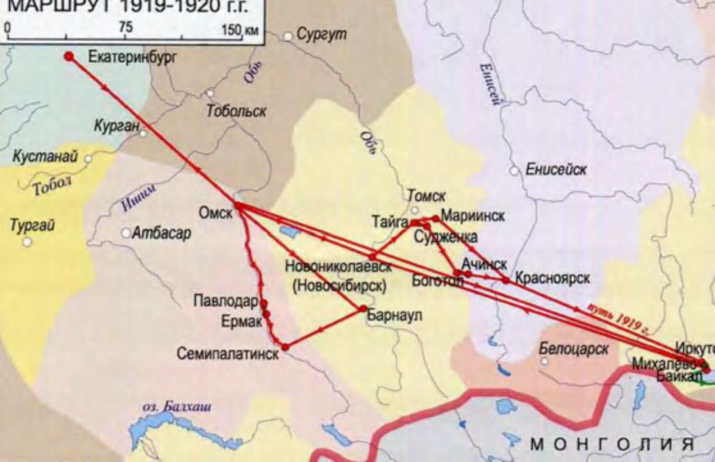
Надо отметить, что вначале, то есть сразу же после первых известий о волнениях, большинство мыслило перемену как приход к конституционной монархии, и это имело свое основание, ибо разрушать все, что создавалось на протяжении веков, сразу ломать жизнь, разрушать все формы, каковы бы они ни были, не имея еще ничего нового, да еще пред лицом организованного и еще грозного врага, очень опасно. История не любит скачков, и хотя революция, в отличие от эволюции, есть насильственный переворот, но тем самым, что он свершился, доказывает, что назрела потребность в новой форме, более совершенной, но, однако, такой, которая бы являлась продолжением старой, более совершенной. И трехсотлетнюю, абсолютную монархию никаким образом нельзя вычеркнуть из истории России, а тем более речами и демагогией.

Эту мысль очень хорошо и выразил Павел Николаевич Милюков со свойственной ему ясностью. 2 марта в Екатерининском зале он сказал солдатам и гражданам, осветив общее положение и перечислив новых


МАРШРУТ 1917 года
0 100 200 300 км
Онежское озеро
Ладожское озеро
Петрозаводск
Тавастгус
Гельсингфорс
Выборг
Кронштадт
Ревель
Нарва
Петроград
Новгород
Рига
Псков
Режица
Кострома
Ярославль
Волга
Тверь
Владимир
Москва
Н.Новгород
Казань
Зап. Двина
Днепр
Смоленск
Калуга
Рязань
Минск
Могилёв
Симбирск
Барановичи
Тула
Самайкино
Пенза
Сызрань
Орел
Гомель
Тамбов
Курск
Чернигов
Врангелевка (Богуния)
Воронеж
Саратов
Житомир
Киев
Бердичев
Дон
Харьков
Полтава
из Проскуровки
в Проскуровку
Врангелевка (Богуния)
Житомир
Киев
Бердичев
из Проскуровки
в Проскуровку
0 50 100 150км
N
W
E
S



200
300 км
Кострома
Ярославль
Тверь
Яранск
Екатеринбург
Владимир
Н.Новгород
Казань
Москва
Витебск
Смоленск
Калуга
Тула
Рязань
Симбирск
Самайкино
Томышево
Коптевка
Батраки
Самара
Кинель
Сызрань
Бузулук
Раевка
Стерлитамак
Уфа
Кропачево
Златоуст
Миасс
Челябинск
Курган
Кустанай
Брянск
Гомель
Орел
Пенза
Тамбов
Новоспасское
Рельевка
Тростянка
Обшаровка
Маловка
Оренбург
Орск
Курск
Чернигов
Воронеж
Саратов
Уральск
Киев
Харьков
Полтава
Черкассы
Екатеринослав
Царицын
Волга
Дон
Днепр
Десна
Зап. Двина
Урал
Самара
Миасс
в Омск
из Омска
Маковка
Рельевка
Батраки
из Тулы
в Симбирск


МАРШРУТ 1919-1920 г.г.
0
75
150 км
Сургут
Екатеринбург
Обь
Тобольск
Курган
Кустанай
Тобол
Ишим
Тургай
Атбасар
Омск
Енисей
Обь
Енисейск
Томск
Тайга
Мариинск
Судженка
Ачинск
Новониколаевск
(Новосибирск)
Боготол
Красноярск
Павлодар
Ермак
Барнаул
Семипалатинск
путь 1919 г.
Белоцарск
Иркутск
Михалево
Байкал
оз. Балхаш
МОНГОЛИЯ



Якутск
Мая
ОХОТСКОЕ
МОРЕ
Олёкминск
о.Сахалин
Николаевск
Лена
Александровск
Киренск
Амур
ЯПОНИЯ
Амур
оз. Байкал
Благовещенск
Хабаровск
Чита
Верхнеудинск
(Улан-Удэ)
Даурия
К И Т А Й
Сунгари
Петровский
Завод
Маньчжурия
путь 1920 г.
Владивосток
ЯПОНСКОЕ
МОРЕ
УРГА
Харбин

министров, на вопрос «А династия?» — ответил: «Я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит, но я его скажу. Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен. Власть перейдет к регенту великому князю Михаилу Александровичу...» — (продолжительный шум, негодующие крики) — «...наследником будет Алексей...» — (смятение, шум, крики: долой Романовых, долой князей. Это старая династия!!) — «Да, господа, это старая династия, которую, может быть, не любите вы, а может быть, не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто что любит. Мы не можем оставить без ответа и без решения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе как парламентскую и государственную монархию...» — (страшный шум, крики: Не надо нам монархии! Да здравствует республика!) — «Быть может, другие представляют иначе, но теперь, если мы будем об этом спорить, вместо того, чтобы сразу решить, то Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только что разрушенный режим. Этого мы сделать не имеем права ни перед вами, ни перед собой!»

8 марта. Врангелевка

Состав Временного правительства: министр-председатель и министр внутренних дел князь Львов[1]. Министр военный и морской Гучков, министр иностранных дел Милюков, министр земледелия Шингарев, В[ладимир] Н[иколаевич] Львов обер-прокурор Синода, министр финансов Терещенко, министр просвещения Мануйлов, министр путей сообщения Некрасов, министр торговли и промышленности Коновалов и министр юстиции Керенский.

Исполнительный комитет Государственной думы состоит из: М[ихаила] В[ладимировича] Родзянко, А[лександра] Ф[едоровича] Керенского, Чхеидзе, В[асилия] В[итальевича] Шульгина, П[авла] Н[иколаевича] Милюкова, М[ихаила] А[лександровича] Караулова, А[лександра] И[вановича] Коновалова, И[вана] И[вановича] Дмитрюкова, В[ладимира] Ржевского, С[ергея] И[лиодоровича] Шидловского, Н[иколая] В[иссарионовича] Некрасова, В[ладимира] Н[иколаевича] Львова, полковника Энгельгардта.

9 марта. Врангелевка

Временное правительство обратилось к населению с воззванием, в котором следующие пункты:

1 — полная немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям, аграрным преступлениям и пр.

[1] Георгий Евгеньевич Львов.

2 — свобода слова, печати, собрания и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-политическими условиями

3 — отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений

4 — немедленная подготовка к созыву Учредительного собрания на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, которое установит форму правления и конституции

5 — замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненной органам местного самоуправления

6 — выборы в органы местного самоуправления на основах всеобщего, прямого, равного и тайного голосования

7 — неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших активное участие в революционном движении

8 — при сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении воинской службы — устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам.

Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий.

10 марта. Врангелевка

Штаб Юго-Западного фронта сейчас состоит: главноком генерал Брусилов, начальник штаба генерал Клембовский, генкварм генерал Духонин, его помощник генерал Раттель. Дежурный генерал: ген. Картаци.

Милиция образована главным образом из каких-то гимназистов, которые не хотят учиться, и уличных хулиганов.

Все стали гнуть к социалистам, и не быть социалистом стало зазорным. На этой почве уже развиваются угодничество, доносы и ябеды. Образуются комиссии и подкомиссии для разбора жалоб и доносов.

11 марта. Врангелевка

Говорят, что больше всего пострадало среди морских офицеров. Это, положим, было и в 1905 году. Убит адмирал Непенин, бедняга Ланго поплатился жизнью сразу в первый день революции. В Кронштадте, Ревеле, Риге, Гельсингфорсе, на форте Ино были целые избиения. Нечего сказать, недурно начало.

У нас начались споры и нелады прежде всего у офицеров. Пшеничников, тот самый Пшеничников, который меня не так давно на-

зывал революционером, стал самым крайним демагогом и говорит, что все должно быть в руках самих солдат, рабочих и крестьян. Капитан Хазов, тоже командир роты, обычно грубый и самый строгий, теперь вполне присоединился к Пшеничникову. Ососов занял резко противоположную позицию. Соответственно с этим ведут себя и юнкера — две роты Пшеничникова и Хазова совсем вышли из повиновения.

Собираемся в собрании по два раза, бранимся и спорим. Я выступал два раза, доказывая, что революция вовсе не должна нести с собой анархии и что дисциплина должна оставаться старой, на что Пшеничников, а потом и Хазов стали называть меня отсталым и реакционером. Штаб-офицеры молчат и не знают, чью сторону принять. Останькович, который только что произведен в подполковники, трусит больше всех и начал с юнкерами заигрывать.

12 марта. Врангелевка

Приказано выбрать из офицеров и юнкеров представителей в Житомирский совет солдатских и рабочих депутатов. Опять собрались и опять спорили, но по настоянию Полонского решили послать штабс-капитана Смолянинова — нашего «Шлему», решили так, потому что он сам из крестьян, смахивает удивительно на мужичка со своей бородой и сиплым резким голосом.

Занятия пошли сразу кое-как. Юнкера после лекции аплодируют. Сегодня, когда я закончил свой час, мне начали аплодировать, как какому-то артисту. Я остановился и сказал, что не буду читать, если мне будут аплодировать, но оказывается, что сделать ничего нельзя, потому что это теперь стало нормальным явлением!

Сегодня началось с того, что Пшеничников, ведя роту на учение в поле, проходя мимо Полонского, который шел в канцелярию, не скомандовал «смирно»; когда Полонский остановил его и спросил, почему он не командует, Пшеничников, не прикладывая руку к козырьку, резко ответил:

— Теперь, полковник, это не полагается, — и это перед всей ротой! Тут же находились штабс-капитан Зимин, я и Евстратов.

13 марта. Врангелевка

Положительно не успеваю каждый день записывать. События идут с какой-то угарной быстротой. Вчера дело дошло до того, что приезжал городской голова Лелявский, теперь комиссар Временного правительства и вместо губернатора. Мы собрались все в собрании днем, так как юнкера начали выносить разные постановления об отмене экзаменов, ускоренном производстве и пр. Пшенични-

ков и Хазов настаивали, что это правильно; многие молчали; я, Евстратов, Зимин говорили, что тогда вообще лучше школу закрыть, так как это выходит, что командовать нами будут юнкера. За этим спором Смолянинов поехал в город и привез Лелявского, который приехал с каким-то прапорщиком, оказавшимся товарищем председателя совета солдатских и рабочих депутатов. Этот прапорщик сейчас же начал говорить о том, что мы сами создаем «средостение» между собой и юнкерами и что это надо «изжить». Лелявский очень мягко стал поддерживать прапорщика. Я спросил прапорщика, в чем же он видит это средостение. На что он сказал, что в неумении наладить отношения. Тогда Смолянинов верно заметил, что трудно налаживать, если у одних нет ни власти, не определены их обязанности, и что при таких порядках никакого содружества установить нельзя. Останькович бегал сзади нас — мы все стояли, окружив прапорщика и Лелявского, — и шептал каждому из тех, кто возражал:

— Так, так, господа, все за одного, один за всех. Не выдавайте, не выдавайте!

Но, конечно, сейчас же выступили Пшеничников и Хазов и поддержали прапорщика, говоря, что теперь свобода и что по-новому надо строить жизнь. Какие, в общем, мерзавцы!

14 марта. Врангелевка

Трудно что-нибудь сказать. Власть в руках рабочих и «солдатских» депутатов. Они командуют страной, и к ним в лапы попали и министры, и комитет Думы. Таким образом, получилась олигархия[1] в довольно грустной форме. В угоду им пошли всё отменять и разрушать, ничего, разумеется, не создавая. Анархию внесли и в армию. Все было бы и полезно, и хорошо, если бы делалось постепенно, последовательно и по известной системе — они же хотят в один день сделать из страны, живущей тысячу лет своей историей, насчитывающей триста лет монархии, демократическую республику! Сидел у Полонского. Он верит еще в благоразумие юнкеров и говорит, что если с ними суметь поговорить, то они вполне все поймут и что ни Пшеничников, ни Хазов не смогут ничего сделать. Я возражал и говорил, что одними уговорами ничего не сделать. Не знаю, может быть, и я не прав, но мне противны все эти уговоры, да еще тупых людей, которые ровно ничего не понимают.

---

[1] Олигархия (от др.-греч. ὀλίγος — небольшой, малый + ἀρχή — начало, власть) — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках небольшой группы лиц.

15 марта. Врангелевка

Приезжал Раттель. Мы все собрались в одиннадцать часов в собрании. Раттель сел в центре, а мы вокруг. Против самого Раттеля сели Пшеничников и Хазов, глядя ему прямо в лицо, причем Пшеничников умышленно, по-моему, делал восторженные глаза. Раттель сказал: «Господа, произошла революция. Царя нету. Имейте в виду, что его нету навсегда, и потому те из вас, кто еще сохранил веру в то, что возможно восстановление монархии, — глубоко заблуждаются, и пускай это заблуждение выбросят из головы раз и навсегда. Никаких монархических принципов больше не должно существовать, а у кого они остались, выбросьте их — другого быть не может!»

Затем Пшеничников, глядя все так же восторженно, спросил:

— А что, генерал (не «ваше превосходительство», а «генерал»), можно носить красные банты в строю?

На что Раттель ответил:

— И в строю, и вне строя, об этом будет на днях специальный приказ генерала Брусилова.

Тогда Пшеничников, обращаясь к нам, сказал:

— Ну вот, видите, господа?

Это относилось главным образом к Евстратову, Смолянинову и ко мне, потому что мы сказали, что красных бантов носить никогда не будем.

После отъезда Раттеля у большинства была какая-то не то растерянность, не то испуг. Да и в самом деле, как верно говорил Шлема. с одной стороны, с нас требуют, с другой, говорят, что мы ничего не имеем права делать.

16 марта. Врангелевка

В городе толпы солдат, семечки, митинги, оркестр играет «Марсельезу», все с красными тряпками. Мы с Мишей Евстратовым стояли и слушали какого-то болвана, который до пота кричал про кровопийц, а стоящий с нами тип с красным бантом спросил, почему нет у нас бантов.

— Вот погоны носите, а знак свободы не надеваете.

Миша своим густым басом ответил:

— И не наденем; если хочешь, можешь сам носить! — прибавив русское трехэтажное. Мишин рост, его бас и решительность имели удивительное впечатление, и тип сразу же смылся, затершись в толпе.

У меня впечатление от этих митингов, что вся эта толпа, в расстегнутых шинелях, с семечками и шапками набекрень, ровно ничего не понимает и просто рада тому, что можно шляться и грызть семечки.

Я слыхал мнение Лелявского, которого встретил и которому сказал, что, кроме беспорядков и анархии, от этих митингов ничего не получается: «Надо дать им всем накричаться, пусть поорут, побушуют да и успокоятся, тем более что сейчас пока свежо, так и переживают бурно».

Может быть, это и верно, но разве вся масса солдат добровольно мобилизована, разве прежде всего они не захотят уйти? И разве здесь, в Житомире, сразу же не ушли все маршевые роты «в отпуск», и никто ничего не мог сделать?! Вот тебе и средостение! Оказывается, власти-то ни у кого нет!

17 марта. Врангелевка

Вышел приказ номер первый об отдании чести, вернее, об неотдании, о том, что надо всем говорить на «вы», об отмене «благородия» и пр. Какой-то новый сенатор Соколов все это, говорят, выдумал. Вместо того чтобы шестидесяти процентам неграмотных людей объяснить и растолковать, сначала сразу шпарят приказы, из которых само собой явствует, что мы, офицеры, были какими-то извергами. Но самое главное, что для нижних чинов-то отдан приказ, а вот для нас... Какие права нам остались, так об этом ни слова, мы только должны то-то и то-то!

18 марта. Врангелевка

В Москве приказ солдатских и рабочих депутатов: «чести не отдавать, во фронт не становиться» — глупо и смешно! Не потому, что это важно или неважно, а потому, что в армию вкрался раздор и разлад. Заметно, как офицеры, кроме разных Пшеничниковых и Хазовых, насторожились.

Керенский тоже сходит с ума, особенно с назначением Винавера, Зарудного и др.

Посмотрим, что будет. Дай Бог, чтобы не поколотили немцы. Весна на носу, и они что-то замышляют на нашем фронте

Из дому получил телеграмму, жена и новорожденная здоровы.

19 марта. Врангелевка

Власть вся в руках совета рабочих и солдатских депутатов. Это не подлежит никакому сомнению. Характерно, например, что сегодня распоряжение Временного правительства о посылке на фронт маршевых рот отменили и постановили не посылать.

Положим, и посылать-то нечего! Дальше идти некуда!

По существу, как посмотришь — все страны, пережившие революции, пережили аналогичные явления, и, несомненно, этих же

господ поведут на виселицу, иначе и быть не может, ибо рано или поздно массы начинают прозревать и понимать.

Получил от бель-мер[1] телеграмму с вопросом, как назвать новорожденную? Ответил: «Лучше Ариадной, согласен Ольгу».

20 марта. Врангелевка

Митинги и собрания. Юнкера совершенно ничего не делают. Все лекции только для виду. Кое-как еще ходят в поле на занятия. Начинается система уговоров. Из совета приехала комиссия в составе усатого прапорщика и двух солдат (один унтер-офицер) проверять отчетность школы. Каждый день изволят приезжать в автомобиле, до двенадцати часов проверяют в канцелярии, а потом обедают с нами в собрании. Мы с Хамицким[2] и Евстратовым иной раз, не стесняясь, браним совет.

21 марта. Врангелевка

Иванов уехал в отпуск в Москву. Интересно знать, что он оттуда привезет, какие новости. По городу противно ходить: солдаты шляются толпами, все забросано семечками. Полиции нет, а образована какая-то милиция из черт знает кого. Самое главное, что этих милиционеров не отличишь от проходимцев — в штатских костюмах, иной раз весьма потасканных.

Кто такой этот Керенский? Смолянинов уверяет, что все будет отлично и что за Керенским пойдут· он-де настоящий вождь. Я в это положительно не могу поверить, что-то много он говорит, хотя вообще состав Временного правительства блестящий, достаточно сказать, что вошли в него такие люди, как Шингарев, Милюков. А ведь Гучков-то действительно оказался министром.

1 апреля. Врангелевка

Итак, Пасха [19]17 года. Пойдем опять к заутрене, пропоют «Христос воскресе». Весна в полном разгаре, тепло, даже жарко на солнце. Этот праздник — праздник весны, и потому-то он так хорош и светел.

Новорожденную назвали Ольгой[3]. Теперь у меня две дочери. Немного пожалел, что велика разница, почти три года, Тате долго ждать подруги по играм.

---

[1] От belle-mère *(фр.)* — теща.

[2] Не установлено, о ком идет речь: об упоминавшемся выше (25 мая 1916 г.) поручике Хамицком — или о полковнике Чеславе Сильвановиче Хамицком.

[3] Ольга Иосифовна Ильина-Лаиль.

2 апреля. Врангелевка

Из Германии приехала в запломбированных вагонах целая серия большевистских лидеров. Ленин, Троцкий/Бронштейн — еврей, Лейба Давидов[ич][1], Каменев/Розенфельд — еврей и др. Кажется на первый взгляд совершенно невероятным, чтобы через вражескую страну приезжали люди, которым бы устраивали восторженные встречи вплоть до почетных караулов, но это факт!

Жена с детьми поехала в деревню — очень хорошо сделала. Там, разумеется, много лучше во всех отношениях, чем в Петрограде. Полонский отпускает меня на несколько дней, и я съезжу к ним. Выеду в конце Святой.

Грядущее страшно. Власть Романовых ужасная, но на ее месте явилась другая, господ Нахамкисов — он же Стеклов. Еврей, который почему-то скрывает свою фамилию, председатель совета рабочих и солдатских депутатов. И подумать только, что не могли русские люди в переживаемый острый момент, в минуту политических сдвигов, выбрать русского. И тут не свой, и тут понадобился чужеземец, чтобы руководить.

Написал в «Киевлянин» статью и подписался I. И. Пишу о псевдонимах и том, что позорно не уметь выбрать своих людей.

5 апреля. Врангелевка

Хорошо, тепло, солнечно, все начинает распускаться. Но праздник не в праздник. Чувствуется, что что-то не то. Появилась масса самых омерзительных журналов с карикатурами, подчас неприличными, на Царя и Государыню. Николая иначе как «кровавым» не зовут — вот и свобода печати, нечего сказать!

В городе стало как будто тише и больше порядку, большинство солдат разбрелось кто куда, «самораспустились».

Шлема[2], кажется, и сам заразился духом совета и уверяет, что все будет хорошо, и начинает играть двойственную игру: и нашим, и вашим. В общем, сплошная подлость. Сегодня в местном листке появилась статейка Пшеничникова совершенно демагогического характера, глупо восторженная: пишет о том, что должна быть построена новая жизнь и что всех сторонников старого надо убирать.

6 апреля. Врангелевка

Школьный совет выносит постановления об отмене взысканий, о добровольном посещении лекций, о сокращении курса. Ни-

[1] Имя Троцкого при рождении.

[2] Смолянинов.

кто не возражает и все молча все принимают. Полонский ничего поделать не может, а большинство просто боится вмешиваться. Так и живем.

Кричат о восьмичасовом рабочем дне все рабочие — правильно; но разве нельзя сделать этого после войны? Бастуют, спорят, отказываются от завоевательной политики, навязывают свои мнения и убеждения другим народам, посылают немцам призывы к миру и свержению Вильгельма, а враг не только стоит, но и еще в ответ на наши предложения отвечает Стоходом[1] и девятью газовыми атаками!

8 апреля

Еду в отпуск посмотреть дочь Ольгу. Везде что-то и то и не то. Масса распущенных солдат, во всех классах на вокзалах солдаты, везде слой шелухи семечек, в вагонах все битком набито. Сохранилась еще дисциплина в артиллерии и кавалерии. В Киеве на перроне ходили несколько солдат-кавалергардов, молодцы, рослые, отличные солдаты, сохранившие вполне прежний воинский вид. Пошел сзади и прислушался к их разговору, один говорил:

— На что нам князья да графья, их нам не надо. Не надо нам помещиков и богачей — этих офицеров надо, чтобы комитет убрал.

Дальше я не слыхал, но и этого достаточно.

Самое странное, что в общем, по инерции, сохраняется кое-какая дисциплина — так, солдаты иной раз отдают честь, если подтянуть, слушаются, в вагонах 2-го и 1-го классов чувствуют себя неуверенно и часто уступают места. Но в общем есть что-то страшное и жестокое в этой массе.

11 апреля. Самайкино

Чудная погода. Встретила меня жена с Татой. Она совсем большая, славная девочка. Ольгу зовут Гулей — веселая, здоровая, розовая девка, всегда радостная и довольная.

Настроение какое-то неопределенное. Все, однако, надеются, что теперь будет лучше и новое правительство сумеет вывести Россию из тяжелого положения. Мужики молчат, а если и говорят, то о мире и спрашивают, когда кончится война. Самое оригинальное, что выбрали в сельский совет никудышных мужиков, а председателем попал Левка Клейменов, наш бывший рабочий, прогнанный за пьянство. Он и теперь каждый день пьян. Сами крестьяне так и говорят, что в совет выбрали таких, которым делать нечего, потому что работящие

[1] Река в Украине. Речь идет о сражении на реке Стоходе весной 1916 года. Почему Ильин упоминает это поражение в 1917 году, непонятно.

мужики заняты. На Маковке[1] выбрали милиционером Агапа — просто анекдот, оказывается, он попал, потому что, кроме охоты, у него и дела никакого нет. Агап остался таким же, но зато жена его важности набралась — сил нет! Самое главное для Агапа — это то, что теперь добывает спирт, когда хочет. Вообще же все перешли на самогон, и его можно достать сколько угодно, лучшего качества 8 рублей бутылка.

15 апреля. Тамбов

В Самайкине прожил три дня и теперь приехал на два дня в Тамбов[2]. Наконец-то приехала из Франции Соня. Ехала она морем через Швецию, французов не особенно долюбливает· говорит, что они необычайно эгоистичны и неприятны. У нее на одной лекции в университете даже вышло недоразумение. Профессор, говоря о России, сказал, что русские мало помогают союзникам, плохо вооружены и ничего не имеют, иначе война давно была бы кончена. Тогда Соня заявила, что, во-первых, она русская, а во-вторых, Франция обязана Парижем — русским. После этого она избегала посещать лекции этого профессора.

Несмотря на это, Софа оставила во Франции почти жениха — присяжного поверенного, бакалавра юридических наук, на карточке выглядит он довольно интересным французиком, очень приличным. Сама она, кажется, еще окончательно вопроса не решила, как ей быть. Родители этого француза довольно состоятельные люди и имеют свой дом и хозяйство, где-то на юге Франции.

Сегодня на улице при мне разыгрался ужасный случай. Я шел мимо Дворянского собрания, а по другую сторону улицы на тротуаре собралась толпа, главным образом солдаты. Слышался шум и крики, а потом раздались резкие хлопки. Я сначала не понял, в чем дело. Мимо меня что-то просвистало, после чего все разбежались, а на панели остался лежать человек. Я и откуда-то взявшийся милиционер подошли и увидели военного доктора, который был, видимо, убит. Собралась новая толпа, потом милиционер стал поднимать доктора, и его помогли перенести на извозчика. Оказывается — кто-то рассказывал, — что этот доктор подтянул какого-то солдата за то, что тот его толкнул, и вот сейчас же подбежали другие, и кто-то стал стрелять в него, выстрелив два или три раза.

---

[1] Маковка — возвышенное место посреди села Фабричные Выселки, недалеко от суконной фабрики Акчуриных (бывшая Воейковых), иногда служившее площадью для массовых сборищ.

[2] В Тамбове находился отец Иосифа Сергеевича Ильина.

Вот до чего дожили! А главное, никакой управы и никакого наказания. Отец говорит, что чем дальше, тем хуже, он не понимает, каким образом на свободе гуляют Ленин и компания, которые призывают открыто к резне. И кого резать! Кого убивать?!

17 апреля. Поезд

Возвращаюсь в школу. Везде толпы солдат. Ехал через Пензу и между поездами заезжал к Толстым. Дядя не у дел, но и не отстранен пока. Миша вышел из инженерного училища в лейб-гвардии Саперный полк. У Толстых завтракал. Все по-прежнему — масса закусок, солений, маринадов. Живет какой-то подполковник — очередной тетушкин роман. В Пензе, как и во всех других городах, какая-то штатская милиция, масса разнузданных солдат, вокзалы битком забиты людьми, тоже главным образом солдатами. На вокзале чуть было не погиб. Я приехал, а поезда еще не было, гулял по перрону. В конце собралась большая толпа солдат — я подошел. Говорил какой-то детина, что войны не надо, что надо немедленно заключать мир и что хотят войны одни офицеры, которым за это платят. Я протиснулся и увидел еще двух, стоящих около говорившего, которые как будто не сочувствовали говорившему, — один был унтер-офицер. И вот дернула меня нелегкая сказать:

— Это неверно. Офицеры так же устали от войны, как и солдаты.

Оба стоявших рядом одобрительно закивали головами, это меня подбодрило.

— Относительно платы тоже неправда, офицеры получают жалованье, на которое живут они и их семьи, и не из-за него они подставляют лоб под пули. А если говорить про мир, то, конечно, его надо, и чем скорее, тем лучше, но надо подумать и о том, чтобы с толком его заключить!..

Я вдруг почувствовал на себе злые и колючие взгляды. Мои два соседа провалились как сквозь землю. Все солдаты были с винтовками. Наступило такое жуткое молчание, что я почувствовал, что если говоривший крикнет: «А ну-ка, братцы, бей его», то я пропал. И действительно, говоривший вдруг закричал:

— Ну вот, видите, кто уговаривает идти на фронт! — хотя я ни звука про это не говорил. — Кто, а?!..

Тут я увидел, что подходит поезд, и, быстро сказав:

— Сейчас, подожди! Поезд идет, — выдрался из толпы — и в вагон. Дал себе слово больше не впутываться. Говорят, недавно одного офицера буквально растерзали только за то, что он, войдя в зал и увидя, что все столы заняты солдатами, попросил одного уступить ему место.

Все это жутко и противно. Неужели же не будет порядка?!

19 апреля. Врангелевка

В школе все то же. Настроения меняются с удивительной быстротой, и сам — то приходишь в уныние, то начинаешь надеяться, что все устроится и будет хорошо. Во всяком случае, как будто бы юнкера несколько успокоились, угар первых дней прошел, и теперь более или менее стало спокойнее. Некоторые роты: Макарова, Зарембо-Рацевича, Платхина, самые надежные и вполне сохранились. Если бы не Пшеничников и Хазов, то, может быть, все пошло бы по-иному?!

20 апреля. Врангелевка

Объявлена подготовка к выборам в городскую думу. Оказывается, в ней должны принимать участие все: и мы, офицеры, и юнкера. Смолянинов говорит, что все должны исполнять свой долг и идти к урнам. «Идти к урнам» он произнес со смаком и удовольствием, вроде ивановской «четыреххвостки»[1], когда тот приехал из Москвы.

Сегодня в канцелярии школы Ососов спросил меня:

— Это что, вы написали статью в «Киевлянин»? Молодчинища, очень хорошо, — и протянул мне «Киевлянин». Я с удовольствием, должен сказать, прочел, ведь это мои первые печатные строки. Вошел в такой азарт, что сейчас же сел писать еще.

После обеда прочел Александру свою статью, он слушал внимательно, но ничего не сказал.

Днем принимал массу ручных гранат и мин: Полонский просил пройти с юнкерами курс бомбометания и стрельбы минами.

22 апреля. Врангелевка

С утра из длинного окопа с юнкерами бросал гранаты, а потом из миномета мины. Мины большие и, когда вылетают, видны все время своего крутого полета. Потом стремительно летят к земле, носом книзу, и следует оглушительный взрыв и сотрясение, поднимающие большой столб пыли, земли и камешков — очень эффектно.

Юнкера по большей части идут на занятия еще пока в большинстве, но в общем это их добрая воля. Во всяком случае, если какой-то остаток дисциплины сохранился, то это лишь инерция и больше ничего, очевидно, недалеко время, когда выветрится и это.

25 апреля. Врангелевка

Был в совете рабочих и солдатских депутатов. Очень меня интересовало, что это за учреждение, но Смолянинов ревниво почему-то

[1] Избирательная система, получившая название «четыреххвостка»: всеобщие, равные, прямые и тайные выборы.

охранял свою привилегию бывать там и сегодня, наконец, согласился поехать со мной.

Большая комната, скорее зал, был наполнен солдатней и штатскими самого гнусного вида. Солдаты расстегнутые и с хамскими лицами. Курят и плюются. Какой-то докладчик с фронта, чиновник военного времени, говорил с трибуны, почему немцы застали врасплох на Стоходе нашу дивизию и передушили газами. По его мнению, вина вся была на начальстве, которое умышленно решило не предупреждать готовящегося наступления! Он говорил, что дело это разбиралось в армейском комитете и там потребовали всех начальников, то есть офицеров, предать суду. Здорово! Мне так и хотелось выступить и сказать, что вся эта банда, которую он назвал дивизией, забросила противогазы и на предупреждения офицеров отвечала, что война кончена и что немцы теперь скоро заключат мир! В общем, впечатление самое отвратительное!

1 мая. Врангелевка

В школе полный развал. Митинги, постановления, ничегонеделание. Начальника школы, Останьковича (его, положим, не жалко: все время подлизывался и унижался перед юнкерами) и Ососова постановили убрать. В случае же роспуска школы, чем грозил Полонский, обещают устроить варфоломеевскую ночь — так и сказали — «варфоломеевскую». Экзамены отменили.

3 мая. Врангелевка

Весь день обсуждали на разные лады требования юнкеров. Смолянинов говорит, что он сумеет повлиять на школьный комитет и что, возможно, они свои требования возьмут обратно. В пять часов было общее собрание офицеров и снова обсуждали положение. Споры и ругань. Останькович бегал между группами и все просил его защитить. Ососов держит себя хорошо, Полонский заявил, что он сдаст школу тогда, когда будет приказ, и никаким самочинным распоряжениям подчиняться не станет.

Экзамены отменены совсем. Юнкера целыми вечерами и даже ночами шляются по городу и возвращаются, иной раз, в семь-восемь часов утра! Руководят ими, несомненно, провокаторы и подонки из их же среды, при попустительстве Пшеничниковых и Хазовых.

Воспитание армейской пехотной среды сказалось: большинство офицеров, особенно старых, ведут себя униженно, дрянно, трусливо. Нет никакой сплоченности. Каждый боится за свою шкуру. А потом и полная некультурность и непонимание. Почти никто толком ни в чем не разбирается. Составилась небольшая группа, которая решила во

всяком случае не играть жалкую роль и сколь возможно не плясать под дудочку юнкеров и Пшеничникова с Хазовым. Ососов, капитан Зарембо-Рацевич, офицер л[ейб]-г[вардии] Литовского полка, сын генерала-ополченца, штабс-капитан Зимин, капитан Макаров, офицер л[ейб]-г[вардии] Финляндского полка, Сергей Ушаков, Смолянинов — хотя он немного хитрит, к чему обязывает его пребывание в совете, прапорщик Иванов, я. Полонский, разумеется, всецело с нами, но не может, конечно, показать этого явно, потому что положение начальника школы заставляет его держаться нейтрально. Останькович и с нами и не с нами. Много таких, как Останькович, и рады бы с нами, да боятся, но в общем примкнут туда, чья возьмет, а возьмет в конце концов, несомненно, та сторона, потому что все идет к анархии и ее мы не избежим.

5 мая. Врангелевка

Удалось юнкеров утихомирить, и требования они свои взяли обратно, во-первых, потому что школьный совет нашел это неправильным, совет в городе тоже, и потом, угроза роспуска все же подействовала. Юнкера присмирели в большинстве и успокоились. Дело ясно: хотят одного — быть произведенными и получить все причитающиеся деньги, поэтому, как только пригрозят, что всего этого могут лишить, так вся политика сейчас же к черту!

6 мая. Врангелевка

После того как Гучков подписал приказ номер первый, он сам первый и ушел, заявив, что слагает с себя всякую ответственность за дальнейшие последствия. На его место военным министром стал Керенский.

Ушел затем и Милюков, который поступил честно и правильно, так как никакой иностранной политики вести при такой обстановке немыслимо.

Теперь правительство стало в следующем составе: князь Львов, военным и морским Керенский, министром иностранных дел Терещенко, на место Терещенки Шингарев, министром земледелия Чернов. Образовали, кроме того, новые министерства — почт и телеграфов, труда, продовольствия и государственного призрения. Министрами назначены И[раклий] Г[еоргиевич] Церетелли, М[атвей] Скобелев, Пешехонов, кн. Шаховской. Таким образом, стало уже не одиннадцать министерств, а пятнадцать. Новое правительство состоит из девяти представителей буржуазии и шести — демократии. С переменой правительства меняется и программа. Основным положением в новой декларации является: «Мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов».

Тут дело не в словах, а просто в том, что воевать никто давно не хочет и повторяется то, что уже было в небольшой степени и не в столь грандиозном масштабе в Японскую войну. В те времена революционеры посылали телеграммы микадо и мечтали о поражении; теперь из вражеской страны приехали те же социалисты, которые на германские деньги проповедуют немедленный мир, а правительство идет у них на поводу и объявляет «мир без аннексий и контрибуций», но это полумера — интеллигентская наша сентиментальность, — постольку поскольку на самом же деле популярны будут те, которые скажут: «Штыки в землю и вали домой кто хочет». Большевики так и говорят, а поэтому и имеют преимущественный успех. Если бы правительство сумело стать твердым и посадить всех этих Лениных, Бронштейнов[1] и пр., может быть, положение могло бы быть спасено.

10 мая. Врангелевка

Экзамены отменили. В город ходят когда угодно и часто на всю ночь, возвращаясь лишь под утро. Но все-таки пока половина юнкеров держат себя сравнительно прилично. Полонский говорит, что это потому, что хотят кончить и боятся, что их могут не выпустить и тогда они лишатся денег и отпуска. Думаю, что это так.

25 мая. Врангелевка

Развал и анархия растут. В Галицком полку солдаты постановили подполковника Иванишева — георгиевского кавалера, всю войну просидевшего в окопах, три раза раненого, назначить командовать полуротой. Иванишев просил о переводе, один из сибирских полков соглашался его принять, командир полка собирался уже подписать предписание, но явились солдаты и заявили, что, хотя действительно Иванишев и прекрасный боевой офицер, почему[-то] они его отпустить не согласны. Все же он должен встать под начало прапорщика, так как был слишком строг В 15-й артиллерийской бригаде той же дивизии, что и Галицкий полк, несколько батарей постановили считать приказы Керенского провокацией, губящей революцию, так как в них мало «свобод».

И эти случаи разыгрываются на протяжении всего фронта все чаще и чаще.

2 июня. Врангелевка

Пришел секретный приказ, в котором предлагается вызвать добровольцев в ударные батальоны среди юнкеров и офицеров. Сегодня по этому поводу собирались, но желающих не нашлось ни среди

[1] Настоящая фамилия Льва Давидовича Троцкого.

офицеров, ни среди юнкеров. Некоторые, как Макаров и Евстратов, колебались, но все же решили, что при этих порядках ничего путного выйти не может. Характерно, что Пшеничников и Хазов, которые больше всех кричали о революционном порыве, теперь даже не заикнулись о желании идти с революционными войсками на врага!

6 июня. Врангелевка

Приехал в школу генерал-лейтенант Чистяков, маленький, сухонький человек. Он офицер Генерального штаба и в академии читал, кажется, администрацию. Говорят, отличается редкой свирепостью. Он назначен в качестве начальника над двумя школами. Собрал всех офицеров в зале собрания и подробно опрашивал каждого о его прошлом, где служил, сколько был в строю, ранен ли, какие награды имеет и сколько времени в школе. Сразу навел страх. Потом после этого вышел к юнкерам, которые были построены на плацу, и стал обходить, многим подавая руку и разыгрывая из себя революционного вождя.

Поведение Чистякова просто возмутительно; когда он уехал, многие правильно находили, что теперь мы, офицеры, совсем окажемся в глупом положении. Чистяков, оказывается, товарищ моего отца по Николаевскому училищу. Когда он дошел до меня и стал расспрашивать, он спросил:

— Не ваш ли это отец, капитан, был в Николаевском кавалерийском училище?

И когда я сказал, что мой, он ответил, что они были вместе, вместе кончили, вспомнил, что мой отец был лучшим ездоком и фехтовальщиком в выпуске.

Я написал отцу о Чистякове и о том, какой он дрянной человек — хитрый, жестокий, и как заигрывает с юнкерами, подделываясь под революцию.

8 июня. Врангелевка

Чистяков приказал всем офицерам переосвидетельствоваться в комиссии при местном лазарете, чтобы годные к строю немедленно ехали в части на фронт. С юнкерами опять говорил, обходя роты, выслушивал их, здоровался за руки и санкционировал все требования юнкеров — отмену экзаменов, отпуска в город без записок и прочее — форменный негодяй!

10 июня. Врангелевка

Два дня группами ездили на комиссию. По существу осмотра никакого не было. Комиссия, из трех врачей, оказалась необыкновенно гуманной и понимающей положение — мы прямо говорили, что

ехать на фронт при этих условиях не хотим, и всех до одного признали не годными к строю — здорово!

15 июня. Врангелевка

В Бердичев приезжал Керенский. Он объезжал фронт и везде говорил речи о необходимости наступать. В Бердичеве съехались делегаты Ю.-З. фронта, Керенского встречали с большой помпой, толпы солдат и караулы от разных частей во главе с Брусиловым. Брусилов, обходя фронт одного из караулов, подал руку правофланговому. Все солдаты были с красными бантами.

В гренадерском полку вышел казус — после речи Керенского выступил штабс-капитан Дзевантовский, который заявил, что полк наступать не будет, и, разумеется, встретил горячее сочувствие всех солдат, которые начали галдеть, что никакого наступления не надо. Тогда Керенский, видя, что начинает становиться слишком шумно, закричал:

— Командир полка, потрудитесь водворить порядок!

С двумя адъютантами в великолепном автомобиле Керенский обычно становится на сидение и начинает, захлебываясь, поактерски говорить. Он призывал к наступлению, говоря, что раньше «вас гнали плетью и пулеметами, а теперь вы должны идти добровольно, чтобы мир увидел, на что способен свободный народ». И этот шут гороховый, с одной стороны, разрушает и уже разрушил всякую дисциплину, с другой, как чуть что, кричит: «Командир полка, потрудитесь!!...»

Рассказывают много анекдотов. Керенский говорит речь, вокруг огромная толпа солдат. Где-то сзади в это время, по дороге, тарахтят обозные повозки. Сидят с цигарками солдаты в растрепанных папахах. Увидели митинг Задние ряды шикают:

— Тише вы, черти полосатые! Тише! Не видите, министр сам говорит, Троцкий!

— Тпру... тпрру... растуды вашу... где министер?!..

— Вона стоит, сляпые, што ли?!

— Это штатский-то? Да ну его! Погоняй, Мятюха... чаво там!..

Настроение съезда было самое разнообразное. Тут были представители всех социалистических толков, кроме кадетов, разумеется, и тем более правее, ибо не быть социалистом сейчас нельзя. Разбившись на секции, устраивали пленарные заседания, кроили Россию на все лады, говорили и спорили до одурения о будущем России, о федеративной республике, спорили о будущем управлении страной и президенте, но не говорили лишь о немцах. Каждый делегат был по горло напичкан революционными словами и программами.

На съезде, приветствуя его, выступал Брусилов, сказав, между прочим:

— Я приветствую в вашем лице самую свободную армию...

И это говорил старый генерал, генерал-адъютант, носивший вензеля императора, сорок лет прослуживший на военной службе! Ну хорошо, допустим, этот выскочка Керенский ничего не понимает, ничего не видит, а он, старый солдат? Ведь мы все его помним в Самборе во главе 8-й армии, когда боялись и избегали его встречать на улице. Мы все помним, как он разжаловал нескольких унтер-офицеров за неотдание чести. Что же он думает и что он хочет? Неужели же он не видит и тоже впал в революционный транс? Нет, этого не может быть, и тут что-то другое?! Теперь куда девалась его строгость? Все отрешения офицеров от командных должностей, вносимых солдатскими комитетами, он утверждает, потакая и без того полной распущенности!..

Положение, в общем, между двух огней: с одной стороны, приказы и требования, с другой — заигрывание с нижними чинами. Смолянинов дошел до того, что говорит, что нас спасет только диктатура, и в совет ездить избегает.

16 июня. Врангелевка

Выпуск юнкеров. Никаких экзаменов, по существу, нету — так только, для проформы приехала комиссия во главе с Чистяковым. Выпускают всех.

Начинают все разъезжаться скоро, мне Полонский разрешил отпуск. Едем вместе с Ушаковым в деревню.

23 июня. Воронеж

Что делается в поездах, нельзя себе вообразить. Все набито битком солдатами, все куда-то едут, едут во всех классах. В купе по десяти-пятнадцати человек. Обшивка почти везде ободрана, ручки отвинчены, лампочки разбиты, места берут с бою. Все захаркано, заплевано, в семечках. Никакого расписания, по существу, нету, и поезда идут как попало. Благодаря этому, добирались кое-как и поехали самым несуразным путем на Курск—Воронеж. В Курске, на вокзале, неожиданно встретил Петю Власова, он поручик конной батареи, оказывается, уехал с фронта и теперь заведует тетиным имением в Щигровском уезде — приехал сдавать сено.

Сидим на вокзале и ждем какого-нибудь поезда. Весь зал полон солдат; одни лежат вповалку на полу, другие жрут, третьи шляются и грызут семечки. Познакомились с штабс-капитаном Буровым; он едет с фронта и рассказывает про наступление. Говорит, что пошли

вперед ударные батальоны да офицеры, большинство пехотных частей митинговали, выносили резолюции и или отказывались идти, или шли, когда неприятеля в окопах уже не было: доходили, грабили убитых и возвращались! Наша артиллерия работала прекрасно. Окопы австрийцев были буквально сметены, а тяжелая артиллерия не дала противнику подтянуть резервов, но все это, однако, парализовалось обсуждением боевых приказов и митингами.

Буров заамурской артиллерии, имеет Золотое оружие и, видимо, храбрый и дельный офицер, и ему, конечно, верить можно. Он говорит, что из этого наступления ничего не выйдет, кроме того, что погибнут остатки лучших офицеров, солдат и юнкеров. Я лично так и думал. Рассказывал, что Керенский, когда приезжал на фронт и говорил свои речи, вел себя как какой-нибудь персидский шах. Он говорил, потом опускался на сиденье автомобиля, его адъютанты обмахивали, он театрально дышал, потом снова начинал болтать!

27 июня. Самайкино

Доехали с Ушаковым лишь на пятые сутки. Путешествовали под конец в санитарном поезде, который шел на Самару. Нас мило взяли, и мы с удобством добрались до Коптевки. Я вылез, а Сергей поехал до Новоспасского. Никто не встречал, и я ехал на телеге. Положение и тревожное, и неопределенное. Декреты нового министра Чернова, эсера, взбаламутили окончательно мужиков, и они теперь самочинно захватывают землю и, главное, рубят лес.

Тата, Гуля, Алик, Юрка — целое молодое поколение — страшно за них. Они веселятся и радуются жизни, а что их ждет, каково будущее? Чувствую усталость и физическую, и моральную. Вечером после ужина все собрались в гостиной: Ольга Александровна, Александр Дмитриевич, Мара, Денисов. Александр Дмитриевич спорил со мной, что наступление удастся, я же доказывал, что ничего ровно из всего этого не выйдет.

28 июня. Самайкино

Сегодня очень жарко. Ездили всем скопом — Мара, жена и я — в Самайкино на сход, так как делили наш лес, следовало узнать, к чему придут, и вообще, Мара и ее муж говорят, что лучше всегда кому-нибудь присутствовать при всяких дележах и на собраниях, тогда можно кое-что отстоять.

Сход вместе с волостным комитетом собрался в школе. Школа довольно большая, просторная изба с рядом парт. У окна, за широким столом — президиум, за партами крестьяне. Душно, жарко, все лица потные, волосы прилипли ко лбу. С улицы в открытые окна струями

несется пыль, которая золотится в солнечных лучах. Тихо, слышно, как жужжат мухи, от напряжения лица у всех усталые и красные. Когда мы вошли, говорил какой-то высокий крестьянин с русой бородой. Он махал руками и делал долгие паузы, с трудом подбирая слова.

— Товарищи... Я так полагаю... таперича, значит, народное... все, значит, народное!.. И должны мы поэфтому яво промеж себя поделить... беднеющиму населению, значит, отдать, — долгая пауза. Жужжат мухи, лениво и сонно кричат на улице петухи.

— Товарищи!.. в лясу энтом, значит, продано Воейковыми сорок десятин богатому мужику Лобанову из Томышова, ен не наш, а лес порубил, уже и хочет свозить... так я полагаю, и яво надыть взять тоже... Лобанов тоже кровушки нашей попил!.. Будя и ему таперича... довольно!

Торопливо протискиваясь, лезет маленький, замухрыстый мужичонка. Он выдирается к столу и говорит·

— Правильно, товарищ, положим все отбирать!.. Довольно им царствовать, попили кровушки, на собак нас меняли, тяперича не бывать эфтому!.. — говорит он бойко и живо. Мужики молчат и делают вид, что нас не видят, а мы стоим у стены позади парт. У меня зашевелилось чувство тоски и безнадежности. Все то же: и на фронте, и в школе, и здесь — и нет никакого просвета, нет ни на что надежды!

После этих речей все загалдели, встали, сбились в кучки, задымили махоркой. Увидя меня, стали здороваться, Мара заговорила со знакомыми мужиками. Вид стал у многих сконфуженный, и, вынеся единогласно постановление о дележе леса, тут же начали утешать и говорить, что они ни при чем, а так мир хочет! Мара одному говорит:

— Что же вы нас делите-то, ведь лес и нам нужен, мы ведь его не даром получили — дед наш его покупал, старики ведь знают, верно!

— Ты уж, Марья Митривна, не серчай! Что поделаешь? Мы и рады были бы, да как против народа пойдешь!

Когда ехали домой, Марья говорила, что хорошо, что пока до земли не добрались, и надо только тянуть как можно дольше и отдавать все постепенно. Я лично советовал начать продавать скот и инвентарь, но Мара, которая ведает всем хозяйством, не соглашается и говорит, что этим можно раздражить крестьян и тогда получится совсем скверно. По-моему, она просто больше всего не хочет расставаться с хозяйством, которым она ведает и распоряжается, как хочет.

1 июля. Самайкино

Сегодня приезжал пьяный Левка Клейменов, председатель волостного комитета. Он с наганом, вид самостоятельный, но прошел через кухню. Вошел к Маре в комнату и разглагольствовал о том, что скоро будут делить лес. Ему ответили, что раз так постановили, то и пусть делят. Дали ему стакан водки, и он убрался.

6 июля. Самайкино

В Петрограде восстание, поднятое большевиками. Опять кризис кабинета, чем дальше, тем хуже. Кадеты от власти ушли[1].

8 июля. Самайкино

В «Русском слове» сегодня тревожные вести с фронта. Кажется, немцы начинают наступление.

9 июля. Самайкино

Ужасные телеграммы с фронта — полный разгром. Исполнительный комитет Юго-Западного фронта и комиссар 11-й армии послали телеграмму, в которой говорят, что небольшой прорыв при наступлении немцев разрастается в неимоверное бедствие. То же самое телеграфируют комиссары Юго-Западного фронта. В Тарнополе идет грабеж бегущих, пьяных орд. Вот тебе и революционная армия!

Завтра выезжаю.

10 июля

Корнилов назначен командующим Юго-Западным фронтом. Странно сказать, сразу как будто бы что-то переменилось, и появилось другое настроение. Жена меня провожала на станцию. Когда мы вышли из экипажа, стоял какой-то эшелон, полный солдатами. Слышались пьяные крики и ругань, потом в нас полетело несколько камней. По счастью, эшелон почти сейчас же тронулся.

11 июля

Еду к себе. Корнилов издал приказ о смертной казни. Решительные и безоговорочные меры положительно сразу как-то подействовали отрезвляюще. Может быть, этому замечательному человеку и удастся что-нибудь сделать.

---

[1] Июльские дни (июльское восстание, июльский кризис) — антиправительственные выступления 3–5 (16–18) июля 1917 года в Петрограде, последовавшие за военным поражением на фронте и правительственным кризисом (уходом из правительства министров-кадетов под предлогом уступок, допущенных правительственной делегацией в переговорах с Центральной радой).

Разгром на фронте, кажется, ужасный. Мало того, что все бежит, но и еще по дороге разбивают склады, грабят, напиваются, тех, кто пытается остановить, убивают.

В поездах ехать прямо отвратительно. Все ободрано, все загажено революционная армия, «самая свободная в мире», растаскивает все решительно, очевидно, понимая буквально, что теперь все народное.

15 июля. Врангелевка

Назначение Корнилова положительно делает чудеса — все отрезвели, и даже Пшеничников и Хазов замолчали, как будто бы никогда и не пытались выступать и тем более называть себя революционерами. Смолянинов доволен и говорит, что он всегда предсказывал, что Керенский сумеет в критическую минуту быть решительным!

18 июля. Врангелевка

Корнилов назначен Верховным главнокомандующим. Главнокомандующим нашим фронтом сначала назначили Гутора, теперь Валуева, а говорят, что едет Черемисинов. Черемисинов генерал, подыгрывающийся под революцию, в дружбе с советами солдатских и рабочих депутатов[1], и потому его Керенский и жалует.

22 июля. Врангелевка

Кажется, прорыв постепенно ликвидируется благодаря мерам Корнилова, но говорят, что Керенский уже против этих мер и потому и против самого Корнилова.

Чистяков живет в городе, взял себе адъютанта и развел целую канцелярию, в общем, для чего он назначен, никто не знает, но приносит он один вред, а не пользу.

28 июля

Ходили опускать в урны билетики со списком кандидатов в городскую думу. Я положил за трех кадетских кандидатов. Юнкера почти все поголовно за эсеров, офицеры, кроме Пшеничникова, Хазова и еще нескольких, тоже за кадетов, Пшеничников же и Хазов, кажется, за большевиков, но наверное никто не знает, потому что они молчат.

2 августа

Приезжал какой-то агитатор эсер с женщиной. Обоим Чистяков разрешил устроить в школе митинг и произнести речь. В пять часов на плацу собралась вся школа, а посередине устроили трибуну — по-

[1] Г.М. Черемисинов вступил в Красную армию 1 октября 1918 г.

просту поставили стол с приставленной лесенкой. Тип взобрался вместе с женщиной на стол и начал говорить речь, в которой сказал, что он просидел десять лет в Сибири, испытал на себе весь гнет царского режима, и теперь, когда страна освободилась от вековой тирании, он и его товарищи и вся его партия призваны строить новую свободную Россию.

— Голосование, выборы в общественные самоуправления и организации показали, что единственной действенной партией, которая пользуется доверием и поддержкой всей страны, являются эсеры. Только они дадут крестьянам землю в полное и нераздельное пользование, только они одни стране принесут истинную свободу. Поэтому и вы помните это, особенно при выборах в Учредительное собрание, — говорил тип с каторги.

Юнкера слушали внимательно и с явной симпатией. Даже все вестовые собрания и солдаты школы, с писарями, пришли. Офицеров почти не было, стояли Зимин, Ушаков, который подсмеивался, Евстратов, Зарембо, Платхин. Ушаков меня шепотом подзуживал:

— Скажи ты, ответь ему, скажи!..

Я взобрался на стол и сказал, что хочу ответить. Никто не возражал, но тип сказал:

— Но по правилам последнее слово принадлежит мне, а потому закончу митинг я.

Раздались несколько криков «Правильно!..» Я согласился и сказал:

— Вот что, юнкера. Ни я, ни вы — никто — не знаем человека, который приехал говорить с нами, но мы знаем то, что он сказал, то есть что он десять лет находился в ссылке. Допустим, что он пострадал за убеждения, и допустим, что он искренний и хороший человек, желающий добра России и вам, но разрешите мне вам сказать, что он потому-то России и не знает, не знает ее жизни, потому что десять лет жил изолированный. Он, может быть, хороший теоретик, но жизнь была от него далеко. Чтобы править и властвовать, надо быть подготовленным к власти, а с ветру и с каторги нельзя приходить к этой власти и начинать править огромной страной. То, что сейчас везде проходят эсеры, показывает не то, что народ на их стороне, а то, что у нас революция и, как всегда, в революцию первое время торжествуют крайние течения. Это просто революционная волна, маятник, который качнулся влево, как потом, поверьте, он качнется вправо. И чем левее будет уклон теперь, тем правее потом. Гг эсеры приветствовали Ленина, человека, который на германские деньги только что организовывал восстание и который приехал в запломбированных вагонах из вражеской страны, — может ли такая партия пользоваться до-

верием! Гг. эсеры обещают всю землю народу и призывают эту землю брать захватным порядком — я это только что видел, так как был в деревне. Имейте в виду, что никогда насилие и захват не дадут благих результатов. Перед нами пример французской революции, и если вы не знаете, то я вам скажу, что там так же страна катилась влево, в результате чего день и ночь работала гильотина и Франция была залита кровью, и если вы пойдете за эсерами, то будет не мир без аннексий и контрибуций, а тоже кровь и новая война. Эсеры теоретики, которые ничего не видели и только и делали, что устраивали заговоры. Это им мы обязаны и прорывом на фронте, и приказом номер первый, и начавшейся анархией, и развалом на фронте. Вы готовитесь стать офицерами, и потому я вам это и говорю — вы сами убедитесь на своей спине, что значат все эти лозунги и красивые слова. Я понимаю, что все устали от войны, знаю, что вы ее не хотите — согласен, но для этого разве надо поднимать грабеж и насилия в собственной стране — мир достигается не этими путями! А партия законности и порядка, в которой собрались лучшие и культурнейшие люди страны, образованные и умные, у нас есть — это партия кадетов — за нее мы и должны подавать голоса и за нее держаться, ибо она сможет вывести страну и к миру и к благополучию.

Несколько юнкеров мне захлопали, захлопали и Зимин, Ушаков и Зарембо, но в общем сочувствия не было. Тип снова заговорил — он был, видимо, сильно задет:

— Прежде всего о Ленине, — начал он. — Ленин не кто-нибудь, а известный русский ум, писатель, борец за русскую свободу — его труды знает заграница, и человек этот вовсе не изменник. А затем, пример французской революции неверен потому, что там власть в конце концов оказалась в руках крайней партии во главе с Робеспьером, у нас же вы видите, что огромное большинство страны идут за нами — партией эсеров, а не за большевиками, которые действительно могут назваться теоретиками, далеко ушедшими от жизни, почему они не имеют и не будут иметь успеха!

Тут начались бурные аплодисменты и крики: «Правильно! Правильно!..»

Возражать было бесполезно, хотя хотелось сказать еще многое, и нельзя было, потому что тип и его компаньонка торжественно спустились и, провожаемые юнкерами, пошли к ожидавшему их извозчику.

Потом мы собрались у Полонского. Пришел и прапорщик Иванов. Весть о моем выступлении уже разнеслась, и Полонский меня встретил словами:

— Молодец! Хорошо вы его отделали!..

Я сказал, что напрасно разрешают этим господам говорить, на что он ответил, что ничего не может сделать, так как это распоряжение Чистякова.

Тут же решили, по предложению Иванова, собраться всем офицерам и обсудить поведение Чистякова, который просто разваливает школу. Полонский согласился с нами.

6 августа

Несмотря на разногласия, в вопросе о Чистякове почти все единодушны, кроме нескольких человек, в том числе Пшеничникова и Хазова. Решили на днях собраться.

Лекции похожи стали больше на митинги, чем на занятия, и часто юнкера обращаются с разными политическими вопросами, а по окончании лекции награждают аплодисментами — это теперь вошло в привычку. Был у Волошиных. Приехал с фронта старший сын, артиллерист, капитан, — он вернулся совсем и говорит, что отпущен в отпуск, но больше не поедет, так как всем заправляют солдаты, смещают, назначают и ничего не дают делать. Пехота же каждый раз, когда артиллерия наша хочет открыть огонь, угрожает стрелять по своим артиллеристам, и несколько «делегатов» от пехоты постоянно дежурят на батарее, чтобы контролировать все действия.

9 августа

Вернулся из полка второй сын Волошиных — молодой капитан л[ейб]-г[вардии] Волынского полка — отпущен в отпуск, но тоже говорит, что не вернется; рассказывал ужасающие картины митингов и как в некоторых полках офицеров ставили в очередь с котелками за пищей, издевались над ними и нарочно давали обед последним, ставя их в длинный хвост.

10 августа

Приезжал генерал Деникин — он теперь главнокомандующий Юго-Западным фронтом. В два часа вся школа была построена в поле впереди Врангелевки, когда показался автомобиль Деникина. Из автомобиля вышел плотный, среднего роста человек с круглым лицом, небольшой седеющей бородкой и Георгием в петлице. Он вышел перед фронтом и сказал:

— Правительство поняло, что так дальше продолжаться не может, и в корне решило изменить систему. Я прямо заявил только что на совещании, что при таком положении дел мы погубим окончательно армию, и правительство это мое заявление приняло. Вот результаты безответственной политики демагогов, никогда мне еще не

приходилось драться при таком перевесе сил: на двадцативерстном фронте у меня было больше ста восьмидесяти батальонов против двадцати девяти вражеских, девятьсот орудий против трехсот немецких. Я ввел в бой сто тридцать восемь батальонов против семнадцати немецких, и все пошло прахом!

Без дисциплины армия существовать не может, и вы, готовящиеся стать офицерами, должны это знать и помнить раз и навсегда. Только что я был во второй школе — я там говорил то же самое, а когда я уходил, в дверях солдат школы не только не встал смирно, но продолжал сидеть. Этому мерзавцу я сказал: ты не солдат, а дрянь, если осмеливаешься сидеть, когда мимо тебя проходит твой главнокомандующий, — и приказал его арестовать, и всякого, кто будет нарушать дисциплину, я буду наказывать строго и беспощадно, потому что без дисциплины и без уважения к начальникам армия становится стадом баранов, опасным и вредным!

Деникин говорил густым низким голосом, очень красивым, мужественным и решительным. В некоторых местах голос слегка вибрировал, производя особо сильное впечатление. Вообще Деникин оставил неизгладимое впечатление, в нем чувствуется сила, мощь, и, главное, он удивительный оратор. После этого Деникин обошел фронт и сейчас же уехал. Деникина, оказывается, хорошо знают в Житомире: он командовал 44-м Галицким полком[1].

Говорят, что Деникин на совещании в Ставке выложил Керенскому прямо все в лицо, а этот шут гороховый будто бы встал, театрально протянув руку и сказав, что он благодарит за откровенность и что правительство решило встать на новый путь решительных мер. Посмотрим!

11 августа

С утра был в городе. Гулял — чудные дни, а потом зашел к ген. Зарембо-Рацевичу, где и остался обедать. Удивительный человек этот старик. Ему уже шестьдесят с лишком лет. Длинный, сухой, совершенно проспиртованный. Он каждый день пьет рюмок двадцать за обедом и столько же за ужином и так пил всю жизнь, а в компании за хорошим ужином или званым обедом пьет вообще сколько угодно. От него даже и пахнет спиртом. Он никогда не бывает пьян, но, по-моему, никогда и не трезв.

Говорили о вчерашнем приезде Деникина. Он, оказывается, Деникина — «Антона» — как он говорит, хорошо знает и с ним на «ты», так как командовал в Галицком полку батальоном, когда Деникин

---

[1] Ошибка автора. А.И. Деникин с 1910 года командовал не Галицким, а 17-м пехотным Архангелогородским полком, базировавшимся в Житомире.

получил полк. Очень его хвалит, говорит, что это настоящий рыцарь без страха и упрека. Хороший товарищ, в компании не прочь выпить — и отличный, знающий офицер. Его в полку любили все: и офицеры, и солдаты.

Засиделся я довольно долго, выпили порядочно водки. Очень характерно, между прочим, что сын Зарембо, наш капитан, капли в рот не берет и питает ко всему спиртному полное отвращение, зато два мальчика его, шести лет и двух, внуки генерала, оба рахиты — старший теперь выправился, а младший, бледный, с большой непомерно головой на тонкой шее, до сих пор не ходит и не говорит — вид какого-то худосочного цыпленка. Я думаю, что это наследие алкоголизма деда.

12 августа

Все только и говорят, что о Московском совещании. Все очень надеются, что после него все изменится, а Смолянинов уверяет, что будет диктатор Корнилов.

15 августа

Вырезаю все речи и все, что касается Московского совещания. Собираю все номера «Русского слова» и «Ведомостей». Вот если бы удалось все это сохранить. Необыкновенную речь сказал Корнилов. И все же часть собрания позволяла себе разные выкрики, а солдаты, которые тоже оказались на совещании, даже не встали, когда вошел Верховный главнокомандующий, — вот ведь негодяи! Все это результат политики Керенского. Еще резче сказал Каледин, донской атаман и представитель казачьих войск, который сказал, что комитеты и советы должны быть упразднены, а на их место встать твердая власть, не связанная никакими партийными лозунгами...

17 августа

Московское совещание, длившееся три дня, 15 августа закончилось. Будут ли какие-нибудь реальные результаты, даст ли оно что-нибудь, вот вопросы, которые больше всего тревожат. А на фронте дела наши все хуже. Армия продолжает разваливаться, потери наши в имуществе, орудиях и снарядах огромны и исчисляются в сотни миллионов. Только что удалось кое-как ликвидировать Тарнопольский разгром, как на румынском фронте целая дивизия бросила самовольно позиции и обнаружилось два прорыва.

Офицерство поставлено в невероятные условия — с одной стороны, продолжают требовать, с другой, старшие начальники заигры-

вают с солдатскими массами, опасаясь за свою судьбу, младших же солдаты чуть что или смещают, а то и убивают!

Наш Чистяков продолжает приезжать, требует, разносит офицеров, а потом жмет руки юнкерам.

25 августа

Сегодня было общее собрание офицеров, на котором окончательно решили посылать делегацию к генералу Деникину, просить убрать Чистякова. После закрытой баллотировки выбранными оказались: старшим в делегации я, затем Смолянинов и недавно приехавший в школу штабс-капитан Багнюк — хохол и, кажется, самостийник. Так как поездом ехать отчаянно скверно, то поручили мне устроить автомобиль. Я был у подполковника Ксидо, который сказал, что завтра или послезавтра он сможет дать нам штабной автомобиль.

30 августа

Какие события. Голова идет кругом! 28-го мы наконец поехали в Ставку в Бердичев. Дорога одно удовольствие. В Бердичеве прежде всего бросилось в глаза какое-то смятение и беспокойство. По улицам то и дело разъезжали казачьи разъезды, стояли броневики, ходили толпы солдат. Говорили о том, что выступил Корнилов и издал воззвание, в котором говорится, что Керенский устроил провокацию, которой еще не видел мир. Пошли в штаб в оперативную часть, где я встретил своего знакомого капитана Мальцева, заведующего телеграфом и аппаратами Ставки, — он сказал, что это все правда, но что никто вообще ничего точно не знает — во всяком случае, Деникин послал телеграмму, что вполне присоединяется к генералу Корнилову, а теперь фронтовой совет вынес резолюцию, в которой грозит арестовать генерала Деникина и начальника штаба Маркова, так как Керенский телеграфировал, что Корнилов изменник.

Я все же предложил выполнить нашу задачу и явиться к генералу Деникину — Смолянинов со мной согласился, но Багнюк категорически отказался, сказав, что ему делать нечего и он едет обратно.

В одиннадцать часов мы подошли к дому главнокомандующего, у подъезда которого стояли два часовых. Поднялись по лестнице во второй этаж. Налево сразу комната, в которой сидели адъютанты, прямо были двери в кабинет Деникина. Нас встретил штаб-ротмистр Ахтырского гусарского полка и какой-то прапорщик. Штаб-ротмистр оказался адъютантом, а прапорщик товарищем председателя фронтового комитета — Шамраевым.

Я просил доложить о нас генералу Деникину, на что Шамраев ответил, что сейчас положение такое, что главнокомандующий вряд

ли сможет принять нас, да и генерал Деникин больше не командует фронтом, так как вызван другой генерал — Огородников — по постановлению фронтового комитета. Все же штаб-ротмистр вошел в кабинет и через секунду сказал:

— Если хотите, можете войти.

Я пошел, а Смолянинов остался разговаривать с Шамраевым.

В расстегнутом кителе, видимо волнуясь, ходил по кабинету генерал Деникин. Когда я поравнялся с письменным столом, стоявшим вдоль комнаты у окна, приходившегося справа, генерал Деникин остановился, а я ему отрапортовал, кто я и откуда. Генерал Деникин грустно, но твердо сказал:

— Теперь я ничего не могу сделать, и если есть какие-нибудь просьбы, обращайтесь к моему заместителю генералу Огородникову, который уже едет, вам же советую скорее отсюда уходить, так как нас с минуты на минуту могут арестовать.

В это время из-за занавески другой комнаты из дверей слева показался высокий генерал Марков, он был совсем без кителя.

— Вот я говорю, ваше превосходительство, капитану, что мы ждем каждую минуту ареста...[1] — и затем, обращаясь ко мне: — Благодарю вас, капитан, — и подал мне руку. Когда я вышел, в передней стояли солдаты. Смолянинова уже не было. В углу я заметил маленького горбатого человека, который оказался, как я узнал через два часа, корреспондентом «Русского слова», Лембичем. В это время вошел все тот же прапорщик Шамраев и сказал, что меня, пожалуй, не выпустят из Бердичева и что лучше, если я зайду в комитет, где он мне устроит пропуск.

На улице толпились солдаты, ездили казаки, против дома стоял броневик с пулеметами, направленными на здание.

Меня охватило чувство сосущей тоски и безнадежности, и я вспомнил, что такое же ощущение я впервые переживал, когда мы выезжали на позицию вечером под плач и причитания жителей деревни. Пошел в совет. В большом доме было много коридоров и пустых комнат со столами, стульями, с окурками и плевками на полу. В открытые окна вливались горячие, золотисто-пыльные лучи солнца, жужжали роями мухи. На столах валялись карандаши, бумага, стояли грязные чернильницы. Мои шаги гулко раздались по коридорам. Я по очереди заглядывал в комнаты, пока не увидел какого-то солдата, который стоял спиной ко мне у окна. Во всей его фигуре

[1] 29 августа (11 сентября по новому стилю) 1917 года А.И. Деникин был арестован и заключен в тюрьму Бердичева за то, что резкой телеграммой Временному правительству выразил солидарность с генералом Л.Г. Корниловым, поднявшим мятеж и также арестованным.

было что-то удивительно знакомое — пахнуло старым, чем-то давно забытым. Он повернул голову.

— Лебедев?! — воскликнул я.

— Капитан Ильин, — в свою очередь удивился солдат. Это был мой старший писарь 4-й батареи 37-й артиллерийской бригады, с которым я более двух лет заведовал хозяйством. Это был знающий, прекрасный старший писарь с отличным почерком, честный и хороший, я его очень любил и ему был обязан тем, что не просчитывался, выучился хозяйству батареи и знал все его тонкости.

— Что вы здесь делаете? — спросил я его.

— Я делегат от дивизии и теперь работаю здесь в совете...

— Какой же вы партии, Лебедев?

— Конечно, эсер...

— Ну и что же, думаете, будет толк от всего этого?!

— Отчего же не быть. Конечно будет. Теперь мы сами возьмем все в свои руки...

Говорить мне было не о чем больше, я чувствовал, что ни я Лебедева, ни он меня не поймет. Я сказал ему, зачем пришел. Он сейчас же взялся написать бумагу и предложил подождать или доктора Лебедева, председателя совета, или же Шамраева. Своим красивым, писарским почерком он мне быстро написал бумагу на бланке: «Сим удостоверяется, что штабс-капитан Ильин едет к месту своего служения в город Житомир в первую школу прапорщиков Юго-Западного фронта».

Я присел, закурил папиросу, глядя на струящиеся лучи солнца. Мысли путано вертелись, ни на чем не останавливаясь. Послышались шаги, и вошел Шамраев.

— Вы здесь уже? Ну вот и хорошо, я сейчас подпишу. Через час идет автомобиль в Житомир, с ним вы и можете ехать.

— Г-н прапорщик, разрешите спросить, неужели вы выносили постановление арестовать ген. Деникина?

— Мы принуждены были вынести это постановление, потому что Керенский телеграфировал, что генерал Корнилов, а также все, кто с ним, — изменники, это с одной стороны, с другой, солдатская масса страшно взбудоражена, и если мы не арестуем генералов, то еще не известно, как может обернуться дело.

Шамраев мне понравился — он мне показался честным и хорошим человеком, хотя мне и неприятно было, что он эсер и состоит в совете, да еще товарищем председателя.

Автомобиля еще не было, и я пошел в штаб. Там царило полное смущение и беспокойство — буквально видно было, что каждый боится другого. У аппаратной кап. Мальцев нервно и громко кричал на

того горбатого человека, который был час назад в передней Деникина. Когда я подошел к Мальцеву узнать, нет ли новостей, я спросил, кто этот господин, и получил ответ:

— Лембич, корреспондент. Я его сейчас обругал. Каждый раз лезет не спрашивая, потом посылает черт знает какие телеграммы!

Новостей не было, и я пошел обратно. У подъезда стоял уже автомобиль, который шел в Житомир. Я сел в него — ехали какие-то два солдата. Мы быстро неслись по прекрасному шоссе. Под самым Житомиром встретили целую вереницу автомобилей — везли арестованных генералов — начальника снабжения ген. Эльснера, Павского и др.

2 сентября. Житомир

Две роты: Зарембо-Рацевича и Макарова вызваны в Житомир охранять арестованных генералов. В школе среди офицеров растерянность. Из совета приезжала «комиссия» из двух солдат и одного вольноопределяющегося, чтобы узнать, кто «корниловец» и много ли таких, которые ему сочувствуют. Первым вызвали меня; почему-то уверен, что знают, что я ездил, — начали расспрашивать, как я думаю, много ли в школе корниловцев и какое влияние они могут иметь. Я ответил, что, по-моему, никаких корниловцев нету и что сейчас в этом кавардаке вообще трудно разобраться, но что и мои симпатии, и многих офицеров, конечно, на стороне Корнилова и уж ни в коем случае не Керенского. Вольноопределяющийся пытался говорить о большой ответственности тех, кто хотел бы проявить свои симпатии к Корнилову, Деникину и пр.

Опросили всех офицеров по очереди. И все-таки надо сказать, что, несмотря на страх, развал, моральный упадок, многие, подавляющее большинство офицеров на стороне генерала Корнилова и всей душой желали ему успеха, как теперь всей душой жалеют, что дело его не удалось. Даже среди юнкеров больше половины сочувствующих Корнилову и Деникину — боятся только говорить про это.

8 сентября

Занятий никаких давным-давно нету. Две роты охраняют арестованных, одна винный склад в городе, остальные просто ничего не делают. Мы или собираемся обсуждать положение, или же несем дежурства по школе, вот и вся наша служба. Сегодня докладывал в собрании о своей поездке — постановили опять, чтобы я еще раз съездил к новому командующему генералу Огородникову, который принял фронт вместо Деникина. Завтра еду.

9 сентября

Был в Бердичеве. Ходил на Лысую гору, чтобы посмотреть, что с арестованными, видел Зарембо, рота которого на охране. Он рассказал, что за ужас был, пока юнкера еще не пришли и когда охрану несли солдаты. К казармам образовалось целое паломничество. Распущенные, грызя семечки, эти бандиты подходили к карцеру и в окошечки плевали, матерно ругались и всячески издевались. Когда кого-нибудь из арестованных выводили, вся эта ватага облепливала клозет, который помещается между деревянных перегородок без дверей, разумеется, и пока человек делал свои дела, издевались над ним и харкали на него.

Трудно себе представить что-либо более ужасное! И это солдаты, это русские солдаты! Нет, разумеется, мы погибли, и ни о какой войне или даже о сносном мире и думать нечего, ведь, строго говоря, вся эта банда распущенных, озлобленных людей и не так уж виновата! С одной стороны, работа агитаторов и шпионов, с другой, гг комиссары старательно поощряли весь этот революционный пыл. Даже тут комендант Лысой горы, само начальство, покровительственно относится «к справедливому негодованию товарищей солдат, которые с невиданным доселе упорством отстаивали Ригу», как изволил выразиться г. Керенский.

На сердце невообразимо горько. Теперь уже окончательно выяснилось, что все пропало, начинают явно побеждать большевистские лозунги. Порядочных, честных людей почти не осталось, да и кто пойдет; те, которые не погибли, или молчат, или бессильны. Нам, офицерам, стало окончательно плохо, и теперь, после выступления Корнилова, для нас все кончено.

В одиннадцать часов был у Огородникова. Он меня принял в том же кабинете, где я видел Деникина. Сидел за тем же письменным столом, у которого генерал Деникин остановился, когда говорил со мной. Уже пожилой, сероватый с проседью, с немного косящими глазами, Огородников выслушал меня и Смолянинова, Багнюка больше не посылали, — и сказал, что он примет меры к тому, чтобы генерала Чистякова перевести. Мы сказали, что если Ставка просит юнкеров охранять разные учреждения, если она еще хочет иметь у себя маломальски надежные части, то для этого Чистяков должен быть убран, потому что он разваливает окончательно то, что еще кое-как держится. Мы даже пошли дальше — по правильному совету Смолянинова, с его практическим крестьянским умом, сейчас же отправились к дежурному генералу, вместо которого нас встретил пол[ковник] Степанов[1], и просили его на основании слов генерала Огородникова

[1] О полковнике Степанове сведений установить не удалось.

сообщить Чистякову, что он отставлен от заведования школами. Степанов по телефону стал говорить с Огородниковым. Оказывается, Огородников готов был нас надуть, но, узнав, что мы сами стоим тут же, сказал, что он согласен, и при нас была написана телефонограмма Чистякову.

Зашли со Смолянином в штаб. Война совершенно не чувствуется, на первом плане политика, комитеты, собрания. Настоящего главнокомандующего еще нет, кажется, назначен генерал Володченко. Огородников временный человек без всякого опыта, боязливый и подделывающийся — ездит в комитеты, совет; солдатам жмет руки.

И всюду игра на две стороны — ни на кого не рассчитывай, никому не верь — те, кто был тверд, сошли со сцены, а кто пришли на их место, ничего не стоят или с сомнительной совестью и душой.

На обратном пути упрекнул Смолянинова за то, что они с Багнюком бросили меня и Смолянинов куда-то исчез, когда я был у Деникина. Он мне своим хриплым голосом, немного обиженно, начал говорит, что ему было немыслимо иначе поступить. От Шамраева он узнал, что эти все постановления исходят от комитета и фронтового совета, а он сам член Житомирского совета и хорош бы он был, если бы без ведома совета явился к ген. Деникину, который уже не был главнокомандующим. Может быть, Смолянинов и прав — я об этом не подумал.

10 сентября

Сегодня Чистяков уезжает. Говорят, что он очень обозлился особенно за то, что посылали меня и я был во главе депутации. Кажется, удастся съездить в Петроград, так как надо получить револьверы. Полонский собирается уходить, говорит, что больше он командовать школой не может, да и не хочет, так как это вполне бессмысленно. Прапорщик Иванов тоже собирается уезжать. Ососов сдал свое хозяйство комиссии и говорит, что больше с этой с...ю дела не имеет. Миша Евстратов уехал в академию Генштаба. По новому правилу принимаются на младший курс все офицеры по аттестации начальства. Полонский предлагал и мне, я даже колебался, но потом решил, что лучше ехать в деревню — все равно скоро, по-видимому, все развалится.

Верховным главнокомандующим теперь сам Керенский — дальше идти некуда. Погода совсем летняя, жарко, солнечно, хорошо. Купаюсь каждый день, соблазнил Ососова, с которым лежим на травке голышом и читаем «Киевлянин», потом купаемся и идем вместе — я свой обед из собрания приказываю приносить к нему.

Мой Александр тоскует, молчит, о чем-то думает и иной раз напивается. Бедная Леда издохла неизвестно от какой причины, жалко мне ее очень.

24 сентября. Петроград

Не писал эти дни, потому что был в дороге с 16-го, а по приезде весь ушел в хлопоты и партийные интересы[1]. В день приезда, 18-го, я немедленно пошел в клуб Партии народной свободы на Невском, где делал доклад Владимир Дмитриевич Набоков. Встретил Малютина, который был в числе членов президиума. Так как доклад Набокова касался дисциплины вообще и Карлейля, то Малютин предложил мне сказать собранию относительно Корниловского движения, положения арестованных генералов и вообще армии.

Сейчас же после Набокова вышел на трибуну я и рассказал о том, что творится в Бердичеве, передал картину ареста, моего последнего разговора с генералом Деникиным, сказал, что армия, которая оплевывает своих генералов в буквальном, а не переносном смысле и, не дожидаясь следствия и суда, готова чинить всяческие насилия, — не армия больше и единственное средство — это распустить такую армию и начать формировать новую. Никакие полумеры не помогут, и теперь, по существу, запоздали уже и вообще со всякими мерами, войны продолжать мы не можем. Я говорил с воодушевлением, потому что зал, который был полон, мне бурно аплодировал. Я не удержался и, подбодренный аплодисментами, сказал, что при существующем правительстве, при циммервальдовцах в его рядах и Керенском, который потерял всякое доверие, выйти ничего хорошего не может. Тут, с одной стороны, мне опять начали аплодировать, а с другой — Набоков позвонил в колокольчик и мягко предупредил:

— Прошу вас не касаться действий правительства.

Все это меня так увлекло и одушевило, что я на другой же день, 19-го, был в Центральном комитете партии, где много говорил с Шингаревым. Вид у Андрея Ивановича измученный и усталый, видимо, он мало на что надеется. Мне же страстно захотелось остаться в Петрограде, и я пожалел, что не согласился на академию. Недолго думая, побывал у помощника военного министра князя Туманова и просил его содействия в принятии меня в юридическую академию, куда я экзамены выдержал. Он был очень мил, позвонил начальнику академии, и тот сказал, что на днях будет конференция и он внесет предложение о принятии меня.

---

[1] Ильин был членом леволиберальной Конституционно-демократической партии (иначе — «Партии народной свободы»), образованной в начале XX в. Лидерами партии были П.Н. Милюков, А.И. Шингарев, В.Д. Набоков.

В школу послал срочную телеграмму, прося дать согласие на мое откомандирование.

Был у Ариадны Владимировны. Она уехала на Кавказ. Вильямс позвал завтракать в англо-русский клуб. Кормили зернистой икрой, холодными рябчиками, анчоусами, фруктами и пр. Было много английских и французских офицеров. Все это очень мило, конечно, но иностранцы уже смотрят не как на равных, а как на провинившихся школьников и все время стараются поучать. Англичане, как более сдержанные, меньше, французы же, ничуть не скрываясь, относятся откровенно свысока... Вот до чего дошли!

25 сентября. Петроград

Все, что ни делается, делается к лучшему. Конференция постановила, что хотя я и имею право на то, чтобы быть принятым в академию, но так как относительно юридической никаких распоряжений нет, то и принять пока меня не могут. С горя я пошел в кадетский комитет, а там Шингарев предложил мне быть уполномоченным партии по Юго-Западному фронту и заняться подготовкой выборов от фронта в предпарламент и Учредительное собрание. Дали пять пудов литературы: статьи Милюкова, его речи, профессора Кизеветтера, Кокошкина и многих других. Я, оказывается, должен организовать фронтовой комитет партии и вести агитацию, а затем собирать подписи под кадетским списком. В список в Учредительное собрание вошли: Павел Николаевич Милюков, Шингарев, проф. Кизеветтер, проф. Мануйлов и др., а от военных, то есть от фронта, — полковник-юрист Колосов, я и еще несколько человек.

Честь большая, но, разумеется, попасть никакой надежды нет, дай Бог, чтобы хоть три-четыре первых кандидата прошли.

Познакомился в комитете с полковником-юристом Колосовым. Очень симпатичный высокий блондин, сказал, что приедет мне помочь и взять у меня списки, когда я соберу подписи. Времени остается мало, а оказывается, еще до сих пор ничего не сделано — прямо ужасно. Послезавтра выезжаю. Дома у нас «сестра», которая ведает хозяйством, Миша Кострицын с братом Николаем, Дима. Владимир Павлович[1] переселился и живет теперь с Ольгой Павловной Протопоповой. Вчера посетил его. Он смотрит на положение безнадежно. Ольга Павловна очень удручена и боится за участь мужа. Хлеба положительно нет — за обедом едим хлеб, который печет «сестра» из сухарей и каких-то пряников с изюмом. Питаемся на коммунальных началах, и день нам обходится по 10 руб. с брата.

---

[1] Носович.

26 сентября. Петроград

Выеду, верно, не раньше 29-го, потому что еще не подобрали всей литературы. Вчера вечером ужинали с Мишей в «Би-Ба-Бо»[1] под Пассажем. Очень мило, народу полно. Встретили там каких-то Мишиных знакомых — он богатый человек, служит в продовольственном комитете, его жена необыкновенно интересная молодая женщина. Сидели до трех часов. Один номер произвел целый фурор. Вышел хор мужиков и баб — запевала, танцуя польку, под звуки гармоники пел: «Жили дружно с Николаем, хоть чесалось тут и там, а с Керенским не желаем, уберется пусть к чертям» — хор подхватывал «уберется пусть к чертям». Этот номер сопровождался такой бурей оваций, что повторялся несколько раз. В три часа поехали к Мишиному знакомому. Миша с ним, а я с его супругой. У них оказалась квартира недалеко от нас через два дома, Суворовский 7, прекрасная квартира, великолепно обставленная. Там пили коньяк и вино до утра. В общем, мы с Мишей сильно закутили.

Сегодня делал визит новым знакомым — хозяина не было дома, сидел с его интересной супругой.

Миша служит тоже в продовольственном комитете, который помещается в Мариинском дворце.

27 сентября. Петроград

Дожди льют, не переставая. Я весь ушел в свое новое дело и с нетерпением жду, когда все будет готово. Получать буду на расходы 25 рублей суточных.

Заходил к Гарольду Васильевичу Вильямсу. Долго с ним говорили. Он уверяет, что Ленин и его компания уже не имеют большого влияния и рабочие его мало слушают. Не знаю, так ли это, — думаю, что Гарольд Вас[ильевич] ошибается. Был у Владимира Павловича, рассказал ему про свое новое дело, он, смеясь, поздравил:

— Кадет! Вот так поздравляю! Ну что же, это хорошо! А что бы дядя сказал, а? ..

По улицам ходит масса солдат в расстегнутых шинелях с заломленными шапками, в трамваи не попасть, потому что товарищи висят гроздьями, — неужели и Учредительное собрание не поможет?!..

Получил телеграмму из Самайкина, что крестьяне безобразничают и самовольно вырубают почти весь лес. Пошел к товарищу министра внутренних дел Салтыкову[2] Он принял меня сейчас же в большом кабинете, за большим письменным столом, около кото-

[1] Этот театр-кабаре был открыт в декабре 1916 года в подвале Пассажа, Итальянская улица 19.

[2] Сергей Николаевич Салтыков.

рого стояли мягкие кожаные кресла. Рассказывал ему про действия крестьян, самочинные постановления, и он при мне послал срочную телеграмму симбирскому комиссару. Сомневаюсь только, чтобы что-нибудь вышло.

1 октября. Врангелевка

Выехал из Петрограда 1-м классом 28-го с пятью пудами кадетской литературы. Сердечно простился с Шингаревым, который поразил совсем надломленным видом, и с полковником Колосовым; побывал у Владимира Павловича и у Ольги Павловны, повидал милого Гарольда Васильевича.

Застал тут большие перемены. Полонский окончательно уходит, и приехал принимать школу полковник Духонин[1], брат генерала. Он тоже лейб-гвардии Литовского полка. У него прострелена кисть руки, и он не владеет пальцами. Наш Духонин лицом похож на брата, такой же розовый, темный брюнет, но только много выше ростом. Зато характером полная противоположность — нерешительный, всего боится, совершенно слабохарактерный.

Доложил о своей миссии, и меня с Богом отпустили разъезжать по фронту, тем более что в школе делать совершенно нечего. Юнкера живут сами по себе, офицеры сами по себе.

Сегодня снял в гостинице в городе номер, где обосновал кадетскую штаб-квартиру и сложил свою литературу. Завтра выезжаю в Бердичев, оттуда в Проскуров[2] и по штабам корпусов и дивизий.

4 октября. Проскуров

Сижу в дрянном номере дрянной гостиницы. Грязь ужасающая, масса евреев. Объезжаю штабы, лазареты, госпиталя, собираю подписи под списком; настроения разные — большинство боятся или стараются отмахнуться — храбрее всех сестры. Один полковник, юрист, с которым я долго беседовал, очень интересный и умный человек, сказал мне:

— Скверный народ — поверьте мне. Никакие партии, никакие списки не помогут, и советую вам бросить это дело, да кстати и не рисковать. Русский народ лучше всех понял Достоевский. Перечтите «Бесы», советую. С одной стороны, мы впитали в себя поколениями, начиная с татарского ига, рабские черты характера, татарскую хитрость, азиатскую лукавость, с другой — наша огромность создала из нас исключительно несплоченную нацию. Наши князья «собиратели», — он сказал это презрительно, — ездили в орду, ползали на

---

[1] Сведений обнаружить не удалось.

[2] Ныне Хмельницкий, Украина.

брюхе, целовали сапоги ханов, а потом, получив ярлык, обманывали и обжуливали этих ханов. Больше: предавали в руки ханов своих соперников и во главе татар, которых посылал хан, шли воевать своих же братьев, дядей, племянников, разоряя дотла руками «поганых» города, села и княжества.

Ни чувства собственного достоинства, ни национальной гордости у нас никогда не было. А посмотрите на деревню, посмотрите, как русские парни относятся к родителям: в пьяном виде, с гармошкой гуляют по улице села и поют: «Милые родители, не хотите ли?» Послушайте! Разве это народ? Вот сейчас, когда этого зверя выпустили на свободу, все эти кадеты, эсеры и пр., что мы видим? Так ведь истинная психология и выпирает: «мы пскапские, домой хотим, чаво нам воевать, наша губерния далеко»! Имейте в виду, что это всегда было во всю историю России. Найдется железная рука, схватит за шиворот, тряхнет так, что язык откусит, и полезут куда угодно, будут дохнуть с голоду, пухнуть, а лезть, создавать, шириться. Так взял железной хваткой Петр. Он не стеснялся. Он наткнулся на чисто тоже азиатскую черту русских — глухое, упорное, молчаливое сопротивление, но с Петром не поговоришь, на это сопротивление ответил кнутом и дыбой. Флот строил на крови в буквальном смысле, десятки тысяч гибли в болотах севера, прорубая дороги к морю, гнал на татар, на турок, на шведов — и шли, дохли, а шли, и брали. Посмотрите еще дальше назад — Иоанн Грозный — ведь он резал и жег направо и налево, голов не жалел, и что бы вы думали? Ведь в этом прозвище, данном ему — Грозный, — звучит не столько ненависти или злобы, сколько уважения и почтительного страха. А вспомните хваленую Екатерину, эту кокотку на троне (он сказал хуже), что делала она? Ведь ее заслуга была только в том, что около нее были еще вышколенные Петром русские, еще рука Петра давила, еще жило поколение, воспитанное его традициями. Немка на престоле разоряла монастыри, закрывала церкви, сдавала Синод пьяным бригадирам, безбожникам и атеистам — и народ молчал! Ошибка Петра заключалась в том, что он сломал нашу естественную историю и вывел к Европе, отравил Европой наших бар, сделал их интернациональными — это они первые выучились космополитизму, не имея за собой ни прочной истории, ни здорового развития в отечественных условиях; двухсотлетний период Императоров — русская интеллигенция, дворянство, правящий класс вынашивают в себе не патриотов-правителей и истинных служителей отечеству, а европеизированных бар, которые прежде всего усваивают дурацкие идеи разных Руссо, Вольтеров и пр. Я не хочу сказать, что они, эти Руссо и пр., глупцы, но они были иностранцы, и нечего было их мысли красть и применять к нам, а мы их применяли и научились у них толь-

ко вредному, а не полезному. Как только власть, мозг страны, встала на этот путь западных идей, разбавленных русской сентиментальной мягкотелостью, распустили вожжи, и пошло! Началось систематическое убийство царей. Ведь Царя-Освободителя затравили, как зайца, ежедневными, ежечасными покушениями, пока, наконец, не ухлопали. И сейчас — видели власть? О Керенском я не говорю — хороши министры, хорошо правительство, где такой гусь, такое ничтожество, такая карикатура, такой шут мог не только разговаривать, но и править, стать военным и морским министром в минуту величайшего военного напряжения, когда на Западе сидят Гинденбурги, Фоши, Ллойд Джорджи — люди огромного государственного опыта, — достигнуть вершин власти и стать «Верховным главнокомандующим» — ведь это же анекдот, капитан! Понимаете, анекдот?!! И при чем тут это ничтожество, вы мне скажите? Ведь то, что он сел, — характеризует тех, по спинам которых он взошел, и вот вам лучший пример Временного правительства: кн. Львов, земец, Милюков, говорят, чудеснейший человек, Шингарев и пр., ведь это же пришли к власти после «гнета кровавого царизма» лучшие люди страны, прекраснодушные и высоченного культурного и умственного уровня, и что же?! Они только русские интеллигенты! Им спорить, говорить прекрасные слова, весь мир бы любить, а Россия по их понятиям прямо зеленеющая полянка с березками кудрявыми, с хороводом нарядных девок и барашками с ленточками вокруг кудрявой шейки... Вот вам и показали, что это за хоровод и что это за барашки!!

Всякая революция имеет лицо и все черты нации, которая ее делает, и наша революция — русская, и никакая другая...

— Ну и что же, полковник, делать, как же быть?! Неужели все пропало?!

— Отчего пропало! Для нас с вами, конечно. Надо складывать чемоданы и удирать, куда глаза глядят. Вот слыхали, пятая армия вся идет и по дороге громит винные склады, церкви, убивает и бесчинствует. Пойдут все так! Будьте покойны, русская религиозность — анекдот, выдумка наших интеллигентов да мягкотелых сентименталистов — никогда русский не был религиозным; загаживают алтари, иконы, громят церкви. Наша истинная религиозность выращивалась в скитах, да у отшельников — это статья другая, в широкой же массе был казенный поп, который сам не верил ни в черта, ни в кочергу, да официальная церковь...

— Ну и...

— Ну и придут большевички! Их поставят немцы, вот увидите, и пропишут такую ижицу, что чертям тошно будет! В первую голову нас с вами начнут уничтожать, чтобы выколотить мысль всякую, а

потом и скрутят, а скрутят — и народец пойдет куда угодно и будут с ним делать что угодно — на Европу — полезут и на Европу!

— Ну и что же, России не будет, что ли?!

— Отчего не будет! Кончится по Достоевскому, помните?

— А что же будет с Россией?

— С Россией? А она, как раскаявшийся юродивый, «сядет у ног Христа», кажется так, или, во всяком случае, что-то вроде. «Бесы» чем гениальны? Там же все персонажи указаны! Ленин — это Ставрогин, Петр Степанович — вглядитесь только — это же наша интеллигенция: кадеты, которые продавали землю, собирая чемоданы, чтобы ехать в первую Думу объявлять, что землю надо отдать крестьянам; молодой Верховенский — это Бронштейн-Троцкий: нагадить! Так нагадить, побольше нагадить, чтобы миру стало тошно! А Шатов — наше офицерство, которое с красными бантами пошло признавать Временное правительство и вмиг предало своего монарха?! А Кириллов? Это ли не наши студенты в косоворотках — все ищущие правды в мировом, планетарном масштабе...

Мне было грустно. Мы сидели за столом, в деревянном домике, горела тускло свеча. Было страшно от слов моего собеседника. И чувствовалось, что много в его убежденных словах правды, горькой, обидной правды... С тяжелым сердцем лег спать. Полковник устроил мне на походной кровати постель. Мы долго еще с ним говорили, потушив свечу; он меня все убеждал, что никакого Учредительного собрания не будет и что напрасно я трачу время и ввязываюсь в это дело...

7 ноября. Житомир

Сегодня приехал полковник Колосов, рассказал ему про результаты поездки. Подписи собрать под кадетским списком было очень трудно, так как огромное большинство не скрывают своего страха и откровенно говорят, что не хотят рисковать своей головой. Колосов и сам, кажется, сомневается. Говорит, что в Петербурге очень не спокойно и ждут выступления большевиков. Деникина, Маркова и всех арестованных переводят в Быхов к Могилеву. Духонин[1] назначен начальником штаба Верховного главнокомандующего, то есть Керенского.

8 ноября. Врангелевка

Проводил Колосова, сдав ему все списки с подписями. Завтра уезжает Полонский. Грустно сидели — нас несколько человек — у него вечером. Прекрасный он человек, порядочный и честный, таких немного. Духонин[2] школу принял. С Полонским уезжает и Иванов. За-

[1] Николай Николаевич Духонин.

[2] Полковник, брат генерала Николая Николаевича Духонина.

нятий никаких, роты или в разгоне на разных охранах, или просто ничего не делают.

Я организовал свой комитет, но кадетов тут весьма мало — оказывается, к кадетам примыкают Лялевский, бывший комиссар Временного правительства, прокурор да два гласных бывшей городской думы — вот и все.

9 ноября. Врангелевка

Произведен в чин капитана приказом Временного всероссийского правительства от 28 сентября со старшинством [19]15 года 3 ноября. Представлен был еще при Царе, и приказ был подписан еще царским правительством, так что я получил чин еще при старом правительстве.

10 ноября. Врангелевка

Все говорят о перевороте в Петрограде. Керенский разослал телеграмму «Всем! Всем! Всем!». Говорят, что власть захватили большевики. Зимний дворец будто бы разрушен, но казаки идут на Петроград, и будто бы Керенский с ними. Неужели все кончено?!

13 ноября. Житомир

В школе полный переполох, и сегодня срочно выезжаю в Могилев к Духонину[1]. Утром было общее собрание офицеров. Меня выбрали опять председательствовать. Обсуждали положение, причем после многих споров решили, что надо всем уезжать на юг к Каледину, куда, оказывается, бежали Корнилов, Деникин, Марков из Быхова[2].

Пшеничников и Хазов категорически протестовали и ушли из собрания, после того как я запретил им говорить о том, что мы должны подчиниться новой власти во главе с Лениным. После баллотировки большинством голосов постановили следующую формулу, которую я предложил: «Просить Верховного главнокомандующего генерала Духонина содействовать отправке на юг в Ростов-на-Дону офицеров Первой школы Юго-Западного фронта, о чем довести до сведения командующего фронтом генерала Володченко».

Следующей баллотировкой выбрали делегатами — за старшего меня, потом Ососова, Смолянинова и Вагнюка[3]. Вагнюк как вырази-

---

[1] Имеется в виду Николай Николаевич Духонин.

[2] В Быхове находились в заключении Л.Г. Корнилов и группа арестованных с ним генералов. Туда же перевели и генерала Деникина, арестованного вместе с его штабом. Их освобождению способствовал генерал Н.Н. Духонин.

[3] Выше (впервые — 25 августа 1917 года) автор упоминает, видимо, его же, но пишет фамилию иначе: Багнюк.

тель украинского течения. Останькович тоже не принимал участия в баллотировке, так как решил, что поедет в польскую армию.

Погоны, оказывается, лучше снять, так как могут произойти недоразумения. У нас многие сняли, но многие и в погонах. Я до сих пор упорно не снимал, хотя все чаще на улицах раздаются выкрики солдат·

— А погончики-то срезать надо, а то как бы кто другой не срезал!

14 ноября

Утром были у генерала Володченко. Я изложил постановление общества офицеров. Он на это ответил: «Что же, господа. Пожалуйста, я лично ничего не могу иметь против. Отправляйтесь к генералу Духонину, попробуйте, но вряд ли он сможет помочь вам чем-нибудь существенным». На вопрос, каково положение, генерал Володченко сказал: «Сами видите, сказать ничего определенного нельзя...»

Днем выезжаем в Могилев. Смолянинов уверяет, что генерал Володченко подчинится Украинской раде и, таким образом, большевики не коснутся ни Украины, ни Юго-Западного фронта.

19 ноября. Врангелевка

Ужасное известие — генерал Духонин вчера убит в Могилеве. Мы только что видели его. Но все по порядку. Эти дни в дороге и в Могилеве я никак не мог писать, так все было ужасно и отвратительно. В Могилев мы добрались около пяти с половиной часов дня. Было сыро, мокро, промозгло, слякотно, шел мокрый мелкий снег. На вокзале толпились солдаты — все без погон, ходили в заломленных шапках матросы. Первого, кого мы увидели, был генерал Раттель, который куда-то шел по перрону. Мы к нему подошли, и он нас спросил:

— В чем дело, господа?

Я объяснил, на что он сказал, что видеть генерала Духонина, вероятно, можно и чтобы мы ехали в Ставку. Раттель, видимо, не хотел с нами разговаривать и все время торопился, как-то странно озираясь. Мы вошли в вокзал в зал второго и первого класса, где первое, что увидели за длинным столом, на ближайшем конце: Чернова, Мартова, кажется, Гоца, а может быть, и Дана, называли по-разному, какую-то женщину и еще каких-то трех человек — тоже министров. Чернов сидел на коротком конце в шапке, из-под которой виднелась грива седеющих волос, в темно-красном галстухе. Перед всеми на столе стоял саквояж, в котором были семечки. Все по очереди запускали горсть в этот саквояж и, грызя семечки, перекидывались фразами. Проходил какой-то офицер, видимо штабной, с белыми кантами на петлицах, мы его спросили, что здесь делает Чернов и вся

эта компания, на что он нам объяснил, что это приехали к Духонину из Петрограда министры-эсеры сговариваться об образовании при Ставке нового правительства.

Были ли они уже у Духонина или нет, он нам не сказал. Ососов выругался и заметил довольно остроумно, что «Гоцлибердан» поздно спохватился и что жалко, что их всех вовремя не повесили.

— А все наше либеральное правительство царское. Вот и вы тоже хороши, — кивнул он на меня. — Дождались своей революции, теперь расхлебывайте.

Выйдя на улицу, мы сели в первый попавшийся автомобиль и поехали — беспорядок был так велик, что шофер даже не удивился и не спросил нас, кто и что мы.

Мы подъехали к большому белому двухэтажному дому, где в свое время жил Государь. Нас никто не спрашивал, мы свободно вошли и увидели какого-то офицера, который оказался адъютантом. Он очень мило нас выслушал и обещал сейчас же доложить. Через минуту он вернулся и сказал, что Главковерх разговаривает сейчас по прямому проводу с Петроградом и просит нас подождать. Мы сели. Прошел, вероятно, час, давно зажглись огни, с улицы доносился шум автомобилей и топот ног проходящих людей, видимо солдат, судя по знакомому тяжелому шагу. Шлема сиплым голосом, почти шепотом говорил время от времени:

— Не примет, пойдемте!

Ососов молчал, Вагнюк нервничал и то вставал, то садился, точно собирался уходить. Наконец дверь открылась и вошел все тот же адъютант: «Пожалуйте, господа...» Мы прошли за ним через две комнаты с картами на стенах и столами и стали входить в большой кабинет с большим письменным столом и горящим камином. У камина стоял Духонин и, увидя меня входящим, первым пошел навстречу.

Я отрапортовал (за мной стояли Ососов, Смолянинов и Вагнюк)·

— Ваше превосходительство, делегация от Первой школы прапорщиков Юго-Западного фронта является.

Духонин подал нам руки и сказал мне:

— Рад вас видеть, не ожидал, что вы приедете, — и попросил всех сесть, сам сев в кресле у камина. Я сейчас же изложил наше школьное постановление, а за мной заговорили Ососов и Смолянинов. Вид у Духонина был усталый и измученный, в руках он держал ленту юзовского[1] аппарата, в которую время от времени заглядывал.

— Что же, господа! С Богом! К сожалению, ничем помочь не могу. Я сейчас бессилен. Вот только что говорил с Петроградом.

[1] То есть телеграфного аппарата, изобретенного английским инженером Д.Э. Юзом в 1855 году.

— А что говорят, ваше превосходительство? — спросил я. — Кто с вами разговаривал?

— Новое правительство. Ленин, Троцкий и Крыленко. Приказали мне сдать командование и объявить братание по всему фронту.

— Кто же будет теперь Главковерхом? — спросил Смолянинов. — Какое право они имеют вас смещать, ваше превосходительство?

— Не знаю, я, во всяком случае, ответил, что братания объявить не могу и сдам командование лицу, которое будет назначено Временным всероссийским правительством, каким, на мой взгляд, ни Ленин, ни другие не являются...

— Может быть, вам следовало бы просто уехать, ваше превосходительство? — сказал Ососов.

— Уехать я не могу. Я не могу бросить армию.

— Но ведь армии фактически нету, ваше превосходительство, — сказал Смолянинов.

— Пока есть немцы и фронт, до тех пор есть и армия, — ответил Духонин; мы замолчали.

— А что генерал Корнилов? — спросил Ососов.

— По счастью, удалось им бежать. Я, конечно, постарался препятствий не чинить им.

Мы встали.

— Ну, с Богом, желаю вам успеха, поезжайте, если сможете, — сказал на прощание Духонин и проводил нас до дверей. В это время опять вошел адъютант и сказал, что снова вызывает Петроград.

Настроение у нас у всех было отчаянное. Вагнюку даже показалось, что мы ног не унесем и что надо скорее идти на вокзал. Несмотря на голод, мы никто не могли есть ничего, хотя это вообще было трудно, так как ни вилок, ни ножей, ни вообще приборов в буфете не было, и можно было только у стойки что-нибудь съесть. Оказывается, все или растащено, или спрятано. На вокзале уже говорили, что выехал в Ставку отряд матросов, которого ждут завтра или послезавтра, и приезжает новый Главковерх Крыленко. Тут я вспомнил! Вспомнил, что в Петербурге во время 1905–1906 года говорили в кадетской партии про какого-то студента... Абрамку Крыленко — его, кажется, так и называли просто «Абрашкой»; он принимал живейшее участие в первой революции. Очевидно, этот самый Абрашка и есть новый Главковерх.

С большим трудом мы влезли в переполненный солдатами поезд. Гуляли какие-то матросы, ходили с винтовками солдаты; все было какое-то возбужденное и жуткое.

Вчера утром добрались до Житомира, измученные вконец, и днем же сообщили результаты нашей поездки. В общем, решили, что

ничего не вышло, и Ососов правильно сказал, что надо всем разъезжаться по домам, пока не поздно.

А сегодня пришло известие о том, что Духонин в присутствии Крыленко и при его попустительстве был убит у самого вагона. Его схватили в Ставке, может быть, в том самом кабинете, где он нас принимал, повезли на вокзал и там стали избивать, добив уже в вагоне. Наш Духонин, бедняга, совсем растерялся, на него жалко смотреть. Он все повторяет, что брату давно советовали сдать командование, что его просила о том жена, что уговаривали близкие из штаба лица, но он никак не хотел бросить своего поста. Бедная Наталия Владимировна! Какой кошмар! Вот результат политики Керенского. Сам, говорят, скрылся. Да, Россия пропала!..

22 ноября. Врангелевка

Настроение такое, что все из рук валится, даже и писать-то не хочется. Кажется все бессмысленным, все никчемушным. Школа без погон вся — вид каких-то арестантов. Все не знают, что им делать. Юнкера сильно поправéли, потому что понимают, что их могут не произвести. Вечер провел у Зарембо, был старик генерал и Сергей[1] с женой. Обсуждали события. Говорят, что солдаты идут целыми толпами с позиций, громя все на своем пути и, главное, разбивая винные склады и напиваясь.

Зарембо[2] рассказывал, как он со своей ротой охранял Деникина, Эльснера, Маркова и других, когда их вели на вокзал, чтобы везти в Могилев. Весь Бердичев был словно муравейник — сплошная солдатская масса. Когда вывели заключенных, все завыло и загикало. На улицах стояли броневики, летели камни, одним попали Эльснеру в лицо и рассекли щеку так, что показалась кровь. Тут же шел его сын, штабс-капитан артиллерист Эльснер[3], который дошел до того, что выхватил револьвер и хотел застрелиться. Когда толпа совсем насела, молодчина поручик Ахмылов, командир взвода, скомандовал: «Взвод, стой! Кругом! Прямо по цели, прицел постоянный, взвооод!..» Моментально, как только затрещали затворы и ощетинились штыки, вся эта мерзость бросилась бежать, давя друг друга. Вот что делает один решительный жест. На вокзале еле удалось устроить в вагон, но и то поднялся такой вой, когда увидели вагон второго класса, что пришлось сажать в теплушку, и только благодаря тому, что машинист сейчас же дал ход, толпа не ворвалась в вагон и не вытащила генералов.

Нет, это что-то ужасное! Дальше идти некуда!

---

[1] Ушаков.

[2] Сын Аркадия Иосифовича Зарембо-Рецевича.

[3] Игорь Евгеньевич Эльснер.

25 ноября. Врангелевка

Уже второй месяц, как никаких известий от своих из Самайкина. Поезда не ходят, кроме эшелонов, расписаний никаких, все нарушено. Что делается, не знаем. У власти народные комиссары во главе с Лениным. Хороши «народные», немецкие шпионы. Надо уезжать, но все никак не могу решиться, все на что-то надеешься. Капитан Семенов едет в Самару и подговаривает ехать вместе, но тоже просит немного подождать, говорит, что, может быть, будет лучше, когда все солдаты пройдут.

27 ноября. Врангелевка

Вечером в городе был устроен митинг, на котором обсуждался текущий политический момент. Выступали и кадеты — двое приехали на Киева.

Наш комитет вообще решил тоже вести агитацию и по возможности чаще выступать.

На митинге выступали эсеры со своей программой, затем кадеты и даже большевики.

Один солдат особенно был хорош:

— Я, товарищи, одно вам скажу — вот, к примеру сказать, зачем мы воюем. А вот зачем — чтобы буржуи богатели да царские министры проливы забирали. А на что им, к примеру сказать, проливы — потому, чтобы торговать лучше было самим же, а разве народу надо проливы эти самые? Да и как же их у турок забирать — ведь это же грабеж будет — довольно грабили, будя — теперь мир должен быть без аннексий и контрибуций...

Шустрый живой унтер-офицер говорил задорно и быстро. Ему ответил приезжий из Киева присяжный поверенный, кадет. Он отвечал зло, остро и так в конце концов уел унтер-офицеришку, что тот вспотел.

— Что касается турок и проливов, то кому они нужны — это, я думаю, известно тем людям, которые этим ведают. Что касается солдат и даже унтер-офицеров, то в том-то и соль, что порядок и толк будут тогда, когда они будут слушаться, а не болтать и будут брать проливы, которые им прикажут, а не обсуждать каждое приказание... — говорил киевский кадет.

Затем выступил какой-то большевик, он без всякой злобы заявил, что единственно, кто может быть у власти — это партия большевиков и что вообще только они, большевики, дадут мир, хлеб и свободу...

Завтра едем все в Киев, где собираемся тоже устроить митинг

28 ноября. Киев

Ехали бо́льшую часть дня на автомобилях. Отличная прогулка. Здесь застали крайне тревожное положение. В гостинице, где остановились, оказывается, служащие объявили забастовку в знак сочувствия большевикам. Всюду толпы солдат, каких-то рабочих и агитаторов. Решили, что никакого митинга делать не придется, а просто завтра соберемся в кадетском комитете для обсуждения положения.

За чаем и хлебом ходим сами, потому что никто подавать ничего не хочет.

29 ноября. Киев. Заседание Киевского областного комитета партии кадетов

2 с половиной часа дня

Доклад по внешней политике. Центральный комитет партии принял меры к тому, чтобы оповестить державы о совершившимся перевороте и, главное, объяснить всю неправомочность захватчиков власти. Французский представитель оказался далеко не на высоте понимания совершающихся событий. Винавер был принят послом Дестре, причем в беседе выяснилось, что Дестре уже великолепно осведомлен через Троцкого о событиях. После этого стало ясным, что посол Бельгии имеет регулярные сношения с Троцким. Правда, Дестре поспешил объяснить, что это простое осведомление, а отнюдь не официальная позиция. Винавер заинтересовался взглядом Троцкого, и тут выяснилась вся комическая сторона. Дестре заявил, что ни в Керенском, ни в ком-либо другом ему не удалось заметить того патриотизма, того подъема в любви к родине, как у Троцкого.

Троцкий заявил Дестре, что он выставит такие условия, которых Германия все равно не примет, и, значит, вот тогда-то начнется та священная война, которая приведет к поражению германского империализма.

После свидания с французским и с бельгийским послом Винавер был у американского, который сообщил, что получил наказ от своего правительства ни во что не вмешиваться, что касается внутренних дел России. Видимо, до сих пор, несмотря на три года войны в совместном союзе, на Западе плохо осведомлены о нашей внутренней жизни.

Между прочим, тот же Дестре уверял, что партию кадетов они, иностранцы, знают и очень уважают, но... у партии нет реальной силы и симпатий в широких слоях населения.

Вопрос украинский. Был доклад представителя Таврической губернии, где намечаются три съезда:

1) на основе всеобщего, равного, тайного
2) мусульман
3) украинцев.

Представитель Таврической губернии внес предложение о протесте против насильственной украинизации. Центральный комитет протестует против третьего универсала, против украинизации. Позиция партии в этом направлении весьма сложна: Центральный комитет стал на две точки — с одной стороны, желание опереться на национальное движение, с другой — нежелание, чтобы на местах всецело опирались на национальные движения.

Заседание с 7 до 12 часов вечера. Киев

Продолжение доклада. Комиссия находит, что придется провозгласить охрану крестьянской собственности, принимая во внимание и ту часть, которая придется по разделу.

Сохранение культурных хозяйств. Прогрессивный налог даст избежать концентрации в одних руках больших количеств земли.

Обеспечение инвентарем неимущих крестьян, рабочий вопрос вместе с вопросом о служащих. Биржи труда. Жилищный вопрос, страхование труда. Отхожий промысел. Охрана труда. Борьба с солидизированием (sic!) промышленности. Привлечение иностранного капитала. Использование «белого угля» (Днепровские пороги). Элеваторная система, подъездные пути, холодильники и пр.

30 ноября. Киев — Житомир

Сегодня утром было еще одно заседание по вопросу о международном положении, и в частности об Англии. В два часа выехали на автомобиле обратно в Житомир. Ехали больше шести часов — дорога неважная, мокро и сыро. Я сидел и думал, и все о том, что видел и слышал. На самом деле, как все хорошо, гладко, умно... и международное положение, и внешняя политика, и аграрный вопрос — все так ясно, гладко, понятно. Но в результате ничего! Кто-то захватывает власть, плюет на все эти умные рассуждения, чихает на всех этих мягкотелых умников, и оказывается, власть, реальная сила вся на стороне захватчиков, а на умные речи Винавера отвечают скучающей вежливой улыбочкой: «Ах, бросьте, знаем мы вас, вы прекрасные люди, теоретики очень умные и культурные, но, простите, куда же вы годитесь... ведь это же смешно, право!..»

Ужасно. И ведь на самом деле ничего не выйдет!

1 декабря. Врангелевка

Уныние и тоска. Сижу то у Зарембо, то у Ушаковых. Вчера устроили в собрании прощальный обед. Я со своими связями в городе достал пятнадцать бутылок коньяку и в аптеке 500 грамм спирту.

4 декабря. Врангелевка

Отпускаю своего Александра. Он совсем загрустил. Я было предполагал, что он поедет со мной в Самайкино, а потом уж к себе в Архангельскую губернию, но он так тоскует, что я позволил ему ехать. Завтра отправляется.

5 декабря. Житомир

Простился с Александром. Расцеловались с ним. Мне даже стало грустно, почти пять лет жили вместе одними интересами. Он знал всю мою жизнь, как и я его. Он был верным, хорошим слугой, честным и преданным человеком. Увидимся ли мы с ним когда-нибудь? Взял он свой сундучок в руки, сапоги новые и пошел себе... Как будто что-то оборвалось и как будто провожал я своего близкого, дорогого человека. И стало досадно на себя, что часто я его бранил, покрикивал, мало входил в его нужды и интересовался его духовным миром. Как это нехорошо!

7 декабря. Житомир

Решили с Семеновым ехать после Рождества. Ососов правильно говорит, что сейчас и проехать-то трудно. Говорят, Украина отделилась. В Киеве избивали и расстреливали офицеров. Будто бы убит граф Келлер[1] Вот и война до победного конца — нечего сказать, победили! Отец все говорил: «Кого же резать-то собираются, я не понимаю — кого?!» Оказывается, нашли кого!

10 декабря. Житомир

Зимины тоже собираются после Рождества ехать. Бедняга Духонин ни на что решиться не может. Кажется, довольно, убили брата, а он все сидит, на что-то надеется и, главное, говорит о каком-то правительстве.

Проводим вечера вместе. Ушаков и Зарембо устраивают елку, я делаю разные картонажи, клею цепи.

12 декабря. Житомир

Ходили с Сергеем[2] за елкой. Снегу довольно много, мягко и чудесно хорошо. Брал с собой ружье на всякий случай, тут козлов мно-

[1] Сведения о его убийстве в декабре 1917 года неверны: Федор Артурович (Августович) Келлер был убит годом позже, в декабре 1918 года.

[2] Ушаковым.

го. Вечер сидел у Ушаковых. Все грустные разговоры. Мучает полная неопределенность и неизвестность. Говорят, что бедного Духонина страшно изуродовали. Сколько уже жертв, сколько крови и убийств, а что дальше будет?

20 декабря. Житомир

Сегодня ликвидировал свой «комитет», почти всю литературу развез, когда ездил собирать подписи. Оставшуюся надо выкинуть, теперь все эти статьи и академические мысли стали явно опасным прошлым, и кадетская литература — нечто такое реакционное, которое опасно и упоминать даже.

21 декабря. Врангелевка

Сдал всю мебель, уложил корзину, два чемодана, книги — все это берут на хранение Зарембо-Рацевич, ружье взяли Волошины, карабины — тоже Зарембо. С собой беру бельевой мешок, набитый кое-каким платьем, бельем, пудом сахара и наганом с пятьюдесятью патронами. Вот и все. Аппарат, альбомы войны, кипы газет просил сохранить Зарембо, с собой на дно мешка уложил только дневники.

Ососов обещает устроить бумажку, свидетельствующую, что я писарь второго разряда, — говорит, что офицеров убивают, не пропускают и даже задерживают по одним внешним признакам лица и рук.

Как-то стало мрачно, тоскливо, отвратительно. Говорят, что убийства и грабежи растут в ужасающем размере — ужасно боюсь за своих.

22 декабря. Врангелевка

Сегодня уехал Смолянинов, при перевыборах его в совет больше не выбрали — говорит, что там одни большевики и как они прошли, он и сам не понимает. Поручик Ахмылов после Рождества тоже едет. Зимин не решается тронуться, у него жена в интересном положении и скоро ждет прибавления семейства.

23 декабря. Врангелевка

Живем в полной неизвестности. Духонин молчалив, растерян, как-то незаметен — его и не слышно, и не видно. Вечера сижу или у Зарембо, или у Ушаковых.

У власти-то оказались все псевдонимы. А какие фамилии пошли: Крыленко, Дыбенко, Стучка, Иоффе... Война, разумеется, кончена, и немцы возьмут все, что им угодно.

24 декабря. Врангелевка

Сочельник. В квартире, кроме моего гинтера, ничего нет, да стоит в углу приготовленный мешок. Везти его будет трудно, в нем пуда три, по меньшей мере. Слухи одни мрачнее других: говорят, что вся армия уже идет самочинно по домам, артиллерия распродает лошадей и имущество вплоть до орудий, передков, зарядных ящиков и пр. Обозная повозка идет за два-три рубля, лошадь за пять, а то и дешевле. Знаменитый Почаевский монастырь загадили, иконы поломали, разбили и уничтожили — православное воинство, святая Русь! Нет, тут не одна темнота — это чепуха, никакой темноты нету. Тут что-то другое, более страшное: достоевщина, моральный вывих, психический кретинизм.

В Петрограде во время переворота много убитых — убитых бессмысленно и глупо — князь Туманов, тот самый помощник военного министра, у которого я был. Невысокого роста, хорошо сложенный, красивый кавказец. С ним вместе, когда я ждал в приемной, вышел второй помощник; высокий, тучный, басистый Якубович — старый знакомый: штабс-капитан Якубович, который ухаживал за Киской Мореншильд. И тогда еще мне все это казалось ненастоящим — и то, что я так свободно сижу в приемной военного министерства, в большой светлой комнате со стульями в стиле Людовика XIV, и то, что эти два молодых генерала — помощники военного министра, и что сам министр — господин Керенский. Одно то, что вот Керенский — военный министр, делало все «ненастоящим». Всем своим духом, всем обликом, всем прошлым и настоящим он разрушал всякое понятие о «подлинном», «настоящем», привычно жизненном. За героем идут, Корнилову слепо верят, так психологически действует воля и характер, демагоги захватывают толпу, но Керенские... в них ничего. Они — болезнь, гниение, умирание. И ведь странно: это чувствовали все с самого начала, как чувствовали, например, когда «восстал» Корнилов, что за Корниловым что-то «настоящее», с ним шутить не будешь. Вот и теперь. даже в этой анархии, но чувствуется, что есть какая-то сила стихийная, безобразная, но сила...

Провели вечер у Зарембо. Евгения Николаевна Зарембо-Рацевич — именинница. Вместе убирали елку, клеили картонажи. Пришел и Духонин — однополчанин Зарембо. Мне его очень жалко — вот типичный русский интеллигент, он всего боится, даже на елку пришел попозже, чтобы не подумали, что он слишком симпатизирует нашей компании, а ведь только что вся эта сволочь убила его родного брата.

25 декабря. Врангелевка

Необыкновенно тепло и уютно провели вчера время на елке у Зарембо. Евгения Николаевна — необыкновенно милая, хорошая женщина, да и сам Зарембо славный человек. Старик выпил с нами целый большой графин и хоть бы что. Говорили о событиях — даже трудно представить себе, что же будет дальше.

26 декабря. Врангелевка

Сегодня поздно встал в своей опустелой квартире, мы словно отрезаны от мира. Все вокруг кипит, бурлит, а мы как под колпаком... Вчера елка была у Ушаковых. Собрались все те же: старик Зарембо, сын с Евгенией Николаевной и брат, только что сумевший бежать с фронта.

Младший Зарембо рассказывал, как солдаты громили церкви, как в одной нарочно нагадили в алтаре, разбивали винные склады. В одном месте вся земля была пропитана спиртом, и вот набирали в котелки грязной навозной жижи, давали немного отстояться и пили. Ничего человеческого, какие-то скоты, животные, звери...

29 декабря. Врангелевка

Румынская армия, положим, не армия, а толпы солдат бывшей армии, идут через Бессарабию и, говорят, разрушают и грабят все на своем пути. Помещичьи усадьбы буквально сносят с лица земли. Бедняги Флондоры, неужели и их разнесли?!

Сегодня Ососов дал мне бумажку, на которой значится «Старший писарь нестроевого разряда Осип Ильин едет по демобилизации на родину». Так как печати совета достать нельзя, то приложили медный пятак — вышло неразборчиво и похоже, а внизу «за председателя школьного совета I школы прапорщиков Юго-Западного фронта Ососов» — подписался так, что никто не разберет, и с вывертом.

31 декабря. Врангелевка

Совсем собрался, второго или третьего числа едем с Семеновым. Кроме своего мешка, беру солдатский вещевой мешок с кое-какой провизией, ночными туфлями, хлебом и папиросами. Сегодня встречаем Новый год у Ушаковых. Итак, конец [19]17 года. Как летит время. Что-то мои, ничего о них не знаю, ни из Тамбова, ни из Самайкина не имею никаких вестей уже давно.

1918

Развал. Дорога домой. Приезд в деревню. Раздел. Левка Клейменов. Митинги крестьян. Сельский комитет. Надел землей. Восстание чехов. Инвалиды. Агитация. Бегство. Сызрань. Генерал-лейтенант Зубов. Оборона Сызрани. Инспектором артиллерии. Наступление Муравьева. Убийство Мертваго и Толстых. Мусины-Пушкины. В Тростянку. Самара. Помощник командира дивизиона. Полковник Галкин. Поездка в Симбирск. Штаб армии. Чечек. Самарский Комуч. «Волжский день». Клафтон, Кудрявцев, Елачич. Казаки. Дутов, Хорошхин. Приезд Пепеляева. Челябинское совещание. Гришин-Алмазов. Обед. Возвращение в Самару. Уфимское совещание. Съезд торгово-промышленников. Долгие переговоры. Директория. Омск. Керенщина. Адмирал Колчак. Переворот

22 января. Самайкино

Я еще не отделался от ощущений человека, который избег смертельной опасности. А рисковал я шкурой многократно, пока добрался до дому. Но все по порядку запишу.

В шесть часов утра 6 января мы с Семеновым выехали из Врангелевки. Накануне я простился с Зарембо, Ушаковыми, днем с Духониным и некоторыми нашими офицерами. На вокзале сели в какой-то эшелон, с которым к вечеру добрались до Коростени. Тут мы увидели начало картины, как «фронт» расходится по домам. Все было запружено солдатами. На вокзале все залы, столы, стулья — все ими забито, занято. Они сидели, лежали вповалку на полу, ходили кучками, собирались, митинговали, то есть о чем-то говорили и спорили. <...>

Мы чувствовали себя неважно. Узнали, что все эшелоны стоят, раньше завтрашнего дня не пойдут, те же, которые пойдут ночью, уже все переполнены, и тоже неизвестно, отправят ли их, так как сейчас на Киев ехать нельзя, ибо на него наступает армия какого-то Муравьева и будто бы сам Троцкий руководит операциями.

Одним словом, пошли по грязному, слякотному городку и нашли себе в отвратительной грязи гостинице номер и расположились.

Ночью несколько раз просыпались от выстрелов на улице. Жутко было, и чувство полной беспомощности закрадывалось в душу... Утром пошли на вокзал. Боже, что делалось: везде толпами ходили солдаты, полотно было облеплено тоже ими — сидели со своими сундучками. Многие имели винтовки, наганы и даже ручные гранаты за поясом. Спасибо Семенову· он взглянул на меня и ахнул:

— А кокарды-то? Снимать надо скорее!

Мы быстро сорвали с наших фуражек кокарды. Из расспросов, разговоров и слухов узнали, что проезда на Киев окончательно нету, а надо по способности попадать в эшелон, который идет на Калинковичи[1], а с Калинковичей на Брянск. Одним словом, кружным путем ехать. Ни поесть, ни выпить чаю было немыслимо.

То в одном конце, то в другом перрона собирались летучие митинги. Мы незаметно подходили и слушали. Обычно разговор был один: бить буржуев, которые всему виной — и тому, что на Киев проезда нету, и тому, что на вокзале нельзя достать есть.

— Кто виноват, товарищи, что одни по домам сидят, а мы еще здесь валандаемся? Вона сказывали давеча, что сам товарищ Троцкий едет, потому Киев буржуи захватили и хотят революцию загубить. А почему они супротив революции пошли? Потому что не хотят равенства, не хотят, скажем, чтобы все одинаковый, к примеру сказать, паек получали. Им подавай разносолы, будто кишки у них другие, чем у нас. А ан нет! Революция сравняла, потому правильно: люди все одинаковы и нечего тут, чтобы одни над другими измывались и чужую кровь пили...

Неслись крики: «Правильно! Правильно!» В другой кучке какой-то солдат разглагольствовал, что все должны немедля идти на Киев, спасать революцию... Мы даже испугались, не захватили бы и нас еще чего доброго.

В зале вокзала сплошь сидели, лежали или толкались солдаты. У некоторых физиономии отличались необычайной свирепостью странно, что никогда раньше таких лиц я не видел, как будто они появились только теперь, с революцией. Столы все были заняты: или сидели на стульях и корпусом навалившись на стол, или же на них просто сидели и лежали. Углы были завалены горами ранцев, мешков и сундучков. Пол весь заплеван и забросан шелухой. Мы с Семеновым поставили наши мешки тоже в общую кучу, а я имел несчастье положить сверху и вещевой мешочек с закуской и папиросами. Мы стояли тут же, но, несмотря на это, когда обернулись, моего вещевого мешка не было — его успели украсть. Очень жаль было жа-

[1] Кали́нковичи — город в Гомельской области на юго-востоке Белоруссии, важный транспортный узел.

реного гуся, которого приготовила мне в дорогу Евгения Николаевна Зарембо, папирос, и котелка, и чайника. Но что было делать?.. Недаром же ухитрились переворовать всю посуду вокзалов, как только почувствовали свободу. Вор русский народ, ох, какой вор!..

По очереди караулили мешки наши, а один сторожил эшелон, чтоб занять место. Уже начало темнеть, а никакого эшелона не было. Солдаты тут же постановили требовать эшелона немедленно и с угрозами пошли к начальнику станции. Начались крики, брань, ругань, угрозы разнести станцию гранатами. Через несколько минут с задних путей из полутьмы стали двигаться лентой теплушки с паровозом, который составлял эшелон. Начальник станции сам вышел без фуражки, растрепанный, измученный, и хрипло кричал:

— Вот вам эшелон, садитесь, только сами порядок установите, чтобы безобразий не было!..

Все кинулись по вагонам, теплушки всё катились, а серая масса, как обезумевшие бараны, лезли, давя друг друга, бежали рядом с зиявшими черными дырами дверей, забрасывали мешки, потом, подскочив, перекидывались корпусом сами, болтались некоторое время ноги, стараясь зацепиться за пол и взобраться, но уже следующий лез, а за ним другой, третий... и т.д.

Как мы попали, Богу известно. Я волочил мешки, Семенов их поддерживал, а затем, пропуская мимо вагоны, мы ухитрились в один из них вбросить мешки, и я подсадил Семенова. Сам же остался, так как эшелон скользил все дальше.

Он куда-то уходил, возвращался, толпы солдат схлынывали и снова бросались, а я стоял и не знал, в каком же вагоне и Семенов, и мой мешок. Шел мокрый снег, было слякотно и мерзко, где-то в темноте кричали:

— Стойте, раздавило, стойте, сволочи, растата вашу... человека переехало...

Потом эшелон, уже набитый до отказа, с целым поселением на крышах, подошел к вокзалу, но влезть кому бы то ни было было уже невозможно, да и кажется, что влезли все, которые были на вокзале, а новых пока еще нет. Торопливо начальник станции стал давать звонки, чтобы только сбыть с рук всю эту бушующую массу, которая ежеминутно его может растерзать. Я побежал по поезду.

— Семенов! Семенов! — кричал я, пробегая теплушки. Но никто мне не отвечал. Слышались шутки, брань русская, летели в двери плевки, мерцали тусклые язычки свечей, а я, словно потерянный, носился без надежды влезть и боясь потерять последние свои вещи. И вот, уже отчаявшись, стал влезать в открытый вагон. Все в нем разместились, лежали по нарам, а посередине с десяток сидели у го-

рящей печи. Страсти улеглись, и меня пустили и ничего не сказали. Я влез и сел. Раздался свисток, загромыхали цепи и фаркопы. Эшелон тронулся.

— Крути, Гаврило, крути! растуды твою!.. — понеслись из вагонов «подбадривающие» крики.

Я сел и огляделся. Вокруг сидели солдаты, в темных провалах нар внизу торчали ноги, наверху в бледном отсвете огарка, прилепленного к подрамнику окошечка, сидели или полулежали люди в серых шинелях. Поезд начинал катиться все быстрее, вагоны дробно подскакивали.

Какой-то солдат сзади говорил:

— Вот приедем, ужо разделаемся, жалеть не будем — довольно! Всех порешим буржуев проклятых!

Я обернулся: внизу виднелись здоровенные солдаты с гранатами и винтовками, стало жутко. «А ведь наверняка у этих подлецов гранаты с капсюлями, — загвоздила мысль. — Ненароком стукнет — и готово дело, взлетим все...» Сверху голос поддержал:

— Правильно, товарищи, долго терпели. Хорошо было бы еще и офицеров, которые ежели остались, прикончить: довольно издевались над нами, дезертиры проклятые.

— Как же это дезертиры? — раздался голос с другого конца сверху. — Почему дезертиры? Это несправедливо! Ведь сами же войну кончили, а им что же, оставаться, что ли, для немецкого удовольствия?

— Довольно! Довольно!.. — раздались свирепые обозленные голоса. — Ты кто такой, охфицеров защищать? Сам с ними стакнулся, что ли?

— Я, товарищи, такой же солдат, как и вы, с такими же руками.. — голос у него был, между прочим, много интеллигентнее, и лицо культурнее. — Хотите, вот удостоверение мое... Надо по совести говорить! Коли с фронта все идут, так им что делать прикажете, офицерам, а?!

Я слушал с восхищением этого смельчака, но голоса становились все свирепее и обозленнее:

— Довольно! Довольно, растуды твою! Слыхали мы, хватит, таперя нас не обманешь, сам захотел с ними, так туды и отправим, видали мы и таких!

Было страшно за этого человека. Он поерзал, пытался что-то еще сказать, но замолчал, лег и закрылся шинелью. Чей-то голос с нижней нары заметил:

— А поискать бы тут, верно, найдутся сволочи — притаились!..

Захолонуло сердце, втянул голову в плечи, съежился. По счастью, поезд стал замедлять ход, кто-то сказал:

— А что, товарищи, не испить ли чайку, эй, кто пойдет за чайником?

Многие зашевелились, и об обыске забыли. Была глубокая ночь, я сидел сжавшись. Вдруг взгляд мой упал под нару: Семенов? Да-да, его борода, его седеющие усы, положительно Семенов! Он лежал, подобравшись, закрывшись весь шинелью. Я встал и, пользуясь остановкой и общей легкой сумятицей, пошел к нему. Он заговорил шепотом, видимо, смертельно напуганный. Оказывается, он слыхал, как я кричал его, но из страха боялся подать голос, а я как-то случайно попал, сам того не зная, в тот вагон, где был он, рядом с его мешком лежал и мой.

Остаток ночи кое-как, прижавшись друг к другу, спали, а потом подошли днем к Калинковичам, откуда должна была быть пересадка на Брянск. Картина и здесь была та же, с тою только разницей, что поезд подали очень скоро, так как товарищи грозили всех перестрелять, и напуганные железнодорожники делали все возможное, чтобы поскорее избавиться от этой орды. Всю ночь сидели с Семеновым, плотно прижавшись друг к другу. Вышел инцидент, чуть мне дорого не обошедшийся. Вагон был полон, кроме солдат посередине устроились на мешках два матроса. В конце вагона какой-то товарищ разглагольствовал, что теперь мир обеспечен и что война уже возобновиться не может, «во всяком случае, если кто и хочет войны, так одни кадеты да офицеры». Мы с Семеновым сидели и слушали.

— Били их, сволочей, и еще бить надо, пока всех не перебьешь, — повествовал все тот же солдат без особого пафоса или подъема, а так просто, в виде делового разговора... И дернул меня черт ответить. Не понимаю, что мной руководило, ведь это же было вполне бессмысленно.

— Почему надо непременно думать, что все офицеры только войны и хотели? Может быть, и они не хотят войны, как знать, да только вот и мира-то что-то настоящего не видно. Кончить войну не штука, а чтобы был мир настоящий — вот это штука, а будет ли, коли так дальше пойдет? Вон уже пошли Украину брать — хорош мир?!

Воцарилось гробовое молчание. Я кончил говорить, а тот, который агитировал, вдруг закричал:

— А ты кто такой? Офицер! Пропаганду ведешь! Вот я сейчас остановлю поезд да сдам куда следует тебя!..

Положение становилось отчаянным. И вот нашелся спаситель. Вдруг заговорил спокойно, деловито один из матросов, тот, что был ниже ростом и коренастее:

— А ты, товарищ, не горячись. Чего он сказал обидного? Ведь верно, что сами во многом виноваты. Нельзя же все только на одних

офицеров да кадетов или, скажем, буржуев сваливать. Мир так мир, захотели кончить войну, ну и кончайте сами, теперь жизнь и устраивайте, кто вам мешает. Мы, слов нет, тоже у нас на кораблях иной раз давали волю, немало и пострадало, да и погибло, а только что же? Коль правду говорить, так и не всегда справедливо: были среди них и хорошие...

— Что же, конечно, были!.. — подтвердил второй матрос.

Я просто диву дался! Это было чудом: матросы — и вдруг так рассуждают, ведь буквально спасли... Несколько человек стали соглашаться, агитатор пытался спорить, но не особенно удачно, понемногу впечатление начало меняться, и я был спасен.

Бедняга Семенов так много пережил, что под ним стало мокро — он боялся встать с места даже.

В Брянск приехали в пятом часу дня. Тут опять надо было пересаживаться. Нас очень поразила необычайная оживленность и масса солдат. В конце перрона шел митинг, и толпы солдат стояли, двигались волной, нахлынывали или отбрасывались, расплываясь по путям, дебаркадеру, вокзалу.

Мы, выгрузив наши мешки, подошли к толпе. В середине, видимо на столе, говорил громким голосом высокий, бледный человек, в пенсне на горбатом носу, с еврейскими чертами лица, с острой бородкой и усами, с отвратительно неприятным хищным выражением. Он все время выкрикивал о том, что надо буржуазии рубить голову сплеча, чтобы ни один не ушел, и что жалко, что у всей буржуазии не одна голова, тогда бы и разговор был короток. Он призывал идти на Киев, сплачиваться вокруг революционных вождей и спасать революцию. Это, оказывается, был сам Троцкий, и в Брянске находилась его Ставка для операций против Украины.

Он так зажигал, так наэлектризовывал толпу, что я ясно чувствовал: узнай нас кто-нибудь, заподозри хоть секунду, и мы будем тут же расстреляны, а может быть, и попросту растерзаны.

Уже почти ночью удалось нам с бою втиснуться в теплушку. Скрючившись, прижавшись друг к другу, сидели мы всю ночь. Члены так затекали, что казалось, мы никогда не сможем больше ими действовать. Особенно мучительно было, когда одолевал сон, — все болело, тело отекало, ни вытянуть ноги, ни переменить позу было невозможно. Полтора суток тащились мы до Калуги. Бесконечные остановки, приступы оголтелых товарищей, каторжные шутки: «Крути, Гаврило, не то гранату брошу, растуды твою», и, смеясь, орущий вытаскивал гранату из-за пояса и жонглировал ею...

В Калуге стало немного легче: на вокзале достали поесть. Было много крестьян с мешками, которые наполнили наши теплушки:

оказывается, в Калужской губернии нет хлеба, местами уже голод и мужики ездят за мукой. В Туле произошло разделение: часть продолжала путь на Москву — это по большей части призванные из Московского района фабричные и рабочие, а часть направилась по Сызрано-Вяземской — волжане и сибиряки. Тут сразу стало несравненно лучше: оказывается, самый бунтарский, самый безобразный народ были рабочие Московского района, те же, которые свернули на Сызрано-Вяземскую дорогу, в большинстве оказались рассудительными и вполне трезвыми людьми. Настолько трезвыми, что даже можно было свободно с ними говорить о положении. Попадались и оренбургские казаки, они говорили, что едут разбираться и уж на месте решат, за кого идти, так как это можно узнать только дома. Сибиряки, так те даже некоторые находили, что революция неправильно идет и что воевать друг с другом не годится. Я под влиянием всего этого забыл и свои клятвы, и пережитый страх и пустился опять, к ужасу Семенова, рассуждать и крыть большевиков. Особенно спорил со мной чиновник Червяков, который был полон социализма; я в конце концов сказал, что он скоро на своей собственной шкуре испытает всю прелесть социализма. Но нас слушали, никаких возмущений не было, сибиряки даже соглашались со мной.

Ехать было совсем хорошо. Иной раз, когда вылезали мужики, хватало места, чтобы всем лежать на нарах и на скамейках, стоящих четырехугольником вокруг печки.

Ночью, после двухнедельных мук, 20 января подъезжал я к Коптевке. На каком-то полустанке влез к нам мужичонка. Я, Семенов, Червяков и еще несколько солдат сидели вокруг печки. Было холодно. Мужичонка влез, покряхтел, похлопал руками, потом, скрутив козью ножку, оглядел нас и начал разговор.

— С фронта, что ли, едете? — он помолчал.

— А что у вас тут делается? — спросил солдат, сидящий рядом со мной. — Как в деревне?

— Да што — делим!.. Тяперича все хрестьянское, значит, ну и того...

— Кого делите-то? — с замиранием сердца спросил я, стараясь ничем не выдать своего беспокойства.

Мужичонка покосился на меня:

— Да вот Мертваго поделили, Ребровых выселили.

Беспокойство все усиливалось.

— Ну а еще кого? Как в Новоспасском?

— В Новоспасском? Амбразанцевых пожгли... А ты что, чей будешь? Не воейковский?!

— Нет, я племянник начальника станции. А Воейковы что?

офицеров да кадетов или, скажем, буржуев сваливать. Мир так мир, захотели кончить войну, ну и кончайте сами, теперь жизнь и устраивайте, кто вам мешает. Мы, слов нет, тоже у нас на кораблях иной раз давали волю, немало и пострадало, да и погибло, а только что же? Коль правду говорить, так и не всегда справедливо: были среди них и хорошие...

— Что же, конечно, были!.. — подтвердил второй матрос.

Я просто диву дался! Это было чудом: матросы — и вдруг так рассуждают, ведь буквально спасли... Несколько человек стали соглашаться, агитатор пытался спорить, но не особенно удачно, понемногу впечатление начало меняться, и я был спасен.

Бедняга Семенов так много пережил, что под ним стало мокро — он боялся встать с места даже.

В Брянск приехали в пятом часу дня. Тут опять надо было пересаживаться. Нас очень поразила необычайная оживленность и масса солдат. В конце перрона шел митинг, и толпы солдат стояли, двигались волной, нахлынывали или отбрасывались, расплываясь по путям, дебаркадеру, вокзалу.

Мы, выгрузив наши мешки, подошли к толпе. В середине, видимо на столе, говорил громким голосом высокий, бледный человек, в пенсне на горбатом носу, с еврейскими чертами лица, с острой бородкой и усами, с отвратительно неприятным хищным выражением. Он все время выкрикивал о том, что надо буржуазии рубить голову сплеча, чтобы ни один не ушел, и что жалко, что у всей буржуазии не одна голова, тогда бы и разговор был короток. Он призывал идти на Киев, сплачиваться вокруг революционных вождей и спасать революцию. Это, оказывается, был сам Троцкий, и в Брянске находилась его Ставка для операций против Украины.

Он так зажигал, так наэлектризовывал толпу, что я ясно чувствовал: узнай нас кто-нибудь, заподозри хоть секунду, и мы будем тут же расстреляны, а может быть, и попросту растерзаны.

Уже почти ночью удалось нам с бою втиснуться в теплушку. Скрючившись, прижавшись друг к другу, сидели мы всю ночь. Члены так затекали, что казалось, мы никогда не сможем больше ими действовать. Особенно мучительно было, когда одолевал сон, — все болело, тело отекало, ни вытянуть ноги, ни переменить позу было невозможно. Полтора суток тащились мы до Калуги. Бесконечные остановки, приступы оголтелых товарищей, каторжные шутки: «Крути, Гаврило, не то гранату брошу, растуды твою», и, смеясь, орущий вытаскивал гранату из-за пояса и жонглировал ею...

В Калуге стало немного легче: на вокзале достали поесть. Было много крестьян с мешками, которые наполнили наши теплушки:

оказывается, в Калужской губернии нет хлеба, местами уже голод и мужики ездят за мукой. В Туле произошло разделение: часть продолжала путь на Москву — это по большей части призванные из Московского района фабричные и рабочие, а часть направилась по Сызрано-Вяземской — волжане и сибиряки. Тут сразу стало несравненно лучше: оказывается, самый бунтарский, самый безобразный народ были рабочие Московского района, те же, которые свернули на Сызрано-Вяземскую дорогу, в большинстве оказались рассудительными и вполне трезвыми людьми. Настолько трезвыми, что даже можно было свободно с ними говорить о положении. Попадались и оренбургские казаки, они говорили, что едут разбираться и уж на месте решат, за кого идти, так как это можно узнать только дома. Сибиряки, так те даже некоторые находили, что революция неправильно идет и что воевать друг с другом не годится. Я под влиянием всего этого забыл и свои клятвы, и пережитый страх и пустился опять, к ужасу Семенова, рассуждать и крыть большевиков. Особенно спорил со мной чиновник Червяков, который был полон социализма; я в конце концов сказал, что он скоро на своей собственной шкуре испытает всю прелесть социализма. Но нас слушали, никаких возмущений не было, сибиряки даже соглашались со мной.

Ехать было совсем хорошо. Иной раз, когда вылезали мужики, хватало места, чтобы всем лежать на нарах и на скамейках, стоящих четырехугольником вокруг печки.

Ночью, после двухнедельных мук, 20 января подъезжал я к Коптевке. На каком-то полустанке влез к нам мужичонка. Я, Семенов, Червяков и еще несколько солдат сидели вокруг печки. Было холодно. Мужичонка влез, покряхтел, похлопал руками, потом, скрутив козью ножку, оглядел нас и начал разговор.

— С фронта, что ли, едете? — он помолчал.

— А что у вас тут делается? — спросил солдат, сидящий рядом со мной. — Как в деревне?

— Да што — делим!.. Тяперича все хрестьянское, значит, ну и того...

— Кого делите-то? — с замиранием сердца спросил я, стараясь ничем не выдать своего беспокойства.

Мужичонка покосился на меня:

— Да вот Мертваго поделили, Ребровых выселили.

Беспокойство все усиливалось.

— Ну а еще кого? Как в Новоспасском?

— В Новоспасском? Амбразанцевых пожгли... А ты что, чей будешь? Не воейковский?!

— Нет, я племянник начальника станции. А Воейковы что?

— Да третьего дня тоже делили. Десятин восемь, што ли, оставили.

На сердце отлегло. Все-таки все живы и не «пожгли». Поезд медленно катился в густой зимней темноте январской ночи. На другом конце солдат, видимо из шутников и балагуров, рассказывал солдатский анекдот, такой сальный, такой пакостный, называя все своими именами, что слушать было противно; над ним, свесив ноги, сидела молодая баба с ребенком на руках и кормила его грудью. Она слушала анекдот равнодушно, с коровьими глазами, без выражения, как будто ничего особенного в том, что рассказывал солдат, и не было. Я удивился: никогда раньше не представлял себе, что русский народ может быть так беззастенчиво похабен...

Поезд стад замедлять ход. В ночной темноте прозвучал свисток.

— Кажись, Коптевка, — сказал мужичонка. Я взял свой мешок, начал отодвигать двери. Поезд остановился, я выпрыгнул, кто-то подтолкнул мешок. Вот я и приехал. Занималось серое утро. Толпилось несколько мужиков, пахло бараньими шубами и валенками. Меня некоторые узнали, приветливо заговорили:

— А, Осип Сергеевич. Приехал!..

— А как дома, что мои все?

— Почитай, все живы, слава Богу! Вчера вот дележ был — лошадей забирали и коров.

— Что же, все забрали?

— Зачем все. Земли оставили по две десятины на душу, а тебе три положили, потому как был на фронте, три лошади оставили да две коровы. Во как, видишь!

— Так. Ну а потом и это заберете... — сказал я.

— Зачем заберем? Мы по справедливости. Зря тоже нельзя.

— И Амбразанцевых сожгли по справедливости?!

— Амбразанцевых не мы трогали. Там свои, значит, распорядились. Мы не повинны в том... — Мужики смотрели на меня ласково и сочувствуя. Чему? Очевидно, тому, что сами же ограбили! Странный народ! С трудом вскинул мешок на плечо и вышел. Все было бело, подернутое сероватой, тихой дымкой зимнего раннего утра. Тяжело ступая, пошел пешком в Самайкино. Не знал я, что придется так возвращаться в родные места...

23 января. Самайкино

Вчера не успел все описать. Итак, я пошел пешком. По дороге попадались мужики — некоторые здоровались, заговаривали. Я делал вид, что меня нисколько не огорчает известие о том, что нас «поделили», и, видимо, этим сильно смущал и удивлял, они смотрели на меня, точно хотели сказать: «Ведь вот, поди ж ты, ничем их не возьмешь».

Прошел Томышово — почти все уже встали, кое-где в избах еще светились ночные огни, на широкой улице попадались прохожие и телеги. Вышел за околицу в белое поле, спустился в балку, где стоит группа березок у родника и летом все так зелено, тенисто и свежо, и, поднявшись в горку, увидел Самайкино.

Меня не ждали. В доме все еще спали — проснулась только прислуга на кухне, ставили самовар. Я вошел с кухни, бородатый, грязный, в измятой засаленной шинели, с мешком за плечами. Кухарка, а за ней и горничная ахнули:

— Осип Сергеевич! Батюшки! Да откедова вы это?!

В доме захлопали двери, послышались торопливые голоса, через полчаса я уже сидел в столовой и рассказывал, рассказывал...

А в деревне, оказывается, действительно лес весь забрали, землю поделили, скот и лошадей тоже. Оставили на всю семью девять десятин из расчета по десятине на душу, мне пришлось не четыре, а почему-то три, верно, мою Ольгу еще не считают за душу, затем трех коров и пять лошадей — по числу работников, то есть мужчин. Инвентарь пока не трогали, так же как и экипажей, но, видимо, доберутся и до этого.

Интересные сцены рассказывали, когда делили. Во-первых, все происходило по постановлению сельского совета. Причем производилась даже оценка, своеобразные торги. Мужики собирались всем селом, как на ярмарку, выводились лошади или коровы, и тут же происходил торг. Члены совета определяли стоимость или назначали минимальную цену, а затем мужики покупали, выкрикивая, сколько такой-то или такой-то дает, таким образом получалось даже как будто бы и законно. Мужики отлично видели, что это балаган и грабеж, но делали вид, что они ни при чем и подчиняются лишь распоряжению «свыше» и новым правилам. Ваня спрашивал: «А к чему же торги-то учинять — брали бы так, да и все», но ему отвечали, что так законнее. Возможно, что это еще было некоторым оправданием и заглушало голос, который внутри ясно говорил, что это грабеж и что если его слишком просто обставить, то он может и против самого тебя обернуться. Одним словом, тут был скорее инстинкт самосохраснения: чем-нибудь прикрыться. Совет, разумеется во главе с Левкой Клейменовым, полученные денежки пропивал, и с ведома мужиков, которые опять-таки так на это и смотрели: пущай их! Надо и им попользоваться!

Происходили и курьезы. Вот за пять рублей идет Гром, сын чистопородной Жар-Птицы, какому-то мужику. Он подходит к Ване и просит:

— Иван Митрич, ты ужо вели овса отпустить да сена — лошадь-то хорошая.

— Это как же так, — отвечает Ваня. — Ты у меня свел лошадь без моего даже согласия, а теперь у меня же просишь еще и кормов для нее — да ты, брат, что, в уме?!

— Да мы што. Мы ничаво, мы разве знам! Нам сказано брать идти, ну и идешь, мы народ темный. А только што вам таперя, все одно, значит, коли лошадей нету, так, думаю, можа, и корма отдадите...

Другой просил дрожки. Больно ему приглядились дрожки.

— Эх, Марья Митривна, отдай дрожки, на што они тябе тяперича.

Амбразанцевым хуже: их выселили, все отобрали, а усадьбу, церковь и больницу сожгли. Ребровских тоже сожгли, и они все куда-то выехали. Ушаковы и Толстые пока сидят на месте по своим усадьбам, их тоже, конечно, поделили. В общем, везде все зависит от кучки мерзавцев и шалопаев, которые и создают настроение, сами же мужики стараются прикрыться или законностью в виде торгов, или же «темнотой». Много зависит, конечно, и от того, как относятся персонально к тем или другим помещикам.

24 января. Самайкино

Собрались все: Ольга Александровна, Мара с мужем, Дима, Павел, жена, я, одним словом, население густое. Ваня с женой на «Полянке»[1]

Александр Дмитриевич на своих «Холмах». Кажется, что больше всего мужики настроены против него. Да и ничего нет удивительного: это человек, который приводит немедленно в раздражение всякого, с которым скажет хоть два слова, — необыкновенно эгоистичный и какой-то несуразный он.

Говорят, что в Тамбовской губернии многих помещиков пожгли, а некоторых даже убили. Князя Вяземского прямо замучили, истязая на глазах близких.

В Петрограде, в больнице, матросы убили Шингарева и Кокошкина. Бедный Андрей Иванович — он, смертельно раненый, все повторял:

— Холодно, холодно мне...

Мерзкая страна, мерзкий народ! За все это еще будет заплачено, нельзя безнаказанно творить преступления.

Ленин и Троцкий все время издают декреты. Все газеты закрыты, и типографии переходят в собственность государства. Вся земля признается народной, обучение бесплатное и общее, билетов никаких, путешествие везде даром! И все это внушительно подкрепляется доводом «не исполняющих декретов расстреливать на месте» — просто, хорошо и коротко.

[1] Полянка, Поляна — хутор в имении Воейковых.

26 января. Самайкино

По воскресеньям считает своим долгом приезжать председатель сельского комитета Левка[1] Он очень великолепен. На бывшей нашей же лошади, на хороших бегунках, с наганом у пояса и всегда пьяный. Он вваливается прямо в дом и, не стесняясь, рассаживается, требуя чтобы его угостили.

Пьет, гадина эдакая, чистый денатурат. Прошлый раз приехал и расселся, я вышел к нему. Попросил спирту, я сказал, что есть только денатурат.

— А што ж, Осип Сергеевич, давай и денатурат.

Каюсь: я налил ему полный чайный стакан и отрезал крохотный кусочек хлеба с сыром, в душе бродила тайная мысль, авось после такой порции скапутится. И что же?.. В два глотка выдул Лешка стакан синего ужасающего спирта. Крякнул, понюхал сыр, потом положил его в рот и стал жевать, меня даже свело как-то, глядя на него...

29 января. Самайкино

По ночам дом охраняют военнопленные. Они сами, по своей инициативе, взялись за это. Когда делили и отбирали скот, Мара говорит, все они, в особенности немцы и мадьяры, возмущались и даже предлагали применить силу. Их презрению и возмущению не было границ. Такими же контрреволюционерами оказались и инвалиды. Их двенадцать человек, и они живут в лазарете[2] Их постепенно присылали вместо раненых. Когда уводили коров, говорят, что они никак не хотели уходить — падали на колени, мычали и упирались, а Юрка ревмя ревел, когда взяли Юшку — лошадь, на которой он ездил. Они даже вместе с Аликом собирались «рубить» мужиков и припасли топор для этой цели.

У меня все время мучительный вопрос: в темноте ли тут только дело, весь этот грабеж и анархия? Ведь вот инвалиды же такой же «темный» народ. Военнопленные, чем собственно они отличаются от наших мужиков? Нет и нет, тут дело в чем-то другом. Ну хорошо, пусть озлобленность, пусть революция, но все же, ведь понимают они, что грабят? Я согласен, что революции всех времен всегда отличались жестокостью. Во французской революции рубили головы тысячами, уничтожали дворян, резали помещиков, одним словом, то же самое, что и теперь у нас, — но при чем же тут темнота и зачем эта отговорка? И не носит ли всякая революция специфических, характерных черт того народа, который ее проделывает? Я больше чем убежден, что Ленин — это наш, русский, и весь наш большевизм — наш, русский, все это наши черты, нашего характера, нашей души, нашего духовного склада!

---

[1] Клейменов.

[2] Воейковы с начала войны (в 1914 году) устроили в своем имении лазарет.

2 февраля[1]. Самайкино

Шесть тысяч пудов ржи, сложенных в амбаре за домом, запечатали, так как это теперь народное. Нам определили по пуду на душу в месяц. Решили хлеб выпекать на каждого отдельно, сахар тоже каждый имеет свой. Все это глупо, по-моему, и горше всего то, что мы все начинаем жить недружно, спорим, ссоримся, друг друга упрекаем.

Приехали Мертваго, Александра Александровна и Катя, а из Жедрина[2] Татуша[3] Говорит, что у них тоже все отобрали. Пили чай каждый со своим сахаром. Я оказался богаче всех, так как привез почти пуд. Говорят, что Миша Толстой приехал в Каранино — он что-то сильно за новые порядки и хочет даже ехать в Пензу служить.

5 февраля. Самайкино

Ездили в Самайкино в сельский совет получать паек. Мы, оказывается, тоже зачислены, и нам полагается по полфунта сахару на брата.

Погода чудная, солнечно, много снегу. Катаемся с Аликом и Юркой с гор, я взял просто большие розвальни, и мы с обрывистого берега пулей вылетаем на реку. Несемся так, что дух захватывает, особенно хорошо по вечерам при луне. Дима попробовал раз, но отказался, говорит, что у него плохое сердце и захватывает дух, а с Марой случилась целая история, и она тоже отказалась. Я уговорил ее сесть, и вот сели: впереди я, потом, держась за меня, Юрка, затем Марья, а за ней Алик. Сани стояли почти отвесно, я еле сдерживал. Между тем впереди на реке, влево немного, лежит огромное бревно вышиной в поларшина — мы всегда пролетали мимо, а тут, как на грех, сани сорвались и взяли направление вкось прямо на это бревно. С треском налетели розвальни на бревно, все задние хлопнулись головами в переднего, а сани словно птица подскочили и перелетели через бревно... Как мы усидели, понять не могу. Мальчишки молодцы, только лбы потирали, а Мара слезла и сказала, что больше на это удовольствие ее не соблазнишь.

10 февраля. Самайкино

Приезжал Левка с членами совета, и опечатывали книги в шкафах. Мы им долго доказывали, что большинство книг английских и французских, много английских журналов и что им это ни к чему, но

[1] Автор продолжает датировать свои дневники по старому стилю, хотя «Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря» был обнародован 26 января 1918 года.

[2] В Жедрине находилась родовая усадьба Ушаковых.

[3] Татьяна Алексеевна Ушакова.

они были непреклонны, сказали, что весной все это надо забрать в школу и что не они, так их дети будут читать. Одним словом, наклеили печати на дверцах и стеклах и уехали. В одном шкафу стекло оказалось разбитым, и я вытащил по одной книге всего Достоевского и спрятал в нашей комнате у себя под матрацем.

25 февраля. Самайкино

Итак, война кончена[1], но зато начинается другая. Вместо «похабного мира» начинается похабная война — грабят, убивают, режут. Не могу себе простить, что не заехал в Тамбов и не повидал отца и Соню, а теперь, верно, до них никогда не доберусь.

На юге, кажется, удачно действуют генерал Алексеев, Корнилов и Деникин, на Урале говорят про какого-то атамана Дутова.

Все-таки нашелся один честный человек, который не выдержал позора и застрелился, — Скалон[2] Он, говорят, во время заседания вышел в соседнюю комнату и там покончил с собой. Генерал Гофман стукнул кулаком на представителей товарищей большевиков: «Попрошу встать, когда произносят имя императора Германии» — молодчина! Все эти Бронштейны, Иоффе, Стучки и пр., разумеется, встали.

10 марта. Самайкино

Нас все описывают. Приезжала «комиссия», которая «взяла на учет» домашнюю обстановку, а затем забирала экипажи, старые фаэтоны и карету, которой больше восьмидесяти лет и в которой Ольгу Александровну возили крестить.

Мужиков собралось порядочно, пришли и бабы. Все очень деловито осматривали, примеряли, распределяли, что кому. В карету забрались несколько человек, парни и девки, и, сидя на широком сиденье, раскачивали карету и дико веселились, галдя и хохоча.

Старинные высокие рессоры с ремнями, на которых подвешена карета — собственно, не карета, а дормез, — особенно заинтересовали мужичков, и они все примерялись, куда бы эти рессоры приспособить. Большие фонари были вынуты и распределялись как отдельное имущество.

Мужики дивились все нашему веселому виду и тому, что мы как будто бы и не жалеем ничего.

Дни стоят теплые, пожалуй, скоро надо будет и в поле выезжать.

---

[1] 3 марта 1918 года в Брест-Литовске был подписан мир представителями Советской России, с одной стороны, и Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарского царства — с другой. Ознаменовал поражение России в Первой мировой войне. Из записи Ильина от 25 февраля (по новому стилю 10 марта) 1918 года явствует, что на данный момент он датирует свои дневники еще по старому стилю.

[2] Владимир Евстафьевич Скалон.

15 марта. Самайкино

Приезжали Мертваго. У них тоже отобрали всю землю и описали имущество, но до дома пока не добрались. Живем мы недружно, часто ссоримся, Мара проявляет слишком большую симпатию к мадьяру Анталю[1] и ведет себя чересчур недвусмысленно, так что даже по этому поводу был разговор.

Из Сызрани прислали трех красноармейцев для «охраны хлеба в амбаре». Лишь только начинает темнеть, эти «охранители» открывают пальбу...

28 марта. Самайкино

Оставленную нам землю пашем сами. Около дома вместо пустыря, который был, вскопали огород, вдоль служб вспахали под кормовую свеклу, около оврага решили посадить картофель. Мужики сначала было злорадствовали: «Нате, мол, поработайте, довольно мы на вас работали», а потом, как увидели, как мы принялись за дело, так только затылки стали чесать, так на их рожах и написано: «Ишь, проклятые, и ведь ничем их не возьмешь!», а один прямо так и сказал:

— Жавущие, што и говорить!

2 апреля. Самайкино

Необъяснимую прелесть имеет физический труд на воздухе. Я, кажется, мог бы всю жизнь прожить на земле на небольшом клочке с тем, чтобы самому работать и видеть результаты своих трудов. Мне думается, что самое естественное для человека, самое здоровое и самое нормальное — работать на земле.

Мне думается, что в общении с природой человек становится ближе к Богу, к тому подлинному, настоящему, что движет миром, Вселенной, космосом.

Почти с рассветом выезжаешь и таким усталым, таким здоровым, таким голодным и таким довольным возвращаешься к обеду!

20 апреля. Самайкино

Ваня живет с женой на Поляне. Ездил к нему сегодня, а оттуда в Новоспасское за почтой. Возвращался поздно вечером. Совсем весна, так дивно было ехать лесом. Чем-то новым, молодым опять повеяло, как-то по-другому перешептывались деревья, дрожал и переливался воздух... А на душе была грусть. Дома — споры, нелады, вот-вот начнут выселять, а то придут какие-нибудь красные и пустятся зверствовать. И ведь некуда деться, некуда уйти от всего этого! Кажется,

[1] Военнопленный.

мало ли места! Ведь жизнь так прекрасна, столько еще свободных, нетронутых земель! Всем ведь с избытком! И вот нет же, надо резать, убивать, замучивать... Ради кого, ради чего!

2 мая. Самайкино

Прошла и Пасха. Я с Иваном на половинных началах достал в Томышове самогону лучшей очистки, зажарили поросенка, сделали куличи и пасхи. В общем же было мило и хорошо, хотя как-то грустно, скорее...

Дядюшка Толстой[1] написал поразительное письмо мне. Дело все в том, что Ольга Александровна, Марья, пожалуй, и Павел — все както стали намекать, что надо бы устраиваться на службу, что нельзя же жить все время в деревне и т.д.

Мне и самому стало казаться, что надо что-то делать, хотя это форменная ерунда — не к красным же идти. Да наконец, ведь я и тут работаю. Я написал дяде Толстому письмо, в котором сетовал на трудность теперешней жизни. И вот вчера получил ответ. Я глазам не поверил. Писал Толстой, бывший вице-губернатор, дворянин, представитель одного из старейших родов:

«Нынешний строй больше всего, конечно, подходит к нашим крестьянам. По существу, крестьяне были всегда близки социализму и нет ничего удивительного, что они так быстро и легко к нему примкнули...» И далее: «...что касается Миши[2], то он поехал в Пензу инструктором в Красную армию, и я его в этом вполне одобрил, служить и работать надо. Советую и тебе подумать над этим».

22 мая. Самайкино

Почти три недели не брался за дневник, потому что за это время успел побывать в Царицыне и чуть было не застрять. Дело все в том, что на Поляне прошлым летом Марья сдала запасному батальону землю под огороды. При расчете оказалось, что шесть с лишним тысяч полк должен уплатить. Казначей выдал расписку, а полк ушел в Царицын на расформирование. И вот теперь Мара нашла эту расписку и предложила мне съездить получить деньги. Я под влиянием всех этих разговоров, что надо искать «службу» и пр., взял да и согласился.

Уже в Сызрани я увидел, что взялся за крайне трудное дело, но упрямство, с одной стороны, и отсутствие настоящего мужества, с другой, не позволили мне вернуться. Толпы солдат, масса мешочников, расстрелы тут же у полотна железной дороги после обысков

[1] Алексей Александрович Толстой.
[2] Михаил Алексеевич Толстой.

каких-то прыщавых чекистов... На полпути я вылез и сел в обратный товарный поезд, решив, что ехать просто глупо, но потом, доехав до какой-то остановки, опять вылез и снова поехал.

Со мной был только мой липовый документ, выданный мне Ососовым. Перед самым Царицыном ночью мы ждали поезда. Весь вокзал был забит солдатами, я и подполковник Попов, артиллерист, командир чешской батареи, стояли в багажной комнате неподалеку от дежурного по станции. Вдруг увидели толпу солдат; крики, ругань неслись со всех сторон. Вся толпа ввалилась в багажную, в середине был оборванный, совершенно окровавленный человек в солдатской фуражке. Один глаз кровоточил и был закрыт, другой страшно вспух.

— Ну, этот? Говори! — кричали из толпы, когда подвели его к нам.

Опухшая красная щелка с секунду смотрела на нас.

— Не, не этот...

Толпа повалила дальше, волоча изуродованного человека. Мы бросились узнавать, в чем дело. Оказывается, в зале, где все вповалку спали, один солдат ощутил у себя в кармане чью-то руку, схватил, закричал «воры», и все немедля принялись чинить самосуд над попавшимся. Тот, чтобы спасти шкуру или отдалить момент гибели, стал клясться, что он не один крал, что есть у него сообщник и что если его пощадят, то он укажет этого сообщника. Вот его и повели, показывая всех и спрашивая, узнает ли он сообщника или нет.

— Ну позвольте, а вот, чтобы спасти себя, если бы он взял да и указал, положим, на вас, — сказал я Попову, — или на меня, то тогда?..

— Ну тогда, пожалуй бы, кого-нибудь из нас и растерзали... — ответил он.

Перед самым Царицыном делали поверку пассажиров какие-то солдаты и рабочие с винтовками. Некоторых тут же арестовывали и объявляли мобилизованными в части против Деникина. Каким образом мой документ не бросился в глаза, понять не в состоянии. Солдат, перекладывая винтовку с одной руки в другую, долго смотрел мою потертую бумажонку и наконец, ни слова не говоря, вернул ее мне. Вслед за ним шли трое чекистов с винтовками, но я уже был спасен...

В Царицыне, куда приехали ночью, застал целый военный лагерь. Тут уже чувствовалась война и близость Деникина. В большой гостинице была суета, масса каких-то вихрастых солдат, казаков, везде шумели, кричали, суетились. У дверей, на площадке лестницы, стоял столик, за которым сидел человек, — я сдал ему мою бумажку. Мне отвели номер. Я почти всю ночь не спал, прислушиваясь к шуму

и шагам в коридоре. Чуть свет взял свой сверток и вышел. Все тот же человек у стола остановил меня:

— Это ваш документ? — и, получив утвердительный ответ, сказал: — Вы вот что, берите его скорее и больше сюда не приходите, тем более что знаете ли вы, кто в этой гостинице? Тут Чрезвычайная комиссия Донского казачьего войска, действующего против Деникина...

Я взял свой документ и вышел на улицу. Солнечный, яркий, теплый день освещал разношерстную толпу, всколыхнутую точно муравейник, извозчиков, трамваи, куда-то бегущие...

Что было делать? Нанял извозчика и поехал в полк, который расформировывался за городом в деревянных бараках. Тут я нашел заведующего хозяйством и нескольких офицеров — все жили под страхом мобилизации и, елико возможно, тянули расформирование. Я получил все справки и по их указанию отправился в демобилизационную комиссию. В большом здании, в которое поминутно входили и из которого выходили люди в кожаных куртках с бомбами и наганами у пояса, помещалась эта комиссия. Когда я вошел, приемная уже была полна народу, направо у столика сидел в кожаной куртке еврей, на бумажке у него было масло, кусок хлеба и в стакане чай. Он мазал перочинным ножом масло, откусывал, запивал чаем и затем масляными пальцами отрывал клочок бумажки и давал вновь вошедшему. Надо было становиться в очередь у больших дверей.

Дом, судя по прихожей, подъезду и дверям, принадлежал какому-нибудь царицынскому богатею. Шли часы, люди в кожаных куртках и с бомбами входили и выходили, дверь открывалась и закрывалась... Вот и я переступаю порог. Большая комната, большой письменный стол и за ним солдат в расстегнутой на вороте рубахе. Я подошел к столу. Предыдущий проситель еще не вышел, я успел уловить его слова:

— Запишите меня в Красную армию против Деникина.

— Против банд Деникина, — поправил солдат.

— Так точно, против банд, — ответил, видимо, прапорщик, а может быть, и выше, во всяком случае, это был офицер...

— А вам что угодно? — обратился он ко мне. — Вы кто такой?

— Я приехал из Сызранского уезда, там стоял на постое батальон и остался должен за землю, которую арендовал, шесть тысяч рублей. Так вот как теперь быть, полагается ли уплата или нет?

— А кто же хозяева земли были?..

— Воейковы, это было их имение...

— Имение! Воейковых! Буржуи, и вы воображаете, что можете что-либо получить!.. Идите, товарищ, и больше не приходите, смотрите, а то, может, еще и не то услышите!..

Я знал, что должно было так случиться, и не понимаю, чего лез. Назад ехать было еще труднее, так как поезда проверяли со всей строгостью, и только слепое счастье спасло меня...

Что поразило, так это огромное количество мешочников, едущих в разных направлениях. При остановках поезда, обычно за станцией, подальше вправо или влево, стояло несколько подвод с белым хлебом «калачами», — и из вагонов толпами бросались бегом покупать этот хлеб. Но не всегда удачно, потому что эти возы разгонялись, а раз даже красноармеец с винтовкой открыл стрельбу

В общем, вид растерянности, полного хаоса и какого-то недоумения у большинства. Что-то случилось, что-то стряслось, но что, никто никак в толк взять еще не может. Наряду с этим много хулиганства, босячества, преступности, разнузданности. В одном из вагонов какой-то солдат при осмотре обнаружил под бабой мешок муки, пырнул штыком — и бабу, и мешок пропорол насквозь!..

Я днем большею частью лежал на третьей верхней полке, которая в прежнее время была для вещей, и вылезал только ночью. Минутами казалось, что не выберусь или сочтут за шпиона и тут же прикончат или же в лучшем случае сейчас же мобилизуют.

9 июня. Самайкино

Сызрань захвачена чехами. Подошли, говорят, казаки. Первыми восстали офицеры. Все всколыхнулись. Чехи, оказывается, пошли эшелонами из Пензы и по пути разбрасывали воззвания, в которых говорили, что они не хотят вмешиваться в русские дела, но намерены идти через Сибирь на соединение с союзниками. Ездил верхом на станцию. Проезжая Томышово, видел нескольких солдат, вернувшихся с фронта, которые вытащили припрятанные винтовки и собираются идти поступать в Народную армию. На станции получил прокламацию, в которой чехи говорят о своих мирных намерениях и о том, что их единственное желание — выбраться скорее из России. Впечатление от этих листков неважное: говорят, что думали, что чехи вступятся, ан выходит, что они ни во что не хотят вмешиваться. Начальник станции особого мнения и уверяет, что это они просто только «для политики», а на самом деле пойдут обязательно на Москву и что в конце концов все равно — чехи ли, черти ли, только бы не эти сволочи большевики.

Как бы то ни было, положение мне представляется запутанным и сложным. Большевикам, возможно, придет конец, но при условии, если мы сумеем организоваться, чтобы выдержать их напор, а он, несомненно, будет.

Самыми героями оказались Новоспасенские. От них никто этого не ожидал, тем более что жгли и грабили они, пожалуй, больше других, а тут вдруг у них оказались два прапорщика из их же братии, которые быстро подняли бóльшую часть села, вывели их навстречу красным, которые пустились вслед за чехами.

По дороге обратно со станции ехал через Томышово с остановками. Разговаривал со знакомыми мужиками. Подъехал к порядочной толпе, что-то обсуждали, но, когда я подъехал, все замолкли. Вообще мужики держатся выжидательно и, судя по всему, смотрят, чья возьмет. При разговоре в глаза не смотрят. Я роздал несколько воззваний Самарского комитета Учредительного собрания.

12 июня. Самайкино

Очень жарко, около 35 по Реомюру[1] Ходил на фабрику к Акчурину и раздавал мужикам и рабочим прокламации и воззвания. Наши инвалиды ликуют — хороший народ. На них можно положиться. Рады и военнопленные, они по-прежнему честно несут охрану и сторожат по ночам наш дом.

Вчера вечером приехал на велосипеде из Сызрани Александр Дмитриевич[2]. Весь вечер рассказывал про восстание. Оказывается, в Сызрани Лебедев[3], который был морским министром при Керенском, — эсер, затем полковник Чечек — чех, который теперь в Самаре уже. В Самаре образовался комитет Учредительного собрания[4], во главе офицеров какой-то полковник Галкин. Воззвания подписаны Лебедевым, Фортунатовым, Вольским, Веденяпиным — все члены Учредительного собрания.

У нас горячие споры. Ваня и Мара уверяют, что надо оставаться и что мы «отсидимся», ибо если красные и пойдут, то по линии дороги. Александр Дмитриевич сомневается, я же нахожу, что надо обязательно уезжать, — мое мнение, разумеется, вызвало усмешку Ольги Александровны. Марья смотрит так, что, кажется, подозревает меня в трусости.

Ночь вчера была очень темной, и мы, после споров, вышли во двор и прислушивались к странному отдаленному гулу и видели вспышки зарева. Где-то, видимо, стреляли. Я лег на веранде, что выходит на внутренний двор. Было душно, на душе беспокойно,

---

[1] +44°C

[2] Воейков.

[3] Владимир Иванович Лебедев.

[4] Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) — эсеровское правительство, созданное в Самаре 8 июня 1918 года после захвата города частями Чехословацкого корпуса. См. также: *Ильин И.С.* Комуч // Новый журнал. 1961. № 65.

звенели комары. То и дело со станции доносились какие-то необычные тревожные гудки паровозов. Под утро приснился сон: позиции и явно бухали пушки. Звуки орудийной канонады были столь реальны, что я открыл глаза и не мог понять, где я и что со мной. И вдруг увидел, что вдоль перил веранды стоят в капотах Ольга Александровна, Мамзя, кухарка и горничная. Я быстро накинул халат и вскочил. Оказывается, на самом деле бухали пушки в стороне Новоспасского — все вглядывались в синеющий лес и напряженно слушали. «Бум... бум... бум... бум...» — шла очередь выстрелов. «Бум... бумбумбум...» — отвечали ближе. «Дзян, дзян, дзян, дзян», — эхом тявкали разрывы. Привычное ухо определило и количество орудий, и калибр, очевидно, сошлись два броневика. Кто бы мог подумать? Вернуться с германского фронта за две с половиной тысячи верст к себе домой, чтобы попасть на новый фронт. Вот уж из огня да в полымя!

Пошел во флигель к Александру Дмитриевичу, который оставался ночевать у нас. Поговорив с ним, решил, что поеду прямо в Сызрань поступать добровольцем в Народную армию; если же узнаю, что дело плохо, вернусь вывозить семью. На душе скверно, чувствую, что каша заварилась надолго. В Коптевку я поехал на бегунках с Василием Андреевичем[1], он должен был меня отвезти и вернуться. Очень неосмотрительно вылез и отпустил его, а сам вошел на станцию. Застал у начальника разъезда полную панику — ничего не знает, с Новоспасским связь прервана. Через четверть часа, пока я старался чего-нибудь добиться, подошел поезд с товарными платформами, на которых сидели плачущие женщины, дети, навален был скарб, кровати, шкафы. Слухи самые нелепые — оказывается, бегут из Новоспасского. Не раздумывая, пошел по самому пеклу обратно. В Томышове нашел лошадь и к трем часам на телеге приехал домой. Решили немедленно собираться. Начались мучительные сборы. Мара укладывала сундуки и теплые вещи, пересыпая их нафталином. Няня по своему обыкновению затеяла стирку детского белья, насыпали в мешки муку, картофель, пшено на тот случай, если придется скитаться в лесу. Военнопленные подали три воза к заднему крыльцу, которые постепенно и грузили. Трудно передать, как тяжело было собираться. Конечно, ссорились и до последней минуты не знали, кто поедет. Марья, лишенная всякого чутья, все уговаривала остаться и так повлияла на своего супруга и Павлика, что те решили остаться. Ольга Александровна тоже все время говорила, что надо оставаться и что это безумие — куда-то

[1] Денисовым.

ехать. К девяти часам, наконец, собрались. Александр Дмитриевич решил за Мусей, дочерью пяти лет[1], не посылать и оставить ее в Томышове. Горьки были последние минуты: горничная и кухарка плакали, Катя отдала им свои платья — одно бальное с настоящими кружевами.

Тронулись при полной луне. Тихо поскрипывали телеги. Ехали так: впереди на велосипеде Александр Дмитриевич, затем тележка, в которой сидели Ольга Александровна, няня с годовалой Гулей, потом наш воз, на котором сидел и правил я, одетый под мужика, на вещах сидели Катя, Тата и Алик рядом со мной, потом на следующем возу Мара с Юркой и третий воз с продовольствием, на котором были военнопленный мадьяр Анталь и русин Петр, пожелавшие разделить с нами нашу участь.

Ехали околицей, тихо, и не разговаривали. Как ни необычна была обстановка, как ни трагичны обстоятельства, но все как-то забывалось — так волшебно прекрасна была ночь, пустынные улицы села перерезывались черными тенями изб, опаловые лучи луны мягко играли на куполе колокольни. Было так тихо, как только бывает в такие лунные летние ночи после жарко-томительного дня.

13 июня

Светало, когда мы наконец подъезжали к теткиному имению Репьевка, ехали репьевским лесом по густому песку. Тут дорога всегда была очень тяжелой, а теперь при перегруженных возах совсем лошади устали. Наша Жар-Птица раз даже остановилась и зашаталась так, что казалось, вот-вот упадет. Алик все время мучительно клевал носом, и я поминутно его будил. Раз так сунулся, бедняга, что чуть не свалился прямо под хвост лошади.

Странный вид имела дорога: вместо обычных веселых огоньков — пустые полустанки и будки, молчаливые черные тени потухших сигнальных фонарей и семафоров, мертвая белеющая насыпь, по которой словно серебряная тонкая нитка поблескивают от лунного света рельсы. Ни гудков, ни малейшего звука — жуткая тишина.

В Репьевке, несмотря на три часа утра, все оказались на ногах, потому что никто не ложился спать. Нас встретили тетя Саша[2], Катя[3], генерал-майор Зорин с женой и двумя детьми.

После первых восклицаний, суеты встречи мы решили выезжать дальше в девять часов утра. Но это оказались только предположения.

---

[1] Мария Александровна Воейкова. Автор здесь ошибается: Мусе было тогда только четыре года.

[2] Александра Александровна Толстая-Мертваго.

[3] Екатерина Борисовна Мертваго.

В результате, несмотря на явную опасность, остались на весь день. Утром отсыпались, потом после чаю ходили с Зориным в село, где застали сход. Слушали мужиков. Настроение у репьевских самое революционное, против Мертваго настроены сильно. Говорят, что подходит Муравьев, тот самый, что брал Киев. Я было пустился в рассуждения, но вовремя спохватился, так как начали раздаваться явно враждебные возгласы. Когда обернулся, Зорина уже около меня не было.

За обедом я очень уговаривал Зорина уезжать, но он мне говорил на это: «От немцев уходил и цел остался, а от этой сволочи и подавно уйду». Опять мне было неловко, точно я уговариваю из трусости, тем более что меня никто не поддерживал, а тетка даже сказала.

— Вот так капитан артиллерии! Большевиков испугался!

Она и Катя категорически отказались уезжать, говоря, что никогда не бросят вещи на произвол судьбы и что все мои страхи — пустяки и паника. Просто ужас как глупо. А между тем я совершенно отчетливо чувствую все время надвигающуюся беду. И если бы только моя воля, ехал бы немедленно. Решили ждать до вечера и тронуться под утро, пока не подъедут Ваня с Наташей[1], которые поехали с Поляны отдельно от нас.

Зорин, георгиевский кавалер, своим авторитетом действовал еще больше на тетку, да и меня действительно ставил в глупое положение. Под его влиянием Ольга Александровна и Мара начали тоже говорить о бессмысленности блуждания, и казалось, вот-вот сами останутся...

Зорина не могу понять никак, тем более что он сам видел настроение крестьян и сам, главное, скрылся, боясь меня даже поддержать. В чем дело, желал бы я знать?!

После обеда немного полежали в прохладных комнатах. Затем сидели все за чаем в большой, столь знакомой столовой, где в былое время устраивались грандиозные ужины, с веранды гремел оркестр, крутились пары, щелкали шпоры, в окна неслись веселые голоса и отдаленный шум бивуака, когда бывали маневры... Как все это промелькнуло! Где все эти каргопольцы, веселые кавалькады, шум, смех, веселье, звуки старинного вальса, белеющая тумба солнечных часов в густой зелени клумбы?

Разговор не клеился. Ольга Александровна и Мара положительно делали вид, что они едут чуть не против воли. Александр Дмитриевич больше философствовал, а я боялся говорить, потому что меня явно не одобряли в моем желании скорее отсюда выбраться. В два

[1] Наталия Воейкова.

часа начали запрягать и в четвертом часу утра так же расселись и тронулись. Вышли провожать на крыльцо тетя, Катя, Зорины. Тетка махала платком и кричала жене, чтобы она не забыла вернуть ночной горшок, который та взяла для девочек, ибо обнаружилось, что своего не взяли.

Проехали село, которое начало уже шевелиться. Пересекли полотно, поднялись на гору и вытянулись по дороге в Сызрань. Брызнуло ослепительными лучами солнце — открылась чудесная панорама: село Репьевка, усадьба, белеющая колокольня церкви при усадьбе, где склеп Толстых, вьющаяся серебристая полоска полотна железной дороги, золотые поля ржи, далекое Самайкино в фиолетовой дымке раннего утра, полоска, словно голубой дымок, леса, где я столько охотился вот такими же утрами...

По полотну ползет броневик, видны облака пара в прозрачном утреннем воздухе, и, когда он уже почти растаял, расплывшись в синеве, до нас на гору долетел протяжный, тонкий свист. Это «наш» броневик из Сызрани, значит, красных еще нет.

На душе как-то стало светлее и спокойнее, когда Репьевка осталась позади.

14 июня. Сызрань

Около одиннадцати часов утра мы сегодня въехали в Сызрань. Ехали по жарким, пыльным улицам. Тут уже образовался штаб. Формируются отряды и батальоны. Стали попадаться группы солдат, протягивающих провода полевых телефонов, казачьи разъезды, одиночные всадники. Усталые и измученные, вылезли мы все у дома, деревянного, в два этажа, где у Александра Дмитриевича имеются две комнаты, которые он занимает, так как тут собирает свои лекарственные травы. Случилось то, что с ним всегда случается, с этим несуразным и безалаберным человеком. Он нам наговорил, что у него две великолепные комнаты, в которых все могут разместиться, а на деле оказалось, что это две клетушки под самой крышей, заваленные книгами, которые он начал сюда свозить с Холмов, сухими травами, и при этом температура и пыль ужасающие. Приезжая сюда наездами, он решил, что все это очень хорошо, а на самом деле даже вещей некуда сложить. Мы с Катей и няней, недолго думая, нашли себе две комнаты в порядочном доме некоего Ежова, бывшего управляющего нашего уездного предводителя Н[иколая] Н[иколаевича] Давыдова. Этот Ежов очень благообразен, зажил своим домом, имеет коров и хозяйство, а бывший его патрон весь в долгу как в шелку.

Сюда, на Кузнецкую, 18, мы с няней и девочками и перебрались.

Наша радость, однако, что перебрались, была весьма непродолжительна, ибо, когда легли, нас чуть не заели клопы, которых оказалось невероятное количество, я так и не мог заснуть, несмотря на смертельную усталость, а дети буквально катались, бедняжки, как колобки.

15 июня. Сызрань

Ходил в штаб. Начальник обороны генерал-лейтенант Зубов[1], милый симпатичный старик. Полковник Сосье, начальник штаба, с места в карьер предложил мне инспектора артиллерии обороны, так как я оказался старшим артиллеристом. Впечатление штаб на меня произвел грустное. Все что-то плохо осведомлены, начальство самое разнообразное, масса каких-то прапорщиков, офицеров без дела. Большую роль играет прапорщик Лебедев[2], эсер, бывший морской министр при Керенском, а теперь каким-то образом ставший полковником. Пришел домой и крепко задумался. В руках был план обороны с обозначенными двумя батареями, одна из двух пушек на Симбирском шоссе, другая в стороне Батраков — вот и вся артиллерия. Все живут слухами. Никто ничего не знает, гадают, где большевики, сколько их, откуда ждать. На позициях гимназисты, немного офицеров, рабочие-железнодорожники. Вечерами рабочие уходят по домам, в праздники совсем не появляются, в субботу идут в баню.

Ольга Александровна, Мара, Алик, Юрка и Мамзя перебрались к Мусиным-Пушкиным.

16 июня. Сызрань

Большевики продвигаются. Приехал Ваня с Наташей, говорит, что за ними по пятам продвигались красные и они покинули Репьевку, когда красные почти уже подошли. Сегодня, говорят, Репьевка взята.

К Мусиным-Пушкиным приходили какие-то бабы и сообщили Ольге Александровне, что Мертваго в Репьевке и Толстые в Каранине убиты. Новоспасское выжжено. Что-то не верится, да и слухи эти, по-моему, маловероятны. Очень волнуюсь за своих и думаю, что со всем этим штабом и защитниками оставаться здесь — безумие. Саша Мусин-Пушкин разыгрывает из себя государственного мужа. Неожиданно он стал эсером и очень близок к Лебедеву. Всего лишь в [19]16 году, когда в Сызрань приезжал Государь, он, тоже в числе дворян, представлялся и на другой день написал в «Сызранский листок» вос-

[1] Сергей Александрович Зубов.

[2] Вероятно, Владимир Иванович Лебедев.

торженную патриотическую статью, как у него на глазах выступили слезы при виде «обожаемого монарха»... Ох уж эти восторги! Я что-то никогда в них очень не верил. И вот результат. А дворянин старого рода — поистине настоящее вырождение.

17 июня

Днем ездил осматривать свои пушки. В чем мои обязанности, не знаю да и не особенно хочу узнать, так как вижу, что ничего ровно из этого не выйдет — прежде всего надо увезти семью. Ночью была тревога. Согласно приказу, в случае приближения большевиков железнодорожные мастерские подают гудки, и вот около одиннадцати часов протяжно загудели сигналы. Я побежал в штаб, чтобы узнать, что надо делать и куда идти. Там хлопотал Лебедев. Оказывается, большевики продвинулись до Образцова — последнего разъезда, и Лебедев собирается эвакуировать штаб. Стало ясно, что все эти люди удерут на приготовленных двух-трех баржах, а мы все останемся расхлебывать кашу.

Со всеми этими невеселыми мыслями шел я домой к Ежову. В полутемных молчаливых улицах около домов маячили какие-то тени людей, одетых как попало, с винтовками в руках, — оказывается, домовая охрана. Каждый останавливает, расспрашивает и сам рассказывает вести, неизвестно откуда взятые: идут японцы, их уже видели. Удалось подсмотреть через щели закрытых занавесок вагонных окон, так как японцы строго соблюдают секрет своего появления. Чехи продвинулись до Репьевки, и большевики отбиты с громадным уроном. На нашей улице встретил Сашу Мусина-Пушкина. Мы с ним дошли до его дома и здесь увидели сидящих на крыльце его тетку и Мару — тоже ждали новостей. Когда я на первый вопрос заговорил о легкомыслии штаба и полной его ненадежности и о том, что Сызрань при таких порядках наверняка возьмут, так Саша начал возражать, что все это чепуха, что все обстоит благополучно и что дети и женщины могут спать спокойно, а все мои разговоры просто паника и больше ничего. Я сильно обозлился, но сдержал себя и уже больше ничего не говорил.

Эта людская глупость — или полное непонимание — просто поразительны. Вместо того чтобы говорить правду и настаивать на том, что может быть для всех полезно, чтобы женщины и дети уезжали из боевой зоны, эти господа утешители делают как раз наоборот и будто хотят, чтобы вошедшие большевики застали всех врасплох. Эта привычка, положим, и на фронте часто бывала и не оттуда ли повелась: как только город накануне сдачи, так выпускается приказ, в котором говорится, что все должны «оставаться на местах и зани-

маться мирным трудом, так как город или местность в полной без опасности». А наутро, когда обыватель просыпался, видел на улицах немцев или австрийцев.

Во всяком случае, я твердо пришел к заключению, что надо вывозить семью.

18 июня. Сызрань

Ходил в штаб, где не мог найти даже никакого приблизительного плана или обозначения боевой линии. Решил съездить на батареи. Полдня употребил, пока ездил на извозчике. Пушки разнокалиберные, есть одна даже мортира тяжелая, и откуда только ее выкопали? Прислуга разошлась по домам, потому что днем «спокойно», и собирается лишь вечером. Черт знает что. Нечего и вмешиваться во все это дело, все равно бессилен — надо уезжать, а то погублю семью. Да и куда я гожусь, когда они в доме Ежова под такой надежной охраной, как прапорщик Мусин-Пушкин и эти пушки без прислуги...

Заходил к Пушкиным, где мы с Катей обедаем. С Ольгой Александровной и Марой произошел, разумеется, неприятный разговор, даже возвысил голос, так меня все это возмущает. Под влиянием, разумеется, Сашиных стратегий они отрицают всякую опасность, а Мара — так та даже сказала, что в случае чего «отсидимся в подвалах». Жена говорит, что Ольга Александровна еще против отъезда потому, что хочет окончательно узнать об участи Мертваго и Толстых.

После этого разговора я предложил жене обедать в соседнем доме, где отпускают хорошие обеды.

Ваня с Наташей, видимо, собираются уезжать тоже — они уже научены: выехали из Репьевки через шесть часов после нас — хотелось поспать — и чуть не попались, видели, как по Репьевке открыли огонь. Ночью решил ехать в Тростянку, большое село по ту сторону Волги в двадцати верстах. Ходил после обеда в штаб, чтобы спросить разрешения отвезти семью, но оказывается, что никто этим вообще не интересуется и, по-видимому, у всех тоже уложены чемоданы — у Лебедева-то во всяком случае.

Один пехотный капитан, узнав, что я хочу вывезти семью, сказал, что утром из Самары от полковника Галкина — военного министра Комуча — пришла телеграмма о том, чтобы Сызрань эвакуировать, так как никакой помощи он дать не может, но что эта телеграмма секретная и во избежание паники ее приказано не оглашать. Старая история! Я так и думал. Вот тебе и Мусин-Пуш-

кин! Неужели он, когда спорил со мной, знал об этой телеграмме? А ведь не мог не знать, он ведь в числе немногих посвященных. И как он смеет спорить, отговаривать — право, такие люди достойны казни!

В городе, на улицах, толпы гимназисток, молодых людей, вовсю работает кино, масса каких-то штатских — одним словом, все веселятся и радуются жизни, не подозревая, конечно, о телеграмме Галкина.

Перед вечером заходил Александр Дмитриевич и старательно уговаривал не уезжать, доказывая, что никакой опасности нету. Я никак не мог понять, какую цель он преследует, ибо Александр Дмитриевич, разумеется, не стал бы беспокоиться, если бы его это лично не касалось, даже в случае если бы на глазах у него человек тонул, — а тут вдруг уговаривает. Но все быстро разъяснилось, оказывается, его послали Ольга Александровна и Марья настоять, чтобы мы не брали второй лошади. Мы решили ехать на двух возах, оставив две лошади, телегу и тележку Ольге Александровне и Марье, так как на одном нам никак не уехать.

Мы долго спорили, пока, наконец, я не дал слова, что немедля же приведу одну лошадь с телегой обратно из Тростянки, как только мы доберемся.

19 июня. Сызрань

Всю ночь укладывались. Напротив наших дверей комната какого-то офицера, зашел на минутку к нему. Оказывается, поручик-артиллерист. Милый мальчик. Смеется и говорит, что я хорошо делаю, что увожу семью, он остается, потому что ему решительно все равно, как уходить. Оказывается, он в одной из батарей, в той, что на Симбирском шоссе, и, когда я удивился, что ни разу его не видел, он ответил, что там и делать нечего, все равно никого нету, а оставаться одному «караулить пушки» — благодарю покорно. В два часа, с первыми проблесками рассвета, выехали на двух возах. На первом жена, Тата и няня с Гулей на руках, я в рубашке-косоворотке, с вожжами в руках. На втором русин Петр на Сером с вещами. Няня устала и страшно была раздражена. Все время ворчала и бранила главным образом меня за то, что Царя согнали, — грозит, что за это всю жизнь буду маяться и бегать...

В Батраки приехали полным, солнечным утром. Попали удивительно удачно: паром, уже нагруженный, собирался отваливать.

Натянутые нервы несколько успокоились, когда наконец очутились на том берегу. Жара жестокая. Оводы вконец измучили ло-

шадей. Девочки ведут себя молодцами — они очень хорошо переносят все невзгоды. Татка, верно, будет помнить о всех этих передрягах.

В Тростянку приехали по самому пеклу в два часа дня. Отыскали знакомого мужика Александра Дмитриевича — Козлова, собственно, сделали то, чего не следует делать, ибо самое скверное — это попадать к Шуриным знакомым, так как без исключения он о себе оставляет память такую, что вообще о нем лучше не заговаривать. Фрол Тихонович Козлов, видимо, очень богатый крестьянин. Положим, тут, кажется, все зажиточные. У изб не видно наших борон и плугов — все машины. Около каждой избы прекрасные вишневые сады. Огромное село выглядит пусто — оказывается, все мужики в поле на сенокосе. Дома только бабы да дети и старики.

Козлов устроил нас неважно — в маленькой, нагретой жарким солнцем комнатке с тысячью мух. Невольно вспомнилась Галиция, Польша: там крестьянские дома чисты и аккуратны даже у бедняков, а тут в богатом селе у какого-нибудь важного Козлова, которого, как говорится, в десяток тысяч не возьмешь, не комната, а улей какой-то. Стоит сплошной звон. Есть надо с оглядкой, чтобы не проглотить муху...

Няня кое-что приготовила на спиртовке, мы все поели, потом Катя и дети, усыпанные мухами, слегка полежали на горе тюков, наваленных в клетушке, я же с Петром под навесом лежал в телеге на сене. Как только стало прохладнее и солнце начало склоняться, пошли по селу искать себе жилище. Бабы с любопытством нас обступили и все расспрашивали, откуда мы, кто такие и куда едем. Чувствуется какая-то подозрительность. Однако вскоре все изменилось, потому что выручила няня: она начала «под большим секретом» всем сообщать, что мы помещики, что у нас четыре тысячи десятин земли и т.д. Это открытие сразу все изменило: все стали заботливы и участливы, поясняя свою подозрительность:

— А мы думали, не комиссары ли какие?.. Шляются и они тута!..

Нашли себе, а через несколько изб и Ване с Наташей, очень приличное помещение. Только хотели переезжать, как в конце села появилась телега с ними. Наташа очень плохо себя чувствует и еле доехала. К восьми часам наконец устроились на новом месте. Наши хозяйки — вдовы Артюхины, мать и дочь, их так на селе и зовут «вдовы Артюхины». Только в деревне могут так сохраняться люди. Мать выглядит совсем молодой, несмотря на то что дочь была несколько лет замужем и успела овдоветь. Они живут своим домом и хозяйством. Женщины очень хорошие. Мы заняли две комнаты. В комнате побольше поместилась няня с девочками, все на полу, в другой — за-

кутке — мы.

20 июня. Тростянка

Завтра еду в Сызрань отвести лошадь, как обещал Александру Дмитриевичу. Жара свирепая, в остальном все ничего, дети чувствуют себя превосходно. Вот насчет питания хуже: няня варит суп без мяса, вот и все.

Вечером со стороны Сызрани слушали орудийные выстрелы.

21 июня. Тростянка

Рано утром выезжал к парому. Было очень хорошо ехать по прохладе. Дорога шла сначала небольшим леском, потом полями. Необычайно было красиво, когда вдруг блеснула стальная гладь Волги. Что за река! Глядя на эту ширь, как-то не верится ни в революцию, ни во все это безобразие. И вот среди этой родной, русской, самой прекрасной в мире природы чувствуешь отчетливо каким-то подсознательным чутьем, что надвигается что-то грозное, неотвратимое, давящее, тяжелое.

Почти такое же чувство жило во мне все лето в лагерях 1914 года, даже зиму тринадцатого, все казалось, что что-то стрясется, идет какое-то несчастье, но какое, так и не знал.

Кажется мне, что мы, русские, и Россия переживем отчаянную катастрофу и мы, дворяне и правящий класс, жестоко поплатимся за свою мягкотелость, за свою идиотскую бесхребетность. Ведь вот разве не характерно, что, когда узнали, что мы помещики, а не комиссары, сразу же изменили отношение к нам, и все же, несмотря на это, нас разграбили и «согнали». В чем же тут дело? А по-моему, вот в чем: «Вам дана была власть, а вы не умели править, валяли дурака, разъезжали по заграницам и разводили в гостиных сантименты: “мужичок”, “солдатик”. Ну коли так, так и пошли к черту — будя: нам таких не надоть».

Я видел еще по фейерверкерам и юнкерам, что именно наиболее сознательная часть народа так и смотрит· кадровый офицер — это одно, а всех этих прапорщиков из учителей да из школ в грош не ставили и даже как будто стыдились, что такие появились офицеры — ни рыба ни мясо. Дворянство выродилось. Это не в упрек, все вырождается, все кончается, но упрек в том, что преемственности не создали и за дворянством никого не оказалось, а среднего класса, этого фундамента всякого народного существования, вернее государственного, в России вообще не было или был очень незначительный, ибо не успел еще народиться. Вот в критическую минуту и полетело все к черту.

Я так задумался, что и не заметил даже, как Серый остановился

у самых сходень. Каково же было мое удивление, когда мне сказали какие-то мужики, стоявшие тут же, что паром не ходит, потому что красные наступают и Сызрань вот-вот будет отрезана. Постоял я в нерешительности, посмотрел на синевшие дали на том берегу, на раскинувшиеся Батраки и поехал обратно. Хорош будет Мусин-Пушкин! Бедные мать[1] и Марья. Как это, право, люди поддаются какому-то гипнозу, а сами ничего не видят и не чувствуют. Вернулся и решил днем ехать в Самару. Во-первых, надо что-то предпринимать, а во-вторых, и разузнать все толком.

Катя, Ваня и Наташа ездили меня провожать на станцию. Попал в какой-то казачий эшелон, идущий до Иващенкова, а отсюда пристроился в вагон с артиллерийскими снарядами. Ехал с охраной на площадке. Приехал поздно вечером. Большой вокзал. Чисто, хорошо, порядок и всюду чехи.

22 июня. Самара

Просидел всю ночь на вокзале. Дремал, смотрел сквозь сон на чехов, ждал утра. Еще не было семи часов, когда вышел на улицу и сразу встретил Мусину-Пушкину, которая шла на базар. Я думал в первую секунду, что обознался, так был поражен, но оказалось, что это она. Она сообщила, что и Саша[2], и Ольга Александровна, и Мара с Мамзей и мальчиками, и Александр Дмитриевич — все в Самаре. Оказывается, в день нашего выезда и когда Александр Дмитриевич уговаривал нас оставаться, у них благодаря протекции Саши Мусина-Пушкина были приготовлены места для всех на пароходе, на котором уезжал штаб. У меня в душе поднялось такое нехорошее чувство, такая злость, что я даже не мог ничего говорить, только старался не смотреть на Мусину-Пушкину, чтобы она не видела моей злости и презрения. В самом деле, ведь как все протестовали, как отговаривали ехать, упрекали в паникерстве, а сами, оказывается, устроились на пароходе и прямехонько в Самару — как их назвать, всех этих милых родственников? А ведь у меня на руках были женщины и дети!

Застал всех в гостинице «Ницца». Поздоровался, но говорить было не о чем. Ольга Александровна со светской усмешечкой говорила, что они неожиданно тронулись, так как, оказывается, оставаться было нельзя и штаб уходил. Хорошо это «оказывается, нельзя», а я что говорил? Разозленный, я вышел и сразу пошел записываться добровольцем в Народную армию Комуча.

Город очень оживлен, много народу, много казаков и вообще во-

[1] Ольга Александровна Воейкова.
[2] Александр Георгиевич Мусин-Пушкин.

енных. Казаки все в погонах, военные с нарукавными знаками, как у чехов. Записали меня в какой-то артиллерийский дивизион к подполковнику Копьеву помощником по артиллерийской части. Вечером еду обратно.

23 июня. Тростянка

Вчера поздно ночью доехал до Тростянки с пустым товарным поездом. Шел через большое спящее село. Везде было тихо, нигде ни огонька. Брехали кое-где псы, да в загонах шумно, нутряно вздыхала скотина. Русская деревня. Неужели со всем этим придется расставаться? Неужели придется мыкаться по свету? Ведь впереди война. Мало было германской, мало было четырех лет.

Жена встретила тревожной: Гуля что-то заболела животиком. Все утро собирались. Ваня и Наташа тоже едут. В двенадцать часов добрались до Обшаровки (недурно название! Оказывается, село с разбойным населением, которое грабило — обшаривало — проезжающих).

Никакого поезда не дождались, зато пришел какой-то эшелон с теплушками, в которых ехали беженцы из Батраков, Сызрани и окрестностей. Какой-то прапорщик не пускал, уверяя, что везет казенный груз, а на самом деле сидели женщины и дети, — влезли силой. Ваня с возами и австрийцами поехал походным порядком.

Со стороны Сызрани несется грохот орудийной канонады. Наши вдовы были очень милы — пришли провожать и трогательно прощались — верно, никогда в жизни этой уже не увидимся.

24 июня

Вчера вечером приехали в Самару. Остановились в той же гостинице «Ницца». Я с женой в одном номере, а девочки с няней у мальчиков и Мамзи. Ездил в дивизион. Познакомился с подполковником Копьевым, очень милый офицер, хорошо встретил. Жалованье 285 рублей при казенном пайке и одежде. Говорят, что это временно, потом прибавят. Дивизион в периоде формирования двухбатарейного состава. Одной батареей командует капитан Сейфулин, другой — штабс-капитан. Пока еще в дивизионе ничего нет, все очень трудно достать.

25 июня. Самара

Сегодня был у Кудрявцева с Александром Дмитриевичем. Кудрявцев работает в «Волжском дне» — он «передовик». «Волжский день» издает С[ергей] А[лександрович] Елачич. Кудрявцев говорил, что французскому консулу Комо нужна секретарша, и я думаю,

что можно было бы устроиться Кате. Назначил свидание на завтра. Кудрявцев произвел на меня прекрасное впечатление: умный, милый человек, большой оптимист и говорит, что все будет хорошо, — посмотрим?!

Узнали потрясающую вещь: говорят, что Государь и вся его семья зверски убиты в Екатеринбурге[1]. Передают даже подробности — будто бы великого князя насиловали, а наследника застрелили на глазах у Государя. Какой ужас! Где заговоры? Где попытки спасти Царя? Где преданные люди, где те, которые ели хлеб из царских рук? Где негодяй Воейков[2]? Только несколько человек остались верны до конца своему монарху, а остальные что же? Все те, которые видели столько добра от него и благополучия?!

О, за это преступление ответит весь русский народ, все мы, и заплатим дорогой ценой, ибо безнаказанно делать такие преступления нельзя!

26 июня. Самара

Езжу из дивизиона каждый день в город. Немного далеко, да и в городе оставаться дольше девяти часов нельзя, так как перестают ходить трамваи. В казармах у меня комната. Дела в дивизионе не особенно-то много.

В пять часов сидели у Кудрявцева, обещает жене устроить работу. Говорили о политике, о том, что может быть и каковы надежды на будущее. Про Мертваго уже определенно известно, что и их, и Зорина убили. Говорят, что дом весь разграбили дотла, картины разорвали, пожгли, все перебили. Александр Дмитриевич беспокоится за Мусю и говорит, что и ее, кажется, убили.

27 июня

Сегодня Кудрявцев звонил жене по телефону и сказал, чтобы она пошла к французскому консулу Комо, где она может найти работу. Жена думает устроиться на жительство у Варвары Вадимовны Осоргиной, а Ольга Александровна с детьми на даче на Барбашиной поляне, которую нашли за 500 руб. Ваня с Наташей остаются пока в гостинице.

Погода хорошая, даже, пожалуй, жарко слишком.

Настроение в Самаре я бы не сказал чтобы было хорошим. Во всем чувствуется партийная власть, все та же «керенщина» — отсут-

---

[1] 13 июня 1918 года в Перми был убит великий князь Михаил Александрович. Царская семья была расстреляна в Екатеринбурге позже, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года; говоря об убийстве государя и его семьи, Ильин, вероятно, фиксирует ложный слух, которых было немало.

[2] Комендант Зимнего дворца.

ствие умных государственных людей, отсутствие здравого смысла и дисциплины. В сущности, при таких порядках ни государственного аппарата, ни армии создано быть не может.

28 июня. Самара

Жена была у Комо и получила место секретаря на 500 рублей в месяц. Дело заключается в следующем: надо читать все газеты, переводить наиболее важные статьи и ставить в известность относительно происходящих событий. Придется посещать митинги, собрания и пр.

После нашего отъезда Сызрань взяли. Хороши бы мы были? Потом подошел Каппель[1], и снова Сызрань перешла в руки Народной армии. Александр Дмитриевич уехал в Репьевку узнавать относительно Муси. Ваня ищет места, я продолжаю служить в своем дивизионе. Думаю съездить в Самайкино, м.б., что-нибудь уцелело. Когда мы уезжали, я зарыл в последнюю минуту ящик с нашим столовым серебром под насестами в курятнике. Когда же наконец все это кончится? И когда наступит мир и успокоение измученным людям? Помоему, это просто какое-то всеобщее помешательство.

29 июня. Самара

Жена увлекается своей новой работой — служба интересная. Я сижу в дивизионе, пишу в «Волжском дне», ушел по уши в политику. Нужно сказать, что Самара с ее правителями мало внушает доверия: большевики разгуливают свободно по улицам, совдеп процветает и собирается каждый день в зале бывшего кино. Вольский, Климушкин, Веденяпин, Роговский в сущности мало чем отличаются от большевиков.

30 июня. Самара

Сегодня жена и я были на заседании совдепа. Присутствовали рабочие; один прапорщик вышел говорить, как в Сызрани расправлялся Муравьев, который взял ее после нашего отъезда. В подвале винного склада было замучено и расстреляно семнадцать рабочих-железнодорожников. Один случайно уцелел и ночью, весь окровавленный, из-под трупов вылез и добрался до Самары. Он сам вышел и рассказывал обо всем пережитом. Потом показывали снимки, сделанные с этих расстрелянных людей, которые сняли, когда Сызрань снова захватили. Кажется, каких больше доказательств? Но нет. Оказывается, ничто не может быть доказательством. С мест кричали

[1] В июне 1918 года Владимир Оскарович Каппель возглавил небольшой отряд добровольцев, впоследствии развернутый в Отдельную стрелковую бригаду — одну из самых боеспособных воинских частей Народной армии Комуча.

«провокация», «ложь», а потом вышел какой-то тип и стал говорить, что все снимки сделаны белобандитами, а рабочий никогда в Сызрани и не был, а его просто подкупили. Большинство орали:

— Правильно, правильно!..

Прапорщик обозлился и вышел, заявив:

— Вам нужны большевики — и идите с ними, а мы пойдем на фронт против вас, — на этом и кончил.

И вот с попустительства милого правительства, когда идет война, в тылу такие порядки и большевики свободно ведут агитацию.

2 июля. Самара

Вышел в свет новый устав, разработанный Галкиным по приказанию Комуча, полная демократизация, а в общем полная чушь. По этому уставу никакой армии не создашь.

Совершенно неожиданно узнал, что Галкин ни больше ни меньше как наш Галкин, который перевелся к нам в бригаду откуда-то с Кавказа и на год младше меня. Галкин! Галкин! Как это раньше мне не приходило в голову, что это он. Молчаливый, симпатичный, недалекий офицер, он не осилил университета, ушел во второразрядное пехотное Владимирское училище и вышел в артиллерию, в одну из самых глухих стоянок Кавказа, потом благодаря связям жены, которая была дочерью одного из придворных метрдотелей, перевелся в нашу бригаду.

3 июля. Самара

Ездил в штаб, который расположен в доме Сурошникова, на берегу Волги, не дом, а дворец. Как развивались наши волжские города, сколько богатства, какие состояния! И вот эти купцы, все, когда были большевики, покорно отдавали свои миллионы, те драли с них контрибуции, хоть бы слово протеста. Не то, когда пришли мы, «спасители». Я бегал в поисках комнаты с предписанием коменданта — и ничего! Везде получал ответ: «Нет уж, извините, сами хотим пожить, довольно с нас брали!»

В этом дворце царство полковника Чечека, который командует всем волжским фронтом, а управляющим Военным министерством Комуча — полковник Галкин. Лишь только обо мне доложили Галкину, как он немедленно меня принял в своем великолепном кабинете. Мы с ним расцеловались, и он с места предложил мне состоять при нем. Долго говорили про положение на фронте, жаловался, что солдаты разбегаются — получат обмундирование и ходу, а способов найти их или вернуть никаких. Расспрашивал про дивизион и какое впечатление произвел новый устав. Я от-

кровенно сказал, что устав идиотский, на что он ответил, что и сам знает это, но ничего не поделаешь, так как надо соблюдать политику, власть в руках эсеров.

— Мы, офицеры, тут организовали тайное общество, потом восстание, как только поднялись чехи. Сразу же пошли к кадетам вашим и предложили организовать власть, а они начали мямлить и совещаться — кто же виноват? А эсеры худо ли, хорошо ли начали действовать немедленно; вон Фортунатов сам на фронте.

Я с этим согласился, но сказал, что все же новый устав мог бы он и не вводить и отказаться его санкционировать, так как в результате ругают его же, офицерство обескуражено, на фронте все равно по нему жить не станут, а тут только разваливается то немногое, что удалось сделать.

Мы говорили очень долго, и, видимо, он рад был с кем-нибудь поболтать без всяких стеснений. Вспомнили старину, бригаду, товарищей. А у дверей стояла целая очередь: тут были представители казачества, приехал представитель Сибирского правительства, еще какой-то народ. Галкин уже привык к власти и каждый раз при докладе говорил:

— Пускай подождет.

При прощании я сказал, что принципиально согласен, но что сначала хочу съездить в деревню, пользуясь тем, что наши места до Новоспасского опять освобождены.

Возвращаясь к себе, все думал о превратностях судьбы. Галкин — военный министр! Он славный парень, но разве может быть что-либо серьезное во всем этом и внушающее доверие? Достаточно одного этого пресловутого устава, где всякие подчинения вне службы вплоть до отдания чести отменены.

Копьеву рассказал про свою встречу, и он благословил меня на новую мою должность. Попросил у него трех солдат и с ними хочу ехать в Самайкино.

4 июля. Самара

Написал сегодня в «Волжский день» статью, в которой раскритиковал по всем швам новый устав и привел пример из практики прежнего, когда сами цари подчинялись ему.

День ознаменовался необыкновенным происшествием: вышел приказ за подписью Вольского, в котором какой-то прапорщик производится в поручики «легковой артиллерии». Хохотали все до упаду. Вот и новый устав — оказывается, легкая артиллерия стала уже «легковой».

Вечером ездил на дачу, куда переехала Ольга Александровна с

детьми и Мамзей. От трамвая пошел пешком. Уже взошла луна, и я все шел, ища той просеки направо, на которую надо было свернуть. Шел себе и мечтал, пока не попал в густой лес, потом на какую-то поляну, освещенную луной, и тут, услыхав многочисленные голоса и смех, отправился по этому направлению и очутился... в сумасшедшем доме. Было уже около двенадцати ночи. По счастью, милый старший врач устроил на диване в приемной, где я и переночевал.

5 июля. Самара

В «Волжском дне» по поводу производства появился остроумнейший маленький фельетон, в котором говорится, что были раньше легковые извозчики, но теперь с приходом к власти Комуча появились и легковые прапорщики и подпоручики — одним словом, демократизация полная...

Заходил в редакцию, застал Кудрявцева, С[ергея] А[лександровича] Елачича, правоверного кадета, про которого даже сложили стишок применительно к азбуке: «Ежи плодятся только летом, Елачич был рожден Кадетом», Клафтона. Клафтон производит впечатление необыкновенно милого, умного и культурного человека. Он отлично пишет.

6 июля. Самара

Добралась до Самары жена Зорина с сыном и дочерью. Рассказала ужасы про Репьевку. Оказывается, через двенадцать часов после нас нагрянули красные. Сначала обстреляли Репьевку и церковь, а потом пошли к дому. Катя с саквояжем, в котором были драгоценности, тетка Саша и Зорины направились в деревню. Зорин был под мужика. Он сел на завалинку и сидел так же, как и тетка. Катя же со своим бульдогом[1] спряталась в каком-то чулане.

Однако какой-то молодой парень выдал Зорина, и к нему прямо подошли красноармейцы и потащили его к амбару. Тут Зорин упал на колени и стал молиться — его в это время и пристрелили. Потом схватили и ее самоѐ — Зорину, но мальчик, сын, так плакал и так убеждал «помиловать маму», что ее оставили и приказали немедленно уходить, и она пешком пошла. Затем стали искать Катю, потому что против нее были настроены мужики. Вошли в избу, стали искать и собирались было уходить, но в это время залаял проклятый пес — бросились в чулан, но Катя, видя, что она открыта, выстрелила в себя из бульдога, который был с ней, но неудачно и только себя ранила в плечо. Обливавшуюся кровью, ее выволокли и на улице стали прикалывать штыками. Бедная тетка с рыданиями бросилась на труп до-

[1] Карманный револьвер.

чери, и в ту же минуту прикололи и ее...

К Толстым пришли из Каранина с десяток мужиков, и один из них вошел в дом. Дядя, который все время имел наган и все собирался стреляться, если что-нибудь случится, растерялся и обеими руками держал наган сзади. Вошедший звал остальных и кричал, что надо обыскать этих сволочей, так как у них спрятано оружие. Когда ввалилось еще несколько человек, у дяди обнаружили несчастный револьвер и тогда ему, угрожая револьвером, приказали сесть в кресло. Он покорно сел, и убийца выстрелил сначала в потолок, а потом три раза в дядю. В эту минуту с воплем вбежала тетка и повалилась под кресло, в спину выпустили и ей две пули... Говорят, что лицо у тетки было совершенно багровое после смерти, почему думают, что она умерла от удара в ту минуту, когда упала.

Мужики принялись за дележ оставшегося, а потом решили все же похоронить «по-православному», для чего из разобранной молотилки Толстых сколотили два гроба, которые вышли красными, и похоронили. А молотилку растащили потому, чтобы не доставалась кому-нибудь одному. Очевидно, и тут тоже все произошло потому, что «народ темный»?!

7 июля. Самара

Сегодня еду. Вызвал из дивизиона охотников, так как поездка не без риска. Нашлось три добровольца, все сыновья самарских купцов, пошли в Народную армию «идейно», все за Учредительное собрание, в голове, конечно, некоторая путаница, но народ очень славный. Вооружились наганами и карабинами и отправились. Ехали товарным поездом. Со стесненным сердцем смотрел я из нашего товарного вагона на белеющую церковь и колокольню Репьевки, где склеп Толстых — моих и Воейковских дедов, а когда поезд проходил Репьевку, хотелось выскочить, бежать туда, пасть на землю и выть от горя и злобы.

Странная судьба Мертваго. Дед Мертваго — отца Кати — был захвачен в имении Пугачевым и повешен в лесу, правнучка замучена большевиками.

Про Толстых все подтвердилось полностью, про Ушаковых ничего не известно, ни про дядюшку, ни про Татушу.

Как и в ночь ухода, светила луна, когда мы вылезли в Коптевке. Заметно общее тревожное настроение. Оказывается, красные стоят у самого Новоспасского и вот-вот пожалуют сюда. Много рассказов про последние минуты Мертваго, Зорина расстреляли у амбара, а тетю убили в затылок, когда она лежала, обняв труп дочери.

Но хорош Миша, сын Толстых! Приехал с фронта, походил неделю

и отправился служить красным инструктором в Пензу, и дядя вполне его «понимал» и одобрял! Как-то он себя теперь чувствует? Вот тебе и Толстой, вот тебе и офицер лейб-гвардии Саперного батальона!

Репьевка, Самайкино, Каранино разграблены и сожжены дотла. Боже, Боже! И все старинные картины репьевского дома, вся библиотека, фарфор, портреты! И портрет прабабки Ксантиппы Толстой, которая смотрела своими строгими глазами с темного полотна. А ведь права была она, что запарывала нерадивых и непослушных мужиков, — пока запарывала, все шло хорошо! Вот внуки развели сантименты и поплатились головой.

С такими «радостными» и «утешительными» известиями зашагали мы по дороге к Самайкину, залитой лунным сиянием. Кричали перепела, где-то далеко перекликались паровозы, веяло теплом от наливающейся ржи, и было так, словно ничего не случилось. «Спать пора! Спать пора!» — неслись хриплые отрывистые крики. А может быть, и вправду ничего не случилось, ведь это только так, эпизод в жизни человечества.

Боже, Боже, как все-таки все это ужасно: убиты, расстреляны, замучены. Вот и пришла русская революция! А ведь откровенно хотели ее, верили, что принесет свободу, успокоение и невесть что...

Мои три спутника сосредоточенно молчали — я чувствовал, что они подавлены.

Совсем ночью мы подходили к Самайкину и увидели огни фабрики. Тишина мертвая, даже не лаяли псы. Подошли к лазарету, где живут инвалиды, некоторые еще не заснули, сейчас же вскочили и встретили радостно. Стали греть чайник и рассказывать, как все было. Часов в двенадцать дня на другой день после нашего ухода Павел[1] и Василий Андреевич[2] мирно лежали по своим комнатам после обеда. Вдруг со стороны фабрики на тройках показались какие-то комиссары. Влетели на двор. Василий Андреевич, услыхав бубенцы, вышел было встречать и нечаянно захлопнул дверь с американским замком. Не размышляя, он тут же нырнул в кусты сирени и шиповника у дома, а Павла тем временем кухарка и горничная вытолкали с заднего крыльца в рожь. Потом его видели в Холмах, где он взял лошадь, надел с перепугу полушубок и так поехал в Каранино. Участь его неизвестна, но среди Толстых, когда их убивали, его не было. Василий Андреевич лежал все время, пока оголтелые красные все рубили и уничтожали. Они все допрашивали кухарку и горничную, куда делись «господа», и, когда те клялись, что убежали, они кричали: «Эх, жалко! Рубить некого». Особенно озверели, когда открыли наш сун-

[1] Павел Дмитриевич Воейков.
[2] Денисов.

дук и в нем обнаружили мой мундир с георгиевским шитьем. Начали его рвать, а потом все, что было в комнате, рубить шашками. Мужики, томышовцы и самайкинцы, на телегах собрались вокруг усадьбы и терпеливо ожидали, когда кончится «народный, справедливый гнев» и им можно будет и самим грабить. Когда натешились, один из разбойников вышел на крыльцо и крикнул: «Ну, входи, что ли, бери, кто что хочет, потому ваше это, народное». Мужики и бабы, говорят, кинулись толпой и, как на ярмарке, с шутками и прибаутками набирали полные подолы. Когда все разграбили, пол посыпали порохом и подожгли, чтобы лучше горело. Между тем Василий Андреевич все время лежал. Его мучил кашель[1], он выгреб ногтями твердую землю и уткнул туда лицо. Ему все было слышно. Мимо него бегали, суетились, собирались, меняли тут же награбленное. Какой-то парнишка почти наступил на него и вдруг обратился к отцу:

— Тятя, тятька! Тута человек ляжит!..

Василий Андреевич обмер. Мужик, верно, понял, потому что зашептал:

— Ладно, молчи ужо, — а потом осторожно подошел, посмотрел и отодвинулся.

Когда затрещали полы под пламенем и стало смеркаться, Василий Андреевич осторожно стал выползать и на животе выполз на задний двор, а оттуда в рожь. Там он пошел прямо к лесу, где и скрылся. По дороге все время оборачивался и видел густой дым и яркое зарево пожарища. Ночевал в лесу, а наутро кто-то из красноармейцев заметил следы его по ржи, и сейчас же были снаряжены двуколки и устроена облава на него. По следам дошли до самого леса, стали шарить и в траве. Василий Андреевич, как затравленный, блуждал с длинной палкой, при помощи которой делал широкие прыжки, чтобы не оставлять помятой травы и следов. Потом погоня прекратилась. Пить было что, а вот хлеба не было, но попался какой-то мужик, которому он рискнул открыться, и тот принес ему хлеба. Так он прожил почти три дня, пока красные не схлынули. Потом перебрался в Сызрань.

Я оставил своих добровольцев располагаться, а сам сейчас же взял лопату и пошел на пожарище.

Службы, флигеля, конюшни уже успели частью разобрать на кирпичи и бревна. На всем мрачный мертвенный отпечаток. Вместо дома черное пожарище с торчащими трубами. От этого вида так вдруг все изменилось, что я почти не узнавал местности. И все это заливали серебристые, холодные лучи луны. Стал ходить по пепелищу, узнавая наши комнаты по обгорелому фундаменту, по пружинам кровати, обгорелым и свернувшимся, точно змеи.

[1] В.А. Денисов страдал туберкулезом, от которого и скончался в 1927 г.

Цветник, клумбы, два боковых флигелька, в одном из которых жили мальчики с Мамзей, баня, погреб — все сгорело. Деревья, словно скелеты, стояли обгорелые и черные, со скрученными ветками. Пошел к курятнику, с трудом определяя его место среди этого пожарища. А так недавно целое пернатое царство хлопотало тут· кудахтали, возились важные петухи, расхаживали, и все гурьбой летели, и сломя голову забавно бежали, когда Мамзя с мальчиками и маленькой Татой шла с большим тазом пшена кормить всю эту ораву.

Почти инстинктивно начал рыть сухую, потрескавшуюся землю. Останавливался, вытирал пот, смотрел на ясный немигающий лик луны — все такой же, как и в лучшие дни, как и в детстве, и снова принимался копать. Минутами веяло жутью и в душу заползал страх. Летели комья земли... и вдруг что-то мягкое — прощупал рукой, — оказывается, мешок, в котором ящик, попробовал вытащить, но еще нельзя было — рыл дальше. Но вот, наконец, он у меня в руках, вынул, открыл ящик — о чудо! Все на месте, заиграли лунные блики на серебре. Взвалил мешок на плечи, минуту постоял, словно у могилы близкого человека, и пошел в лазарет.

8 июля. Самайкино

Утром приехал на велосипеде Шура из Томышова. Муся, оказывается, жива и здорова. О Репьевке и Толстых рассказывает то же, что уже я записал. Говорит, что надо вызвать старосту Самайкина и фабричных с Маковки и предложить отдать вещи, а то, например, Ваня даже не имеет сносного костюму, выехал без всего.

К одиннадцати часам пришли из Самайкина мужики, а с ними и Левка Клейменов. Мы уже картину грабежа знали от инвалидов в мельчайших подробностях, поэтому даже знали, какой мужик что делал и как себя вел. Когда Клейменов и пришедшие с ним мужики увидели моих солдат, которых я нарочно рассадил на веранде, они совсем струхнули и сейчас же, заломив шапки, начали:

— Здравствуйте, как Бог милует! Ну вота и хорошо, што вернулись, а мы ужо думали, кабы бяды какой не стряслося. Ох, грабили тут да жгли — беда как! Мы, значит, что осталось, собрали да попрятали, думаем, можа, вернутся, так и в сохранности будя... — говорили скопом, друг другу поддакивали, подтверждали, кивали головами...

— Постой, постой, — перебил Александр Дмитриевич. — А как же, Клейменов, ты китель Ивана Дмитриевича надел да по селу пьяный ходил и похвалялся, что вот, мол, конец теперь Воейковым пришел, а? Тоже вещи берег, в надежде что вернемся?

— А знаешь, что за это полагается? — сказал я, посмотрев выразительно на трех молодцов — купеческих сынков с карабинами.

Левка побледнел и затараторил:

— Да я, да што, да ей-Богу ни пошто не грабил. Брешут люди, вот те хрест, брешут!..

— Ну вот что, ладно тут разговаривать, извольте все, что награбили, немедленно принести. Экипаж новый чтобы был, все шубы, платья — все. Понятно? К двум часам чтобы доставили сюда. Ступайте!

Все радостно загалдели:

— Поняли, как не понять, сполним в одночасье, будьте благонадежны! — и быстро зашагали к себе. По существу, я со своими тремя добровольцами мог сделать что угодно и даже, пожалуй, тут же расстрелять Клейменова, тем более что мои компаньоны были возмущены и с удовольствием проучили бы грабителей. Но у меня настроение было не такое, да к тому же никогда я не способен был ни на какое насилие. В душе и сейчас злобы не было: все мы русские, все мы виновны, и все мы носим дурные черты в себе русского характера.

Пока оставалось время до двух часов, я пошел на Маковку. Тут дело было сложнее, потому что рабочие были организованнее, а комитет, который собрался по случаю нашего приезда, заявил, что грабежа маковские не учиняли и комитет не давал на это своего согласия, а что удалось «спасти», так это лежит на чердаке фабрики. Я поднялся и среди груды хлама увидал корки книг, обложку художественного издания «Малярства Польски», которое я прислал из Люблина, обложки альбомов, вот и все. Пока я рылся, какая-то баба принесла самовар да три французские книги.

Когда я с этим добром вернулся, то застал целую толпу с возами. Привезли шубы, платья, разные тряпки, кто-то привел наших двух козлов и пригнал гусей. На возах, кроме того, лежал разный железный лом, который, очевидно, во время грабежа собрали на дворах и в конюшне, стоял и новенький экипаж. Самое ценное было, что притащили Ванину доху, которая ему так была нужна, пальто. Мои солдаты приняли самое деятельное участие и ругались, говоря, что мало привезли и нечего, мол, дурака валять, железный хлам сдавать. Но мужики твердили и стояли на своем:

— Что спасли, все тута! Ничаво нам не надоть! Отродясь не грабили, как можно грабить, да што на нас, хреста нет, што ли-ча?

Вот и темнота. Где же тут темнота? Ведь сознают все отлично, отлично все понимают. Когда делили, тоже ведь знали, что это скрытый грабеж. А почему теперь так старательно открещиваются и оправдываются? Нет, тут не один страх. Тут налицо дрянность, самая настоящая душевная и моральная дрянность...

А галдеж все продолжался:

— Знать не знаем мы ничаво. Известно, красные грабили, кому же больше, а мы ничаво-от!

Глядел я на них, было мне противно, словно впервые выперли все непривлекательные черты народа-раба, и думал: «А вот придут красные, повторится то же самое, но в другом порядке. Будут крыть нас, "господ", "помещиков": "Кровушку пили, мы што, мы ничаво-от, все против пошли, известно, все народное, по какому праву они забрали? Приехали с солдатами, а мы што, мы разве могем!.."»

Время терять было нельзя, мы были под носом у красных, и, если бы замешкались, Бог ведает, может быть, распоряжался бы Клейменов опять, а от него пощады не жди, и уверен я, что меня с моими солдатами с общего молчаливого согласия или подвесили бы, или поставили к забору.

Я решил сейчас же отправиться к старику Бурханову в Новоспасское, у которого был наш сундук и кое-какие вещи, сданные ему на хранение еще во время первого Черновского дележа. Солдат решил оставить, так как от Новоспасского большевики были близко и я не хотел ими рисковать, да и опасно было появляться в таком виде.

Было очень приятно и грустно проехаться по родным местам. Все как будто подернулось дымкой чего-то тягостного и трагичного: вместо дома пожарище, все, что было таким близким, вдруг стало теперь чуждым и враждебным.

Бурханов встретил радостно. Новоспасское, оказывается, цело, бежали лишь Амбразанцева[1] и София Вл. Вишнякова. Он заботливо расспрашивал о всех, рассказывал опять про прежние времена, ведь он знал, можно сказать, три поколения. Наши вещи спрятал в амбаре в подполье и очень боялся за них, так как среди них было мое пальто. Он взялся доставить все к девяти часам вечера в Томышово к Лобанову, у которого я должен взять тоже другую часть вещей и ехать со всем этим в Сызрань.

Лобанов смотрит на положение мрачно и говорит, что теперь все пропало и надеяться не на что.

С час посидев и несколько отдохнув, поехал обратно, забрав мелочь из наших вещей.

К шести часам вернулся и пил с инвалидами чай. Они все упрекают, что мы собирались от них по секрету, так как в противном случае они бы взяли все наше имущество и спасли бы его.

От бессонной ночи и всех треволнений очень устал, но все же к восьми часам наняли три подводы по 100 руб. за подводу прямо до Сызрани и, уложив вещи, тронулись. В Томышове у Лобанова верный Бурханов уже ожидал. Тут мы все переложили на наши нанятые

[1] Мария Алексеевна Амбразанцева-Нечаева.

подводы, завязали и тронулись. Я сердечно распростился с Бурхановым и Лобановым. Лобанов тоже не видит ничего хорошего, да оно и понятно, ведь он тоже своего рода помещик — богатый мужик. Грабили нас, чем гарантирован он, что скоро не будут грабить и его?

Остановился у дома матери Василия Андреевича, повидать Мару. Застал и Василия Андреевича самого. Он рассказывал про свое поистине чудесное спасение. Оказывается, после облавы он бродил в лесу трое суток и, голодный и отощавший, еле пробрался в Томышово к матери, откуда через двое суток в Сызрань.

Все отговаривал Денисовых от покупки дома. По-моему, это какое-то безумие и полное отсутствие всякого чутья. Но они стоят на своем — близко от Самайкина и, главное, уверены, что красных не будет. Прямо спорить противно. Бог с ними!

Мара сообщила, что сто десятин озими, которые теперь признаны нашими, покупает управа. Урожай, кстати сказать, редкий, такого давно не было. Таким образом, на каждого из Воейковых придется тысяч по 12, это все-таки кое-что. Эти деньги и соблазняют Денисовых купить дом, так как это недвижимость и никуда уже не денется, а деньги могут и ничего не стоить.

Видимо, пример самайкинской недвижимости на них произвел мало впечатления. Не могу понять и управу: неужели эти наивники думают, что им удастся собрать хлеб «для армии», как они хотят?

Только около одиннадцати часов тронулись — ночью ехать прохладно.

Решили ехать прямиком, не через Репьевку, да через Репьевку и тяжело очень.

Между прочим, узнал от Марьи интересную новость о Бурханове. Я все им умилялся, а сын его, оказывается, пошел в Красную армию и командует там батальоном. Значит, и тут дело не начистоту и Бурханов, может быть, и по душе хороший человек, но просто страхуется на два фронта. выйдет у красных — сын там играл роль, выйдет у белых — вещи сберег...

Мара рассказывала, что бедных Мертваго совершенно изуродовали и даже не хоронили, а просто бросили в яму. Катю выдал пес, ее бульдог Тобка. Она скрывалась в чулане, и, когда вошли в избу обыскивать, красные спросили Зорину, кто в чулане, та ответила, что спит ее дочь, в эту минуту Тобка залаял и все пропало. Молодчина все-таки Зорина, сама рисковала головой.

9 июля

Рано утром прибыли в Сызрань прямо на пристань. Я рассчитался со своими возчиками, и мы стали грузиться на пароход, ко-

торый тут же стоял. Очень удачно попали. Жара на пристани ужасающая.

Теперь едем и все наслаждаемся чудными видами Волги, зеленеющих берегов, песчаных отмелей. Дивно хорошо. Но грустно, грустно. Ничего похожего с тем, что было. Теперь Волга словно вымершая. Неподвижная гладь величавой реки не пенится под колесами красавцев пароходов, не видно плотов с дымками, вьющимися к небу, не слышно басистых, гулких свистков... Пришла революция, и все умерло...

Давно ли ехали мы с отцом, давно ли я наслаждался полным чувством удовлетворения и покоя?!

20 июля. Самара

За хлопотами, службой и поездками на дачу больше недели не брался за перо. Жена очень была рада моей поездке и ее благополучному окончанию. Все-таки как-никак, а удалось кое-что спасти, а главное — ящик с серебром и порядочно книг, которые предусмотрительно были у Лобанова, — все «Старые годы», «История царствования императора Александра I» и пр. Все это очень ценные издания.

По приезде через три дня вступил в свою новую должность штаб-офицера для поручений при управляющем военным ведомством Комуча. Дела особенного нету. Галкин иной раз со мной советуется, иной раз я ему пытаюсь давать советы, хожу на разные совещания. Галкин добрый и неплохой человек, но не умен. Слегка обалдел от власти или, вернее, от призрака власти и положения и, главное, оппортунист. Он старается ко всем подделаться и больше всего угодить эсерам, уверяя, что это политика. Я же убеждаю его, что так вести дело — явно идти к провалу.

Жалованье по своей новой должности получаю почти вдвое.

22 июля

При разборке вещей обнаружилось, что у Лобанова жена оставила еще новую кровать, одну из наших с тюфяком, новый Татин самовар и еще кое-что. Лобанов про эти вещи не сказал ни слова, видя, что про них я не знаю. Объявился еще новый французский консул Жано. Он без одной ноги и производит очень внушительное впечатление, но на деле, оказывается, был просто учителем французского языка в Московской гимназии и кадетском корпусе. Он ходит в военной форме, и у него адъютант — какой-то штабс-капитан Стембо, еврей. Жано, как говорит Кудрявцев, большой жулик и занимается главным образом спекуляцией с мукой. Теперь между этими двумя представителями «прекрасной Франции» идет глухая вражда и борьба.



Сергей Иосифович Ильин,
отец Иосифа Сергеевича Ильина



Екатерина Дмитриевна Воейкова



Иосиф Сергеевич Ильин. *1910-е*

Зимой в Селищах. Дама Екатерина Дмитриевна Воейкова-Ильина, мужчина (на верхнем фото *справа* от нее, на следующем *напротив* нее) предположительно Иосиф Сергеевич. *1912 или 1913*



Селищинские казармы

Иосиф Сергеевич Ильин в лесу на охоте. *1910-е*



Дом Воейковых в Самайкине



Военные в походе. Маневры

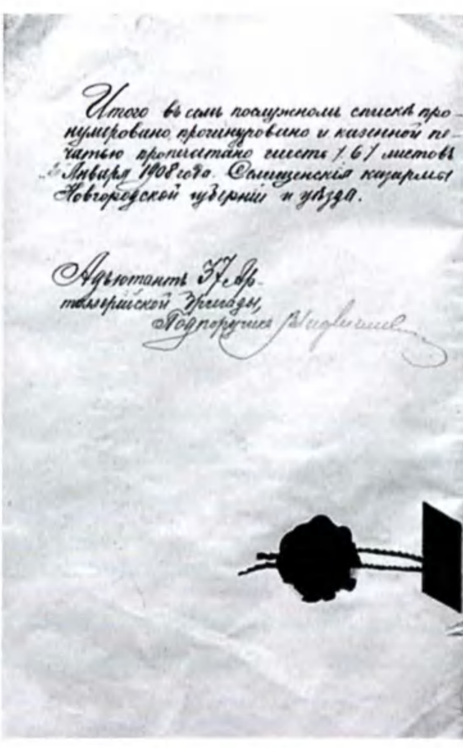


ПОЛНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОКЪ

37 Артиллерийской бригады Подпоручика Ильина

I. Чинъ, имя, отчество и фамилія.	Подпоручикъ Іосифъ Сергѣевичъ Ильинъ
II. Должность по службѣ.	Суб. офиц.
III. Ордена и знаки отличія.	Не имѣетъ
IV. Когда родился.	15 Сентября 1885 года
V. Изъ какого званія происходитъ и какой губерніи уроженецъ.	Изъ потомственныхъ дворянъ Костромской губерніи уроженецъ Московской губерніи.
VI. Какого вѣроисповѣданія.	Православнаго
VII. Гдѣ воспитывался.	[illegible]
VIII. Получаемое по службѣ содержаніе.	Жалованья 660 руб. въ годъ. Квартиру занимаетъ казенную.

Читалъ [signature]



Итого въ семъ послужномъ спискѣ пронумеровано прошнуровано и казенной печатью припечатано шесть (6) листовъ. ... Января 1908 года. Селищенскія казармы Новгородской губерніи и уѣзда.

Адъютантъ 37 Артиллерійской бригады, Подпоручикъ [signature]

Страницы послужного списка Иосифа Сергеевича Ильина.
РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 21285пс2328. Л. 2, 6 об.



Радомской губерніи

№ 161

Росписка ... почт.

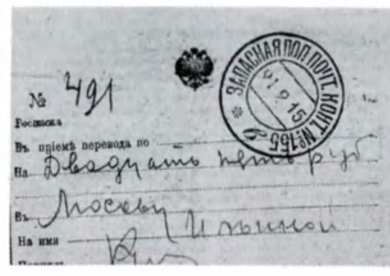
Въ пріемѣ перевода по почт.

На четыре... р. — к.

Въ ...

На имя Ильиной

Принялъ почт.-тел. чиновникъ



№ 491

Росписка

Въ пріемѣ перевода по

На Двадцать пять руб.

Въ Москву

На имя Ильиной

Квитанции денежных переводов,
сделанных Иосифом Сергеевичем Ильиным своей жене. *1915*



Няня Паша,
Екатерина Дмитриевна,
Гуля, Наташа,
Иосиф Сергеевич.
Самайкино, 1917



Семья Ильиных. *Омск, 1919*

Швейцарская бонна Мамзя
с Наташей Ильиной.
Самайкино, 1917 или 1918





Дом Варвары Вадимовны Осоргиной, в котором в 1918 году
останавливались Ильины после своего бегства из Самайкина
(см. запись от 4 сентября 1918) *Самара, 2015*



Старо-Русская 16
Петроград
7го февр. 1915

Дорогая Екатерина Дмитриевна,

Мне очень стыдно, что я так долго не ответил на Ваше письмо. Оно пришло, когда я был в Варшаве, в октябре. Вскоре после приезда я был очень занят, потом хворал, потом опять уехал. На войне очень трудно писать, но вот, в последней поездке я надеялся найти Иосифа Сергеевича в Осовце, и потом разузнать [illegible] как оно там живет. Но там и не удалось к нему доехать, и я

[illegible] всего — этот огромный [illegible] истории [illegible] и [illegible] всё и хочется, чтобы скорее кончилось, — но только победой.

Вчера наш [illegible] Ариадна Владимировна [illegible] весь в Петроградском [illegible] Я [illegible] за работой. Сначала было не [illegible], теперь, наконец [illegible] в [illegible]. Я очень рад, что [illegible] Ариадна Влад. очень [illegible] работает с самого начала войны, и я боюсь, что она очень устанет.

Хотелось бы Вас видеть, и Вашу маленькую Наташу, которой я там и не видал еще. Надеюсь, что Вы здоровы и находите много радости и утешения в уютной деревенской жизни. Примите мой сердечный привет.

Ваш
Г. Вильямс

Гарольд Вильямс, британский журналист.
Страницы его письма к Екатерине Дмитриевне Ильиной от 7 февраля 1915

Александр Александрович Давыдов.
1909, 1914







Дмитрий Дмитриевич Воейков. *1914*



Иосиф Сергеевич с дочерью Ольгой. *Харбин, 1920-е*

Семья Ильиных. *Слева* бонна. *Харбин, 1922*



Слева Ольга и Наталия Ильины, Мария (Муся) Воейкова, Александр Дмитриевич Воейков. *Справа, сидят* Ольга Александровна Воейкова, Екатерина Дмитриевна Ильина; *стоят* Иосиф Сергеевич Ильин, Александр Александрович Воейков.
Маньчжурия, станция Эхо, сентябрь 1924



Семья Ильиных. *Харбин, июнь 1926*



Иосиф Сергеевич Ильин. *1971*

Комо называет Жано самозванцем, а Жано уверяет, что настоящий консул он, в споре принял участие Стембо, который заявил Клафтону и Кудрявцеву, что месье Жано — консул по военным делам, а Комо пусть по гражданским.

Клафтон после ухода Стембо остроумно заметил, что оба консула ничего не стоят. Господь их разберет, но по виду Комо более настоящий.

Ходят упорные слухи о том, что большевики меняют свою позицию и определенно хотят воевать с немцами, на основании чего даже предлагают офицерам вступать в ряды Красной армии. Кудрявцев говорит, что эта версия не без основания, так как в Москве союзные послы ведут по этому поводу переговоры с Троцким. Я написал статью на эту тему, говоря, чтобы союзники были осторожны и не особенно верили большевикам, а также чтобы и нам всем ни в коем случае не соблазняться разными посулами большевиков.

30 июля. Самара

Получил от Галкина предписание присутствовать на заседаниях совдепа как представитель военного командования. Я долго пилил Галкина, что совдеп надо прикрыть и что нельзя давать вести свободно агитацию большевикам. В этом совдепе висит сплошная ругань по адресу того же Галкина и всех военных, ведется агитация за мир с большевиками. Галкин все разводил руками, говоря, что это «политика», что все равно этот совдеп — только говорильня, но в конце концов пошел на полумеры и вот теперь меня же и послал. На предписании между прочим значилось, что в случае необходимости я могу вызвать воинскую силу. Но и тут Галкин в последнюю минуту сдал: когда я получал предписание, он вызвал меня и сказал:

— Послушайте, Иосиф Сергеевич, давайте-ка ваше предписание, надо его изменить, — и приказал написать без слов «в случае необходимости вызвать воинскую силу».

Я запротестовал. На этот пункт у меня была большая надежда.

— Николай Александрович, зачем же тогда вообще мое присутствие, если я не буду иметь никаких прав остановить безобразие? Что же, сидеть и слушать всю эту ругань?

— Да нет же, нет, если надо, вызывайте, я прикажу караулу штаба быть наготове, только писать это неудобно. В случае чего, понимаете, усмотрят с нашей стороны заранее обдуманное намерение! Знаете, как повернут дело?!

Одним словом, и тут захотел полумер и «постольку поскольку», и ясно, что в случае чего он будет ни при чем и умоет руки, а «убийцей

революции» окажусь я. Хотел даже не идти, но потом разобрало любопытство и пошел.

Заседание началось в семь часов. Зал кинематографа, разумеется, был полон, хоры битком набиты. Рожи все самые большевистские. Стали по очереди выступать ораторы. Говорили погромно-революционные речи. Все время только и слышалось:

— Контрреволюция, товарищи, подняла голову; белогвардейцы распоясались; нам всаживают нож в спину. По ту сторону баррикад наши товарищи умирают за свободу рабочего класса!!!

Сверху, с хор, снизу, со всех сторон, несся жуткий вой:

— Долой палачей! Долой Дутова! Долой лакея эсеров Галкина!

Я сидел, и меня разбирала такая злость, что дышать было трудно. Порой становилось и страшно, так вся эта разъяренная мерзость выла и орала. И это все происходит на глазах у власти, которая кричит об Учредительном собрании, о войне с узурпаторами родины — большевиками и пр.

«Вот бы вызвать караул да не только закрыть, а полосонуть их всех двумя-тремя залпами!» — думалось мне. И в эти минуты, кажется, даже я был на это способен. Но как вызвать? На основании «слов» Галкина! А потом меня же отдадут на суд всем этим гориллам!..

После пяти часов всех этих речей, в двенадцать часов ночи, общим открытым голосованием вынесли резолюцию: «Начать переговоры с большевиками и через головы контрреволюционеров протянуть им руку».

Классическая резолюция. Нет, разумеется, тут ничего не выйдет. Сразу же после заседания пошел в редакцию «Волжского дня», где застал Кудрявцева, Клафтона, Елачича. Они знали о моей «командировке» и с нетерпением меня ждали.

Все с интересом меня начали слушать, и я тут же написал полный отчет, который сейчас же был сдан в набор к завтрашнему номеру.

Клафтон возмущен и со свойственным ему спокойствием говорил, что мы сидим на вулкане, Елачич просто ругается, а Кудрявцев, милый Кудрявцев, и тут не потерял своего оптимизма:

— Ничего, господа, все обойдется.

— Вот вас подвесят, тогда я посмотрю, что вы будете говорить, — зло сказал Елачич.

— Ну, тогда я говорить уже не буду, — ответил Кудрявцев.

— Он будет болтать... ногами, — заметил Клафтон.

2 августа. Самара

Настроение неважное. Общая разруха, рабочие митингуют, правительство, исключительно эсеровское, явно покровительствует всяким выступлениям, фронт держат одни чехи да небольшая горсточка каппелевцев, которые героически дерутся, неуловимы, все время в движении и падают как снег на голову.

Приезжал от Деникина посланец-полковник, привозил письмо. Галкин, составляя ответ, пригласил меня помочь ему. Я исправил порядочно, вычеркнув все высокопарные фразы, уж очень их было много. Сегодня по просьбе Галкина проводил полковника на пароход. Он старался как можно меньше показываться, и каюту ему отвели самую крайнюю, причем она записана на какого-то чеха. Прощаясь с ним, этим милым и симпатичным человеком, думал о том, как он рискует и как мужественно с его стороны пускаться в такие дела.

Много разговоров про Ярославское восстание, которое, оказывается, организовал Савинков. Галкин, по-моему, правильно говорит, что Савинков авантюрист, которому решительно наплевать на человеческие жизни. В результате неудавшегося восстания уничтожен город и залит кровью неповинного населения.

5 августа. Самара

Сегодня присутствовал на съезде членов партии эсеров. Выступали Вольский, Брушвит, Майский, Веденяпин и др. С одной стороны, говорят о борьбе с большевиками, с другой, всячески разжигают партийность. Один какой-то эсер вышел и начал с места громить кадетов, говоря, что эти господа все время подкапываются под власть, несут реакцию, видят на три аршина под землей и радуются малейшей неудаче правительства, которое им ненавистно, потому что оно эсеровское.

Подъезд украшен красными флагами, на сцене тоже красные флаги — вот вам и народная демократическая власть.

6 августа. Самара

Сегодня в штабе с утра говорят о том, что наши войска подошли к Казани и бои идут уже на окраинах города. Чечек, маленький, коренастый, всегда с расстегнутым и загнутым воротом рубашки, бегает нервно по штабу и, видимо, очень недоволен. Оказывается, он против того, чтобы Казань была взята. В чем дело, не понимаю. Одним словом, и тут нет согласия.

Чехи сами по себе, Комуч сам по себе, Народная армия сама по себе. Во всем получается чушь — с одной стороны, в городе власть

чешского коменданта Робенды, который, говорят, жестоко расправляется с большевиками, с другой, существует совдеп с соизволения Комуча, с третьей — Народная армия. Милый Николай Александрович[1] в своем оппортунизме этим весьма ловко оправдывается, говоря, что надо лавировать для того, чтобы проводить «свою линию», но эту свою линию, видимо, держит в секрете, потому что ее никто не видит.

7 августа. Самара

Казань взята. Говорят, что захвачено все золото Государственного банка, которое большевики свезли в Казань из Петрограда, когда опасались немецкого нашествия. Замечательно вели себя сербы — крохотный отряд во главе с майором Благотичем. В общем, вся эта затея взятия Казани, кажется, принадлежит, главным образом, авантюристу Лебедеву и Фортунатову. Хотя про Фортунатова говорят, что это действительно храбрый и приличный человек, зато Лебедев просто крикун, жаждет славы и лавров и отовсюду умеет вовремя убраться.

8 августа. Самара

Получил от Галкина командировку в Симбирск — осмотреть город, побывать в штабе и дать заключение о своих впечатлениях. С большой радостью собрался. Теперь мы живем у Варвары Вадимовны[2] на Самарской улице, где сняли комнату во дворе. Забежал в «Волжский день», где застал Владимира Андреевича Кудрявцева, Сергея Александровича Елачича, Клафтона и Коробова. Вся головка самарских кадетов. Кудрявцев просил по приезде написать о поездке и своих впечатлениях.

Поговорили о партийном съезде эсеров. Кудрявцев говорит, что ничего у них не выйдет, на что Клафтон правильно заметил, что кадеты все прозевали и уступили даже без малейшей борьбы власть эсерам — «теперь сами и пеняйте на себя», — сказал он. Сергей Александрович Елачич со свойственной ему — ограниченной — несдержанностью начал кричать, что все равно пришлось бы с этой сволочью соединяться, а это недопустимо, и потому пускай расхлебывают теперь сами, а кадеты посмотрят. Хитрый Коробов молчал. Он в молодости был эсер, сидел даже в тюрьме, потом с [19]17 года стал кадетом. Большой игрок в карты, умный, способный, кажется, довольно аморальный человек, он кончил два факультета — медицинский и юридический и занялся в Самаре практикой — стал при-

[1] Галкин.
[2] Осоргиной.

сяжным поверенным и начал делать большие дела. Теперь занялся политикой — вероятно, больше из авантюризма.

Кто необычайно мил, умен и культурен — это Клафтон. С ним говоришь и чувствуешь настоящего, культурного человека. В нем видна какая-то духовная чистота, в его красивых больших, английских глазах светится ум и сердечность. Все-таки сказывается английская кровь. Но по натуре он русский — то есть впитал российские черты: мягкость, некоторую мечтательность, русский интеллигентский идеализм и даже некоторую «бесхребетность». Пишет он прекрасно и, в сущности, является душой всей газеты. Елачич — тот только деньги загребает и ругается. По характеру это совсем, говорят, несносный человек. У него вечные скандалы. То на улице ударит кого-нибудь палкой, то в трамвае поднимет скандал. Кудрявцев рассказывал, что года два назад он вместо заутрени попал в участок, потому что в трамвае ударил какого-то господина, который успел занять место, на которое хотел он сам сесть.

Во время нашего разговора пришел Соловейчик — тоже сотрудник. Он ничего пишет, подписывается «военный». Соловейчик — кадет Самарского комитета, отбывал повинность в артиллерии и не попал в прапорщики, так как он из евреев. Вид у него довольно оригинальный — напоминает бродячего цыгана. Высокий, смуглый, с лицом, немного изъеденным оспой, с черными, жгучими глазами и страстными красными губами. У него отец еврей, а мать на самом деле цыганка.

10 августа. Симбирск. У Протасовых

Вот я и в Симбирске. Боже, сколько воспоминаний, какая щемящая грусть охватывает душу. Еще когда подъезжал на пароходе и вдали увидел на фоне бирюзы неба кружевной мост, повисший над зеркальной водой, мне стало так тяжело, что едва удержал слезы, которые сами катились из глаз.

Я нарочно взял свой прекрасный бинокль и все время смотрел на Венец[1], белеющие домики, маковки церквей и купу зелени, кудрявой и сочной, раскинувшейся по всему городу.

Печать чего-то неизъяснимо грустного, обреченного лежала на всем. Мертвая Волга, мертвый вокзал, мертвый, замерший, сонно повисший мост, мертвая пристань. Я сошел с парохода и пошел прямо к Протасовым. Меня встретили как выходца с того света. Еще бы, виделись последний раз чуть не десять лет назад, когда отец был в Симбирске. Забросали вопросами. Стали спрашивать, что в

[1] Бульвар на правом, возвышенном берегу Волги в центральной исторической части Симбирска.

Самаре. Рассказали, как брался Симбирск и какая небольшая кучка каппелевцев наступала. Говорят, что все на фу-фу и красные в городе свободно ходят и открыто говорят, что и Казань, и Симбирск все равно будут ими взяты обратно. Перед занятием города ЧК свирепствовала и объявила красный террор. Расстреливали пачками, и до сих пор еще не все трупы убраны из подвалов винного склада и управы.

Протасовы сейчас открыли гастрономический магазин и этим живут.

От Протасовых пошел в штаб, где говорил с комендантом и начальником штаба, полковником Генерального штаба Шварцем. Он не в такой форме, но тоже говорит, что держаться нечем и в случае наступления красных город не удержать.

Познакомился тут же с каким-то казачьим подъесаулом, который мне рассказывал с явным наслаждением, как он собственноручно рубил головы взятым и сдавшимся в плен красным. От его рассказов веет просто ужасом, это садист какой-то. И, разумеется, он не один. Вот тут и разберись! Красные и белые! И там и тут одни методы, и там и тут кровавый, ничем не оправдываемый террор. Разницы ведь никакой, да и быть не может, ведь по обе стороны люди одного теста, одной закваски: у нас только это не вводится в систему и тщательно замалчивается, ну и не так цинично и откровенно. А в общем, кошмар.

С тяжелым сердцем пошел по улицам родного Симбирска. В час дня он почти пустынен и кажется дремлющим под тенью густых садов, пышной зелени в жарких истомных лучах летнего солнца. На душе было сосуще тоскливо, и я никак не мог отделаться от чувства, что город обречен и что будет еще что-то жестокое и ужасное.

Увидел дом Екатерины Максимилиановны Перси-Френч и зашел. Застал ее на дворе, хлопочущей около грузовика с красным крестом на тенте. Она верна себе, вечно хлопочет, носится, суетится. Друг моего отца, она встретила меня приветливо и ласково и сейчас же повела в свой великолепный, прохладный дом. Большие комнаты, ковры, масса серебра, картин, фарфора.

Мы сели в гостиной, и она велела подать чай. Стала расспрашивать про отца. Я ничего не мог сказать, так как совершенно не знал, куда он уехал, тогда она сообщила, что о папе она знает: он с Соней на юге у Деникина, последний раз его видели в Кисловодске, где на скамейке в парке он сидел вместе с Снежковым.

От Френч пошел к нашему удельному дому. Екатерина Максимилиановна сказала, что там теперь помещается комиссия конского

запаса. Трудно передать, что я испытывал, когда шел по знакомой улице к милому знакомому дому, где провел столько счастливых радостных дней. Вот и подъезд, вот и калитка во двор и цветник перед домом. Я не пошел в подъезд, а заглянул в калитку — на дворе никого, и я вошел. Тот же фасад, та же большая круглая клумба с фонтаном посредине, дальше весь в зелени сад. Было тихо, мертвенно тихо, как всегда в жаркий полдень. Так и повеяло старым, зароились воспоминания. Какое счастье, что никого не было и никто не видел слезы, катившиеся у меня из глаз.

Тихо прошел в сад. В эти минуты я был убежден, что это в последний раз в жизни, что я здесь. Аллея, в конце на холме, вся в зелени беседка, обвитая плющом и диким виноградом. Я вошел в нее. Тут в лунные ночи, счастливый, с розовыми мечтами в юной голове, сидел я часами, наслаждаясь таинственной природой, окутанной лучами луны. Я был влюблен, я мечтал, я строил воздушные замки, все вокруг дышало такой истомой, такой неизъяснимой прелестью, что мне казалось, что жизнь вечна и прекрасна, что я сам вечен, что я все и что нет ничего лучше и краше мира Божьего. И мог ли я подумать о подвалах, наполненных трупами, о казаке, рубящем черепа, и крови, крови, и еще крови...

Вот площадка тенниса, заросшая травой и запущенная. Я встал на нее — ведь тут мы играли: отец, сестра Катя, Снежков и я. Снежков всегда с Катей, ведь он вообще всегда был ухажер и дамский угодник.

Не знаю, сколько я стоял, не знаю, сколько я передумал — но все, что было, прошло перед глазами. Не хотелось уходить, хотелось упасть и целовать землю, песок площадки, покрытый зеленеющей травой, милые молчаливые деревья. «И... у гробового входа Младая будет жизнь играть, И равнодушная природа Красою вечною сиять»[1]

Я прошел к дому. Хотелось в него войти, но как — ведь неудобно без всякой причины вваливаться? И я придумал: хочу узнать о состоянии конского запаса. В доме царила тишина. Вот кухня, коридор, наша столовая, направо кабинет отца. Услышал голоса, и где была наша гостиная, увидел каких-то трех людей, сидящих у стола, и высокую, солидную, с лицом, сохранившим красоту, старую даму. Во всей ее осанке была простая величавость и воспитанность. Я подошел и представился. Один из сидящих оказался председателем комиссии, а дама — графиней Толстой, которая сидела в Симбирске из-

[1] Неточная — с пропуском слова «пусть» после начального союза — цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

за... Крепыша[1] Эта была та Толстая, которая увлекалась лошадьми, имела свой конский завод, только о лошадях и говорила и купила за 200 тысяч Крепыша. Председатель кое-что рассказал про количество лошадей, дал мне справку, а графиня сейчас же предложила пойти с ней посмотреть Крепыша.

По дороге она жаловалась, как красные «звери» обращались с лошадьми, запрягали Крепыша в телегу и чуть не погубили всего завода. Крепыша действительно было интересно посмотреть, да и приятно: вот я видел Крепыша — могу теперь сказать.

Большой, серый в яблоках конь стоял в деннике и с любопытством смотрел своими круглыми, красивыми, карими глазами на нас. В большом дворе резвилось целое поколение этого короля бегунов. Толстая все спрашивала, как я думаю, следует ли эвакуировать лошадей и как это лучше сделать. Я откровенно сказал, что, по-моему, эвакуировать лучше, но помочь я буквально ничем не могу, но с Галкиным поговорить обещал. Поцеловал ей ручку и пошел к Протасовым.

Вечер за чаем все время говорили про события. Протасов оказался очень разумным человеком, как и все его домашние, они вполне со мной согласились и решили теперь же ликвидировать свой магазин и уезжать в Самару.

Легли поздно, мне устроили на диване отличное ложе, и я, хоть и устал, долго не мог заснуть, полный впечатлений от пережитого — перед глазами все стояла картина прошлого, душу леденил ужас настоящего. Утром еду обратно.

13 августа. Самара

Утром делал доклад Галкину про Симбирск. Доклад заключался в следующем: когда Симбирск был взят, подъем горожан оказался необычайным, но это длилось недолго. На похоронах павших воинов несли красные флаги, что вызвало недоумение и искреннее удивление. В толпе говорили:

---

[1] Этот знаменитый конь «взял пятьдесят пять призов на международных турнирах. <.. > Рысака купила графиня Александра Федоровна Толстая и разместила его на своем конном заводе в селе Старая Зиновьевка Карсунского уезда. <...> Во время революции графское поместье было разорено крестьянами. Коня удалось вывезти в Симбирск, где Крепыш попал на государственные заводские конюшни... В 1918 году по городу поползли слухи о наступлении белочехов, и начальник конезавода решил вывезти коня из Симбирска. Когда ночью под проливным дождем Крепыша попытались погрузить в теплушку, он сломал ногу и по сложившийся традиции был застрелен. До 1941 года в городе существовал музей Крепыша» (Про людей и лошадей // Вестник. Ульяновск, 2004. 10 сентября. № 36 (713). URL: http://vestnik_old.ulsu.ru/issues/713/16/ (дата обращения: 05.11.2016)).

— Эх, опять все по-старому, толка не выйдет.

Уже на другой день возобновил свою деятельность совет рабочих депутатов, на заседании присутствовали и большевики, которые кричали о том, что надо объединяться. Большевики проходят или числятся под фирмой «беспартийных», но все, разумеется, знают отлично, что это большевики. Странно, что большевики вообще нигде не объявлены официально антигосударственной партией.

И то, что они гуляют и что против них не принимается никаких мер, создает в населении страх и даже панику· большинство боятся чем-нибудь себя проявить, боятся даже, если бы и хотели оказать помощь, ибо думают: «А вдруг опять переворот или вдруг опять придут красные — и пожалуй к ответу! Нет, уж лучше я буду в стороне!»

Таково же отношение и крестьян — они тоже стараются соблюдать «нейтралитет» и не вмешиваться в эти распри, от которых они только могут поплатиться. Красным они отдают и служат, потому что те умеют требовать, — нам же они стараются вообще ничего не отдавать, потому что нет ни определенной системы, ни закона, а если и встречается что, так это произвол или же месть: «Погодите, сволочи, мы вам покажем, как землю отнимать у помещиков!»

Через два, три дня получилась эта картина и в Симбирске. Сначала наши и чехи почитались как герои, а вскоре их стали или бояться, или относиться [к ним] с пренебрежением — потому что, с одной стороны — керенщина, красные флаги, большевик на свободе, с другой — эксцессы, расстрелы, месть...

Галкин слушал молча. Я говорил, заглядывая в записи в своей книжечке. Он постукивал карандашом и кивал головой. Когда я кончил, он сказал, что очень трудно в настоящих условиях что-нибудь изменить — могла бы помочь Сибирь, да они слышать не хотят про Комуч и будут рады, если Самара попадет большевикам.

Узнал, что на пароходе прибыла академия Генерального штаба во главе с начальником полковником Андогским и перешел фронт ген. Болдырев.

С Болдыревым познакомился, он ожидал приема у Галкина. Видимо, умный и хитрый человек, но очень приятный. Он царский генерал Генерального штаба. Оказывается, родом из Сызрани, из крестьянской семьи, и его мать-старушка до сих пор живет в Сызрани. Но какое положение! Он старый, заслуженный, настоящий генерал — и ждет приема у Галкина, не то что революционного министра, а министра Комуча — прямо анекдот, прости Господи.

Из штаба направился в редакцию, но застал там одного «Зуду», маленького фельетониста, который сказал, что Владимир Андрее-

вич[1] дома. Пошел к нему и застал у него подполковника Хорошхина — представителя уральцев, артиллериста, и подполковника Косьмина из Генерального штаба. Говорили о положении. Я рассказал про Симбирск и свое путешествие. Хорошхин хитрый двуличный казак и ничего не говорит прямо, а Косьмин проще:

— Пока не перевешаем всех этих ес-еров, — он так и сказал через «е», делая на «е» ударение, — толку не будет.

От Кудрявцева сел на извозчика и полетел на пристань, хотелось повидать Мишу Евстратова с его академией. Очень удачно застал его. Академия на большой барже со всем своим имуществом. Лошади академии, библиотека, одним словом, все тут — и все слушатели. Горячо обнялись с моим дорогим Евстратычем. Сели на кровать его и не могли наговориться. Рассказывал про участие Андогского в Брестском мире в качестве эксперта, про перевод в Казань, про большевизацию академии и внедрение к ним по приказу Троцкого «светлых голов», как их назвали, — слушателей из рабочих и пролетариев. Однако из этого ничего не вышло, потому что эти «светлые головы» потели-потели и сами в конце концов начали уходить.

Я обрисовал здешнюю обстановку, и Миша со мной согласился, что ничего, в конце концов, путного не выйдет·

— Надо, брат, в Сибирь сматываться, — закончил он. Условились вечер провести вместе и простились.

14 августа. Самара

Сегодня в штабе Галкин принимал представителей Сибирского правительства, после приема я с ними разговаривал. Они сказали, что с Самарским Комучем Сибири не по пути и что советуют мне переходить на службу к Сибирскому правительству, как посоветовали бы это всякому офицеру.

16 августа. Самара

Сегодня делал доклад приехавший и перешедший фронт В[иктор] Н[иколаевич] Пепеляев, член Думы и ЦК Партии народной свободы (к.д.) Доклад происходил в помещении самарского кадетского комитета. С Пепеляевым вместе перешли фронт Парфен Васильев и Новицкий. Последний, между прочим, прелестный человек, мы с ним сразу как-то сошлись. Пепеляев обстоятельно изложил, как в Москве образовался так называемый «Национальный центр», задачи которого состоят в том, чтобы образовать правительство.

Далее он обстоятельно пояснил, каким образом постепенно образовывался этот центр: сначала образовались две группы — левая

[1] Кудрявцев.

и правая, причем когда выяснилось, что крайне правая группа придерживается немецкой ориентации — она сама раскололась. В крайне правую, между прочим, входил Кривошеин. Наконец эти группы слились в национальный центр, тезисы которого следующие: 1) Учредительное собрание этого созыва не считать правомочным; 2) правительство должно быть безусловно безответственным; 3) управление армией необходимо передать одному лицу и, наконец, 4) желательна диктатура.

Задача Пепеляева сводится к тому, чтобы сговориться с уральцами, оренбуржцами и Сибирью.

Далее Пепеляев изложил точку зрения П[авла] Н[иколаевича] Милюкова, который говорит, что всякие сепаратические стремления в настоящее время вредны, как и многовластие, ибо отдельные области, ведущие борьбу, разделенные разными партийными интересами, костенеют в своем состоянии и потому чем дальше, тем труднее создавать объединенный фронт борьбы. Вечером иду на совещание с казаками.

17 августа. Самара

Вчера до двух часов ночи был на совещании. Пепеляев должен был посвятить в планы оренбуржцев, уральцев. Совещание происходило в квартире Коробова. От уральцев были Хорошхин, Фомичев, от оренбуржцев — Акулинин и Дудаков[1] Присутствовали также представители Сибири от кадетов — Кудрявцев, Елачич, Клафтон. Соглашение по существу было вполне достигнуто, и все более или менее удовлетворились друг другом. Правда, Фомичев заявил, что уральцы против диктатуры, но не отрицают возможности ее впоследствии.

Сегодня члены Учредительного собрания — эсеры и наше милое «правительство» — устраивают ряд митингов для предвыборной агитации. Расставили красные флаги на площади у памятника Александру II, мобилизовали грузовики и автомобили с красными флагами и агитаторами, а в «Олимпе» сделали доклад на тему «О текущем политическом моменте». На самом деле они не столько докладывали о текущем политическом моменте, сколько просто демагогически призывали никому не верить, кроме социалистов, и всех, кто не с ними, называли изменниками и предателями. Я слушал и приходил в ужас: никакой разницы с большевиками, те же приемы, тот же тон. Страсти до того разгорелись, что и речи не могло быть, чтобы кто-нибудь осмелился возразить. Около памятника, куда я потом прошел, стояла толпа, и какой-то эсер, а может быть большевик, говорил, чтобы

[1] Вероятно, описка: скорее всего, здесь имеется в виду Василий Григорьевич Рудаков.

зорко смотрели за белогвардейщиной и реакцией, дабы не получить нож в спину революции. Все это происходило у постамента Царя-Освободителя. Около меня какой-то тип кричал «правильно», а потом тут же стал говорить, что «довольно нам царей, довольно палачей». Я не выдержал, обернулся к нему: явный еврей, мальчишка, лет двадцати.

— А вы откуда знаете про царей вообще? — резко спросил я его.

— Как откуда? А что, по-вашему, Николай был не деспот, а Екатерина Вторая мало своим любовникам русских денег раздала?

— А какое вам дело до русских и русских денег? — спросил я его.

— Как какое?!

— А так, что вы русских оставьте в покое, вы ведь не русский и поезжайте себе в свой Иерусалим, вот и весь сказ.

Кругом захохотали, а мальчишка зло посмотрел и отошел.

И вот всю эту историю устраивает правительство! Хорошо правительство, хороши члены Учредительного собрания. Недаром их никто иначе не называет как «учредиловцами», а их детище «учредилкой», только пьяному матросу и следовало их разгонять.

18 августа. Самара

В Челябинске намечено совещание для сговора с Сибирским правительством и для того, чтобы наметить место будущего государственного совещания. На совещание едет Комо, и Галкин сказал мне, что я командируюсь на совещание для того, чтобы состоять от штаба при французском консуле и ему переводить ход совещания. В распоряжение консула и мое дан вагон первого класса.

Едет на совещание Пепеляев, казаки и наши гг. правители.

Выборы идут вяло — полный абсентеизм. Днем ездил на дачу. Я так заболтался с политикой, что давно не был и не видел своих ребят. Наташа была нежна и мила и все спрашивала, отчего я не останусь и так скоро уезжаю. Ольга когда улыбается, у нее вся мордочка сияет приветливо и ласково.

19 августа. Самара

Сегодня едем в Челябинск. В нашем вагоне едут также и казаки, и я предложил ехать Пепеляеву. Предполагали выехать в пять часов, но к этому поезду вагона не прицепили и обещали отправить вечером. Пил чай у уральцев, куда пришли жена и Владимир Андреевич Кудрявцев. Болтали о политике. От уральцев пошли в управу узнавать результаты голосования. Победили, конечно, после всей этой агитации социалисты, вернее, так называемый блок — их пятьдесят, кадетов — семнадцать, домовладельцев — тринадцать, интернационалистов — десять

(понимай большевиков), евреев — три, извозчиков — два, окраинцев — два, от беженцев — один, ревнителей православия — шесть.

Кудрявцев правильно заметил, что это и лучше, что победили социалисты — пускай проваливаются.

Вечером опять не уехали и с вокзала вернулись к уральцам. Хорошхин пошел в штаб, а мы ужинать. Хорошо, что я не пошел домой, ибо Хорошхин передал по телефону, что он раздобыл паровоз и мы все-таки едем. В одиннадцать сорок пять мы устроились в вагоне и поехали. Комо забрался много раньше. «Правители» едут завтра в восемь часов вечера. Сегодня они, кажется, занялись митингами.

20 августа. По дороге в Челябинск

Отлично выспался. Мы с Пепеляевым поместились в одном купе. Дальше в купе Комо, затем казаки.

Погода очень хорошая. Еду по этим местам впервые. В Уфу попадем часам к шести вечера, а завтра будем в Челябинске.

В Уфе обедали. Видимо, был сильный дождь, ибо все мокро. Горы становятся все величественнее. Пепеляев рассказывал очень интересно, как он был комиссаром Кронштадта от Вр[еменного] вс[ероссийского] правительства и встретился там с самим Троцким. После речи Пепеляева вышел Троцкий и сказал, что «гг. Пепеляевы — душители революции, и вот вы будете опять рабами, а они, Пепеляевы, будут намыливать веревки, чтобы нас с вами вешать!» — закончил Троцкий свою речь.

Странное впечатление на меня производит Пепеляев. Когда так близко с человеком, особенно в вагоне, очень сближаешься и узнаешь то, что не даст несколько лет знакомства. С одной стороны, несомненно, очень прямой, очень честный человек, возможно, даже и человек долга. Но с другой, глядя на него, все хочется видеть широту, ум! Ведь член Думы, член ЦК партии, а вот как будто бы настоящей широты или ума — нету. А может быть, не хватает культуры — я не знаю? Есть что-то в Викторе Николаевиче провинциальное, а вместе с тем, несомненно, очень самобытное, крепкое, здоровое. Он много рассказывал про свою семью, про то, как он был учителем в Томске, про брата, которого он называет «брательник» и который, оказывается, орудует где-то около Читы.

21 августа. Вагон

Вчера весь вечер смотрел на Урал. Комо положительно потрясен. Он только и восклицает:

— Манифик! Эпатан![1]

[1] Великолепно! Замечательно!

Казаки-комики, зная, что он ничего не понимает, хлопают его по плечу и говорят·

— Ну, что, французишка, здорово, брат, а?

Комо немедленно обращается ко мне:

— Э-э, кесеке иль парль[1]...

Я перевожу·

— Месье ле-колонель ди, ке са дуа-тетр тре-зентересан пур ву[2].

— О! о! мэ вуй, мэ вуй, эпатан, манифик![3]

Комо маленький, черненький, щуплый французик, ходит в военной защитной форме-френче, галифе и обмотках.

Сегодня проснулся в четыре часа утра в Златоусте и до пяти с половиной стоял и смотрел на горы Урала, который мы «перевалили». Картина неописуемая. Всюду высятся громады гор, покрытых в большинстве лесом. Ночью была полная луна и вагон бежал все время по берегу быстрой реки, сдавленной громадами гор. Река быстрая и извилистая, то пропадала, то снова выныривала, блестя словно стальная лента. Ее мы пересекали и неслись то по одному, то по другому берегу.

Сейчас сижу в Челябинске. Идет совещание казаков. Пепеляев сидит с Аргуновым, Авксентьевым и др. По дебаркадеру ходит «бабушка русской революции» Брешковская[4] с палкой, в штиблетах и балахоне.

22 августа. Челябинск

Вчера происходили частичные совещания между представителями Сибири: министром Ив[аном] Ад[риановичем] Михайловым, Аргуновым, Пепеляевым, Авксентьевым, Брешковской, Моисеенко (член Уч. собр.), Кролем (Возрождение) и представителями Урала. Кеплер от Уральского правительства. Маслов от оборонцев-меньшевиков, Павлов от «Союза возрождения». Фомичев, Михеев, Хорошхин — уральцы. Акулинин, Рудаков, Богданов от оренбургских казаков. От сибирских — атаман Иванов-Ринов, Березовский и Глебов. От Енисейского войска Шуваев и Солодовников. Сегодня будут генералы Гришин-Алмазов и Патушинский.

Приехало наше правительство. Поезд прямо царский, пышность необыкновенная. Николай Ал[ександрович] Галкин, очевидно для

---

[1] «Что они говорят?» От французского «Qu'est-ce-qu'ils parlent?» вместо правильного оборота «Qu'est-ce-qu'ils disent?»

[2] Господин полковник говорит, что это должно быть очень интересно для вас (*фр.*).

[3] Да, да, конечно, замечательно, великолепно! (*фр.*).

[4] Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская.

внушительности, произведен в генералы. На дверях купе первого класса белые карточки с обозначением, кто в нем. Например: «Председатель Самарского комитета Учр. собр. Вольский», «Управляющий ведомством иностранных дел Веденяпин» и т.д. Самая большая надпись у Ковнера. «Начальник походной канцелярии Сам. ком. чл. Уч. собрания». Этот Ковнер величает членов Комуча «превосходительствами» и сам, кажется, хочет, чтобы и его так же величали. Вот те и демократы! Вид у Ковнера необычайно смешной, напыщенный и глупый. Нет, чтобы править, надо с этим родиться, так это не дается и для этого недостаточно быть эсером.

В общем, на частичных частных совещаниях выработали формулу такую: 1) состав совещания, 2) время и 3) место. Настаивать будут, чтобы совещание происходило в Челябинске, не позже месяца, в присутствии чл. Учр. собрания и Самарского комитета.

Осматривал с Комо город. Был в городском саду, который, кажется, представляет единственное увеселительное месте. В общем город довольно оригинальный. Большею частью деревянный, он широко раскинулся по обеим берегам Миаса. Улица, главная, — широкая, пыльная, немощеная дорога.

Комо шагал рядом и уж не знаю, что думал. Еда дешева. Можно отлично пообедать за 6–7 рублей, имея кофе с сахаром и квас, а без этого и за 4 руб.

2 часа дня

Сижу в зале городской управы — собрались представители Сибирского правительства. ген. Иванов-Ринов, мин. фин. И[ван] Михайлов, Оренбургского войска, Уральского, Енисейского, затем Аргунов, Кроль, Пепеляев, Авксентьев. Заседание открывается в два часа пять минут. Председательствует Авксентьев. По предложению Авксентьева заседание откладывается на завтра на десять часов утра, чтобы дать возможность вновь прибывшим членам Самарского комитета сговориться. Авксентьев перед закрытием предлагает слово старейшей из присутствующих Брешковской. С клюкой, в балахоне, она, сидя, читает нотацию:

— Прежде всего, — говорит она строго, — надо быть аккуратными и не опаздывать на заседания. Вот и все мое пожелание.

Авксентьев объявляет перерыв до завтра, десяти часов утра.

Я перевел Комо. Он одобрил и сказал:

— Мадам Брешкоф совершенно права.

После заседания Комо отправился в сад, а я к Галкину в вагон, где он помещается со своим штабом. Он говорит, что Самарский комитет в вопросе об ответственности власти ни на какие уступки не

пойдет, ибо ответственность может быть только перед Уч. собранием настоящего созыва.

Вечером ужинали с Комо в саду на веранде. Тут же были: весь синклит уральцев во главе с Хорошхиным, сибиряки, наши офицеры из штаба Галкина. Мой Комо что-то проявляет большое любопытство в отношении челябинских див, и в конце концов, пока я доедал свой ужин, он уже оказался с какой-то красавицей, с которой гулял. Меня интересовал вопрос: на каком языке они объясняются?

23 августа. Челябинск

Даже нравоучение бабушки и одобрение Комо не помогли, и русская привычка опаздывать оказалась непереборимой. Вместо десяти утра заседание открылось в одиннадцать часов пятнадцать минут — запоздало наше правительство.

Авксентьев предлагает выбрать почетной председательницей совещания Брешковскую. Выбрана. Президиум: Авксентьев, И[ван] Михайлов, Роговский, секретари Моисеенко и Аргунов.

Авксентьев объявляет совещание открытым. Сидим в зале так — считая лицом к президиуму слева направо. У стенки вдоль на диване Комо и я, далее на стульях с партами рядом со мной Пепеляев, Галкин, оренбуржцы, сзади уральцы, еще за ними кадеты и разные отдельные представители правого толка. Через проход наше правительство, за ними эсеры, эсдеки и пр. Порядок дня: место, время и состав совещания. Слово предоставляется Вольскому. Он говорит, что надо выяснить, является ли правительство Сибири единым или в Сибири много правительств. Затем: является ли Уральское правительство действительно правительством.

Кроль: «В таком случае единственная сила, которая могла бы образовать власть, это чехи».

Крики: «Казаки, казаки!» (звонок председателя).

Кроль: «Ну и казачество. Вместе с тем Урал должен дать максимум, а это возможно лишь при наличии Уральского правительства, следовательно, правительство Урала вполне необходимо».

Чембулов: «Нельзя поднимать вопроса о правах того или иного правительства. Надо передать это в комиссию».

<в машинописи отсутствует с. 308>

Фомичев: «Для меня является странным представительство Туркестана, тюрко-татар и прочих несуществующих правительств».

Генерал Иванов-Ринов: «Казачьи войска Сибири подчиняются исключительно Сибирскому правительству, но так как казаки всегда имели автономию, то естественно, что они имеют своих представителей».

Пепеляев: «Здесь, кажется, присутствуют три социал-демократа, не состоящие в центральном комитете партии, и, по-моему, они не могут присутствовать на совещании».

Майский: «Этот вопрос подлежит решению президиума, а не отдельных членов совещания, но кроме того, здесь вообще есть представители, не состоящие ни в каких центральных комитетах партий».

Авксентьев: «Объявляю перерыв для выбора комиссии до шести часов вечера».

7 с половиной часов вечера

Совещание продолжится завтра с десяти часов утра. Сегодня работает комиссия по выяснению правомочности различных правительств.

Казаки пригласили Вольского и Галкина для попытки соглашения и более близкого знакомства с настроениями друг друга.

Приехал Гришин-Алмазов.

9 часов вечера

Сейчас сижу в саду общественного собрания. Пили чай с Комо, он удрал гулять по саду, а я остался сидеть на веранде и пишу. Вечер очень хорош, тихо, полная луна. Днем отвратительно жарко: страшнейший ветер и благодаря этому невероятная пыль.

Мысль бродит все вокруг совещания. Минутами кажется, что наш комитет ни на какие уступки не пойдет. Вся эта компания, Вольский, Веденяпин, Климушкин, Нестеров — какое все это убожество. Люди далекие от мысли о России, некультурные, узкие, ни политически, ни общественно не воспитанные. Они уцепились за власть и, точь-в-точь как большевики, не хотят и не могут ее выпустить. Какой-нибудь господин Ковнер уже пишет на карточках (и ведь успел же заготовить). «Начальник походной канцелярии Комитета членов Учредительного собрания» фу-ты ну-ты, ножки гнуты, ведь вычитал же где-то, верно, про «Николая Кровавого», что у того был начальник походной канцелярии. Сегодня утром разлетелся с карточкой к Комо ни с того ни с сего, а я должен был перевести этот титул. Комо долго не понимал, почему «походная канцелярия» — я сказал, потому что так было в Императорской России, а господин Ковнер очень уважает старое все.

Забыл записать, между прочим, что третьего дня отправили телеграмму Болдыреву следующего содержания: «Сызрань Штаб армии приезжему генералу Болдыреву. Убедительно просим немедленно приехать Челябинск» — Авксентьев, Аргунов, Моисеенко,

Пепеляев.

24 августа. Челябинск

Заседание открывается в одиннадцать часов двадцать минут утра докладом комиссии. Председатель предлагает принять решение комиссии — единогласно принимается.

По вопросу о времени совещания председатель предлагает дать слово тем или другим представителям.

Представитель городов Октянов: «Полагаю, что совещание должно быть непрерывным вплоть до образования правительства, перерыв может быть лишь по техническим соображениям. Место совещания Самара».

Представитель татар Мамлеев: «За Самару и непрерывность».

Представитель башкир: «Самара».

Член цен. ком. эсеров Гендельман: «Непрерывность совещания. Место: Самара».

Пепеляев (с места): «Самое лучшее Кинталь для некоторых!»

Шум на левых, крики: «Безобразие, безобразие! Что это такое?»

Казаки дружно аплодируют. Комо теребит с переводом.

Авксентьев встает, стучит карандашом, говорит с дрожью в голосе: «Мы не для того собрались сюда, чтобы упрекать друг друга и сеять вражду. Я призываю вас в этот серьезный момент отнестись разумно к нашей задаче и помнить, что от нашего решения зависит участь России в борьбе за ее освобождение. Я призываю собрание к деловой работе и считаю инцидент исчерпанным. Слово гражданину Майскому».

Майский: «За Самару, совещание непрерывно, технический перерыв не позже как до 1 сентября».

Пепеляев: «Челябинск».

Чембулов: «Самара».

Гришин-Алмазов: «За Сибирь».

Ген. Иванов-Ринов: «За Сибирь».

Фомин[1]· «За Челябинск».

Нестеров: «За Самару».

Представитель Алаш-Орды[2] Чекаев: «Самара».

Кроль: «Челябинск».

Приехал Болдырев. Придя в вагон, застал у себя конверт с пригласительной карточкой: «Командующий Сибирской армией просит Вас пожаловать на ужин в девять часов вечера сего числа в общественном собрании». Послал в «Волжский день» за это время две

---

[1] Нил Валерианович Фомин.

[2] Партия «Алаш» (1917–1920) казахская партия, примыкавшая по идеологии к партии кадетов.

телеграммы следующего содержания: «Самара День. 22 совещание открылось председательством Авксентьева. 23 избрана почетной председательницей Брешковская. Выбрана комиссия определить правомочность различных правительств их представителей. Вечером происходят частичные совещания. По-видимому, преобладает здоровое течение, которое несомненно большинстве».

Вторая: «Сегодня 23 прибыл Гришин-Алмазов. Ожидается приезд ген. Болдырева. Завтра начнется деловая работа совещания, которое, вероятно, продлится три-четыре дня. Результаты совещания казачества все объединить, выработать общие тезисы, избрав от всех войск представителями ген. Иванова и Фомичева». Атяев[1]

Заседание открывается в семь часов двадцать пять минут вечера. Оглашается протокол заседания комиссии. Единогласно постановили продолжить заседание завтра в одиннадцать часов утра. При голосовании десятью голосами против девяти назначается местом совещания Челябинск. Авксентьев предлагает ввиду большого расхождения устроить совещание по группам. Объявляется перерыв до завтра.

25 августа. Челябинск

В вагоне оказался утром. Всю ночь ужинали. Гришин-Алмазов устроил великолепный прием. Были Комо, английский консул, кажется, бывший в Екатеринбурге, все казачество, Болдырев, Пепеляев, весь штаб Гришина. Иванов-Ринов, тоже со своими казаками. Стол был накрыт буквой «п», на поперечнике сидели: хозяин Гришин-Алмазов, рядом англичанин, потом Комо, затем Иванов-Ринов, напротив Болдырев — с одной стороны я, с другой Хорошхин, потом Пепеляев, затем остальные по обеим сторонам. Ни Галкина, ни нашего правительства, ни одного эсера не было. Я даже и не подозревал, что их не будет. Но оказывается, что Галкина Гришин пригласил, но так как никого из Комуча он не позвал, то, разумеется, и Галкину невозможно было явиться.

Ужин был обильный. Против каждого прибора было меню и бутоньерка живых цветов. Много говорили речей. Гришин-Алмазов под конец сказал резкую речь против союзников и особенно против англичан. Казаки под конец пустились в пляс, потом пели песни. И Гришин, и казаки говорили, что с эсерами Сибири не по пути. Уже когда светило солнце, мы все вышли гурьбой. Гришин-Алмазов сел в автомобиль и, указывая на национальный флажок на радиаторе, громко закричал: «У меня никогда не будет красной тряпки».

---

[1] Псевдоним Ильина.

Мы с Болдыревым пошли к нашим вагонам.

В двенадцать часов сорок пять минут дня заседание открывается. Для примирения разногласий президиум предлагает принять местом совещания Уфу. Предложение принимается. На этом заседание закрывается.

Являлся Гришину-Алмазову, так как он уезжает, поблагодарить его за приглашение. У него великолепный вагон и салон нечто вроде кабинета. Он говорит отрывистым резким голосом, несколько рисуется, но, видимо, решительный и смелый человек. Не знаю, за что, может быть за мою несимпатию самарской политике, он сразу же сказал мне, что я должен переходить в Сибирь, так как мне нечего делать с эсерами. И Галкин ваш эсер — сказал он мне. Затем предложил мне сейчас же перейти к нему, а когда я сказал, что это даже и технически немыслимо, то заявил:

— Ну хорошо, я все равно буду числить вас у себя, когда захотите, тогда и приедете.

Вечером пошел в сад общественного собрания и там застал целую компанию: Галкина, Роговского, Авксентьева, еще нескольких делегатов и Хорошхина. Авксентьев без пиджака играл на биллиарде с Вольским. Посмотрел я на них, и мне вдруг все стало ясно: ведь это же эмигранты. Вечные эмигранты. Вот так они играли без пиджаков на биллиарде где-нибудь в Швейцарии, в каком-нибудь Цюрихе или Циммервальде, обсуждая попутно участь России и династии, так они играли с Лениным, может быть, также встречались с Азефом, который их зажал и сорганизовал. Они вечные эмигранты, это у них на роду написано, и в душе они эмигранты, и везде себя чувствуют эмигрантами, и участь их быть эмигрантами и кончить так свои дни. Сами они никогда ничего не выдумывали. Или Ленин брал их за шиворот и заставлял делать то, что ему угодно, хитро улыбаясь, потому что они-то думали, что это они что-то делают, или Азеф гнал на смерть бросать бомбы, время от времени выдавая их виселице, или держала их партия, в которой они, как, например, сейчас, беспомощно брыкаются, связанные по рукам и по ногам, воображая, что что-то делают..

Мне стало противно, и я хотел уходить, тем более что Комо гулял в саду, но Галкин подозвал и сказал, чтобы я распорядился, чтобы в беседке в саду накрыли столик. Вскоре появилась закуска, водка, вина, и все перешли в беседку. Роговский кривлялся и жеманничал; это, положим его манера, и в компании он скорее славный парень.

Сидели часа два. Вечер был очень хорош. Потом отправились на вокзал, так как Галкин и Комуч решили сегодня ехать, тем более что получили сведения, что дорога не безопасна от большевиков.

26 августа

Перед отъездом видел уже в вагоне Ивана Адриановича Михайлова, который дал записку Ване — оказывается, оба были в Петербургском университете в одно время. Выехали ночью после трех часов. Стояли, потому что выяснилось, что путь находится под угрозой Каширина. Фомин, который хотел ехать с нами и даже посадил жену, в три часа ночи вылез.

27 августа

В Златоусте стояли очень долго, потому что сообщили, что двигаться опасно. Все совещатели преисполнены важности и величия. По телеграфу на станциях заказывается обед и ужин. Сегодня обед был сервирован в Златоусте великолепный. Наш Комуч ведет себя так, как не вели себя, верно, царские министры, в тех, несомненно, было больше простоты и истинного демократизма, того демократизма, который создается породой.

После обеда ходил по перрону с Кругликовым и много разговаривал. Он умный человек, хорошо говорит, но тоже отравлен партийностью, да все они здесь такие. Я не понимаю, неужели никто ничего так-таки и не видит. В вагоне случайно стоял у окна вместе с Веденяпиным, который разговаривал с Вольским. Говорили вообще о демократии, конечно, и перешли на реакционность Сибири. Я сказал, что, когда идет война, нельзя раздувать раздоры, а что у нас в России по существу и демократии-то никакой нету, есть партия социалистов, которая главным образом сидела по тюрьмам и совершенно не знает жизни, воображая, что управлять государством то же самое, что состоять в партии.

Вольский молчал, видимо, не желая мне отвечать, зато Веденяпин, поглаживая свою бороду, очень авторитетно и безапелляционно говорил, что офицерство вообще никогда не понимало ни настоящей свободы, ни демократии. Он вдался в историю, в народовольчество, вспомнил про Бакунина и Герцена и «лучших русских людей».

Я ответил, что, несомненно, это все верно и что результат говорит сам за себя: сидим в Златоусте и боимся ехать. Вольский, видимо, разозлился и ушел, а Веденяпин сел на демократию и все продолжал говорить.

Каширин — оренбургский казак, офицер, подъесаул. Их было двое братьев, но один убит, второй набрал отряд в тысячи полторы-две и ходит себе, нападая на станции, села, деревни. Если кто говорит, что большевики захватили власть военнопленными, китайцами и пр., — тот глупец, потому что, может быть, они сыграли некоторую роль в революции, но для революции и своих было достаточно.

28 августа. Самара

Приехали в Самару не в двенадцать часов ночи, а в три. Каширин со своим отрядом пересек полотно, то есть путь нашего следования, и побывал на одной из станций.

Комо, Новицкий и я остались досыпать в вагоне до восьми утра, а затем на автомобиле были развезены по домам.

30 августа. Самара

Вот и результат моего разговора с Веденяпиным. Жена сегодня передала мне, что Комо ей жаловался, что Веденяпин «счел своим долгом» предупредить его, что я очень «партийный» офицер, а кроме того, Гинэ прислал ему письмо, в котором пишет, что советует ему поменьше общаться с капитаном Ильиным, так как он играет определенную реакционную политическую роль. Очевидно, раз дело дошло до Гинэ — ему кто-то раньше «счел своим долгом» написать. Думаю, что ужин Гришина-Алмазова тоже сыграл роль.

Но самое интересное, что после совещания и у Галкина с Комучем стали натянутые отношения, но тут надо отдать справедливость Николаю Александровичу, он принял мою сторону и сказал мне сегодня только, что «у вас там был какой-то разговор с Веденяпиным, так вы, пожалуйста, не очень высказывайте свои убеждения, надо все-таки принимать во внимание, с кем вы говорите, и быть осторожнее, вы уж слишком прямолинейны — это в политике не годится».

1 сентября. Самара

По мысли жены, сегодня Комо устроил «дипломатическую» чашку чая в пять часов. Чтобы показать, что он не отдает предпочтения никаким группировкам и не общается только с «реакционными» элементами, были приглашены: Авксентьев, Аргунов, Брешковская, Фомичев, Хорошхин, Елачич, Кудрявцев, английский и американский консулы. Было очень мило, просто и семейно. Брешковская в своем неизменном балахоне расплылась в кресле и, как добрая старая бабушка, рассказывала историю своей жизни, ссылки и пр. Она в обществе премилая старушка и очень интересная и умная, я подсел рядом между ней и английским консулом и с удовольствием ее слушал.

Жизнь в эмиграции принесла хоть одну пользу нашим эсерам — болтают, и недурно, по-французски, зато наши «казачмены» ни слова ни на каком языке. Жена переводила все англичанину и американцу, а я казакам то, что говорил Комо.

Пили чай и с удовольствием поедали массу сладостей, бутербродов и тортов, теперь ведь это такая редкость.

Странная вещь эта проклятая политика, я глядел и удивлялся: Елачич, этот ругатель и ненавистник «ес-еров» — как он зло говорит, — мирно и весело болтал в группе с Комо и Авксентьевым. Авксентьев был тут милым, вполне культурным и интересным собеседником, а ведь чуть дело коснется политики, так сговориться никак не могут и просто готовы ненавидеть друг друга.

Чашка чая настолько удалась, что сидели больше двух часов и в восьмом начали расходиться.

2 сентября. Самара

Галкин говорил мне утром, что против него целая кампания со стороны Комуча. Кажется, больше всех стараются Майский и Климушкин. Напечатали даже против него прокламацию, причем сделали вид, что сами не знают, откуда она исходит.

Но хорош Климушкин. Ведь ведет себя так, как не могло прийти в голову любому царскому министру. У тех хоть воспитание было и подготовка к власти, а этот просто хам зазнавшийся. Попав в «министры внутренних дел», он гнетет печать почище, чем в старое доброе время любой самый реакционный министр. Вызывает к себе редакторов, дает им инструкции, читает нотации, «запрещает», «грозит». Дело дошло до того, что Коробова арестовали за статью в «Волжском дне». Но и тут действие получилось обратное: поднялся такой шум, мы так все постарались раздуть это дело, что его с конфузом выпустили. Жена, конечно, постаралась, чтобы консулы подробно знали об этом удивительном акте «демократического» министра «социалиста».

А ведь за все эти штуки гг. эсеры отправили в свое время на тот свет Плеве, убивали губернаторов, разводили террор... Ах, как прав был покойник дядя.

3 сентября. Самара

Сегодня в редакции, куда я зашел, увидел какого-то высокого человека в потертой солдатской шинели. Оказывается, генерал Розанов.

Он только что перешел фронт и пробрался сюда. Познакомились и разговорились. Розанов хорошо знал Толстых, так как до войны командовал полком в Пензе и часто бывал у дяди. Во время войны он дошел до командира корпуса.

Много рассказывал про красных: говорит, что у них единство командования, свирепая дисциплина и, главное, простые лозунги — грабь. Они не знают колебаний. У нас же партийные раздоры и «керенщина». Бранил казаков, говорит, что казаки только хороши

на своей земле — ее они готовы защищать, а вот идти дальше их не уговорить. Чуть награбят и сейчас же по домам.

Кудрявцев обрисовал здешнюю обстановку. Смеялся над Веденяпиным и моим с ним разговором и говорит, что теперь Комо после «чашки чая» не смогут упрекнуть в пристрастии к реакционным элементам.

4 сентября. Самара

На шестое намечен отъезд на государственное совещание в Уфу[1] Необыкновенная история: Климушкин запретил съезд торгово-промышленникам на территории Комуча, так как принимает в этом съезде участие исключительно реакционный элемент. Трудно поверить в такую меру, но это факт. Вот вам и свобода слова, совести, печати. Я думаю, что царское правительство делало большую ошибку, что не назначало министрами время от времени разных эсеров вроде господина Климушкина: вместо того чтобы сидеть в эмиграции и заниматься организацией террора, они бы учреждали военно-полевые суды почище всяких Ренненкампфов или Меллеров[2]...

Клафтон говорит, что съезд все равно соберется в Уфе, куда власть нашего милого демократического правительства не достает — это хорошо, и тут сядут в калошу.

Новицкий поселился у меня в комитете, а жена переселилась к Варваре Вадимовне Осоргиной. Новицкий чем дальше, тем больше мне нравится: по вечерам, когда сходимся, много с ним говорим — он тоже не верит ни в какой успех тут, а в особенности в успех Комуча. На днях уезжает к Деникину, говорит, что тут слишком тяжело дышать. К Деникину повезет письма от Пепеляева.

5 сентября. Самара

На совещание едет от кадетов Коробов, затем все казаки, весь Комуч, все здешние эсеры и те, кто принимал участие в совещании в Челябинске. Галкин едет со всем своим штабом. Мне он поручил попрежнему находиться при Комо. Комо поедет в консульском вагоне, а я со штабом. Поезд для Комуча и штаба уже готов. Я имею купе в вагоне Галкина. Сегодня был на вокзале и видел вагон. Вагон первого

[1] Уфимское государственное совещание — наиболее представительный форум антибольшевистских правительств, политических партий, казачьих войск и местных самоуправлений в сентябре 1918 г.

[2] О карательных экспедициях генералов П.К. фон Ренненкампфа и А.Н. Меллера-Закомельского, направленных на подавление революционного движения в Сибири в 1906 году, см.: *Попов И.И.* Забытые иркутские страницы: Записки редактора. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989. Глава 19.

класса с отличным салоном. За вагоном Галкина вагон нашего правительства, где царствует «начальник походной канцелярии», потом вагоны членов совещания.

6 сентября. Самара

Заходил в редакцию. Кудрявцев просил быть по-прежнему корреспондентом «Волжского дня» и обязательно ежедневно телеграфировать о ходе Уфимского совещания. Потом пошли к Кудрявцеву пить чай, куда пришел вскоре и Хорошхин. Мы с Владимиром Андреевичем были несколько потрясены, оказывается, Хорошхин уже генерал-майор. Его произвел круг. Недавно перед совещанием в Челябинске получил полковника, а теперь уже генерал-майор. Очевидно, что производство зависит от степени совещания. Галкин стал генералом на Челябинском совещании, а Хорошхин «его превосходительством» к Уфимскому. Интересно знать, какую карьеру можно сделать, если совещания будут повторяться часто. Думаю, что не хватит чинов.

Проводил Новицкого, он поехал к Деникину — горячо с ним обнялись. Он решил проходить через земли Уральского войска. Мне за него немного страшно.

Едем завтра. Перед вечером был на даче и простился с девочками. Погода мягкая, солнечная, все в густой зелени. Поспели ягоды, дети радуются жизни и растут, как грибы, на вольном воздухе. Лошади стоят на даче, при них все русин Петр. Двух продали вместе с экипажем, оставили двух, тележку и телегу.

7 сентября. Самара

Одиннадцать часов утра. Днем выезжаем. Ваня решил тоже ехать, и я устроил ему место в одном из вагонов с охраной. Он хочет повидать Михайлова. К нашему штабу прикомандирован подполковник Ген. штаба, приехавший с академией, Сыромятников[1] — он тоже едет. Галкин его назначил тоже штаб-офицером для поручений.

Бегал по делам, заходил в редакцию и затем поехал на вокзал.

12 часов ночи. Вагон

Выехали в шестом часу с необыкновенной помпой. Вагон наш украшен георгиевскими штандартами. На платформе стоял почетный караул. У вагона нашего и Комуча почетные парные часовые. Когда проходили господа эсеры, члены Комуча, часовые брали на караул. Вольский обходил почетный караул вместе с Галкиным. Осо-

[1] Александр Дмитриевич Сыромятников (1886–1938). Окончил 1-й кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище. Участник Белого движения на востоке России. В 1921 году перешел на сторону большевиков.

бенно хорош был демократ Майский, который прямо пухнул от важности.

Сыромятников, видимо очень неглупый человек, серьезно меня спрашивал, за что получены георгиевские знамена. Действительно, несколько неудобен этот балаган. И вот ведь странно: Галкин увлекается этим, ему, видимо, это тоже нравится!

Когда поезд тронулся, Галкин пригласил всех членов Комуча к столу ужинать. Из военных были два адъютанта, начальник охраны, подполковник Сыромятников и я.

Ужин был прямо царский: с икрой, балыками, семгой, стерлядью и невесть чем. Водки и вина тоже в достаточном количестве. Я с удовольствием наблюдал за столом наших правителей. Вольский очень важен и нетерпим почти; он все время дает почувствовать, что он власть, что он председатель правительства. Роговский ломается, выглядит пшютом, но в компании скорее мил — много болтает и шутит. Веденяпин со своей бородой выглядит простым русским мужичком-самородком, не без хитрецы — себе на уме. Сначала разговор не клеился и мы с Сыромятниковым и адъютантами молчали, но потом постепенно стали вставлять замечания. Говорил довольно безапелляционно все больше Вольский, обращаясь к Галкину. Незаметно зашел разговор о Челябинском совещании и о реакционности Сибирского правительства и «некоторых кругов», которые тормозят по существу все дело. Тут я опять не выдержал и сказал, что дело тормозится, потому что на первом плане партийность и полное игнорирование общественных и общерусских интересов. Тогда Вольский сел на ручку дивана и, согнувшись и болтая ногой, сказал:

— Ни о какой партийности не может быть речи, потому что есть Учредительное собрание, выбранное общим голосованием всей страны, и в этом Учредительном собрании подавляющее большинство — члены партии эсеров, — всякое правительство, какое бы оно ни было, обязано подчиниться Учредительному собранию в ту минуту, когда оно соберется.

Я ответил, что все это верно, но, во-первых, Учредительное собрание рождалось в исключительных условиях жизни страны, во-вторых, то, что попали эсеры, ровно ничего не доказывает и нисколько не выражает мнения страны, и затем, наконец, в-третьих, Учредительное собрание «распустил» пьяный матрос.

Веденяпин на это заметил, что не разгоняли Учредительное собрание, а оно самораспустилось, ибо в тех условиях, в каких оно начинало работу, существовать было нельзя, а что единственная действенная партия, боровшаяся и продолжавшая бороться за сво-

боду, — это партия эсеров. Тогда я возразил, что хотя эсеры и боролись, но вся их борьба происходила на чужбине в условиях нерусской жизни и в тюрьмах, где многие из них просидели добрую половину жизни, и что, таким образом, ни знания родной страны, ни народа у них никогда не было и не могло быть. В лучшем случае, это были теоретики, да еще со всеми отрицательными чертами русского, интеллигентского характера.

Веденяпин перебил:

— Если и сидели в тюрьме — а я сам сидел, — то сидели за правду и за дело освобождения России, и порочного в этом ничего нет. Вот кадеты не сидели, а что они сделали? И кто им верит?!

Я ответил, что теперь, вероятно, этот стаж тюремный кадеты наверстают, но что и я ничего в этом позорного не нахожу. Я лишь хочу сказать, что не партии эсеров, умершей и провалившейся, править Россией.

Вольский, я чувствовал, чем дальше, тем больше накаливается, и мне было ясно, что в нем я наживаю врага. Но я не боялся этого, мне даже приятно было наконец иметь возможность хоть раз высказать в глаза эсерам, которые у власти, что о них думаю.

Я привел пример Временного правительства и того развала, который наступил благодаря эсеру Керенскому и земельным реформам Чернова.

Милый Николай Александрович[1] не принимал ничьей стороны, заметив раз только, что кадетов бы защищать не следовало. Сыромятников молчал и хитро делал вид, что он понимает, что спор не совсем удобен.

— Во всяком случае мы сумеем бороться и заставить принять наши тезисы и реакционное офицерство, и реакционные круги — мы их не боимся, — угрожающе произнес Вольский.

— Сама жизнь показала, кто прав и кто в критическую минуту оказался у власти, — вставил Роговский.

— Повторяю, — не унимался я, — что это ничего не доказывает! Мы прекрасно знаем из многочисленных примеров истории, в какие крайности впадает революция и как маятник раскачивается влево с тем, чтобы потом так же откачнуться вправо. Мы также знаем, как в такое время приходят к власти и какова цена этим людям. Все это ничего не доказывает. Вот у нас выбрали эсеров, они не умели и земли-то всей отдать, единственный выигрышный пункт их программы, за который столько копий было изломано, а ан глядь, маятник-то все шел дальше влево и правят Россией сейчас большевики...

[1] Галкин.

Галкин перебил:

— Ну, дорогой мой, вы увлеклись, большевики Россией не правят. Они сидят в Москве, со всех сторон окруженные!..

— Ну хорошо, я согласен, пусть не правят, а сидят в Москве, но кто вообще тогда правит? И разве мы не видим, что те группы, которые начинали революцию, которые были у власти, та же партия эсеров, самой жизнью отброшены и скинуты со счетов?!

Тут Вольский возвысил голос:

— Во всяком случае, капитан, пока мы у власти, не забывайте, что мы не скинуты со счетов, и не забывайте, кому вы служите!!

Я извинился и сказал, что не хотел ничего сказать плохого и что спор мой носит чисто принципиальный характер, — мне не хотелось очень подводить Галкина.

Роговский начал рассказывать анекдот, Вольский поднялся, и все встали. Он нам сказал:

— Пожалуйста, господа, не беспокойтесь! — и вышел.

Сыромятников, который, оказывается, очень веселый и остроумный человек, смешил меня, когда мы остались с ним вдвоем в нашем купе. Раздеваясь, он все повторял:

— А приятно все-таки с живым эсером поспорить — вы как находите — а? Я, знаете ли, их ведь почти не видел — ничего они! Смирные, оказывается, эти бомбисты! А очень интересно бы было поглядеть, как, например, Вольский бросал бы бомбу в какого-нибудь губернатора! Вы не знаете, он не участвовал в каких-нибудь экспроприяциях? Вид у него был такой, как будто бы он только что почту ограбил, а?!..

8 сентября. Вагон

Едем с помпой. На станциях караулы, встречают торжественно, нету только «благодарного народа». Майский обходил части полковника Косьмина, которые нас встречали. Шли так: Галкин с Вольским, потом Комуч, «начальник походной канцелярии» Ковнер, затем тут же Майский и мы все, то есть штаб. Галкин здоровался, Вольский тоже — неслось «здравия желаем, ваше превосходительство!»

— Ну, чем не правительство? — заметил шепотом, держа руку под козырек, Сыромятников. — А вы еще недовольны...

12 часов ночи. Уфа

Приехали в Уфу. Уфа разукрашена флагами, лентами, здание совещания — Сибирская гостиница — вся в зелени.

Приехал Дутов, казаки стянули, как говорят, сюда свои силы, кажется, четыре полка. Видимо, надежды, значит, на сговор мало. Си-

бирское правительство ждут завтра. Тут Болдырев, Авксентьев, Аргунов. Все разместились в Сибирской гостинице. Прямо с лестницы во втором этаже номер Галкина, у которого стоят парные часовые. Рядом номер адъютантов и начальника охраны. Затем идут номера нашего правительства, Авксентьева, Болдырева, Аргунова, Коробова, казаков и пр.

Комо отвели номер в гостинице напротив на следующей улице, где получил и я номер. Сыромятников рядом. Мой номер громадный с гостиной и, за перегородкой, спальней.

Послал «Волжскому дню» телеграмму о приезде на совещание.

9 сентября. Уфа

Вчера вечером, после того как мы все разместились, город устроил приехавшим делегациям раут. В большом зале сидели все за отдельными столиками по четыре-пять человек. Я сидел за столом с ген. Болдыревым, Ваней и Павлу — председатель чешского нац. совета. Лебедев и Фортунатов оба здесь — это несколько наводит на размышления, ибо Казань накануне падения. Сегодня торгово-промышленники устраивают ужин.

10 сентября. Уфа

Вчера я и подполковник Сыромятников были на ужине торгово-промышленников в качестве представителей ген. Галкина. Он не поехал, потому что ни члены комитета, ни даже Авксентьев или Аргунов приглашены не были. Присутствовали все казаки, Дутов, Коробов, Владимир Львов. Много пили, еще больше говорили. Начал говорить кн. Кропоткин, председатель съезда. Настроение определенное — диктатура — так и говорят прямо. Сначала Сыромятников, а потом я сказал небольшое слово, и приветствуя съезд от имени ген. Галкина, и передав сожаления, что он ввиду «срочной работы» не мог присутствовать.

Торгово-промышленники вынесли резолюцию с требованием отмены какой бы то ни было национализации, социализации и введения единоличной диктатуры. Встретил на ужине Булыгина, с которым много говорил.

Послал вторую телеграмму в «Волжский день»: «Сегодня торгово-промышленный съезд дал банкет, на котором присутствовали казачество, представители различных организаций и представители ген. Галкина — подполковник Сыромятников и кап. Ильин. Съезд единогласно вынес резолюцию об отмене всяких социалистических реформ и установлении диктатуры».

12 и три четверти часа ночи

Ночью должно приехать Сибирское правительство. Кругом уже начались интриги. Наш комитет определенно трусит Дутова. Вольский о чем-то таинственно совещается с Павлу и чехами. Мне передавали сегодня, что воззвание против Галкина составлял сам Вольский и что он теперь обвиняет Галкина в желании быть диктатором. Вот уж действительно пуганая ворона куста боится — нашли кого опасаться — Галкина. Это только доказывает, насколько они все мелки и жалки.

Дутов, видимо, замышляет что-то, недаром он сказал Галкину сегодня, что предлагает в случае необходимости свои полки.

Чехи молчат и выжидают. Про Сибирь самые разнообразные слухи. Контрразведка работает вовсю, и каждый наш шаг известен. Мы с Сыромятниковым думаем, как бы не влопаться в случае какого-либо «куп дета[1]» — вот будет номер.

11 сентября

Сегодня день начался с грустного известия, что Казань взята. Это тем более скверно, что одновременно обнаружилось сильное наступление на Симбирск. Сыромятников говорит, что если только возьмут Симбирск, то будет взята и Самара, — план определенный: взять все три моста и тогда прощай, Волга! С союзниками что-то неладно: за три с половиной месяца они не дали никакой помощи. Их медлительность прямо преступна и бессмысленна.

12 сентября. Уфа

Вчера Ваня, не дождавшись Михайлова, собрался уезжать. Дал ему письма жене и Кудрявцеву статью для газеты. Воззвание опять распространяется. Показывал его Сыромятникову. Возмутительнейший документ. Эти люди, то есть гг члены Учредительного собрания, — просто преступники и, в сущности, ничем не лучше большевиков — они взывают к массам, грозят борьбой до конца, нас, офицеров, называют бунтовщиками. И это правительство. И Вольский смеет еще говорить, чтобы не забывал, кому служу.

Сейчас я сижу в зале заседаний. Десять с половиной часов, еще почти никого нет, но в «кулуарах[2]» ходят, собираются и шепчутся. От Сибири никто из видных членов правительства не приехал — прибыли министр народного просвещения Сапожников, Серебренников и полк. Березовский.

---

[1] От французского «coup d'état» государственный переворот.

[2] От французского «couloirs» — коридоры.

12 часов 35 минут

Заседание открывается. Слово гражданину Павлу, который читает приветственный адрес чехословаков.

Президиум и совет старейшин предлагают ограничить время ораторам пятью минутами и чтение деклараций тридцатью минутами.

Объявляется перерыв на десять минут. Подают записки те, кто должен читать декларации.

12 часов 55 минут

Слово предоставляется гражд. Фомину («Единство»). Зачитывает декларацию «Единства»: объединение всех общественных сил, власть должна быть коалиционной — директория.

Слово гражданину Чембулову — читает декларацию народных социалистов — верховная власть должна принадлежать государственному совещанию.

Слово представ. правительства Урала: власть должна быть коалиционной, ответственность перед совещанием.

Декларация Партии народной свободы (кадетов) Кроль — диктатура.

7 часов вечера

Заседание открывается. Авксентьев предлагает выбрать товарища председателя вместо отсутствующего товарища председателя Михайлова. Выбирают члена Сибирского правительства Серебренникова. Затем предлагает послать приветствие войскам союзников, находящимся на территории России. Приветствие читает Вольский. Продолжение чтений деклараций — слово председателю Самарского комитета членов Учредительного собрания Вольскому: доказывает бесспорную правомочность Учредительного собрания этого созыва.

Представитель Эстонской республики: ответственность перед государственным совещанием.

Декларация от партии эсеров — то же, что читал и Вольский.

Представитель семи казачьих войск ген. Хорошхин: власть новому Учредительному собранию; директория, ответственная перед государственным совещанием, созываемым периодически самим совещанием.

Генерал Болдырев от «Союза возрождения»: директория (три или пять лиц), ответственность должна быть в случае лишь законного количества членов Уч. собрания.

Сапожников от Сибири: директория, ответственная лишь перед будущим Уч. собранием.

С.-д. Майский: законность Учредительного собрания этого созыва.

Вечером за ужином неожиданно увидел за одним из столиков Утгофа. Думал, что ошибаюсь, — оказывается, он. И он меня тоже узнал, хотя и прошло со дня нашего расставания тринадцать лет. Я подсел к нему. Мы поздоровались, и он пригласил меня сесть — он сидел один. Мне было немного неловко, в первую минуту· ведь из корпуса, тогда, в 1905 г., его исключили судом товарищей за то, что он оказался эсером. В то время это произвело ошеломляющее впечатление. Глядя на него, я живо вспомнил, как ему объявили о решении нашем и как он «заболел» и пошел в лазарет, пока начальство не оформило его исключения. Он попал прямо в крепость, кажется.

Оказывается, что он член Учредительного собрания от Северо-Западного фронта, где был прапорщиком и занимался агитацией. Разговор у нас не вязался — вспоминать старое было неудобно, говорить не о чем — он, конечно, эсер правоверный, хотя вообще человек неглупый и очень способный; помню, как в корпусе он отлично учился всегда. Сын ген.-лейтенанта, гардемарин и вдруг... Помню, какое это впечатление произвело! Подали мы друг другу руки, и я сел за свой столик.

13 сентября. Уфа

Приехал генерал Розанов, которого вызвал Болдырев. Нигде свободных номеров, я предложил остановиться у меня и уступил ему свою «спальню», а сам устроюсь на диване.

Вчера вечером было совещание военных у Галкина. Собрались: Болдырев, Дутов, Хорошхин, полковник Бобрик, Михеев, Рудаков и др. Обсуждали вопрос о посылке делегации к союзникам в Читу, в частности к японцам, с тем чтобы их поторопить двигаться. После совещания по просьбе Галкина сидел до двух часов ночи на прямом проводе: дела очень плохи, Симбирск, верно, будет сдан.

Пока не передавал грустные вести, в одном из номеров шло веселье, и даже с солидной выпивкой — объединялись казаки и эсеры: Авксентьев, Зензинов, Аргунов, был Коробов, Майский и другие. Ужинали и пьянствовали всю ночь и лишь когда узнали, что Симбирск взят, стали вылезать из номера.

Утром стало известно, что Симбирск оставлен. Дело принимает совсем скверный оборот.

Сегодня началась работа согласительных комиссий, из которой должна родиться власть, — интересно, что будет в конце концов?!

14 сентября. Уфа

Решил семью перевести сюда, чувствую, что в Самаре оставаться нельзя. Комо решил перевести свое консульство тоже сюда, а главное, беспокоится о своих французах, которых десятка два в Самаре.

В[ладимир] Н[иколаевич] Львов смеется и говорит, что лучше всего семьи отправить во Владивосток. Комо просил достать ему вагон, чтобы ехать со мной в Самару. Я обратился к Галкину, и он сказал, чтобы я «поймал» Вольского и доложил ему о решении Комо.

И вот с Вольским произошла целая история, несомненно имеющая связь с нашим разговором в вагоне. Он был все время в комиссии, и я никак не мог его добиться, а между тем Комо торопил и все говорил, что сегодня вечером мы должны ехать.

Никто не хотел Вольскому обо мне докладывать, говоря, что он занят, наконец проходивший один из участников комиссии взялся вызвать Вольского. Через минуту он [участник комиссии. — *Ред.*] вышел и сказал, что Вольский просит изложить просьбу письменно. Я написал записку в виде рапорта г. Председателю Комитета чл. Уч. собрания, изложив, что французский консул г. Комо доводит до сведения, что должен экстренно выехать в г. Самару и просит дать ему вагон.

И вот минут через пять выходит с моим рапортом в руках Вольский. Подойдя ко мне, он зло сказал:

— Вам следует знать, что обращение такого сорта к председателю Комитета Учредительного собрания — недопустимо.

Я искренно не мог понять, как же надо обращаться, и сказал:

— Как же вы прикажете обращаться?

Вольский вскипел:

— Я никогда вашим учителем не был и им не буду!!

— К сожалению, — ответил я, — устав, вами написанный, не дает никаких правил и инструкций в этом духе.

Вольский:

— Я об вас доложу вашему непосредственному начальству.

С этими словами он отошел. Я хотел было уже поднимать историю и сказать Комо, что Вольский вагона не дает, как меня догнал адъютант и сообщил, что ему поручено сейчас передать на вокзал, чтобы был приготовлен вагон 1-го класса.

Прежде чем идти за Комо, зашел к Галкину и, по счастью, его застал в обществе Дутова. Рассказал ему все, что произошло, — оба смеялись. Галкин заметил:

— Это все потому что спорили в вагоне, вам припоминается. Вы вот по дороге обработайте француза, чтобы он хоть телеграмму-то послал о необходимости помощи союзников...

Час ночи. Едем вдвоем с Комо в прекрасном вагоне первого класса. Завтра вечером будем в Самаре. Поболтали немного с Комошей — забавный он француз, долго стряхивался, чистился, складывал свою «юниформ», пока проводник стелил нам постели. Я ему сказал отно-

сительно союзников, на что он ответил, что, по его мнению, никаких союзных войск в Чите нету, там только чехи и японцы, что касается союзников, то у них и на своем фронте дела много.

Ложусь спать.

16 сентября. Самара, 3 часа ночи

Час тому назад приехали с Комо сюда. К счастью, прежде чем ехать в город, позвонил Варваре Вадимовне[1]. Она сообщила мне, что жена, дети и французы на вокзале.

Я бросился их искать и нашел в новеньком пульмановском вагоне третьего класса, который дал жене английский консул. В вагоне сидела она с няней и детьми, был Соловейчик и с десяток каких-то француженок. Оказывается, что в день падения Симбирска она пошла в штаб, прося разрешения переговорить со мной, но генерал Трегубов сказал, что это невозможно — пользоваться проводом для частных разговоров, — и уверил ее, что никакой опасности нет и он ручается за Самару. Зная по опыту уже эту манеру «ручаться», жена побежала к Галкиной. Галкина встретила ее очень мило и сказала, что не надо разводить паники — все вполне благополучно и нет основания ни для каких беспокойств. В комнате между тем стояли чемоданы, сундуки, и два солдата пришли их забирать. Жена спросила, куда носят эти вещи, на что Галкина ответила:

— А это так, на всякий случай...

— Как на всякий случай? Вы что, уезжаете?..

— Да, я уезжаю, хочу воспользоваться тем, что муж прислал вагон за мной.

Тут жена, ни слова не говоря, пулей вылетела и бросилась к английскому консулу, который был очень мил и сейчас же предложил устроить вагон.

Во французском консульстве между тем началась паника, потому что Комо не было, приходили француженки справляться, что делать, и единственным человеком, который давал им ответы, была жена. Когда она получила вагон, она предложила всем желающим французам ехать.

В вагоне, где я сейчас пишу, галдеж, все француженки обступили Комо, часть, кажется, решила сходить и остаться.

17 сентября. Самара

В семь часов утра ездили вместе в город, забрали все оставшиеся вещи, и в восемь я проводил своих. Решили, что поедут прямо в Омск, это правильно, так как вагон английский консул отправляет

[1] Осоргиной.

туда. Приходил проводить из консульства лейтенант английского флота Кунингам, который непосредственно устраивал вагон. Дети зовут его «Куни-Куни».

Милый Комо написал жене прекрасное письмо к омскому французскому консулу.

В городе застал у Варвары Вадимовны Ваню — предложил ему и Наташе сейчас же свой вагон, чтобы вместе ехать. Ни за что... Опять та же история: опасности никакой и нечего зря с места сниматься. Просто кретины какие-то. Пускай делают, что хотят. И ведь главное, мог бы вывести всех, со всеми их манатками и потрохами...

21 сентября. Уфа

Вчерашний и сегодняшний дни прошли довольно однообразно. Власти еще все нет. Вчера наметили следующих: Болдырев, Астров, Вологодский, Авксентьев и Михайлов — это так называемая правая группировка; средняя — Болдырев, Астров, Авксентьев, Вологодский и Чайковский; и, наконец, левая — первые четыре тоже, но вместо Чайковского с.-р. Тимофеев или Зензинов. Сегодня это вылилось в ультимативную форму — одни не желают ни Зензинова, ни Тимофеева, левые настаивают. Чем кончится, трудно сказать, а между тем уже из Рима от Гирса пришла поздравительная телеграмма с образованием всероссийской власти.

Обедал с Розановым, а потом вместе отдыхали у себя в номере. Много говорили о Толстых, рассказывал, что Миша в Пензе занимает у большевиков большое место — ведает всей инженерной частью. Подумать, какая мерзость — отец с матерью замучены этими самыми большевиками, а он им пятки лижет — полное вырождение.

22, 23 сентября. Уфа

Власти еще нет, но, кажется, вопрос близок к разрешению. Теперь спор лишь о заместителях, а пятерка готова. Болдырев, Астров, Чайковский, Авксентьев, Вологодский.

Позора все же достукались, так как Павлу заявил, что чехи требуют, чтобы власть была образована в самом непродолжительном времени.

Очень трудно сказать, что будет, но мне кажется, что эта форма далеко еще не последняя стадия в целом ряде дальнейших пертурбаций. Зима вся уйдет на зализывание ран, на приведение в порядок совершенно расстроенного механизма государственного аппарата, на формирование частей. Разумеется, если подойдут войска союзников, тогда дело другое.

24 сентября. Уфа

Итак, наконец-то: вчера в одиннадцать часов тридцать минут вечера открылось торжественное заседание государственного совещания. Перевернулась еще одна страница истории Революции России.

Власть есть: Болдырев, Авксентьев, Чайковский, Астров, Вологодский; их заместители: Алексеев, Аргунов, Зензинов, Виноградов.

Заседание носило исключительно торжественный характер. Зал был полон. Дамы нарядились в белые платья, все старались выглядеть понаряднее. Торжественную речь произнес Павлу, в которой он, между прочим, сказал, что чехи сознают, что судьба Чехии зависит от судьбы России и великая Россия нужна Чехии и славянам.

Авксентьев от лица нового правительства произнес обещание, в котором клятвенно дают обет члены нового правительства пожертвовать жизнью ради спасения родины.

Не знаю, лично я никогда не верил в сильные чувства, сказанные такими словами. Настоящие чувства, настоящие переживания не так выражаются. Красивая, цветистая, пустая болтовня, которая скорее охладила, чем воодушевила. И в устах кого? Авксентьева! Разве ему и его коллегам уже не представлялось случая пожертвовать жизнью ради спасения «того единого, великого, цельного, которое мы именуем нашей свободной родиной»?!

Сегодня с утра шли поздравления, обсуждался вопрос относительно будущего места пребывания нового правительства. Болдырев делал смотр частям, стоящим в Уфе, и, выйдя к ним уже в погонах, начал с места с речи:

— Волею народа я избран вашим Верховным главнокомандующим!..

И вот, кажется, всё есть. То, чего так долго все ждали, наконец появилось — власть. А между тем не успела она появиться, как уже разочарование и какое-то интуитивное недоверие. Откуда это, почему, в чем дело? Но я знаю, что это чувство не у меня одного, оно у многих, оно, пожалуй, у большинства. От речи Болдырева как-то сразу пахнуло «серединкой наполовинку», тем, что уже мы все слышали и видели, когда начиналась революция, — не чувствовалось вождя, генерала, а был политик, какой-то демократ, что ли, который хочет угодить и нашим и вашим.

Речь Авксентьева, «клятва» нового правительства отдают чем-то шутовским, какой-то керенщиной, когда этот тип орал: «Я заложник демократии...» или «Я дам себя лучше растерзать, чем изменить революции!» И такие люди всегда остаются целехоньки, благополучно избегают всяких «терзаний», а дело «спасения» предоставляют другим в конечном результате...

Дай Бог, чтобы я ошибался.

Сейчас час ночи, сижу в поезде Сибирского правительства, чтобы воспользоваться перерывом и побывать в Омске.

26 сентября. Поезд Сибирского правительства

Еду в Омск. Перевалили Урал, и теперь поезд бежит по ровной, гладкой степи, изредка кое-где виднеются рощицы да кустарник. Земля, видимо, роскошная, и простор, простор необъятный. Мне нравится Сибирь. Нравится своей широтой, беспредельностью, необъятностью и богатством, какой-то здоровой, крепкой жизнью. Да, Азия. Я в Азии. Где-то придется еще побывать, куда занесет судьба?

На станциях торжественные встречи с караулами и воинскими частями. Иванов-Ринов обходит, здоровается. Вид у солдат хороший, бодрый, видна дисциплина. Это не Народная армия Самары.

27 сентября. Омск

Вчера в двенадцать часов ночи приехал в Омск. Первым делом бросился разыскивать своих. Позвонил Жардецкому, которому Кудрявцев дал телеграмму о выезде моих, но он ничего не мог сказать. Расспрашивал коменданта, но и тот ничего не знал. Как ни было грустно — лег спать в вагоне. Сегодня утром сел в поезд, идущий на ветку к городу, а когда приехал и поднялся вверх, то вдруг увидел новенький вагон внизу 3-го класса и развешанное детское белье — ясно, мои. У жены оказалась инфлюэнция, и пять дней она хворала. Тут же оказался и Соловейчик.

Днем бегал по делам и в поисках квартиры для семьи.

28 сентября. Омск

Утром был у Михайлова, который поведал мне, что против него ведутся интриги, его обвиняют в убийстве Новоселова, что некоторые члены из директории не хотят видеть его министром. Просил сказать Болдыреву, насколько все это неверно и насколько он лоялен к новой власти. Дал мне шифр, прося телеграфировать ему о результатах разговора с Болдыревым.

Живет Михайлов на нескольких конспиративных квартирах, вернее, в комнатах, и если его надо видеть, то можно лишь заранее условиться, где он будет. Удивительный человек.

Говорят, Патушинский, удивительно честный и порядочный человек, сказал про Михайлова:

— Я никогда в жизни себе не прощу, что содействовал тому, что этот мерзавец Михайлов стал министром.

Но в разговоре Михайлов очарователен, просто шармер какой-то. У него ясные чистые глаза, милая наивная улыбка. А зовут его «Ванька Каин» его противники.

29 сентября. Омск

Жена с Соловейчиком ходили искать квартиру. Оказывается, в Омске семья Миши Кострицына. его жена Ольга Эммануиловна и дочурка, сам Миша поехал во Владивосток за какими-то товарами. Он в компании с каким-то Мальгиным открыл склад. Ольга Эммануиловна очень мила и предлагает моим пока поселиться у нее.

На вокзале встретил Стембо, который все мне объяснял, что он не социалист. Болтал без умолку и кончил тем, что сознался, что он служил и у большевиков, и был с.-р., но что это все для «политики». Никак не мог понять, что ему от меня надо.

30 сентября. Вагон

Еду обратно. В составе нашего поезда вагон французской военной миссии с Жано. Пришел Стембо и пригласил меня к Жано. Сидел в купе и все время разговаривал с Жано. Он мне объяснял, почему союзники не могут послать немедленно войск, говорил про ошибки самарской власти, находил, что русская партия эсеров не жизненна, и пр. Одним словом, практика во французском языке была великолепная.

Мы были вдвоем, Стембо вообще необычайно почтителен. Уверяет, что это он дает всю информацию французским властям. Не знаю, врет или нет.

1 октября. Вагон

Сейчас получил приглашение от «Французской военной миссии» откушать с ними в Кургане. По телефону из Маркушина[1] Стембо заказывал обед, причем Жано вслед ему кричал:

— Бифштексы! Бифштексы закажите!

В Кургане обедал в обществе Жано, Стембо, двух француженок и двух еврееобразных французов. Обед был накрыт за отдельным столом и отличался великолепным десертом, кофе и сомнительным бенедиктином.

2 октября. Вагон

Четвертый раз пересекаю Урал. Какая неописуемая красота! День дивный, солнечный, теплый, яркий. Горные озера Урала сверкают, как расплавленный свинец, лес горит в золотом наряде осени…

[1] Скорее всего, Макушино, станция в Курганской области.

и везде горы и горы. А дорога вьется словно змея, делает петли, поворачивает, поднимается то в гору, то спускается вниз.

3 октября. Пятница

Утром приехали в Уфу. В своем номере застал уже не генерала Розанова, а генерал-лейтенанта Розанова, начальника штаба Верховного главнокомандующего. Розанов уже держался более официально и не так просто, но встретил мило и с места предложил мне состоять при нем штаб-офицером для поручений, тут же приказал доложить генералу Болдыреву о положении в Омске и отправиться сегодня же в Самару для наблюдения за эвакуацией, которая уже началась. В разговоре с Болдыревым я сказал, что самое лучшее для правительства будет находиться в Омске, так как со сдачей Самары Уфа уже не является местом для правительства. Он со мной вполне согласился, но вообще говорит, что положение правительства крайне трудно, сибиряки не очень-то дружелюбны, ни территории, ни войска у новой власти, по существу, нету. За обедом представился Виноградову и то же самое говорил ему об Омске. Он повторил то же, что и Болдырев, что положение необычайно трудно, у новой власти ни денег, ни аппарата власти, ни территории.

Потом был у Галкина, благодарил его за исключительное отношение ко мне, просил извинить, если я его подводил иногда, и сердечно с ним простился. Он мне сказал, что вполне был мной доволен, рад, что служил со мной, и что теперь он пока не знает, что будет делать, может быть, ему дадут формировать корпус.

Лебедев, авантюрист Лебедев, этот фокусник, послан в Читу просить японцев и союзников поторопиться с помощью, а затем и в Америку для того, чтобы информировать американское правительство о положении в Сибири. Я прямо пришел в ужас и не мог удержаться, чтобы не сказать Галкину, что это просто безумие. Дали ведь денег человеку! За что, за какие заслуги, да и что может сделать этот экспансивный истерик?! Галкин, улыбаясь, ответил:

— Да ведь надо же было от него как-нибудь отделаться, он тут надоел всем.

Послал Михайлову телеграмму· «Просьбу исполнил, переговорил, едет Омск».

<В рукописи не хватает двух страниц>

<Место и дата не указаны, начало октября, вероятно, Уфа>

Видел Савинкова. Он стоял в зале и разговаривал в группе нескольких человек, среди которых, кажется, был Деренталь и еще кто-

то; с чувством некоторого любопытства смотрел на этого человека. Ближайший друг Азефа, активный террорист, участник убийства великого князя, комиссар при Корнилове, военный министр Временного правительства — авантюрист до мозга костей. Только на русской земле мог вырасти такой цветок революции, он был взращен самим обществом, которое его скрывало, покровительственно относилось к его деятельности, восхищалось им. Помню те времена, когда весь Петербург говорил о чудовищной провокации Азефа, помню слова дяди, который, глядя своими умными глазами, говорил:

— Тут, батюшка мой, трудно что-нибудь сделать, когда само общество покрывает этих прохвостов, а наши купцы от большого ума дают им деньги на террор.

Помню прокурора Камышанского, который как-то пришел и сообщил нам, что он «притянул» Лопухина.

Тогда эта была целая эпоха. Тогда казались все эти господа какими-то таинственными, страшными людьми, и вот он, этот Савинков, стоит, разговаривает, смеется. И все-таки во всей его высокой фигуре есть что-то смелое и дерзкое. Такими, вероятно, выглядели и знаменитые кондотьеры, и авантюристы всех времен и народов...

12 часов ночи. Вагон

Час тому назад мой вагон прицепили к товарному поезду, который сейчас тронулся. Со мной едет Владимир Николаевич Львов, который просил подвезти его до Бузулука. Спрашивал, как я думаю, оставлять ли семью или вывозить, я сказал, что немедленно и без всяких разговоров надо уезжать, так как Самара наверняка будет отдана. Я воспользовался случаем и спросил Владимира Николаевича о корниловской истории. Интересно было послушать от самого участника и виновника всего этого происшествия. Он мне рассказал, как говорил с Керенским и как Керенский вполне согласился с ним в том, чтобы Корнилову была предоставлена полная неограниченная власть на фронте и над Петроградом, и, кроме того, Корнилов должен был войти в правительство.

— Вопрос был только в самом Керенском — останется ли он или нет, но и тут мне показалось, что в случае чего Керенский пожертвует своим личным честолюбием и уйдет. С этим я и поехал к Корнилову. Но, как вы знаете, дело приняло совсем другой оборот и Керенский от всех своих слов отказался.

— Так что, по-вашему, — сказал я, — Керенский просто спровоцировал выступление Корнилова?

— Не подлежит никакому сомнению, — ответил Львов.

Грешный человек, Львов показался мне очень милым и культурным, но... глупым. Было в его рассуждениях что-то недалекое. Как-то он, как все ограниченные люди, рассуждал все со своей точки зрения, и выходило так, что вот если бы послушались его, Львова, то все было бы хорошо, и даже Россия была бы спасена, и большевиков бы не было!

5 октября. Самара

Добрались до станции Раевка[1], где и стали. Оказывается, поезда дальше уже не идут. Что было делать? Бросился к начальнику станции, но тот только руками развел и уверяет, что Самара уже взята. Но я решил попасть во что бы то ни стало. Тогда начальник станции предложил дежурный паровоз. И вот я сам с двумя сцепщиками подкатывал вагон, и мы его прицепили.

Вл[адимир] Н[иколаевич] Львов высадился в Бузулуке.

В пять часов пять минут дня все-таки приехал в Самару. Картину, которую я увидел, не описать. Уже когда подъезжали, я видел из окна вагона все дороги, запруженные беженцами с возами, телегами и просто пешком. Шли дамы, мужчины, простой люд... На вокзале творится столпотворение, страх, суета, бессмысленное толкание и слухи, слухи, слухи...

Клянут Комуч, который сам благополучно выбрался, а теперь вывозят имущество правителей. Не могут добиться пропусков, чехи забрали все эшелоны и весь состав в свои руки.

Я сел на извозчика и поехал к Варваре Вадимовне. Первая, кто меня встретила, Ольга Александровна с ужасом на лице:

— Ты зачем приехал, ведь с минуты на минуту мы будем отрезаны. Ты с ума сошел.

С заплаканными глазами причитала Варвара Вадимовна, а бедная Мамзя металась из комнаты в комнату. Александр Дмитриевич сидел тут же. Оказывается, он только что приехал из Сызрани пароходом вместе с эвакуировавшимися, а Марья с Василием Андреевичем поехали поездом и где-то застряли. Рабочие с Сергиевского завода в Иващенкове[2] присоединились к большевикам и обстреляли поезд из пулемета. Говорят, что около четырнадцати эшелонов застряли между Сызранью и Иващенковом. Если Денисовы влопались в эту кашу, дело плохо. Бедные мальчики Алик и Юрка совсем растерялись, и на них жалко было смотреть. Александр Дмитриевич спросил, не могу

[1] Раевка — железнодорожная станция на линии Уфа — Абдулино.

[2] Самарский Сергиевский завод взрывчатых веществ построен в 1909 году в Самарском уезде между селами Титовкой и Губашевым вдоль железной дороги под руководством генерал-майора Владимира Порфирьевича Иващенко.

ли я его взять к себе в вагон, я ответил, что это можно было сделать неделю назад, когда я предлагал всем ехать, а теперь опасаюсь, что мне самому придется идти пешком.

Потом побежал к Вл[адимиру] Андреевичу[1], где жена сказала, что он на вокзале в вагоне Уральского правительства, которое эвакуируется.

Пошел к Летковской, потом опять к Осоргиной, где забрал коечто из ручных вещей, и отправился на вокзал. Улицы пусты. Почти никого нет. Появились какие-то подозрительные типы, которые ходят по пятам. Взял извозчика с большим трудом, содрал 14 рублей. На вокзале паника еще больше усилилась. Под конвоем вели больше тысячи человек, заключенных в самарской тюрьме, их эвакуировали. На третьем пути нашел в длинном составе вагон Уральского правительства, битком набитый казаками, в купе застал С[ергея] А[лександровича] Елачича, Вл[адимира] Андреевича Кудрявцева, Клафтона, журналиста Самсонова, сына Кудрявцева, барышню-машинистку «Волжского дня» — я оказался седьмым. Набросились с расспросами и просили сейчас же отправиться к коменданту, чтобы вагон отправили с первым уходящим поездом.

В комендантской комнате застал ужас: несколько чехов грозили расстрелом начальнику станции. Оказывается, железнодорожники пассивно сопротивляются: два паровоза оказались испорченными, сцепщики умышленно не работают и сцепляют так, что поезда рвутся.

— Расстреляю немедленно! — делая ударение на «о», кричал чех. — Подать паровоз, подать, я приказываю!..

Бледный начальник станции, дошедший до отчаяния, лепетал:

— Что ж, расстреливайте, мне все равно...

Я понял, что ничего сделать нельзя. Вышел на перрон — шли чешские роты, которые с боя занимали вагоны, ставили часовых к паровозам и никого не пускали.

С неутешительными вестями я пришел в вагон. Клафтон предлагал дать деньги сцепщику. Он лежал совершенно больной и разбитый. Кудрявцев был спокоен и шутил, казаки волновались.

6 октября. Вагон

Только в семь часов утра каким-то чудом наш вагон вытянули и прицепили к чешскому эшелону. Сейчас стоим в Кинеле[2]. Видели картину гражданской войны: у полотна трупы солдат, не разберешь чьих. Оказывается, красные прорвались до нашего приезда и еще накануне вечером, когда мы были в Самаре, но чехи и казаки их отби-

[1] Кудрявцеву.

[2] Кинель — железнодорожная станция в Самарской области.

ли — не случись этого, мы были бы отрезаны и захвачены. Красные так и вели свое наступление, чтобы отрезать Самару.

5 часов дня. Станция Корпачево

Стоим здесь очень долго и, вероятно, простоим всю ночь. Тронемся, верно, лишь завтра утром. Клафтон, бедняга, совсем разболелся, у него высокая температура. Все как-то утряслись. Внизу на одном диване Кудрявцев с машинисткой, на другом лежит Клафтон, наверху лежим на одной полке я и Елачич, на другой Самсонов с сыном Кудрявцева. Мы в первом от двери купе, и Елачич смешит нас своим несносным характером. Если кто-нибудь идет и не закрывает дверь, он встает, хлопает ногой по двери и кричит:

— Да закрывайте двери, сволочи!

Кудрявцев спокойно с комичным видом замечает:

— Сергей Александрович, да побойтесь Бога, что вы, ведь нарветесь на скандал!

И скандал действительно вышел. К утру обнаружилось в нашем вагоне несколько дам, и вот какая-то прошла, Елачич ее не видел, но дверь оказалась открытой. Он с силой ткнул ногой и заорал:

— Дверь, дверь, мерзавцы...

В эту минуту высунулась дама и назвала Елачича самого «мерзавцем».

Кудрявцев торжествовал:

— Ну что, влипли, а?..

Клафтон только стонет:

— Ах, Сергей Александрович, не кричите, голубчик!

Самсонов необыкновенно рассказывает анекдоты и всех смешит.

7 октября. Вагон

Едем еле-еле. Едим, пьем чай, бегаем сами за водой, ухаживаем за Клафтоном. Он все уверяет, что у него тиф, а Кудрявцев говорит, что это его дикая фантазия и он себе это внушил.

Говорим о политике. Оказывается, не успела власть сформироваться, как большинство из едущих в ней уже разочаровано. Во-первых, говорят, что Болдырев хитрит и подыгрывается под эсеров, во-вторых, Зензинов, Авксентьев и Аргунов, как ни верти, ничего сделать не смогут, потому что они прежде всего зависят от партии. Сознаюсь, мне горько все это слушать. Неужели опять ничего не выйдет?

8 октября. Вагон

Стоим то в поле, то на полустанках. Клафтон не встает и по ночам стонет, начинаем думать, что у него действительно тиф. Самсонов смешит анекдотами. Его совершенно лысая голова и комичное

лицо еще больше усиливают впечатление. Елачич произвел расчет со мной, и я получил уйму денег — 780 рублей за свои телеграммы и статьи.

10 октября. Уфа

Доплелись до Уфы. Узнали, что Самара взята. Бедная Варвара Вадимовна. Что-то с Денисовыми? Город опустел. После прошедших дождей грязно и неприветливо. Ходили на базар и купили для Клафтона яиц и меду.

Стоим в Миассе. Тихо, слегка морозит, воздух тих и прозрачен. Отыскали какого-то доктора в стоящем эшелоне. Осмотрел Клафтона и сказал, что, по всей вероятности, брюшной тиф, но не в опасной форме. Клафтону не сказали, чтобы его не волновать, — он и так все время в панике.

Ничего не знаем. Живем животной жизнью — едим, спим в довольно неудобных позах. Елачич ругается, Самсонов рассказывает анекдоты.

Мысль вертится все вокруг России и ее будущего. Чего-то мучительно хочется, наконец, если не порядка, то хоть власти сильной, твердой, такой, в которую можно было бы верить.

15 октября. Вагон

Весь вечер вчера и ночью ехали отлично. До Омска осталось сто двадцать верст, сегодня вечером часов в восемь приедем. Везде масса слухов. Какой-то француз в Кургане уверял, что японцы совсем ушли, а в Челябинске польский офицер заявил наоборот, что японцы уже в Томске со своей полицией и даже в ходу их деньги. Как бы то ни было, но ни одного эшелона войск до сих пор на запад не прошло и все вертится лишь в области вранья и слухов.

На Западе союзники бьют немцев так, что поражение последних близко к разгрому. Все-таки так все запуталось, что совершенно нельзя предвидеть, чем все это кончится. Все мы, действительно, как щепки в водовороте, носимся, не зная, куда нас выбросит.

16 октября. Омск

Приехал вчера в одиннадцатом часу. Все кадеты наши поехали к Жардецкому и повезли Клафтона, а я прямо отправился в вагон к Болдыреву и сделал ему обстоятельный доклад, который я составил после виденного в Самаре и по дороге. Доклад следующий:

1) Чечек просит соединить все чешские части в одну и направить на Северный фронт.

2) Дисциплина упала, не армия, а милиция, неспособность к маневренной войне.

3) Необходимость во что бы то ни стало уравнять чехов с русскими, кончить их самоуправление, взять у чехов управление железными дорогами, которое они привели в хаотическое состояние. Так, например, батальон чехов двигается в шестнадцати эшелонах, имея по восемь — десять чел[овек] на вагон с огромным имуществом.

4) Эвакуация Самары и прилегающих местностей прошла совсем плохо, не было организации, оставлен весь металл, не было создано ни одной организации по эвакуации.

5) Обман городской думы, которая в заседании за два дня до сдачи постановила объявить населению, что Самара оставлена не будет.

6) Мнение строевых офицеров относительно слушателей академии, прибывших из Казани, — желают видеть на должностях Генерального штаба настоящих офицеров, а не этих слушателей.

После доклада в двенадцать часов ночи поехал отыскивать своих, оказывается, они хорошо устроились в двух порядочных комнатах по Артиллерийской ул. 15. Жена уже секретарем французского генерального консула Нетмона.

Сегодня утром явился к своему наштаверху Розанову и сделал ему доклад, аналогичный болдыревскому. Приказом от 14 октября 1918 года за номером 8 утвержден в должности штаб-офицера для поручений при начальнике штаба Верховного главнокомандующего.

Сыромятников назначен и.д. генкварма.

17 октября. Омск

Ставка разместилась в большом новом здании управления ж.д. Все места постепенно занимаются офицерами академии, которые назначаются на должности Ген. штаба, и офицерами Ген. штаба, бывшими при академии. Был у Михайлова, который просил рекомендовать ему надежного секретаря, я передал это жене, и мы решили, не посоветовать ли Соловейчика, что и сделали вечером же. Кажется, Соловейчик и будет.

Андогский очень что-то подружился с Михайловым и постоянно у него сидит. Вид у Андогского таинственный.

18 октября. Омск

Обидная и неприятная история. Хотя все по порядку. Утром был в Ставке, Розанов меня отпустил, потому что дела особенного не было. Потом я зашел за женой к Нетмону, и мы отправились кое-что купить к обеду. Когда шли через мост по Оттоманской, вдруг автомобиль командующего войсками ген. Матковского. Я отдал честь. Матковский не потрудился ответить, и его автомобиль стал с полного хода тормозить. Выскочил адъютант и прямо ко мне:

— Вас требует командующий войсками.

Я передал пакет жене и пошел к автомобилю. Вытянулся, взял под козырек и отрапортовал:

— Штаб-офицер для поручений при начальнике штаба Верховного главнокомандующего капитан Ильин.

Вместо ответа Матковский стал кричать:

— Где погоны! Почему вы с нарукавным знаком! Это вам тут не эсеры и не Самара...

— Разрешите доложить, ваше-ство, что я третий день в Омске, погоны заказал, но еще не взял их...

Он перебил меня:

— Вы не исполняете приказа, я не допущу здесь эсеровских замашек, отправляйтесь немедленно под арест...

— Слушаюсь... — сказал я и, повернувшись налево кругом, сказал жене, что должен ехать под арест на гауптвахту, прося ее сейчас же телефонировать Розанову.

Меня душила злость так, что слезы готовы были брызнуть. Во-первых, я ни в чем не был виновен, сам Розанов видел меня и ничего не сказал. Половина Ставки была еще без погон, а самое главное, Матковский не имел права по уставу арестовывать меня. Он должен был отправить меня к моему непосредственному начальнику и сообщить ему мой проступок. Однако делать было нечего. И вот через полчаса я очутился на гауптвахте. Боже, что представилось моим глазам. Грязное, загаженное помещение. Камеры, в которых вперемешку сидели уголовные преступники, дезертиры и какие-то прапорщики. В каждой камере было по пять-шесть человек, валялись на грязных нарах. В коридоре стояла лужа, текшая из уборной, загаженной до невероятия. Смрад стоял такой, что дышать было трудно. Начальник караула принял меня и указал место на одной из нар. Прежде всего, никаким образом арестованные за дисциплинарные проступки не могли сидеть с преступниками или же с теми, кто ожидал суда, затем я по своему положению не мог находится в камере вместе с нижними чинами и младшими офицерами, наконец, сама форма моего наказания была совершенно неправильной и нарушающей устав. От злости и возмущения грыз пальцы. Стал думать, что делать, выхода, казалось, не было. Время шло, зажглись огни, а от Розанова не было ни слуху ни духу. И вот я стал просить караульного начальника разрешить мне поговорить по телефону. Он боялся и долго колебался, так как никакого права разрешать мне не имел, но все же я его убедил, причем дал слово, что буду говорить только с женой и его не подведу. С большим трудом я соединился с нашим телефоном, который мне только что, по счастью,

поставила Ставка, и услыхал голос жены. Я ей по-французски обрисовал картину гауптвахты и просил немедленно довести все до сведения Розанова. Она ответила, что не могла до сих пор найти Розанова, говорила с Сыромятниковым, и тот обещал, что немедленно все будет сделано.

После телефона время потянулось мучительно долго. Оказывается, что многие сидят и не знают даже на сколько, некоторые нижние чины уже находятся тут месяц, а то и два. Два прапорщика арестованы, и до сих пор им не предъявлено никаких объявлений. Просто застенок какой-то.

В десять часов вдруг я услыхал переполох, крики «караул вон» и шум автомобиля. Забегали люди, и в коридоре показался сам великолепный Матковский в новеньких блестящих погонах. Он старался делать начальнически строгий вид, выругал за состояние уборной, накричал на караульного начальника, а потом будто невзначай увидел меня и сказал:

— Вы свободны, пожалуйте за мной.

Я вышел за Матковским, и он предложил мне сесть с ним в автомобиль. Когда я сел, он начал говорить, что арест мой, правда, недоразумение, но он возмущен тем, что никто не исполняет приказов и что от этого страдает дисциплина.

— Куда вас подвезти? — закончил он. Я поблагодарил и просил меня высадить на Оттоманской. «Что, брат, влип, по-видимому?» — со злорадством подумал я. Матковский любезно стал прощаться, и мне сделалось неприятно.

Несмотря на поздний час, я отправился прямо в Ставку, где застал Розанова у себя в кабинете. Я немедленно доложил ему о всем происшедшем и в особенности о гауптвахте, Розанов, между прочим, сказал:

— Я, как только узнал о вашем аресте, сейчас же послал адъютанта к Матковскому и приказал ему показать устав, ничего не прибавляя. Потом Матковский мне звонил и извинялся, сказав, что произошло недоразумение. А вы насчет гауптвахты подайте мне рапорт, я приму меры.

Из кабинета Розанова прошел к Сыромятникову, который смеялся и рассказывал, как они все: он, Розанов и жена — принялись меня спасать.

— Ну их к черту, всех этих эфиопов, дорогой мой, надевайте скорее погоны, — сказал он и продолжал: — А вы знаете, сегодня приехал Вологодский, новый премьер — вот увидите, какая неразбериха начнется, опять будут спорить и ругаться, пока до нового переворота не доспорятся...

19 октября. Омск

Утро провел в Ставке. Оказывается, до настоящего правительства так же далеко, как это было, положим, в Челябинске. Во-первых, идут споры вокруг Сибалдумы[1] и Обалдумы. Затем, не могут сговориться с назначением министров. С одной стороны, целая компания против Михайлова, с другой, Директория хочет, чтобы Роговский был министром полиции, а Сибирь с этим не соглашается. Результатом всего этого уже полная потеря авторитетности Директории. Был на собрании Омского комитета кадетов. Жардецкий говорил о положении. Он говорит хорошо и с большим острым юмором. Сибалдуму называет подчеркнуто: «Си... балду ма»: «си» резко отделяет и подчеркивает «балду», а затем мягко «ма». Так же называет и «Оболду... му»...

Жардецкий подробно обрисовал положение правительства и остановился на характеристике Колчака, которого назвал исключительным человеком и который, по его мнению, наиболее подходит к должности военного министра.

Делал доклад приехавший с Востока, из Харбина, Н.А. Митаревский, который оказался старым знакомым жены по кадетской партии еще в Петербурге, когда был студентом, а она курсисткой.

20 октября. Омск

Встречали ген. Нокса. Был завтрак в штабе, а затем парад, который прошел отлично. Солдаты имеют прекрасный вид. Жалко, что теперь в этой борьбе Директории и Сибири Болдырев, по-видимому, колеблется и этим самым теряет популярность, которая и без того была не очень-то велика.

Думаю, однако, что Сибирь не провалится и что если здесь и будет переворот, то во всяком случае не большевистский. Среди офицеров английской миссии полковник Родзянко[2] — кавалергард, тот самый, которого я так часто видел в Михайловском манеже на конкурах. Очень симпатичный майор Нильсон, офицер английского Генерального штаба, и затем капитан Стивини, отлично говорящий по-русски.

На параде были все англичане во главе с Ноксом, Болдырев, Розанов и весь штаб.

Розанов дал мне предписание состоять при миссии генерала Нокса.

---

[1] Сибоблдума, Сибирская областная дума.

[2] Павел Павлович Родзянко.

21 октября. Омск

Утром Розанов приказал мне отправиться к адмиралу Колчаку и поступить в его распоряжение, оставаясь в то же время при миссии Нокса.

Адмирал Колчак живет на Фабричной улице, № 6, т. 11–65. Не было еще девяти часов, когда я пошел. Застал Колчака и явился ему. Он на меня произвел неотразимое впечатление. Видно, что это в полном смысле рыцарь. Он сразу же дал мне поручение следующего содержания:

1. Рыночные цены по разным городам, довольствие войск и первая необходимость населению.

2. Обращения Временного правительства к населению и все обязательные постановления.

После этого Колчак отправился на совещание. Я спросил его, будет ли он военно-морским министром, но он сказал, что согласия своего еще не дал. Говорит Колчак отрывисто, коротко, в его лице столько благородства и мужества. На этого человека можно положиться. Пошел от него окрыленный и уверенный, что все будет хорошо. Прямо прошел к англичанам. Тут тоже дали поручения: подполковник Нильсон и Стивини просили, чтобы Ставка дала в их распоряжение автомобиль и двух лошадей верховых, а затем достать расписание поездов по линии «Сибирь и Забайкалье» и узнать, есть ли в штабе округа типография.

23 октября. Омск

В восемь часов был у адмирала Колчака — получил следующие задания: принести устав самарских армий, приказы и пр. и положение о начальниках военных районов. Почти сейчас же Колчак уехал, а я отправился в Ставку, но узнал, что меня Розанов вызывал к себе на квартиру. На автомобиле поехал в дом доктора Яцкина на Оттоманской ул., где у Розанова две хорошие комнаты. Оказывается, Розанов принимает японскую военную миссию, приехавшую из Читы. Когда раздался вскоре звонок, мы с адъютантом вышли на лестницу и увидели группу японцев, которая поднимается наверх.

Впервые видел военных японцев в качестве официальных лиц и целой группой. В первой комнате они все расселись, я остался с ними, а адъютант пошел докладывать.

Вошел Розанов. Японцы встали, поклонились. Розанов широким жестом попросил их сесть. Майор Микэ, оказалось, хорошо владеет русским, и потому с ним Розанов и вел беседу, а он переводил остальным. Розанов просил перевести следующее:

1) В Чите японские войска заняли телеграф, перехватывают все телеграммы, почему мы фактически не имеем связи с Дальним Востоком.

2) Какие меры думает принять японское командование, дабы ликвидировать это неудобное и недопустимое положение. Розанов резко подчеркнул: «недопустимое», и это мне очень понравилось. Пока Микэ переводил, лица японцев соответственно менялись и изображали — изумление, полное наивное изумление, они качали головами, вбирали в себя воздух, посвистывали и вразумительно восклицали: «Аааа содос-ка, всессс...»

Наконец Микэ, вобрав в себя воздух и просвистев, начал:

— Вссс, рэээ — Ваше превосходительство. Японской военной миссии ничего не известно про неприятный случай в Чите. Японское командование всегда хорошо относился к русской командование, которое ведет борьбу с большевиками всссс... Если случилось недоразумение, военное командование примет все меры, чтобы его устранить... ввсссс, эээээ....

Воцарилось молчание, и японцы начали подниматься. Выдержка, надо отдать справедливость, у них изумительная.

Розанов проводил их до дверей, я до лестницы, а адъютант спустился вниз. Когда мы поднялись, Розанов пил красное вино и был рассержен:

— Мерзавцы. Им, видите ли, ничего не известно. Заняли телеграф, ничего не пропускают и... не известно. Все лгут и обманывают. У них вся политика на этом построена...

После приема японцев забежал в кадетский комитет, где от Жардецкого узнал, что министрами намечены: внутренних дел — Михайлов, морским и военным — Колчак, Савинков министром иностранных дел и затем министры Сибирского правительства.

24 октября. Омск

Дела масса. Утром был у адмирала Колчака. Он в нервном настроении. Представил ему материал, который он мне поручил собрать. Поручил достать в штабе Сибирской армии два экземпляра сводки с картами для генерала Степанова[1] и генерала Нокса и два экземпляра карт фронта десяти- и сорокаверсток.

Был у англичан. Генерал Степанов просил послать телеграмму:

«Харбин таможенная 35 Полковнику Кайсарову точка Приеду около десятого ноября прошу передать Токмакову просьбу сообщить ген. Марковскому полковникам Бурлину Маковкину Враштиль мое желание переговорить с ними точка

[1] Николай Александрович Степанов.

Полковника Пушкова прошу приготовить две монголки лично для ген. Нокс и полковника Родзянко точка

Генерал Степанов».

25 октября. Омск

Представил ген. Степанову и ген. Ноксу карты, которые приказал достать адмирал Колчак. Был оставлен на «брекфаст»[1].

Потом пошел в Ставку, где Розанов дал поручение вызвать командира унтер-офицерского батальона и узнать нужды. В штабе округа достать программы подготовки солдат в [19]16 и [19]17 годах, там же положение о школах подпрапорщиков и их программы.

Генералу Кедрину направить офицера для составления программы школ прапорщиков.

Достать сборник узаконений Сибирского правительства. Сборник приказов по Сибирской армии.

Повидать приехавшего с юга полковника Дм[итрия] Ант[оновича] Лебедева, адрес: Бутырская 25, т. 7–80.

На улице встретил неожиданно Андрея Андреевича Кофода. Мы страшно обрадовались друг другу. Вид у Андрея Андреевича был растерянный. Оказывается, он арестован чехами как немецкий шпион, но за недоказанностью выпущен с тем, чтобы достать поручителя. За ним шел какой-то чех. Он сообщил, что его дело находится у прокурора Мелика-Агаджарова, я немедленно же полетел к Мелику, застал его, представился и дал полное поручительство за Андрея Андреевича. Мелик сначала колебался, но потом позвонил Зайчеку — начальнику чешской контрразведки. Одним словом, пока что Андрей Андреевич спасен. Бедный человек, он приехал сюда как представитель Дании, а чехи его принимают за шпиона и возбуждают против него целое дело. В общем, просто Мексика какая-то.

Вечер провел у англичан с Нильсоном и Стивини.

26 октября. Омск. Суббота

Наконец пришли живые настоящие англичане. Их торжественно встречали, были депутации, были министры Сибирского правительства, был Виноградов. Ждали страшно долго, с одиннадцати утра и до трех дня. Было холодно, все ужасно продрогли. После встречи отправились в гарнизонное собрание «чествовать» английских офицеров во главе с полковником Уордом, солдаты в корпус, где их ждал обед.

Обед был великолепный и блестящий, много пили, много ели. Уорд говорил речи, выражая удивление, что русские так не спло-

[1] От breakfast (*англ.*) — завтрак.

чены и вместо национальных флагов он по пути видел все другие. Переводил полковник Франк, который с ним приехал. По русскому обычаю, кончилось дело хамством. Красильников напился со своими казаками и, вынув наган, подошел к музыкантам и заставил их сыграть «Боже, Царя храни». Разумеется, все встали и стояли, а гимн повторялся три раза. Очевидно, Красильников хотел тут показать настоящий казачий национализм. Впечатление неприятное. Англичане были, видимо, порядочно удивлены, а наши генералы старались инцидент замять.

Все эти дни переживается кризис, Директория настаивает на созыве областной думы, то есть всесибирского совдепа. За созыв голосовали Авксентьев, Зензинов и... кадет Виноградов. Против — Болдырев и Вологодский.

Далее, Директория требует на пост министра полиции Роговского, иначе говоря, хотят ввести эсеровскую полицию, причем уже теперь Роговский организует с помощью Авксентьева и Зензинова охрану из эсеров. Затем, требуют удаления Михайлова, на что Сибирское правительство ни в коем случае не идет. На то, чтобы Роговский ведал полицией, не согласен и адмирал Колчак.

28 октября. Омск

Сегодня дело приняло совсем скверный оборот: от имени чехов выступил Кошек и заявил, что чехи стоят за созыв думы, назначение Роговского и удаление Михайлова. Михайлов прислал немедленно же Бурова, который просил сейчас же довести до сведения французского консула и вообще, если можно, оповестить иностранцев. Я немедленно отправился к Нетмону, и мы заработали. Жена немедленно устроила свидание французского консула с Михайловым, я же поехал к Колчаку, а потом к Степанову[1], которым все рассказал, от Степанова отправился к Нильсону, оставшемуся за Нокса. Нильсона застал и повез его к Нетмону, и вышло так удачно, что, когда мы подъезжали, входили американский и английский консулы и Кошек, всех их пригласила жена по поручению Нетмона. После получасового совещания все отправились к Вологодскому и Авксентьеву. Таким образом, выступление чехов, хотя [оно] и было просто блефом, удалось ликвидировать, или во всяком случае разговоры о нем, — сейчас опять идет совместное заседание Директории и Сибирского правительства.

Ах, если бы Бог дал, чтобы у Колчака хватило силы воли поддержать Сибирь и пойти на разрыв с Директорией, которая, еще не пустив корней, легко бы могла быть ликвидирована. И ведь аресто-

[1] Николай Александрович Степанов.

вать, разогнать или вообще распустить Директорию ровно ничего не стоит — это дело нескольких часов. Кучка никчемных людей — все таких же интеллигентов, эсеров, бесхребетных людей...

Болдырев сидит на двух стульях, и это всеми чувствуется, мой Розанов сильно стал поклоняться Бахусу, и его чаще всего можно найти в кабачке, да еще в обществе прелестных созданий.

Боже, Боже! опять все то же! Не успела сформироваться Директория, не успели кое-как сговориться, как снова пустое место! Еще ровно ничем себя не проявив, Директория уже завяла, потеряла всякий авторитет, всякий резонный смысл. Ни Болдырев, ни Розанов в военных кругах никакого авторитета не имеют, уже начались кругом интриги, интриги Генерального штаба. Михайлов группируется с Андогским и шпиком Буровым; Слижиков, Сыромятников тоже с ними; Болдырев, Розанов, если его можно считать, — другая группировка, примыкающая к Директории.

Вопрос о диктатуре назрел, как назрел болезненный волдырь, который вот-вот лопнет. Жардецкий, не стесняясь, говорит об этом, говорят и другие из кадетского комитета.

Начал писать в «Русской армии», редактором которой подполковник Геркен.

Сегодня моя статья: «Что такое дисциплина в армии и почему она должна быть».

1 ноября. Омск

Важное известие. Армия Деникина взяла Новороссийск, а английская эскадра в Черном море. На юге уже образовалось и правительство, в которое входят: Сазонов[1], Шипов, Лукомский.

Если только все это верно, то спасение придет именно с юга и с теми людьми, которым страна может и должна верить...

Здесь опять компромиссы: Роговский все же директор департамента полиции — эсер и во главе полиции! Авксентьев, глава правительства, заявил, что в случае чего они, то есть Директория, обопрутся на чехов. Вот каково положение здесь. Единственно кто может все изменить, это Колчак, все же лучшее на юге и здесь лишь провинция, глухая провинция холодной Сибири.

8 ноября. Пятница

Дни страшно заняты. Мало времени остается даже для того, чтобы питаться. Вчера вечер провел у англичан. Нильсон говорит, что немцы близки к полному разгрому: Австрия фактически уже развалилась, Турции не существует. Английский флот вошел в Черное

[1] Сергей Дмитриевич Сазонов.

море. Германия согласна принять самые тяжелые условия. Таким образом, союзники обошлись без нас, и мы, голодные, оборванные, стоим в стороне, в сущности, никому не нужные! Что спасет нас? Где это спасение? Единственно в нас самих, и больше ни в ком! А в нас и у нас разложение! Еще ничего не успели сделать, а уже те же эсеры — партия, сыгравшая столь печальную роль в истории России, — выпускают опять воззвания, призывая к вооруженному восстанию, угрожая и, по существу, становясь на путь тех же большевиков.

Личные интересы, личное мелкое самолюбие; ни один из них не в состоянии принести своего в жертву, ради общего дела. И вот собрались остатки в Екатеринбурге членов Учредительного собрания, жалкие и ничтожные люди, и начинают мутить, начинают все сначала; они не могут успокоиться, ведь вся жизнь их — это революционная интрига, болтовня, всякая провокация и всякие «взрывы».

И это в то время, когда от нашего благоразумия зависит и помощь союзников, и снабжение частей на фронте, и отношение тех же чехов.

Розанов бывает в Ставке последнее время редко и все больше сидит у себя и пьет красное вино или же по кабачкам.

Из Ставки пошел к нему — он меня быстро отпустил, справившись, был ли я у англичан. Ответил, что сейчас пойду. Зашел напротив к французскому консулу, застал Жардецкого. Оказывается, Жардецкий просил устроить ему свидание с иностранными представителями для того, чтобы от имени омского комитета Партии народной свободы посвятить их в положение. Жена звонила американскому консулу, английского Джордона ждали, а меня просили привезти Нильсона.

Поехал на ветку за Нильсоном. По счастью, застал его и попросил поехать. У англичан это хорошая черта. Без всяких лишних расспросов и разговоров — взял фуражку и поехал.

К нашему приезду все собрались уже. Я остался ждать в приемной. Жардецкий говорил, жена переводила и на французский и на английский языки.

Больше часу длилось «осведомление».

Был у Лебедева, по поручению Розанова. Лебедев высокий, скорее худой человек, с горбатым носом и длинным, несколько лошадиным, лицом. Я ему представился, и он меня спросил о настроениях англичан, о том, что делается в Ставке. Видимо, он не на стороне Директории. Вообще же его миссии себе не уясняю — Сыромятников говорит, что он представитель Деникина и всецело «на нашей стороне».

9 ноября. Омск

У нас был вечер. Приехали французский консул Нетмон, я привел Нильсона и Стивини, собрались все кадеты: Клафтон, Жардецкий, Кудрявцев, Елачич, позже приехал Михайлов. Разумеется, «варились» в высокой политике, и англичан и француза обрабатывали в «кадетском» духе.

Михайлов вообще необычайно ищет с нами (сказать «дружбы» про такого человека мудрено) всяких близких отношений, почему постоянно присылает то Соловейчика, то своего адъютанта (у него есть и такой) за какой-нибудь книжкой, приглашает меня «почаще заходить» и т.д.

10 ноября. Воскресенье

В омских салонах блистает мадам Гришина-Алмазова. Сам генерал уехал на юг, говорят, что его удалению немало способствовали англичане, которые на него точили зубы после его речи на челябинском обеде, на котором присутствовал и я. Уже когда все порядочно подвыпили, казаки начали плясать, Гришин встал и своим громовым голосом сказал речь, посвященную союзникам, причем англичан упрекнул в предательстве и заявил, что все равно они без России не обойдутся.

Мы все были смущены, но думали, что обойдется, так как английский консул ни слова не говорил по-русски, да и все были порядочно нагрузившись. Но, оказывается, англичанин на другой же день сообщил о речи Сибирскому правительству и выразил претензию и неудовольствие.

Гришина-Алмазова же осталась в Омске и открыто живет с министром финансов Михайловым. Женщина она необычайно эффектная, высокая, красивая. Кричаще одевается в великолепные открытые платья, показывая свое красивое тело — грудь и спину обнажая елико возможно. В пышных волосах колышутся букетом перья «паради». Пьет Гришина гомерически и может выпить бутылку, а то и две, водки, и хоть бы что! Укладывает любого мужчину!

Это старое воспитание. На Дальнем Востоке ее многие знали до войны, когда она была шансонеткой на подмостках хабаровского шантана. И за удивительную способность поглощать спиртные напитки ее звали «Манькой Мокрой» — очень поэтическое название для будущей любовницы, а может быть и жены минфина.

Но в общем говорят, что она — хороший человек и умная женщина. Что она умна — это, конечно, не подлежит сомнению.

11 ноября. Омск. Понедельник

Вчера Авксентьев, специально поехавший для этого в Томск, должен был открыть «Си-балду-му». Сколько раз ее закрывали, сколько раз открывали и опять разгоняли — к чему весь этот балаган, право. И ведь вот уже середина ноября, то есть полтора месяца со дня сформирования «Всероссийской власти», а пока что, кроме одной болтологии, интриг и ерунды, ничего ровно не сделано.

В Екатеринбурге отличается «селянский министр» Чернов — тот самый, которого во Временном правительстве опасались и не все при нем говорили, — этот гусь теперь тоже претендует на власть, на какое-то признание и мутит, мутит, выпуская прокламации и воззвания... И как прав Жардецкий, который с неподражаемым юмором говорит, что разница между большевиками и эсерами та, что первые разбойники, а вторые мелкие жулики.

Вчера вечером вместе с Нильсоном встречал Реньо — он после своего падения с повязанной головой и синяком под глазом. С французами приехал Зиновий Максимович Пешков, капитан французской службы. Он приемный сын, оказывается, Максима Горького, а по происхождению еврей Урицкий[1], брат Урицкого, которого убил в Петрограде студент. В синем французском мундире, плотный, невысокого роста, смуглый Пешков отлично говорит по-французски, болтает по-английски, очень энергичен, оживлен и деятелен.

И вот такой тип будет тоже играть роль, информировать французов и «делать политику».

13 ноября. Среда. Омск

Одиннадцатого заключен мир. Итак, свершилось! Германия разгромлена. И странно подумать: Империя железного канцлера вдруг у ног победителя. Мало этого, внутри начинается революция. Условия мира следующие: Эльзас-Лотарингия возвращена Франции, граница по Рейну. Германия разоружается. Россия должна быть очищена в пятнадцатидневный срок, граница ее восстанавливается по [состоянию на] первое августа 1914 года, то есть начало войны.

Сидел у англичан. Они рады, веселы, счастливы. И это так понятно — четыре с половиной года невероятного напряжения, четыре года глубочайшей трагедии и наконец — победа, полная победа. А мы, голодные, оборванные, униженные, должны смотреть на торжество наших союзников! А сколько могил усеивают поля Галиции, горы Карпат, пески Малой Азии! Сколько лучших жизней унесено в вечность! Для чего? Чтобы в результате Черновы призывали к бунту, восстанию и, не переставая, играли бы в революцию?!

---

[1] Сведения неверны.

14 ноября. Омск

Адмирал Колчак поехал на фронт и вернется, вероятно, 15-го или 16-го. Уехал он в несколько мрачном настроении. Видимо, ход переговоров, все эти интриги, сплетни и пр. претят его честной и прямой натуре.

В Ставке сегодня Сыромятников с несколько таинственным видом мне заявил, что «все готово» и чтобы я смотрел за тем, чтобы Розанов ни о чем не догадался.

— А то вы знаете его, все дело провалит, — добавил он.

Спрашивал про иностранцев — как они. Я сказал, что Нильсону я несколько раз уже говорил и он во всяком случае знает и, кажется, ничего против не имеет, во всяком случае, симпатии его не на стороне Директории.

Сыромятников в свою очередь рассказал, что большое участие принимают в назревавших событиях Михайлов, Андогский, Гришина-Алмазова и наш Буров. Андогский разработал всю техническую сторону.

Самое интересное, что Михайлов, как думает Сыромятников, сам бы хотел захватить власть, но у него хватает всего, кроме решимости и мужества, особенно когда наступает момент, что надо действовать уже открыто. Его роль: плести интриги, в случае чего «устранять» чужими руками, одним словом, политика в духе какого-нибудь Борджиа, только во много раз мельче, всего лишь в омских масштабах.

17 ноября. Омск

Утром был у Колчака. Немного почитали газеты. Он спокоен. Спросил его относительно Роговского, он сказал, что, вероятно, его ни в какой министерской комбинации не будет, на что я искренно воскликнул:

— Ну, слава Богу!

Колчак ничего не сказал, но как-то тепло на меня посмотрел.

После Колчака зашел в Ставку, где передал Сыромятникову о том, что только что слыхал от Колчака. Затем был у Розанова на квартире у Яцкина, застал Розанова за вином и прошел в нашу самарскую коммуну, где живут Кудрявцев, Клафтон и Григорьев.

Говорили о положении. Рассказал им о настроении иностранцев, о том, что «думают» англичане, и о готовности Ставки к перевороту. Клафтон определенно говорит, что боится и в дальнейшем интриг со стороны Михайлова и что это вообще злой гений Омска. Вечером, оказывается, будет заседание комитета. Очень удачно, что Болдырев уехал на фронт.

18 ноября. Омск

Итак, все кончено. Диктатура[1]. Но все по порядку. Вчера вечером пошли с женой на кадетское собрание. Собрались все. Пепеляев сделал доклад, и съезд по предложению Жардецкого принял все тезисы доклада и вынес резолюцию о желании диктатуры. После этого кто-то выступил и пояснил, что монархические принципы вообще так назрели, что офицерство, например, как только подвыпьет, сейчас же начинает петь «Боже, Царя храни». На это ответил Жардецкий очень остроумной речью, в которой сказал, что он вполне присоединяется к «тезисам Пепеляева», что момент для диктатуры настал, но что от одного избави нас Боже — от Пьяного Царя! Что же касается власти, то в Омске сейчас находится известный адмирал, мужественный и прекраснейший человек — Колчак, и Жардецкий предлагает собранию приветствовать адмирала от лица съезда. Все встали и долго аплодировали.

После собрания Пепеляев, жена, Елачич, Кудрявцев и я пошли ужинать в «Россию», откуда в первом часу вышли. А через час начались аресты Директории, и сегодня в два часа дня адмирал Колчак стал диктатором.

Наши труды увенчались успехом, и с социалистами покончено раз и навсегда, слава Богу! Вчера ночью отряд Красильникова арестовал Авксентьева, Аргунова, Роговского, Зензинова, а утром Совет министров убедил двух оставшихся из Директории — Виноградова и Вологодского — признать положение Директории скомпрометированным и передать власть Совету министров, который двенадцатью голосами против одного (Розанов) избрал адмирала Колчака. Все блестяще удалось.

Очень удачно, что съезд нашей партии вчера принял все тезисы Пепеляева и, между прочим, необходимость диктатуры. Таким образом, единственный раз партия выступала наконец-то активно и решительно. И, в сущности, весь переворот сделала партия кадетов и офицерство.

Я очень счастлив, во-первых, потому, что наконец-то партия стала на путь решительной и реальной политики, и, во-вторых, что теперь есть надежда на спасение России.

19 ноября. Омск

Всего, кажется, не напишешь, так много впечатлений. Самое интересное, что наштаверх Розанов ровно ничего не знал и вчера еще

[1] 18 ноября 1918 года в Омске произошел арест представителей социал-демократического крыла Директории. Решением Совета министров правительства единоличная верховная власть была передана военному и морскому министру А.В. Колчаку.

ночью, в момент ареста, он после доброй порции вина благодушно почивал, спросив предварительно по телефону Сыромятникова, все ли благополучно и зачем это вызвали офицерский батальон, который подтянули на вокзал. Чуть не вышло ерунды, между прочим. Батальон подтянул Сыромятников, а командир батальона возьми да и позвони по телефону Розанову:

— Честь имею явиться, по вашему распоряжению батальон прибыл.

Розанов ничего не понял и стал звонить Сыромятникову, который уверил его, что это все просто недоразумение. На что Розанов благодушно заметил:

— Ну, вы там, одним словом, разберитесь и, в случае чего, взгрейте командира батальона!

Утром это все мне со смехом передал Сыромятников, оставшийся временно за Розанова. В Ставке подъем. Я отправился к Розанову и вместе с ним на автомобиле приехал опять в Ставку. Розанов как-то вдруг совсем переменился, и весь его гонор и вся важность с него слетели; он снова стал таким, каким был, когда я его впервые увидел в Самаре. По дороге в автомобиле он меня спросил, знал ли я что-нибудь о перевороте. Я ответил, что знал все.

— Вам бы следовало по долгу службы меня предупредить и известить, — сказал он с упреком.

— Я, ваше превосходительство, был при адмирале Колчаке все время и фактически находился в командировке, а затем я играл роль скорее связи с различными группировками и давал сведения и информацию о настроении тех или других кругов и иностранцев. Непосредственно же я в перевороте не участвовал, не хотел, конечно, участвовать, хотя всей душой был на его стороне...

Мне было неловко, потому что Розанов все же был, пожалуй, прав, хотя сказать ему, разумеется, было немыслимо.

В Ставке застал Пепеляева, который радостен, бодр и весел, говорит, что, вероятно, будет начальником департамента полиции.

Пошли и анекдоты: встретил Андогского, он сказал:

— Ну поздравляю, вы кажется играли не последнюю роль?

— Благодарю вас, г-н полковник! — ответил я. — Какое замечательное обращение написал адмирал Колчак: как коротко, хорошо и сильно!..

Андогский улыбнулся и, помолчав, сказал:

— Да... обращение писал я.

— Вы?!!

— Да, я составлял его по просьбе адмирала.

Только что я отошел от Андогского, идет штабс-капитан Буров:

— А! Поздравляю, Иосиф Сергеевич, ну как здорово, правда! Уж будьте покойны, там, где Иван Адрианович[1], дело будет обделано чисто!

— А вы тоже, конечно, принимали участие самое деятельное? — спросил я.

— Ну а как же! Читали воззвание Колчака, его обращение?!

— Читал; прекрасно написано, только что говорил об этом с Александром Ивановичем...

— А знаете, ведь я писал его...

— Вы? — искренно удивился я.

— Ну да! Адмирал поручил Михайлову, а Михайлов мне!..

Я пошел по коридору в раздумье. Кругом шумело, как в улье, по лестнице поднимался со своим еврее-цыганским лицом Соловейчик — я постарался было избегнуть его, но не удалось — он остановил тоже с поздравлениями и тоже дал понять, что он участвовал и что воззвание... писал он! Колчак поручил Михайлову, а Михайлов Соловейчику!!

Одним словом, теперь все участвовали, все писали, все арестовывали: некоторые врут так искренно, что и сами будут месяца через два вполне убеждены, что они и участвовали, и писали, и пр.

Навстречу шел милый Миша Евстратов. Мы остановились, и я отвел душу.

— Да плюнь ты, брат на эту сволочь! Все врут, как сивые мерины! — забасил Миша своим густым, низким голосом, размахивая свободной рукой. — Проходу теперь нет, знаешь! Еще вчера сидели по норам и боялись нос показать, когда не знали, как обернется, — теперь все участвовали!!

20 ноября. Омск. Среда

Сегодня есть сведения о взятии Петрограда. Взяли его, повидимому, или англичане, или же Юденич[2]. Если это только так, то все, значит, идет блестяще. Отовсюду телеграммы с признанием Колчака — хороши телеграммы Дутова, Иванова-Ринова, Хорвата. Воображаю, как завопили эсеры.

Директорию милостиво высылают за границу — скатертью дорога. Довольно, сделали больше, чем нужно, чтобы замарать страницу русской истории, пусть убираются на все четыре стороны. А ведь все-таки много сделали эти гг. для того, чтобы развалить Россию. Но ничего, кажется, заря возрождения уже занимается — дай-то Бог, в добрый час.

---

[1] Михайлов.

[2] Сведений установить не удалось.

23 ноября. Омск

Розанов не у дел. Вместо него назначен полковник Д[митрий] А[нтонович] Лебедев, офицер Генерального штаба, приехавший с юга от Деникина. Лебедев произведен в генерал-майоры и принял должность. Сегодня он предложил мне остаться при нем и дал поручение обследовать сегодня же гауптвахту и помещение арестованных. Я поблагодарил Лебедева за его предложение и отправился сейчас же исполнять поручение. Осматривал и опрашивал до самого вечера, вот результат моего обследования, который я представил Лебедеву:

1) Нары грязные, масса клопов. Пищу получают не ежедневно, камеры мрачные, грязные стены, электричество не всегда горит, и, когда не горит, взамен ничего не дают, так что арестованные сидят в темноте.

2) Ротмистр Станковский арестован внезапно в вагоне. Обвинения не предъявлено. Все вещи остались в вагоне 2323, их участь неизвестна.

3) Три дня тому назад смена караулов происходила с двенадцати часов дня до восьми вечера, причем объяснили, что за время смены арестованных выпускать нельзя даже за естественными надобностями.

4) Сахару и чаю не дают. Вместе этого теплая вода. Когда приносят обед, выпускают не всех, потому что некоторых приказано изолированно держать, почему этим последним вовсе ничего не достается.

5) Поручик Миллер, пор. Слуцкий и прап. Кутузов сидят от трех до восьми дней, и до сих пор обвинения не предъявлено.

Вещи Миллера и прап. Кутузова оставлены в гостинице, и их участь неизвестна. Прапорщик Кутузов ехал на фронт, и его внезапно арестовали, как семеновца, причем он утверждает, что никогда у Семенова не служил.

Поручик Миллер ехал на фронт к атаману Дутову и задержался в Омске потому, что один из едущих умер. Старший сын поручика убит на германском фронте, сам он из запаса пошел добровольцем. Был схвачен как «дутовец».

Поручик Слуцкий личный адъютант атамана Семенова.

Ротмистр Станковский: «поначалу командирован из штаба атамана Семенова для связи с атаманом Анненковым, Красильниковым и Дутовым. Просил у Анненкова командировать офицера для связи с Семеновым. Красильников направил меня в организацию, в которой я познакомился со следующими ее членами: полковник Молоствов, подполковник Геркен, Кузьминский, генерал Максимович, Катанаев, князь Кропоткин, Каргалов. Информировал их о положении на востоке. Участвовал в аресте чинов государственной охраны в ночь, когда арестовывали Директорию. Красильников оставил меня заме-

стителем. Выдавал денежный ящик Совету министров. Мною была послана телеграмма, текст которой я показал полковнику Волкову о том, чтобы Семенов признал адмирала Колчака».

6) Семнадцать человек нижних чинов скучены в маленькой камере. Все вповалку на нарах.

7) Книга арестованных ведется неправильно, нельзя разобрать, кто за что сидит.

8) Поручик Никольский: подавал неоднократно рапорт с просьбой объяснить ему причину ареста, но никакого ответа ни на один рапорт не получал. Был на германском фронте, ранен восемь раз, после последнего ранения был уволен в отставку.

9) Прапорщик Черных: должен был быть отправлен восемь дней назад в распоряжение своей части, но до сих пор не отправляют.

10) Поручик Ртищев: обвинения не предъявлено, арестован на вокзале, вещи все пропали.

11) Прапорщик Строганов: на германском фронте ранен в грудь навылет; туберкулез, харкает кровью, арестован без предъявления обвинения на вокзале; на рапорт о болезни и просьбе медицинского освидетельствования ответа не получает.

12) Также не имеют сведений, за что арестованы: пр. Текунтиков и штабс-капитан Григоров.

В книге арестованных ни против одной фамилии не значится причина ареста.

Среди нижних чинов несколько человек уголовных и подлежащих военно-полевому суду. Все камеры, как офицерские, так и солдатские, не изолированы, и, по существу, все находятся вместе. Караул груб.

24 ноября. Вагон

Только что произвел обследование арестованных и представил подробный доклад, как получил командировку в Челябинск, для того чтобы осмотреть город, познакомиться с настроением населения и местной прессы, а также состоянием тыловых частей.

Очень удачно попал в вагон А[нания] А[наньевича] Шереметинского, дивизионного интенданта. Вышло так удачно, что 27-го этот же вагон идет обратно, и, таким образом, я в отличных условиях прокачусь туда и обратно.

26 ноября. Челябинск

Настроение в городе вообще неплохое. Переворот прошел гладко и с сочувствием, но... но гг. начальство и многие другие выжидают, то есть попросту еще как будто не уверены, чья возьмет и не будет

ли следующего какого-нибудь переворота. Вот почему о происшедшей перемене не объявлено, всяческим вздорным слухам никто не препятствует расти и множиться. Средний обыватель, так же как и массовое офицерство, в довольно глупых разглагольствованиях стараются определить, «вовремя» или «не вовремя» случился переворот. Одни находят, что слишком рано, другие, что поздно. А в общем, вот к чему ведут в революции всякие перевороты. Казалось, что была за трудность свалить подгнивший трон, ан когда свалили, оказалось, что это вовсе не так просто, и пророк Милюков оказался большим провидцем — не стало идеи и не стало духа, и теперь ровно ничего не стоит свергать кого угодно. Обаяние власти, авторитет монархии или того, что над тобой и нерушимо, бесповоротно утрачены, ну и отсюда все последствия. Точь-в-точь как в рассуждениях Раскольникова, что стоит убить блоху. Ведь мы не только на каждом шагу убиваем блоху, но и рады, когда ее убьем. А чем старуха, никому не нужная, жадная, даже приносящая вред, лучше блохи? Да она хуже ее в тысячу раз. Значит, почему не хлопнуть старуху. Ведь Наполеон же посылал на смерть тысячи, десятки тысяч людей... А вот когда старуху-то убил, то оказалось, что вовсе не просто дело, что тут соль в чем-то другом, а не в одних заостренных рассуждениях... Так получилось и у нас в революции. Видим на каждом шагу, что свергнуть, сделать переворот как будто необычайно просто, ан на поверку чем дальше, тем хуже...

А беда наших дней заключается в том, что все решительно влезли в политику, все считают своим долгом ею заниматься и почти все — 99% — ровно ничего не понимают.

Если им, этим всем политикам, говоришь, что дальше ждать было нельзя, что промедление значило бы укрепление позиции эс-еров, что нельзя было давать возможность вербовать г. Роговскому свою полицию, — они, эти люди, начинают говорить, что массы народные не готовы... Вы им возражаете, что массы вообще все время не готовы и неизвестно даже к чему они готовы, ибо кого им ни дай в конце концов, хоть богдыхана, лишь бы взял в ежовые рукавицы, все будет едино, а люди опять возражают, что новый строй не демократичен...

Если вы только скажете, что переворот как будто бы несколько раньше времени, они начнут доказывать, что он опоздал, потому что все уже пришло в такое состояние, что ничего нельзя сделать. А гг. начальство, как я уже сказал, мудро выжидают, чтобы не сесть в случае чего в калошу.

И как посмотришь, новой власти предстоит титаническая работа и власть должна быть жестокой и безжалостной, ибо иначе ничего не выйдет...

27 ноября. Вагон

Еду обратно. Везу с собой целую кипу газет, которые думаю показать Лебедеву и адмиралу Колчаку. С этим необходимо принять срочные и суровые меры. Никакой информации, ни официальных воззваний, ни приказов новой власти: ничего нет. Это ли не безобразие. Все вертится в области слухов и догадок. Газета «Власть народа» помещает черт знает какие статьи, и военная цензура — бог ведает, из кого она состоит, — благополучно пропускает их.

29 ноября. Омск

Делал доклад Лебедеву, обрисовал ему обстановку в Челябинске на линии и подробно постарался рассказать про настроения.

Все идет пока хорошо — не сегодня-завтра Пермь будет взята. Продолжаю писать в «Русской армии», прошли воспоминания про генерала Деникина и дни в Бердичеве во время корниловского «восстания».

Сегодня написал еще две статьи — «Как и кем была завоевана Сибирь» — «Что такое отечество».

Необыкновенно подло поведение Семенова. Он все время старается оттянуть время, называет Алексеева, Дутова и Хорвата теми лицами, которых он мог бы признать как правителей, и когда Дутов очень благородно послал ему телеграмму, уговаривая признать Колчака, то Семенов выдумывает другие причины. Он задерживает грузы, не пропускает снаряжение, а самое худшее — это то, что опирается на японцев, которыми, в сущности, и держится.

В результате адмирал отдал приказ, в котором отрешает Семенова от его должностей, но и тут впутались японцы, которые заявили, что не допустят вооруженного столкновения на территории, занятой их войсками, и по линии ж.-д. Вот и положение!

Дальше на востоке орудует атаман Калмыков, в Семиречье Анненков. Интересно знать, почему это всегда казаки уверяют, что они спасители России, что они настоящий государственный элемент и что в критическую минуту они являлись истинно государственным элементом? История и примеры говорят совсем другое?!

Семенов играет в руку японцам и, собственно говоря, действует, как изменник. Колчак послал в Читу, в качестве генерал-губернатора, Волкова, того самого, который арестовывал Директорию. Волков человек энергичный и решительный, но выйдет ли у него что-нибудь, сказать трудно.

16 декабря. Омск

Морозы до 40 градусов, да еще с легким ветерком. Ужас что такое. Теперь, когда у власти адмирал Колчак, этот светлейший и честнейший человек, появилась другая опасность — справа. Все в духе Маркова-второго и ему подобные подняли головы, интригуют, доносят, шпионят. Достаточно сказать, что в Омске, в этом провинциальном сибирском городке с деревянными одноэтажными домиками, работает три контрразведки официально и несколько неофициально: контрразведка Ставки, затем контрразведка Зайчека, знаменитого Зайчека — инструктора Берлинской сыскной полиции, куда он был приглашен из Вены, — чего-нибудь да стоит. Затем контрразведка штаба округа. Кроме того, у Михайлова есть свои соглядатаи, недаром он «Ванька Каин». Иванов-Ринов имеет своих шпиков и т.д. То есть форменная Мексика...

Приехал генерал Жанен.

18 декабря. Омск. Среда

Становится страшно. Страшно за Колчака. Он окружен Бог знает кем. Сукины, Гинсы, Михайловы — все главным образом заняты собой, своими делами и своими рецептами спасения. Ни у кого нет главного: жертвенности и чувства долга. Это только у одного Колчака, но что он может сделать?.. Пепеляев назначен начальником департамента полиции.

Лебедев — начальник штаба, да простит мне Бог, но что делать, надо писать, что думаешь — по-моему, ужасно глуп. Он не то что глуп, а как-то туп, в нем чувствуется какая-то духовная тупость, духовная ограниченность, он просто ничего не видит и ничего не понимает.

В конце концов ужасно: так от этапа к этапу все разочаровываться и все видеть, что и это не то, и это не настоящее. Но что же, что же настоящее?!

24 декабря. Омск

Вчера ночью большевики сделали попытку захватить власть. Оказывается, у них тут существовала целая организация, и они сразу же заняли станцию Куломзино, обезоружили железнодорожную милицию, затем в городской тюрьме освободили всех арестованных и даже подняли восстание в нескольких ротах во втором и восьмом полках. Была стрельба, были расстрелы, и к двенадцати часам дня все восстание было ликвидировано. Большинство участников расстреляли. Сейчас зведено военное положение, и все успокоилось.

Самое интересное, что в пять часов утра я был разбужен телефонным звонком. Я вскочил и услыхал задыхающийся голос Нетмона. Бедный француз тараторил, что в городе восстание, что это полное безобразие, просто какая-то Мексика, что надо сейчас же уезжать и что он просит меня содействовать достать ему автомобиль... Я старался всячески успокоить беднягу и только хотел лечь, как зазвонил опять звонок, и оказалось, что на этот раз меня требуют в Ставку...

25 декабря. Омск

Много говорят теперь о другом готовящемся перевороте — Иванова-Ринова. Трудно сказать, верно ли это, есть ли хоть малейшее основание опасаться этого, но все-таки скрытая тревога чувствуется. Не дай Бог стать на путь переворотов. Не дай Бог новых покушений ни справа, ни слева — тогда все пропало.

Странно, что арестовали Соловейчика. У него был обыск, а теперь он сидит у Зайчека.

Сегодня даже по этому поводу было заседание кадетского комитета, на котором постановили отправить депутацию из четырех человек, Жардецкого, Кудрявцева, Григорьева и Иванова, к нач. штаба, дабы точно узнать, в чем дело.

27 декабря. Омск

История с Соловейчиком усложняется. Ив[ан] Михайлов, оказывается, давал ему какие-то секретные документы и бумаги, которые при обыске у Соловейчика и нашли. Михайлов ездил к Колчаку и все бумаги получил, сумев обелить себя. Иванов же Ринов необычайно радовался и уже считал, что Михайлов попался. Но Михайлов выпутался и, самое главное, делает вид, что он ни при чем.

А бедный Колчак от всего этого болен, и болен серьезно. На него особенно подействовали бессудные расстрелы — но что можно поделать в этой мексиканщине.

Моя жена, кроме секретарства у консула, состоит заведующим иностранным отделом в бюро печати. Она почему-то приняла горячее участие в деле Соловейчика, даже просила меня похлопотать о нем перед Лебедевым, что я и сделал. Лебедев ответил, чтобы лучше я в это дело не вмешивался.

Приходили Клафтон и Кудрявцев и предупредили жену, чтобы с делом Соловейчика мы были осторожнее. Меня не было дома.

31 декабря. Омск

Бедный Колчак все еще болен. Можно заболеть от всей этой мексиканщины. Вот когда приходят на ум слова дяди, который всегда

говорил: при чем Царь, если нет людей. Ведь цари люди, и среди них бывают хорошие и дурные, но ведь это не может играть решающего значения, если вокруг все прочно, хорошо и доброкачественно. И вот яркий пример — Колчак. Кажется, можно ли было ожидать лучшего человека, чем он? И что же? Что изменилось? Ровно ничего. Все то же — та же атмосфера, то же настроение, ибо те же люди и та же почва — только все мельче, и масштаб другой... Третьего дня войска Пепеляева[1] взяли Пермь, и это как будто бы влило жизни в общее настроение. Но все же чувствуется, что чего-то нет, чего-то не хватает.

Пепеляев захватил тридцать одну тысячу пленных, сто двадцать орудий, тысячу пулеметов, весь обоз и т.д.

Ах, если бы в 1919 году увидеть Россию здоровую и возродившуюся.

[1] Анатолий Николаевич Пепеляев.

1919

Рождество в Омске. В Семипалатинск. Жизнь в Семипалатинске. Генерал Бржезовский. Пасха в Омске. Екатеринбург. Генерал Томашевский. Штаб Гайды. Начало развала. Обратно в Омск. Артиллерийское училище. Дружины Святого Креста. Уполномоченным в Иркутск. Великий Сибирский путь. Жизнь в Иркутске. Настроения. Кадетский комитет. Генерал Артемьев. Генерал Сычев. Яковлев-Дунин. В Омск. Эвакуация Омска. Американский Красный Крест. В поезде Американского Красного Креста. Червен-Водали. Снова Иркутск. Восстание Калашникова. Оборона Иркутска. Министры. Бегство всего военного начальства

6 января. Омск. Понедельник

Сегодня сочельник. Это первое Рождество за пять лет, что я провожу дома, в семье. Настроение грустное. Не то чтобы меня волновали какие-нибудь предчувствия — нет, но из головы не выходит вчерашний разговор.

У нас собрались вчера Пепеляев, Киндяков, английский майор, состоящий при сэре Эллиоте, и, разумеется, наш милый неизменный Кофод, который теперь стал ни более ни менее как датским министром-резидентом. Позже пришел англичанин — корреспондент «Таймса», которому жена корректирует и исправляет его телеграммы, ибо он ни слова по-русски не говорит.

И вот Пепеляев указал, что положение весьма опасно, что общая ситуация внушает опасения, и, как он раньше ни верил в конечный успех, теперь у него веры почти не осталось. И это говорит Пепеляев, несомненно твердый, честный человек. Боже мой, неужели опять все провалится? Если уж Пепеляев пришел к этому, значит, положение действительно плохо.

То там, то здесь вспыхивают восстания. В Канске оно не только до сих пор не подавлено, но там до сих пор советская власть. У правительства, то есть у Совета министров, нет ни твердого курса, ни определенной политической программы, вообще среди министров ни

одного настоящего государственного человека, но зато есть такие интриганы и совершенно безнравственные люди, как Иван Михайлов.

Всюду преобладают интриги и то, что Жардецкий называет «мексиканской политикой». Кругом грубое хищничество и отсутствие элементарной честности. Нет никакого одухотворения и подъема. Все по-прежнему серо, пошло и буднично. Шкурные вопросы доминируют, личные интересы царствуют надо всем. Таково в общих чертах наше положение на территории диктатуры адмирала Колчака.

А сам Колчак? Он слишком конституционен, он не хочет быть даже в важнейших решениях единоличным, он не хочет проявлять власть, которой облечен и которая принадлежит ему, чтобы не казаться самому себе узурпатором. И вот выходит, что вместо того, чтобы заставить всю эту интригующую свору просто бояться и выполнять приказания, он с ними советуется и их слушает, полагая, что это честные, разумные и государственные люди.

7 января. Омск

Сегодня Рождество. Вчера зажигали елку: были Кофод, Протасовы и сестры Трубниковы. Было очень уютно и мило. Я сделал почти все украшения, склеил цепи. Наталка очень веселилась.

За ужином Протасов вспоминал Симбирск и как я «спас» их, уговорив уезжать.

Но в общем грустно. Не выходят из головы слова Пепеляева. И дело Соловейчика очень заставляет призадуматься. Оказывается, жена созналась мне, что она давала Соловейчику свои итальянские дневники, я ходил их доставать. В этом факте, может быть, и ничего не было бы особенного, если бы Соловейчик не оказался под сильным подозрением в сношениях с большевиками. И, разумеется, контрразведка установила и близкое знакомство Соловейчика с женой.

Очень меня это расстроило. А главное, я не могу понять, как можно было вообще иметь что-нибудь общее с этим типом, особенно культурной образованной женщине! Вот тебе и высокая политика!

В нашей теперешней неразберихе этот Соловейчик играл даже роль — он был кадетом. Посещал собрания, стал сотрудником Ив[ана] Михайлова и, видимо, очень угождал ему, особенно в его темных делах, пописывал в газетах и всюду проникал. Он знал все хитросплетения омской политики.

8 января. Омск

Редактором «Русской армии» после Геркена назначена ни больше ни меньше как г-жа Франк, жена полковника Франка, состоящего при Уорде. Отнес ей две статьи.

Все больше и больше плетутся интриги. В Ставке царит Генеральный штаб, который уже начинает поругивать Колчака. А Рябиков, так тот даже с презрением называет адмирала «хлыщом» — эдакие мерзавцы, право. Образована масса новых учреждений в применении к великодержавному масштабу: Государственный совет, Главный штаб, где дежурным генералом назначен Степанов[1] — тот самый, которого я встречал в Ставке Юго-Западного фронта — милейший человек, затем Главное артиллерийское управление, во главе которого стал тоже старый знакомый генерал-майор Костин. Все это пухнет, раздувается. Везде колоссальные штаты и все это... всего лишь в Омске. Но кроме этих учреждений образовываются еще какие-то фантастические, так, например, начал свою деятельность «Осведверх», то есть осведомительный отдел Верховного главнокомандующего. В нем работают ротмистр барон Жирар де Сукантон, тот самый, который был в морском корпусе исключен и попал затем в юнкера флота, — совершеннейший авантюрист, темный делец и попросту жулик, штаб-ротмистр Толстой-Милославский, нисколько не лучше Жирара, глупый штабс-капитан Зубов. Эта троица пьет гомерически — Зубов меньше, главным образом Толстой и Жирар — и в пьяном виде выдумывают разные сводки — просто анекдот какой-то. Что может сделать бедный Колчак? Та же история, пожалуй, что и с Государем Императором — и все же ничего сделать нельзя. Глупый Лебедев, про которого даже в Генеральном штабе сложилась пословица «Глуп как Лебедев», вершит огромным государственным аппаратом, как наштаверх.

Министров нет. Пепеляев — честный человек — уже понял, что надежды мало, и прямо взял и сказал это. Остальные просто валяют дурака, ибо им уж очень нравится эта «игра в министров», ведь настоящих-то среди них нет. Или самый молодой каторжник Ив[ан] Михайлов, потому что он на каторге родился, или какой-нибудь Гинс из бессарабских полуевреев, милый буржуа Вологодский, средний руки чиновник Гаттенбергер...

9 января. Омск

Вокруг дела Соловейчика целый клубок интриг. Жена сегодня была у Колчака. Он ее мило принял, успокоил, а обо мне сказал, что отлично меня знает.

<С. 442, отдельно от основного корпуса дневников>

Все это, разумеется, хорошо и утешительно, но все же жене приходится уходить из бюро печати, так как оказывается, что ей неудобно там оставаться.

---

[1] Вероятно, Иван Петрович Степанов.

Иначе говоря, она себя скомпрометировала, подвела меня и совершенно не отдавала себя отчета в том, что делала и как поступала и как это может отразиться на мне и моем положении. Весьма возможно, что ничего предосудительного и не было, но какое все-таки должно было создаться впечатление у всех этих контрразведок и прочих господ, когда у этого типа нашли дневники про путешествие по Италии жены штаб-офицера для поручений при наштаверхе, состоящего при самом адмирале, находившегося при английской миссии и т.д.! Даже затесалась какая-то записка, написанная моей женой.

А еще надо и принять во внимание всю вообще обстановку и эту мексиканщину.

Помимо всего, в этом деле столкнулись несколько начал, интригующих, друг под друга подкапывающихся и друг за другом следящих.

Одна группа старается свалить другую, одни хотят какой угодно ценой подвести и свалить других...

Михайлов, более всего замешанный в этом деле, сумел и тут увернуться и выйти сухим из воды, — где надо, отказался, где надо, спокойно предал вчерашних друзей и т.д.

Все это очень грустно.

Самого Соловейчика попросту высылают, так как отдавать под суд слишком опасно для некоторых лиц, ибо на суде может много всплыть таких подробностей и таких неожиданностей, что лучше этого дела не начинать!..

Мне прислали из контрразведки лист с вопросами, прося меня, для «пользы дела», ответить по пунктам. Вот вопросы и мои ответы. Писал я осторожно, чтобы никого по возможности не подвести:

1) Не интересовался ли делами Ставки Соловейчик?

Да, интересовался, но я никаких исчерпывающих ответов не давал.

2) Связь Андогского с Михайловым?

Знаю, что генерал Андогский бывал часто у Михайлова — я лично видел его у минфина раза два.

3) Связь Андогского с представителями власти — Сыромятниковым, вами — штаб-офицером для поручений при наштаверхе и другими.

Генерал Андогский, как начальник академии, часто посещал Ставку, тем более что большинство слушателей академии заняли места в Ставке. Кроме того, иногда в кабинете полковника Сыромятникова я встречался с генералом Андогским.

4) Что вам известно о генерале Андогском?

Слыхал я много, но слухам не придаю значения, также вообще ген. Андогского знаю мало — известно мне, что он большой специалист теории военного дела.

5) Что вам известно о капитане Симонове?

Знаю о нем очень мало.

6) Связь капитана Симонова с Михайловым и Андогским?

Ничего не знаю.

7) О Гришиной-Алмазовой что вам известно?

Много о ней слыхал, но вообще ее совсем не знаю.

8) Знакомы ли вы с штабс-капитаном Буровым и не говорил ли он вам о предполагающемся перевороте?

О перевороте я ни с кем не говорил.

9) Знаком ли Буров с Андогским, Михайловым, Гришиной-Алмазовой и что бы вы могли сказать про это знакомство?

Буров с этими лицами знаком, но сказать про это знакомство я положительно ничего не могу.

В общем, тут сразу же сплелась целая интрига, в которой действуют какие-то скрытые пружины, и никакая власть ничего сделать с этим не может: Иванов против Михайлова, Зайчек следит за тем и другим, разные агенты разных лиц шпионят и доносят на всех и вся! В общем, Бог знает что такое!

Вечер провели очень интересно. У нас собрались английские офицеры, состоящие при сэре Эллиоте, — подполковник Робертсон, капитан Бергер и еще один, фамилию которого не разобрал, затем майор З[иновий] Пешков, французский лейтенант — оба состоят при Ренье, и из наших Клафтон, Кудрявцев, Григорьев. Было очень мило, оживленно и хорошо.

17 января. Омск

«За боевые отличия в делах против неприятеля» произведен в подполковники. Оказывается, старик Зубов[1], этот добрейший и милейший человек, давно меня представил за Сызрань — что я там делал и в чем мои отличия, понять не могу...

Интриги все растут. Подумываю даже о том, чтобы, может быть, уехать куда-нибудь на фронт, что ли, из Омска.

21 января. Омск

Узнал сегодня неожиданно, что по просьбе генерала Степанова[2], военного министра, я откомандирован от Ставки и меня предложено послать в Семиречье. Я сначала никак не мог понять, в чем дело,

[1] Сергей Александрович Зубов.

[2] Николай Александрович Степанов.

но потом Степанов[1], дежурный генерал, мой друг, который, между прочим, предлагал мне неделю назад переводиться к нему, сообщил, что все это в связи с делом Соловейчика. Лично против меня ничего не имеют, но замешана мой жена. Хороша логика!

Я очень был оскорблен всем этим и поехал к Каппелю, который, по счастью, только что прибыл. Представился ему. Совершенно очаровательный человек, элегантный, слегка надушенный, сейчас же взялся хлопотать, чтобы меня командировали в его корпус, обещая мне батарею. Кстати, я познакомился и с подполковником Вырыпаевым — Вырыпаевым легендарным, про которого так и говорят: «Батарея Вырыпаева», и уж все знают, кто и что это.

Каппель довез меня до Ставки, просил подождать, а сам отправился к министру Степанову. Через полчаса он вернулся и, поднимаясь по лестнице, увидел меня:

— Плюньте вы, полковник, на всю эту ерунду. Я категорически просил вас к себе, но он уперся, как не знаю что, и говорит, что вы должны ехать в Семиречье. Поезжайте с Богом, — и он пожал мне руку.

Колчак, Кофод, Каппель, Ариадна Владимировна — это люди того настоящего сорта, которым свойственно настоящее благородство, простое и естественное. Это люди душевные и духовные, настоящие люди, потому и редкие очень, а в русской жизни, да еще теперешней, в особенности. Сколько дней я был огорчен, сколько дней не находил покоя — и вот Каппель сразу привел меня в равновесие; мне стало легко и свободно. В самом деле! В Семиречье так в Семиречье, отчего не поехать?

Розанов назначен командующим войсками на Дальний Восток. Совершенно непонятно, как такого человека могут назначать на столь ответственные посты.

Ставка все пухнет. Теперь завелась мода получать командировки к Деникину или приезжать оттуда и затем ехать обратно. Генерал Лебедев, начальник военных сообщений, решил ехать на юг с целым штатом офицеров — каких это денег все стоит.

Касаткин, который стал генералом, попался в злоупотреблениях. Военно-полевой суд приговорил его коменданта и трех писарей к расстрелу, но писарей расстреляли, а Касаткина с комендантом помиловали. Хлопотал Генеральный штаб и добился. Впечатление от такого правосудия самое удручающее.

23 января. Омск

Был у Галкина, совершенно случайно узнал, что он в Омске. Оказывается, он все еще формирует корпус и жалуется, что ему ничего

[1] Вероятно, Иван Петрович Степанов.

не отпускают или отпускают, но очень медленно. Рассказал ему свою историю, и он сразу же предложил мне к себе в корпус — вот милый человек. Просил зайти завтра.

Заходил в коммуну, где застал Клафтона и Елачича. Говорили о положении. Клафтон что-то тоже загрустил и говорит, что если так пойдет дальше, то вряд ли можно надеяться на хороший исход.

Вечером сидела у нас Анна В[асильевна] Тимирева. Она прелестный человек. Очень любит моих девочек и часто к нам последнее время заезжает. После восьми обыкновенно за ней приезжает автомобиль адмирала Колчака и она уезжает к нему. И она, и сам Колчак сумели так тактично обставить этот щекотливый вопрос, что даже самые злые языки ничего не могут сказать, а лично мне кажется даже трогательным такое хорошее настоящее чувство, как у А[нны] В[асильевны] к Колчаку.

Она с удивительным тактом себя держит. Никогда не говорит о политике, ни звуком не упоминает про адмирала, занимает скромное место машинистки в бюро печати, никогда ни во что не вмешивается.

24 января. Омск

Был у Галкина, но он сказал, что еще ничего определенного не знает, но уже зачислил меня к себе в корпус и вскоре поручит мне формировать дивизион. С этим я и ушел.

5 февраля. Омск

Дело с Соловейчиком очень смутно. Его выслали, и выслали таинственно как-то. Но все же известно, что его обвинили и в провокаторстве, и, кажется, даже в шпионаже. Он служил одновременно и Михайлову, и в контрразведке Зайчека, и давал сведения большевикам. Последнее обстоятельство особенно важно было, потому что Михайлов почему-то давал иной раз самые секретные бумаги Соловейчику на руки «на несколько» часов. Спрашивается, для чего и для кого?!

И если бы пришлось отдавать под суд Соловейчика, то прежде всего пришлось бы привлекать и Михайлова, но и на этот раз этот скользкий человек, этот циник и совершенно аморальный тип, вышел сухим из воды, сам сумев убедить кого надо, чтобы Соловейчика выслали.

Лично я ничего о Соловейчике сказать не могу, просто потому что ничего с ним общего не имел и никогда он мне не нравился. Я с ним познакомился в редакции «Волжского дня», а потом увидел уже «вплотную» в вагоне жены, где она его приютила и довезла его до Омска. Я тогда даже рад был, что мужчина в вагоне, к тому же он был кадетом и сотрудником «Волжского дня».

В Омске жена посоветовала рекомендовать его в секретари, что я и сделал, и Михайлов его взял. Чем он интересовался, что узнавал, я, грешный человек, никогда не обращал на это внимания. Ко мне он и не обращался никогда и только докладывал о моем приходе, когда я приходил к Михайлову. Иной раз заходил в Ставку и слонялся в коридоре — всегда говорил, что зашел по поручению минфина...

Все это не так важно. Важно не то, что Соловейчик оказался мерзавцем — Соловейчиков много, — а вот больно, что была неосторожна собственная жена, которая прежде всего подводила меня, тем более зная, какие я занимаю места, какое у меня положение, при каких лицах я состою. А все потому, что сидит это воейковское самомнение — мы умнее всех, мы все знаем и нам все можно. Она даже не посоветовалась со мной и все считала, что «делает высокую политику».

6 февраля. Омск

Был в коммуне, сидел с Клафтоном и Кудрявцевым. Дела на фронте наши как будто бы хороши, хорошо идет все и у Деникина, зато наш «внутренний фронт» оставляет желать лучшего.

Елачич переехал и живет со своим старым другом Жуковским, бывшим нашим консулом в Праге. Был у них вечером, много говорили об истории Соловейчика. Оба находят, что интриги, шпионаж и политиканство достигли невероятных размеров.

10 февраля. Омск

Галкин сообщил мне, что получил бумагу с приказанием откомандировать меня в распоряжение генерала Матковского, командующего войсками. Я был очень удивлен, но Галкин сказал, что «кто-то» во что бы то ни стало хочет меня как можно скорое отправить и именно в Семиречье. Я попросил Галкина сказать мне откровенно, в чем же дело, и он мне ответил, что против меня ничего не имеют, но у меня слишком большие связи, а вот жена подполковника Ильина занимается много политикой.

— Впрочем, я могу еще раз позвонить военному министру, — сказал Галкин и тут же стал звонить.

Вскоре, очевидно, подошел сам Степанов[1], потому что Галкин начал ему говорить про меня. Что говорил Степанов, я не знаю, но, видимо, что-то позволил себе лишнее, потому что Галкин резко сказал вдруг:

— Ваше превосходительство, не забывайте, что вы говорите с генералом... — и, повесив трубку, обратился ко мне: — Он, видите ли, не признает за мной права набирать к себе в корпус офицеров и говорит, что вопрос о сформировании отдельного корпуса под моим

[1] Николай Александрович Степанов.

начальством еще не решен, почему и вы не можете быть командированы в мое распоряжение, хотя вы уже и пробыли фактически у меня больше двух недель. Да плюньте вы, батюшка, поезжайте в Семиречье. Ну их всех к черту...

Я горячо поблагодарил Галкина за его ко мне неизменно хорошее отношение и пошел домой, где застал бумагу из штаба округа явиться в штаб.

В штабе округа обо мне доложил адъютант, и я был сейчас же принят моим старым «знакомым», который в первый же день нашей встречи отправил меня на гауптвахту за значок Народной армии.

Матковский начал было резко говорить, что он удивлен, что я нахожусь еще в Омске, а не в Семипалатинске и что я не исполнил приказания, не отправившись туда, еще когда был откомандирован от Ставки. Но я возразил, что предписания даже еще не получал, а потом, если ему угодно, он может отдать меня под суд, но говорить со мной вежливо. Он сразу осекся, позвонил адъютанту и приказал написать предписание, что я командируюсь в распоряжение командира II степного корпуса в Семиречье.

20 февраля. Омск

Все формальности кончены. Побывал у всех и простился со всеми. Анна В[асильевна] Тимирева сказала, что я очень хорошо сделал, что еду, и прибавила:

— Поезжайте вы в ваше Семиречье, пусть тут все успокоятся...

Говорят, что бедняга Колчак опутан интригами, сплетнями, доносами, как паутиной. Вот ведь несчастный человек...

Все время высылки, возвращения, почетные ссылки, снова приезды, просто что-то невероятное.

7 марта. Барнаул

Еду в Семипалатинск. На душе стало спокойно и хорошо, как всегда, когда вопрос тот или другой уже решился, даже сам собой, даже помимо твоей воли. Поезда ходят как попало, расписаний точных нет, приходится долго ждать.

11 марта. Семипалатинск

Итак, Семипалатинск. Город атамана Анненкова, город Черных гусар, Голубых улан[1] и пр., и пр. Говорят, что они все, эти «голубые», «черные», «красные» и пр., были совсем невозможны, но теперь, когда здесь штаб II корпуса, они несколько попритихли и гонор их сильно уменьшился.

---

[1] Названия различных подразделений под командованием атамана Анненкова.

Среди всех этих людей большинство авантюристов и сброда. Их вид мне сильно напоминает вид разряженных и расфуфыренных большевистских комиссаров: красные штаны, шапка заломленная «а-ля черт возьми», небрежно накинутая на плечи шинель.

Как бы то ни было, сам по себе Семипалатинск ужасен. Полное отсутствие культуры, дичь, глушь, башкиры. Есть улица Достоевского, оказывается, Достоевский здесь одно время жил, когда был на поселении. Воображаю, каким был тогда Семипалатинск.

Есть, как полагается, собор, есть общественное и коммерческое собрание, где кавалеры говорят: «пардонг» или «я должен перед вами спардониться, мне надо на минутку выйти».

Назначен я пока в штаб корпуса помощником начальника мобилизационного отдела, ибо артиллерии, как оказывается, в корпусе нет — всего две пушки, стоящие одна где-то в Копале[1], другая чуть ли не в Лепсинске[2] и на которые приходятся и инспектор артиллерии, и командир дивизиона, и командиры батарей. Все это на языке Матковского и Степанова[3] означает, как они выразились, «послать офицера-подполковника ввиду крайней нужды и необходимости в корпусе артиллерийских офицеров».

12 марта. Семипалатинск

Командир корпуса генерал-майор Бржезовский. Один из тех немногих людей, в которых сразу видна настоящая порядочность, истинное рыцарство и джентльменство. Он во многом напомнил мне Полонского. Такой же простой армейский пехотный офицер, прослуживший всю жизнь в сибирских стрелках. На войне он командовал ротой, батальоном и полком, был несколько раз ранен, получил Золотое оружие и Георгиевский крест.

Простой, с волей, без всякого образования, но цельный и резко очерченный человек — что самое ценное и что самое, в сущности, в человеке дорогое. И странно — Полонский и Бржезовский оба поляки, я говорю «странно», потому что, к сожалению, среди русских такого вполне законченного типа почти не встречал.

Начальником штаба совсем молодой полковник Василенко, кончивший войну чуть ли не поручиком и все чины получавший уже в Сибири у Сибирского правительства. Он прошел трехмесячные

---

[1] Крепость, основанная в 1847 году, на расстоянии 680 км от Семипалатинска. В настоящее время село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана.

[2] В Лепсинске некоторое время находился штаб Анненкова. В настоящее время — село (в прошлом город) в Алакольском районе Алматинской области Казахстана.

[3] Николай Александрович Степанов.

курсы Томской академии Генерального штаба и стал офицером Генерального штаба теперь — до этого он был у Матковского. Так как корпус отдельный, то он считается согласно уставу на положении армии, почему и все его отделы носят армейские наименования. Генквармом подполковник Зевин, из прапорщиков, тоже ухитрившийся получить все чины в Сибири и тоже кончивший трехмесячные курсы, или, как их называют, «детский сад».

Старшим адъютантом капитан Бафталовский, слушатель академии, как и Миша Евстратов, пробывший год с лишним и прибывший из Казани. Бафталовский очень славный парень, георгиевский кавалер, но какой-то немного ушибленный.

На фронте колоссальный успех — взяты Оса, Оханск, Бирск, из Уфы бегство, прорыв фронта в трех местах, у большевиков паника. Очень хотелось бы попасть на фронт и быть в эти минуты там. Надеюсь, что мне это удастся и здесь я пробуду недолго.

16 марта. Воскресенье. Семипалатинск

Вчера был в общественном собрании на концерте: скрипка, виолончель, баритон. Концерт вышел очень неплохой. Но публика, публика... Нечто невообразимое — «пардонг» и «опардониться» — так и висело в воздухе. После концерта состоялся грандиозный бал под управлением опытного дирижера, как было объявлено в афише. Пляшут не только дамы с мужчинами, но и дамы с дамами, а мужчины с мужчинами. Нет ничего более смешного, как видеть новый модный танец тустеп в исполнении семипалатинцев. Особенно после того, как видел его на вечере у англичан в Омске. В ситцевой косоворотке, поверх спинжак и высокие сапоги — и... тустеп.

Вальс здесь тоже совсем особенный: кавалер сгибает правую руку в локте таким образом, что держит часть руки от локтя до кисти прямо перпендикулярно вверх, а рука дамы покоится на сгибе...

18 марта. Вторник. Семипалатинск

Я что-то грущу. Хочется на фронт, где так хорошо идут дела. Уфа уже взята, и открылся путь на Самару. Ах, хоть бы скорее все это кончилось. Поезда тут ходят раз в два-три дня, а сейчас, например, уже не идут трое суток, и первый пойдет лишь послезавтра. Где-то из-за заносов свалился поезд. Поэтому и письма не получаются совсем.

22 марта. Суббота

Наконец пришла почта, и я получил письмо из дому. Умерла жена Хорошхина. Она, оказывается, отравилась. Это была очень хорошая женщина, прекрасная мать и жена, но Борис Иванович, кажется, от-

личался своей неверностью и грубостью. Нелегко, верно, ему будет теперь с десятилетним сыном. Умер брат Жуковского, тот самый, который заплатил за моего извозчика 5 р., когда я вечером в метель приехал к его брату и Сергею Александровичу Елачичу перед отъездом сюда.

В какое ужасное время мы живем. Когда все это кончится... На фронте все хорошо, наступление идет, наши войска подходят к Бугульме. Одно очень странно: несмотря на жесточайшее поражение, дезорганизацию, отсутствие железнодорожного транспорта, снабжения, красные на многих участках сами начали контрнаступление и переходят в контратаки. Откуда столько энергии? Почему при полном развале, голоде и пр. они все-таки наступают, сдерживают и даже кое-где имеют успех?

На юге дела плохи: красные наступают на Ставрополь, но это еще полбеды, а вот взят Киев, и союзные войска оставили Одессу, куда тоже подходят красные, — это вот скверно.

Судя по газетам, в Бразилии, Мексике и Испании революция, а Бразилия будто бы даже просит помощи у Америки. Вот будет история, если мы уж выздоровеем, а Бронштейны и Ленин будут сидеть где-нибудь в Мексике...

Я сейчас сижу в чистой, прекрасной комнате, в доме по Степной улице, 103. Третьего дня привез сюда свой несложный багаж, а сегодня пришел первый раз ночевать, и очень удачно — прямо попал в баню. Здесь два хорошеньких флигеля, чистых и прочно построенных, крепкие надворные постройки, баня, конюшня, славный садик. Хозяева, живущие во флигеле, здоровые, тоже крепкие сибиряки. Хозяин мне сейчас говорил, что все постройки, участок и пр. обошлись ему в 1914 году в десять тысяч рублей. Цены тогда были здесь такие: сотня яиц 60 к., молоко 20 к. четверть, мясо первый сорт (второго не знали) 3–4 коп. фунт и т.д.

Столуюсь у Татьяны Николаевны Кругловой. Какая-то купчиха-вдова, которая говорит про нас «охфицерья», столует одного старого, страдающего запоем ротмистра, одного поручика, который живет тут же у вдовы и, кажется, с ней в нежных отношениях и на положении супруга, и меня.

Называет она нас «мои нахлебники». Здесь, оказывается, все так говорят и даже пишут объявления в газете: «Ищу нахлебников».

Вообще тут говорят презабавно, например, не прислуга, а прислуга, с ударением на «и», «дожить» с ударением на «о» и т.д.

За это время был три-четыре раза в клубе, где выиграл в преферанс 300 руб., что мне сильно подмогло, так как аттестаты мои неизвестно где и я не могу получить жалованье.

1 апреля. Семипалатинск

В корпусе решили организовать несколько кружков: кружок охотничий, в котором я избран председателем, затем кружок любителей конского спорта, где мне поручено быть инструктором офицерской езды, кружок сценический под председательствованием «Корвета», что означает корпус ветеринара, и пр. Все это очень мило и полезно для объединения, но ничего нет, хотя пьесы уже ставят, и недурно.

Из Омска получил письмо. Андрей Андреевич[1], который уезжал, вернулся, чему я очень рад, так как теперь спокоен за семью.

4 апреля. Семипалатинск

Эти дни веселились. Вчера было открытие гарнизонного собрания. Было очень мило, разыграли недурно пьеску.

На той стороне Иртыша как раз против Семипалатинска раскинулась Алаш-Орда — город[2] киргизов. Постройки там — белые мазанки с плоскими крышами, на которых торчит сухая трава. Много верблюдов, так как кроме них киргизы, кажется, тут никаких других животных не признают.

Чем больше присматриваюсь к жизни в Семипалатинске, тем больше прихожу в ужас от невероятной распущенности и развращенности здешнего общества. Кроме обычного явления интриг, сплетен и пьянства, процветает форменный разврат, и жены буквально все перепутались с чужими мужьями, а мужья с чужими женами.

10 апреля. Семипалатинск

Назначен временно исполняющим должность начальника разведывательного отделения. Составляю сводки, получаю телеграммы и в восемь часов утра перед всеми чинами штаба корпуса во главе с Бржезовским делаю доклад, указывая по карте положение фронта; работы, в общем, оказалось много.

Чем больше присматриваюсь, тем больше во всем вижу дух чего-то ненастоящего. Что-то то и не то. Впечатление, будто собрались игроки, но ни у кого нет денег, и все играют на мелок, а так как на мелок играть легко, то и дуются вовсю, делают вид, что «по-настоящему», записи растут, а результатов-то никаких. Такой Омск, еще более такой Семипалатинск и вообще, видимо, такое все Белое движение...

---

[1] Кофод.

[2] Алаш-Орда — центр существовавшего в 1917–1920 годах на территории современного Казахстана автономного государственного образования под предводительством партии «Алаш».

А нравы таковы, что можно разве их только сравнить с «Бесами» Достоевского. В чем же дело? Как так могло случиться, что мы проваливаемся, что власть кучки разбойников, узурпаторов, каторжан и пр., и пр. имеет успех и сопротивляется — и успешно — белым, то есть тем, которые идут с желанием восстановить великую страну, порядок, право и пр. И вот я начинаю думать, что дело не в «кучке разбойников», а в том, что по всему лику России идет революция, и белые ли, красные ли, черные ли — все русские люди одной закваски и одного духовного и морального склада, и вот наступил бунт, революция, массовое разложение, и мне думается, что с общим ходом колеса истории не справиться нам, то есть не в наших силах его повернуть. Возможно, мы придем в Москву, возможно, мы разобьем красных, кажется, сейчас на это шансы большие, ну а дальше? Стоит только себе на минуту представить, что ведь у власти окажется не честный патриот Колчак, а придут его «министры»: господа Вологодские, Зефировы, Михайловы, Гинсы, Ивановы-Риновы, Матковские, Лебедевы... То есть весь этот провинциальный синклит бездарных в одном случае, глупых в другом и просто жуликов в третьем случае. Личности играют большую роль в истории народов в том лишь случае, если они являются в жизнь, подготовленные всей эпохой, выношенные духом всей нации, как завершение, заострение коллективного народного творческого духа, какими были, например, Петр I, Цезарь, Наполеон, а не случайными пришельцами, которые, благодаря своим внутренним качествам, правда, как будто что-то и меняют, но на самом деле ровно ничего не в состоянии изменить. Несомненно, что Александр Великий был именно таким случайным явлением, чем и объясняется, что все держалось, пока был лишь он сам, и вся история Македонии, в сущности, история их полководца Александра.

И у нас мы видим, особенно в последнее время, много людей государственных, мудрых, культурных, даже очень крупных, как Столыпин, Витте, Кривошеин, но все это не «продукт» народного духа данной эпохи, это случайные люди; а продукт, порожденный эпохой, выношенный народным духом, бунтарским и анархичным, разбойным и беспринципным, — не Ленин ли со своим «Грабь награбленное!» и этим сразу выявивший весь затаенный смысл русской революции? Ни пафоса революции, ни гимна, ни подъема высокого и упоенного — ничего мы не создали, и ничего не «выперло» из нас, зато показали подлинное лицо и всю настоящую затаенность: грабеж беззастенчивый, упоенный, сладострастный, похабщину, матерщину вместо гимна и изуверство по Достоевскому, который угадал это давно своим сверхгениальным чутьем: загаженные алтари, изнасилованные женщины, растленные дети, испохабленный очаг.

Потом, возможно, тоже по Достоевскому, исступленно будут каяться. Выйдут на площадь перед всем миром и будут кричать всем народам исступленно, дико, с воем и русским плачем: «Люди православные, грешен я, грешен, казните меня или милуйте, я только грешен!» Увы, в душе, конечно, рассчитывает на «милуйте», желание обмануть по-ленински и тут ведь сидит, наверное.

Я это пишу потому, что в этой обстановке тут эти мысли особенно приходят в голову. Недаром тут жил Достоевский, как будто дух его еще витает, как будто тень его стоит здесь...

16 апреля. Семипалатинск

На Святой, вероятно, поеду в отпуск в Омск. Что здесь хорошо, так это весна. Ах, какая весна. Бурная, чудесная, ароматная, дивная... Какое небо, какие лунные ночи.

Разумеется, из всех «кружков» ничего не вышло просто потому, что ничего нет: ни лошадей, ни седел, ни ружей, ну, в общем, ничего... Единственно благодаря ветеринарному врачу процветает театральный кружок. Этот старик ветеринар очень интересный и начитанный человек. Цитирует по-латыни все предсказание средневекового монаха, которое на самом деле изумительно.

С весной дело совсем упростилось и «связи» стали как бы естественным явлением. Их не скрывают, иной раз нарочно устраивают, сводят, помогают «отвести» мужа и т.д. Мужчины тут первым делом, знакомясь, рассказывают про местных дам, указывая, когда и с кем была связь у нее и кто был последним... Ужас что такое.

20 апреля. Семипалатинск

Очень подружился с присяжным поверенным Николаем Ал. Пастуховым. Чудесный человек, умный, вдумчивый, сердечный и хороший. Часто у него бываю. Он постоянно кого-нибудь кормит, постоянно кто-нибудь у него столуется, и ни с кого он ничего не берет.

25 апреля. За Новониколаевском

Еду на три недели в Омск. Заутреню был в штабной церкви в штабе корпуса со всеми нашими. Первый день Пасхи делал визиты. Для удобства ездил верхом — очень хорошо.

Наши войска уже совсем подходят к Волге. До Самары осталось всего лишь каких-нибудь сто верст, и я решил во что бы то ни стало переводиться на Волжский фронт — так хочется попасть на родные места.

В Новониколаевске[1] купил муки, крупы и шоколаду, это будет хорошим подарком моим к Пасхе.

Я еду с большими удобствами. Этот вагон дан генералу, военному юристу и члену суда, следователю по особо важным делам Вячеславу Вячеславовичу Валесскому, который приезжал в Семипалатинск, будучи в чрезвычайной следственной комиссии по делу об Омских расстрелах. В Семипалатинске им надо было допросить некоторых лиц.

Валесский необыкновенный кутила, и Семипалатинск, кажется, пришелся ему вполне по вкусу. Он ни одного дня не был в трезвом состоянии, но и пьет он так, что никогда пьян не бывает. В Новониколаевске поезд стоял целый день, и мы с ним завтракали у мирового судьи, где засиделись очень долго, так как мировой судья-сибиряк послал куда-то с запиской, где стояло «прошу прислать 1 ч.», и служанка, босая девка, притащила четверть, которая была налита в графин с красным петухом на дне. Вот этого петуха и надо было «спасать». Я положительно думал, что погибну.

После следователя Валесский повел к прокурору, где нас кормили ужином и где опять пили водку. Поздно вечером добрались до нашего вагона.

16 мая. За Омском, на пароходе «Ростислав»

Я очень давно не брался за дневник. По правде сказать, почти и не было времени. Дома застал все благополучно. Жена, кроме своего секретарства, работает еще у Жардецкого в «Сибирской речи» и имеет в месяц с этого дела до двух тысяч рублей. Теперь еду в Семипалатинск, надеюсь, ненадолго, потому что у меня в кармане согласие на мой перевод на Северный фронт командиром дивизиона — согласие дано штабом армии. Поэтому думаю, приехав в Семипалатинск, получить предписание, все, что мне причитается, и ехать через Омск прямо в Екатеринбург. Семья поедет туда в вагоне Зубова, который тоже туда перебирается, — того самого Зубова, который был когда-то с Мусиным-Пушкиным в Самайкине и который теперь в чине штабс-капитана находится в Осведверхе, который расформировывают.

Повидал всех. Был у Кудрявцева с компаньонами, зашел к Пепеляеву. Пепеляев назначен министром внутренних дел. Надо отдать ему справедливость, он много работает и полон чувства долга и сознания ответственности. При нем в городе стало как-то больше порядка, милиция подтянулась, заметно больше серьезного отношения к делу.

На фронте дела наши стали несколько хуже, но, видимо, временно: красные подошедшими свежими силами отбросили нас на самар-

[1] В настоящее время Новосибирск.

ском направлении за Бугульму, Белебей. Два полка украинцев, сформированных у нас, целиком перешли на сторону красных, в силу чего и образовался прорыв.

18 мая. «Ростислав»

Ехать на пароходе одно наслаждение. Чудная теплая погода. Иртыш разлился так, что местами глядишь на заливы, островки, камыши, кусты — и кажется, что все это среди бесконечного водного пространства. Из-под парохода и камышей все время вырываются утки — то стайками, то в одиночку, вздымая серебряные водные брызги, а вдалеке, блестя на солнце нежной белизной, словно перламутровые, гордо держатся спокойные красавцы лебеди.

Днем жарко, зато лунные ночи прохладные и даже свежие — это хорошо для крепкого сна.

Еду вместе с казанским Казем-беком Николаем Александровичем. Очень славный человек, симпатичный, интересный. Договорились с ним до родства — его мать, оказывается, Толстая. Он был когда-то богат, потом разорился, затем снова разбогател. Недавно под Красноярском на так называемом «внутреннем фронте» у него убили сына, и, как это почему-то всегда бывает, разумеется, из двух погиб лучший и любимый.

Много говорили про старину — он бывший преображенец и, конечно, всех знал: и дядю Митю, и знаменитого Нидермиллера, и многих других.

В Семипалатинск приедем через двое суток, а сегодня вечером будем в Павлодаре. Надеюсь, что через несколько дней я уеду из Семипалатинска. Вероятно ведь, что никогда больше в жизни не попаду сюда...

19 мая. 12 часов ночи, Ермак

Павлодар, из которого мы вышли вчера, Ермак, где сейчас берем соль и уголь, — все это типичные сибирские города степного края: без единого деревца или кустика, на пыльном знойном месте, где свободно гуляет не перестающий дуть ветер, поднимая целые облака горячей, ужасающей пыли.

Ермак встретил нас целым самумом, на пароход несло тучу черной пыли, из-за которой ничего не было видно. Ах, что это за пыль!

Хлеб тут дорог, потому что своего мало, так как посевы заносит песком. Мы стоим у места, куда подходит железнодорожная ветка, стоит паровозное депо, горы соли и угля. В ста двадцати верстах отсюда — угольные копи, которые теперь разрабатываются каким-то или американцем, или американской компанией. Смотрю я на это

все и дивлюсь богатству России: всего вдоволь, все есть, всего сколько хочешь...

Иртыш, да еще при лунном свете, сказочно красив в своем разливе. Из Павлодара взяли мобилизованную интеллигенцию. Половина, разумеется, перепилась, и, разумеется, не обошлось без скандала. Кончилось тем, что я запретил давать им водку и пригрозил, что пошлю телеграмму и вызову на следующей остановке команду.

29 мая. Пароход «Азия», из Семипалатинска в Омск

Итак, еду обратно в Омск, затем Екатеринбург и, наконец, Пермь, где получу новое назначение. Не знаю, что-то ждет меня.

В Семипалатинске прожил ровно неделю, жил у Пастуховых. Он необыкновенный человек, надо сказать, и я с ним очень сдружился. Спал у него в кабинете. Третьего дня он мне рассказывал свою незаурядную историю. Мы с ним разговорились вечером, он был очень откровенен и вспомнил свою юность. Он сын сибиряка, крестьянина — волостного писаря. Его отец был суровый, твердый, работящий человек. Старший сын, Николай, поступил в семинарию, но, когда приехал из второго класса в отпуск к отцу, застал отца почти уже слепым — Николаю было в это время четырнадцать лет. Надо было работать, помогать как-нибудь семье. Братья и сестры все мал мала меньше. И вот Николай начинает писать бумаги за отца, а отец лишь их подписывает. Длилось это год, о семинарии и думать нечего было. И вот в один злосчастный день начальство заметило, что старик Пастухов почти слеп, и его уволили. Жить стало не на что. Что делать? Чтобы прокормить семью, Николай идет псаломщиком. Целых пять лет был он псаломщиком, имея на руках отца, двух сестер и трех братьев.

«Сижу раз на завалинке, — рассказывает Николай Ал., — и вижу, как идут в отпуск приехавшие мои товарищи-семинаристы. “Здравствуй, Николка. Что, брат, хочешь учиться, а? Мы ведь скоро уже кончаем. Идем в семинарию...”

Крепко я задумался и решил: сбегу, и все тут. Но как? Ведь надо уговорить отца. И вот говорю отцу, что надо ехать мне в Тобольск, чтобы получить стихарь, — отец согласился, и добрался я до Тобольска.

Приехал — и прямехонько к отцу-ректору. Мало утешительного сказал он мне. Второй раз можно поступить лишь с разрешения преосвященного, да и лет мне уже много. Что делать. Пошел к преосвященному — три дня причетник не пускает, наконец добился. Вошел. Упал на колени, приложился к руке.

“Учиться хочешь?” — спрашивает преосвященный.

“Хочу, очень хочу!” — ответил я.

“Ну-ну, расскажи, расскажи, почему же тебе уйти пришлось...”

Начал я рассказывать, да от всех треволнений и голодовки — не ел почти ничего — и бухнулся в обморок. Очнулся на диване, а преосвященный хлопочет около меня.

И вот этот-то обморок, кажется, и решил мою участь. Принял преосвященный во мне участие, сделал мне для проформы экзамен, а чтобы было на что жить, дал мне место писаря. Отца и семью перевел к себе в комнатку и начал учиться».

В конце концов Николай Ал. Пастухов кончил семинарию первым, был командирован на казенный счет в академию, где, пробыв год, перевелся в университет. Кончив юридический факультет, он стал судьей, потом следователем и, наконец, перешел по адвокатуре. Теперь этот человек имеет средства, и в городе, который растет в чисто американском масштабе, где капиталы делаются с необыкновенной быстротой, где хлеб, золото, уголь добываются и обогащают сибиряков, Николай Ал. стал первым адвокатом, к которому каждый в случае чего обращается.

И жалко этого чудесного человека, что нет у него того, что так дорого всякому человеку и чего хотел бы так он сам, — семьи. Настоящей хорошей семьи. Его жена-сибирячка — полная взбалмошная женщина, любит слишком мужчин, не стесняется этого, тратит массу денег, кутит, а бедняга Николай Ал. страдает и не имеет силы кончить с этим всем... Детей у них нету.

И чисто по-семипалатински прихлебатели толкутся в его доме, пользуются всем решительно вплоть до... и потом смеются же над Пастуховым. Эдакие негодяи, право.

31 мая. Пароход «Азия»

Ехать очень хорошо, погода дивная, красавец Иртыш неописуем в своем мощном разливе. Серебрится гладь его на десятки верст вокруг. Дичь и тишина кругом. Зеленеют холмики островов с купами ракит и ив, вон, словно гряда огромных гор, чернеют землянки зимнего становища киргизов. Хлопотливо и громко шлепают колеса парохода, вздымаются стаи уток, в далекой синеве неба тянется треугольник гогочущих гусей...

А вон на островке волк. Он мечется при приближении парохода и не знает, как ему быть. Серый разбойник подбегает то к одному, то к другому берегу, нюхает воду, поджав хвост, скалит зубы и снова в бессилии мечется.

Жители немногих прибрежных городов с нетерпением ждут пароходов, это для них и первоклассный ресторан, и место прогулок, и

все то, о чем мечтают в глухом, заброшенном уголке без газет, новостей и каких бы то ни было интересов.

Пароход пристает, и толпа принарядившихся дам, барышень и мужчин гуляет по палубе или сидит в освещенной электричеством кают-компании. И представляется мне, как все эти люди живут от парохода до парохода в глухом сибирском городке. А зимой? Какие интересы суровой, долгой сибирской зимой?..

6 июня. На пути из Омска в Екатеринбург

В Омске, куда я приехал 1 июня, масса новостей, слухов, перемен.

Самое главное, конечно, что наши дела на фронте все хуже и хуже, и Уфа уже отдана, и последний рубеж — река Белая того и гляди будет тоже оставлена. Помимо того что большевики сосредоточили большие силы, мы опять оказались совершенно неподготовленными, и в малом масштабе получилась та же сухомлиновщина[1]. Странно, что то, что видели многие, было невидимо и незаметно тем, кому следовало видеть.

Я еще так недавно писал в этом самом дневнике, что Матковские, Марковские, Степановы, Лебедевы и пр. не могут и не должны быть у власти, ибо с ними дело возрождения России снова может погибнуть. Как это ни горько, но я оказываюсь прав. Что делали они, кроме интриг «мексиканщины», грубой глупости? Что сделали они к моменту, когда оказались нужными резервы, новые готовые части, когда понадобилось полное напряжение сил для окончательной победы?

Солдаты неодеты, части, которые должны были быть готовы, оказались несформированными, а эти господа занимались интригами. Жалкие, ничтожные люди.

А финансовая реформа? Ведь эта мера, выдуманная Михайловым, настоящая провокация. Начали печатать сибирские, свои деньги, и каков же результат? Мне говорили офицеры, да и солдаты: потерялся смысл Гражданской войны. Да, да, смысл. Вот этот самый смысл «грабь награбленное», ибо и белый фронт, и красный держатся этим милым русским стимулом — побольше награбить. Казаки Иванова-Ринова, когда захватили несколько денежных ящиков с керенками и романовками и по приказанию начальства, навалив кучу, стали все это сжигать, потеряли сразу весь вкус к войне. А вот красные немед-

---

[1] Намек на драматическую историю генерала от кавалерии В.А. Сухомлинова (1848–1926). Военный министр с 1909 года, он был признан виновником неудач России в начальный период Первой мировой войны, снят с поста (1915), арестован (1916) и судим.

ленно объявили, что сибирские деньги имеют хождение наравне с прочими деньгами. Для чего на них будет ставиться лишь печать — сатанинская мысль, но правильная...

Теперь спохватились, много перемен: одни посланы в почетную ссылку в качестве генерал-губернаторов, другие с какими-то чрезвычайными миссиями во Францию. Опять то старое, что практиковалось в царском правительстве, — не суд, не закон, а паллиативы, старание замять, скрыть, боязнь суда, огласки, дискредитирования власти. А власть как раз больше всего дискредитируется от таких приемов.

Что может сделать бедный Колчак? Вот где настоящий урок, настоящий, подлинный урок справедливой извечной жизни, равнодушной в своей закономерности, незыблемой в своем извечном ходе: ругали Царя, я сам как мечтал о революции, как казалось, что удали Штюрмера, прогони Протопопова — и дело в шляпе. Вот прогнали Царя — «согнали», как определила няня, — вытолкали всех министров, многих даже руками большевиков расстреляли... Пришли к власти лучшие русские люди — профессора, земцы, соль русской интеллигентской мысли, — казалось бы, чего еще... Но эта соль ровно ничего не сумела сделать, и когда оказалась у власти, то вышло, что ни народа, ни страны соль не знает, править не умеет, характеров нет, голов настоящих тоже, практических и крепких. Как стадо баранов, вдруг подпали под власть никудышного крикуна и дрянцы, петрушки, революционного шута — типичного порождения русской революционной интеллигенции — Керенского... Все лучшее единичное гибло, уходило, испарялось... пришла катастрофа. Спохватились, испугались, начали бить отбой. Опять сначала решили строить. Кажется, урок был хороший. И вот начали. И что же? Опять точь-в-точь все то же...

В Омске пробыл три дня. Жил у милых Иорданов. Хорошие они люди. Накануне отъезда повидал Мишу Евстратова, который как раз в этот день приехал с поездом Колчака. Я очень обрадовался ему. Мы долго с ним говорили.

Он правдиво описал мне положение на фронте и настроение солдат. Его слова подтвердили мне все мои худшие предположения и предчувствия.

Он говорит, что части сдаются попросту и в оставшихся такое настроение, что довольно малейшей искры, чтобы вспыхнул большевизм.

11 июня. Екатеринбург, Тихвинская ул., 12

Приехал и застал семью в преотвратительном доме, во втором этаже в двух комнатах, которые они сняли в квартире Зубовых. Улица тоже мерзкая. Но что хуже всего, Тата лежала с дифтеритом, Гуля

была под подозрением. К ночи Тате стало плохо и она начала с трудом дышать. Я бросился за доктором и приехал с доктором Спасским, который сейчас же решил делать прививку. Но беда оказалась в том, что прививки вообще в Екатеринбурге нету, и я, на счастье, поехал по аптекам и в одной достал две последние ампулы.

К утру восьмого у меня вдруг оказалась температура 39° и я свалился. В первую минуту думал, уж не дифтерит ли, но потом оказалась какая-то сильная инфлюэнция.

Сегодня мне много лучше, но зато у Наташи, бедняжки, от прививки верно, вскочил на левой ягодице огромный чирей, и такой болезненный, что она все время держит ногу поднятой, кроме этого у нее доктор определил инфлюэнцию, которую, верно, привез я. Александр Михайлович Спасский — необыкновенно славный и хороший человек. Он очень внимательный доктор и интересный человек. Он, оказывается, кадет, любит журналистику, сам много писал и даже был редактором газеты в Екатеринбурге. Говорит, что дела наши, по-видимому, очень плохи.

Вот и Екатеринбург. Вот и переезд. Что я теперь буду делать, что вообще будет...

12 июня. Екатеринбург

Живем без сведений, без газет, без знакомых, которых совсем нет. Тишина, слухи, разговоры. На фронте совсем скверно — река Белая перейдена красными в двух местах, а ведь Белая единственная грань, которая могла их задержать...

16 июня. Екатеринбург

Сегодня первый раз вышел, но чувствую еще слабость. Пошел в штаб, где явился инспектору артиллерии генерал-майору Томашевскому. Черный, моложавый, с сладким лицом поляк. Когда красные были в Екатеринбурге, и тут Томашевский занимал у них должность инспектора артиллерии. Он жил в квартире некоего Аничкова[1], бывшего управляющего банком, где ему была реквизирована комната. К Аничкову заходил много раз великий князь Сергей Михайлович, тогда еще великим князьям разрешали гулять и заходить в некоторые дома. И вот, по рассказу Аничкова, раз великий князь увидел сидящего в гостиной Томашевского. Он знал Томашевского как артиллериста и академика и обратился, несколько удивленный, к нему, увидя, что Томашевский даже не двинулся с места.

— А, здравствуйте, генерал Томашевский, разве вы меня не узнаете?

[1] Владимир Петрович Аничков.

Томашевский замял разговор и поспешил выйти — так он боялся себя скомпрометировать. Теперь этот Томашевский сидел в новеньких погончиках и весь сиял масляной улыбочкой.

Он предложил меня принять на место командира Красноуфимского артиллерийского дивизиона, на что я ответил, что согласен, но пока прошу дать мне время и самому совсем поправиться, и подождать, когда выздоровеют дети.

Спросил его о положении. Он стал говорить, что опасности никакой для Екатеринбурга нету и что если есть неуспех, то временный. Я спросил, можно ли оставлять в городе семью. На что он ответил, что вполне.

Штаб Гайды произвел на меня плохое впечатление. Везде царил тоже Генеральный штаб новой формации, который отличается от старого тем, что быстро усвоил решительно все самые худшие недостатки Генштаба, но не приобрел хотя бы сотой доли знаний. Штабс-капитан Белоцерковский, с лицом, изъеденным оспой, занимался контрразведкой и был в роли жандарма-провокатора, который всюду втирался, лез и затем доносил. Я пошел на вокзал и тут узнал, что среди многих вагонов штабных имеется вагон и генерала Томашевского, который всегда готов к отходу и в котором живет его собственная супруга. Это мне сказало все. Та же история, что и в Самаре, Симбирске, что бывало и на германском фронте.

18 июня. Екатеринбург

Не знаю почему, но город имеет вид обреченного. Жаркие чудные дни. Мы с Протасовым ходим купаться. Он тоже приехал сюда. Купание в пруду прямо посреди города. Когда я иду по улицам, я ясно вижу, совершенно «физически» между прочим, что город занимается красными. Особенно это впечатление усиливается ночью, когда с наступлением темноты раздаются глухие заунывные удары сторожей в железные доски — они выбивают часы, и в этом звоне, эхом перекатывающемся по пустынному спящему городу, столько трагически обреченного, что становится жутко.

С Зубовым[1] буквально ругаюсь, потому что он, вроде Мусина-Пушкина, уверяет и клянется, что Екатеринбург ни в коем случае оставлен не будет и что в крайнем случае все пойдут на фронт, но города не сдадут.

Я ему отвечаю на это, что все это чушь, что все это уже слыхали и тысячу раз это повторялось. Что надо посмотреть на людей, на штаб, раз только взглянуть, чтобы понять, что при таком положении ничего выйти не может — надо принимать какие-то другие меры.

---

[1] Николай Николаевич Зубов.

У Наташи, оказывается, началось воспаление легких — результат ослабления организма и привезенной мною инфлюэнции — прямо все напасти. Гуля молодцом, перенесла все отлично.

20 июня. Екатеринбург

Был интересный вечер, устроенный в городском саду англичанами, — солдаты прекрасно играли, народу было полно, английские офицеры играли роль хозяев. Я встретил князя Кропоткина, с которым долго ходил по аллеям и разговаривал. Он немилосердно ругает Колчака. Называет его выскочкой, болваном, ничего не понимающим авантюристом и пр. — ужасно это отвратительно и низко. Сами во всем виноваты, сами никуда не годятся, а вот вместо того, чтобы хоть немного постараться помочь, эти господа злорадствуют и злопыхательствуют. Вот уж вполне выродившееся дворянство, дегенераты. Мне так было противно, что я не знал, как отделаться от этого мерзкого князя. И подумать только, что в Уфе сам торжественно провозглашал принципы диктатуры и стоял только за диктатуру. Может быть, думал, что он сам будет диктатором...

23 июня. Екатеринбург

Положение на фронте все хуже. Наши не отступают, а просто остатки бегут местами. Я решил прежде всего вывезти семью. Куда я денусь в случае чего, да еще с больной дочерью, которая даже встать на ноги не может.

Был в штабе. О дивизионе не может быть и речи, так как даже не знают точно его местонахождение. Недурно поторопились к «родным» местам. С Зубовым, который состоит в прикомандировании к штабу после расформирования Осведверха, постоянные столкновения: он с апломбом уверяет, что об отдаче Екатеринбурга не может быть и речи.

Был у Янчевецкого, редактора фронтовой газеты «Вперед». Он живет с семьей в поезде, где размещается типография, служащие и пр. Поезд состоит из теплушек. Жена стала переводить в его газету статьи и иностранную информацию.

Янчевецкий очень умный, тонкий человек. Его сразу не разберешь и мыслей его не узнаешь. Когда-то, в дни юности, увлекались мы с Леней Оболенским его книгой «У стен недвижного Китая» и читали его корреспонденции в «Новом времени».

Он очень сохранился, выглядит свежим, бодрым, еще не старым человеком. Почему только газету свою назвал он «Вперед», нет ли и тут скрытого смысла...

Янчевецкий тоже не в восторге от наших дел и говорит, что развал все усиливается, но, несмотря на это, поместил «военный

обзор» Зубова, который Зубов озаглавил «Натиск красных ослабевает». Боже, как глупы эти люди, которые пишут такие статьи, и сами статьи в такие минуты.

26 июня. Екатеринбург

Наташа медленно поправляется, а я ломаю голову, каким образом так устроить, чтобы отправить семью отсюда. У всех штабных наготове поезд, Томашевский имеет свой вагон первого класса, и потому и штабные, и Томашевский уверяют, что ни о какой сдаче не может быть и речи. Он необыкновенно любезен, участливо спрашивает о здоровье детей и моем собственном, за всем этим чувствуется двуличие и что-то гаденькое — таков уж человек.

Днем, после обеда, ходил смотреть Ипатьевский дом, в котором так трагически были замучены и зверски перебиты члены царской семьи.

1 июля. Екатеринбург

Решил поговорить с Янчевецким и попросить у него вагон, чтобы погрузить семью и отправить их; может быть, и сам с ними поеду.

До обеда пошел в «редакцию» и, застав Янчевецкого, сказал ему о вагоне. Он согласился немедленно и сказал, что одну из теплушек я могу взять когда угодно. На душе теперь спокойно, так как обеспечен выездом, вопрос лишь в том, чтобы теплушку вывезли на главный путь к станции, когда это будет нужно.

Преисполнился чувством огромной благодарности к Янчевецкому: это с его стороны очень благородно.

3 июля. Екатеринбург

Зубов, глупец эдакий, уверяет, что все отлично, а англичане спешно грузятся и уходят. Томашевский говорит, что опасаться нечего, а его вагон уже поставлен на второй путь вместе с вагонами штаба и поездом Гайды.

Перевез семью в теплушку со всеми вещами. Переезжали целый день. Жарко и нудно. Бедная моя девочка не может ни разогнуть, ни выпрямить ноги, и при каждом толчке бедняжка кричит.

Зашел к Томашевскому и спросил его разрешения отвезти своих в Омск, он сейчас же согласился, да, в сущности, почему и не согласиться, ведь я ему совершенно не нужен.

Все больше и больше на Екатеринбург ложится отпечаток чего-то трагичного — так выглядят все дома, улицы, сады, парк. В парке, между прочим, сегодня был большой митинг большевиков, на котором выступали какие-то матросы. Никто за этим не смотрит, и никто вообще ничем не интересуется.

4 июля. Екатеринбург

Весь день бегал и хлопотал, чтобы вывезли вагон и прицепили к поезду, идущему в Омск. Встретил Протасова, он говорит, что, памятуя Симбирск, теперь же уезжает, и прямо во Владивосток. Кропоткин уже уехал, вообще после англичан почти все стали уезжать, я даже начинаю бояться, как бы не застрять, потому что в последнюю минуту понесется штаб и нас, конечно, бросят без всяких разговоров.

Был у коменданта, был в паровозном депо и наконец ухитрился получить обещание, что завтра утром дежурный паровоз выведет теплушку и она будет прицеплена к поезду.

5 июля. Екатеринбург

С утра, никому не доверяя, сам полетел к дежурному паровозу и на нем приехал к нашему вагону, который благополучно и вывели на главный путь. На вокзале уже начинается паника. Какие-то отступавшие части группами ждут поезда, какие-то люди с вещами, мешками и узелками, какие-то женщины, дети, старики и старухи. Штабной поезд уже стоит с паровозом и в полной готовности. Хорош Зубов, нечего сказать: он, оказывается, обеспечился местом в вагоне Томашевского.

4 часа дня

В три с половиной часа дня нас прицепили все-таки к 22-му номеру, и мы теперь едем. Поезд битком набит беженцами из Екатеринбурга — я убежден, промедли мы дня два, и никогда бы не удалось выбраться. Бедняжка Наташа все время стонет, так болит ее карбункул. Ногу она держит кверху. Няня в нервном настроении и бранится, обещая нам скитания по всему свету, — похоже, что она права.

6 июля. Вагон

Утром у Наташи лопнул ее нарыв. Она всю ночь не спала и металась в жару, а в шесть часов вдруг после того, как нарыв лопнул, весь жар прошел и она крепко заснула. Вышла масса гною.

Только что мы обрадовались этому благополучному концу с Наташиным нарывом, как под вагоном раздался какой-то протяжный свист, который все больше увеличивался. Мы сначала не сообразили, в чем дело, но когда я выглянул, то все стало ясно — оказывается, горят буксы. Дым валит вовсю, полыхает и пламя. Я стал тянуть веревку сигнальную. Но вытянул ее всю, а результата ровно никакого. По счастью, вскоре был разъезд и поезд остановился. Сбежалась бригада, и все сообща стали засыпать песком. Потушив, смазали и

все исправили, но через пять-шесть верст опять повторилось то же — тут уже поезд остановился сам, так как с паровоза смотрели, и в поле опять тушили и принимали меры к исправлению. Хорошо, что все это случилось не ночью, а то бы обязательно сгорели.

Хотели было отцеплять вагон — вот тоже была бы штука, — но, по счастью, все обошлось и букса перестала гореть.

8 июля. Омск, Баронская ул., д. 3

Опять в Омске всем семейством. Две больших хороших комнаты с обстановкой в квартире Лимонова — он же и домовладелец — мы получили благодаря неизменному Андрею Андреевичу[1]. Комнаты заняты были датским консульством для каких-то датчан, но он уступил их нам.

Настроение в Омске сразу не уловишь, но в общем, кажется, ничего, и, видимо, не очень беспокоятся положением на фронте.

10 июля. Омск

Вчера вечером, после того как устроились и разложились, пошел в городской сад, где познакомился с артиллерийским полковником Сполатбогом. Он мне сообщил, что состоит командиром батареи во вновь открытом артиллерийском училище, и, узнав, что я в свое время читал лекции в Школе прапорщиков Юго-Западного фронта, посоветовал подать рапорт инспектору артиллерии с просьбой меня назначить лектором, ибо как раз лектор нужен.

Сегодня, не откладывая в долгий ящик, явился в Ставке инспектору артиллерии генерал-майору Прибыловичу и подал ему рапорт. Он сейчас же вызвал меня и сказал, что запросит по прямому проводу Томашевского его согласия на мое прикомандирование. Я пошел за Прибыловичем в аппаратную. Стали вызывать Томашевского, минут через пять он подошел. Прибылович спросил, не имеет ли он чего-нибудь против моего прикомандирования. Застучал аппарат, пошла лента: «Ничего не имею точка Полковник Ильин произвел на меня самое отвратительное впечатление». Я почти не верил глазам, и, когда начались слова «самое от...», я сейчас же решил — «отличное», сам не знаю почему, может быть, потому что слово «отвратительное» просто не умещалось в сознании. Я опешил. А Прибылович, который почувствовал себя неудобно, немного рассердился, сказав:

— Вам, подполковник, нельзя присутствовать при разговоре, потрудитесь выйти.

Что я испытывал, сказать трудно. За что, почему? В чем дело? И давать такую аттестацию, не зная человека совершенно, лебезя, сладко улыбаясь, справляясь о здоровье детей и пр., и пр. Передавать

[1] Кофоду.

по прямому проводу, на котором отправляют и принимают разговор писаря, и кругом сидят нижние чины... Во мне просто все клокотало.

Сейчас пришел домой и пишу про этот случай, единственный в моей жизни, и никак не могу понять, что надо было этому человеку, что он хотел, какую цель преследовал... Ни с того ни с сего сказать «отвратительное впечатление» только по первому взгляду, только по поверхностному знакомству — это ли не низость...

11 июля

Кончилось тем, чем и должно было кончиться после такой милой аттестации, — Прибылович написал на моем рапорте: «В просьбе отказать». Мне даже было все равно, так все это стало противно и так надоело.

Когда я шел по коридору с этой резолюцией, увидел Андогского. Мы тепло поздоровались, он мне рассказал про свою ссылку и про то, что теперь он генкварм, а я в свою очередь про свою историю. И вот Андогский тут же произнес:

— Погодите, я сейчас все улажу, — и пошел к Прибыловичу. Через пять минут я уже опять был в кабинете Прибыловича, и он дал мне предписание, в котором говорилось, что я временно прикомандировываюсь к артиллерийскому военному училищу в качестве лектора. Трудно передать, как подкупил меня поступок Андогского. В данной обстановке и с данными людьми такие поступки нечасты.

12 июля. Омск

Начальник училища полковник Герцо-Виноградский. Спокойный, выдержанный человек, который на все отмалчивается, что бы ни случилось и что бы ни спрашивали у него. На мой взгляд, это самые опасные и самые ненадежные люди. Ничего нет хуже, как не иметь своего лица. Разговаривая с ним, я вспомнил покойного дядюшку Алексея Александровича Толстого и свою бель-мер[1].

Командиром одной батареи Сполатбог, второй — полковник Прибылович, конно-артиллерист, брат генерала Прибыловича. Оказывается, Прибыловичей четыре брата, и все артиллеристы.

Курс артиллерии, теории стрельбы и порохов читает подполковник Коневега, тактику артиллерии — я, затем другие предметы распределены между самим Герцо-Виноградским, офицером Генерального штаба, Сполатбогом и Прибыловичем.

Молодежь — юнкера — вся очень хорошая, вполне интеллигентная и много выше той, которая была в школах прапорщиков, уж хотя бы потому, что все со средним образованием.

[1] От belle-mère (*фр.*) — теща.

Единственным серьезным и знающим артиллеристом, конечно, является Коневега — видимо, прекрасный математик и знающий хорошо предмет. Сполатбог, бывший в мирное время и во время войны все время курсовым офицером в Константиновском артиллерийском училище, — просто, как говорят, «ловчила», который все время вертится, крутится, старается со всеми поддерживать отношения. Кто больше в милости, с теми и Сполатбог дружит, кто меньше, Сполатбог старается отойти и в сторонке выждать. Молчальник Герцо-Виноградский тоже все время был курсовым офицером в Константиновском училище, но на несколько лет старше Сполатбога.

Прибылович[1], видимо, честный, хороший строевой офицер, как и его брат, инспектор артиллерии. Говорят, впрочем, что все братья такие.

Сегодня начал свои лекции. Тут пришлось несколько серьезнее читать, и я несколько боялся своей неподготовленности.

После училища зашел рядом в Главное артиллерийское управление и вдруг, о радость, увидел сидящим за одним из столов нашего Игнатьева[2]. Мы горячо обнялись и забросали друг друга вопросами. Он рассказывал про бригаду, про потери, про то, как в первый же день революции Добров пришел, со всеми простился, сказал:

— Ну, мне с революцией не по пути, — и уехал, отправившись к себе в Новгородскую губернию к старушке матери.

Сам Игнатьев командовал дивизионом, а потом жил в деревне, перебравшись в Сибирь. Жена с двумя сыновьями и сейчас где-то под Омском. Я рассказал про себя и про случай недавний с Томашевским. Милый Анемподист Александрович со своей немного угрюмой манерой прямого и честного человека спросил:

— Неужели сами просились о переводе на Волжский фронт? Что вам, крови мало, что ли, еще в Гражданскую войну ввязываться добровольно. Если приказывают — ну, ничего не поделаешь. Я и то думаю, что и германскую-то войну зря воевал — чтобы вот дождаться того, что сейчас происходит.

Вечером Игнатьев обещал прийти ко мне.

13 июля. Омск

Вчера долго сидели с Игнатьевым. Вспоминали бригаду, Селищи[3], старое доброе время, которое кажется теперь таким милым.

---

[1] Владимир Николаевич Прибылович.

[2] Анемподист Александрович Игнатьев.

[3] До Первой мировой войны, начиная с 1908 года, Иосиф Сергеевич Ильин служил поручиком в артиллерийской бригаде в Селищах, в Новгородской губернии.

Вспоминали мобилизацию и как выходили на войну. Анемподист Александрович смотрит на положение мрачно и говорит, что из Белого движения ровно ничего не выйдет и выйти не может.

— Я народ знаю, — говорил Игнатьев. — Я сам из мужиков и вижу, в чем дело. Большевики правы потому, что дали волю — делай, что хочешь — грабь, жги, руби, — и все под предлогом врагов народа. Потом они их зажмут почище еще всякого аракчеевского режима, а пока что жарь вовсю.

Да вы не думайте: и большевики, то есть Ленин, Троцкий там и пр., не очень-то правят сейчас — большевики только поняли, что настала революция, и стараются вовсю сами усидеть. Они только идут с волной, они не препятствуют, они сами угадывают и угождают. Когда революция, то есть разбой, пройдет, тогда другое дело: заберут в железные рукавицы.

А у нас что — посмотрите. Опять пошли министерства, да только какие, с какими министрами. И Главное артиллерийское управление, и Главный штаб, и сенат открыли, и синод вот-вот будет. Над всем этим интриги, интриги и интриги. Бедного Колчака так опутали, что он, я думаю, совсем перестал что-либо понимать...

— Что же делать, Анемподист Александрович?

— Не знаю, Осип Сергеевич. Я по крайней мере, что бы ни случилось, останусь в деревне. Пойду к мужикам, буду работать, на хлеб себе и семье заработаю. Мытарствовать надоело — не хочу, да и нигде ничего утешительного нету. Вот что...

Мы помолчали. Было грустно. Анемподист Александрович серьезно и строго глядел куда-то и мимо меня, и мимо этой комнаты — он о чем-то думал сосредоточенно и упорно.

— Да, ничего не выйдет. Поверьте мне... — сказал он опять.

Совсем было поздно, когда я его проводил. Омск спал. Полутемные улицы еле освещались тусклыми фонарями. Где-то в темноте за базаром нет-нет [да] и хлопали выстрелы.

— Вы думаете, это что? — спросил Игнатьев.

— Выстрелы-то...

— Да, выстрелы.

— Не знаю. Пожалуй, грабители какие-нибудь, а может быть, преступников ловят.

— Не грабители и не преступники, а вот нашего брата подстреливают. Каждую ночь, если только забредет офицер в темные закоулки, его уж, смотришь, и подстерегают.

— Да кто ж, Анемподист Александрович?

— Как кто! Большевики. У них, дорогой мой, организация — будьте покойны, и все средства хороши...

15 июля. Омск

Приехал от Деникина, вернее пробрался, Новицкий. Очень обрадовались друг другу и с восьми до двух ночи, не вставая, вчера беседовали. Он пришел к нам, а потом мы остались вдвоем и не могли наговориться. Я подробно рассказывал про все, что произошло здесь с момента его отъезда из Самары, потом Новицкий говорил про юг.

Он подробно рассказал про то, как Франше-д'Эспере оставлял Одессу, дав слово французского генерала ее не покидать, как грабили и разоряли город французы, которые уходили, как погрел руки старый знакомый Гришин-Алмазов, который, бедняга, потом погиб в Каспийском море, попавшись в лапы к большевикам. Деникин, оказывается, хотел хоть как-нибудь избавиться от Гришина и послал его к адмиралу Колчаку.

Грустные и печальные вести привез Новицкий. Он откровенно сказал, что и на юг нет никаких надежд. Там тоже развал, и развал не меньший, чем здесь. Там тоже интриги, воровство, предательство, полная разрозненность и отсутствие людей.

Где они, в конце концов, эти люди? Или им не время, или весь этот развал есть закономерный ход истории.

Через несколько дней Новицкий едет обратно.

18 июля. Омск

Сегодня обедал с Новицким. Он был у Пепеляева, рассказывал ему про юг. Говорит, что Пепеляев в очень мрачном настроении и говорит, что если так будет продолжаться, то на хороший исход борьбы рассчитывать нечего. Колчак совсем изнервничался, хватается за людей, но их нет. Беспрестанные поэтому смены, высылки, посылки на юг, чтобы отделаться как-нибудь. Эти поездки, между прочим, участились страшно, с юга тяга в Сибирь, и чем там хуже, тем тяга больше, отсюда стремятся к Деникину, и чем становится хуже, тем желание ехать на юг больше...

Генерал Лебедев[1], приехавший с юга и занявший пост начальника военных сообщений после попавшегося в злоупотреблениях Каткина, сумел устроить себе поездку на юг во главе с целой миссией из двух офицеров — слушателей академии, Зуевым и еще каким-то. Едут через всю Сибирь во Владивосток, оттуда в Японию и затем морем на юг. Каких это все стоит денег! Получают на эти поездки в фунтах, и получают много, чтобы ехать с удобствами.

Непревзойденные мастера интриг Генерального штаба опутали все своей сетью. С производствами вакханалия, и производятся все

[1] Николай Владимирович Лебедев.

кому не лень, выдумывая, изобретая причины и возможности, сочиняя послужные списки, которых у многих нету, а многие решили их скрыть и изобрести свои собственные, для чего требуется всего два поручителя или свидетеля, ну а таких сколько угодно. И вот друг другу пишут себе послужные списки, выводят чины, награды, отличия — и дело в шляпе.

19 июля. Омск

Новицкий уехал. Простились с невыразимо грустным чувством, будто так, что никогда больше не увидимся. Грусть еще усиливалась потому, что ни у него, ни у меня нет никакой веры, и мы оба это не скрываем друг от друга.

Сейчас появилось новое течение, за которое схватились, — пропаганда. Большевики побеждают главным образом пропагандой, они сначала разваливают тыл, они не жалеют денег на агитацию, листовки, литературу, плакаты. Они пропагандой наводняют все и вся — значит, для того чтобы с ними бороться, надо и нам вести пропаганду, надо и нам применять то же оружие. Так стали говорить и писать Устрялов, Коробов, все бюро печати и телеграфное агентство и, наконец, неизвестно откуда взявшийся профессор Оссендовский и Генерального штаба полковник Клерже.

После обеда пошел на собрание, которое было устроено под председательством Клерже и Оссендовского по поводу пропаганды. Клерже назначен ведать этим отделом. Длинный стол, белые листы бумаги, карандаши. Перед листами сидят офицеры разных чинов и частей войск, оказывается, вызваны с фронта или вообще из частей для того, чтобы повезти отсюда пропагандные воззвания, брошюры и пр.

Я сел на одно из свободных мест. Через несколько минут вошел плотный красивый блондин с сытым, наглым лицом и серыми холодными глазами. Он слегка то поправлял пушистый ус, то зубочисткой ковырял в зубе, время от времени издавая «цц-цц».

Это был Клерже. Необыкновенно гладко, красиво и рисуясь, он начал излагать картину пропаганды у большевиков и каким образом такая же пропаганда должна быть организована у нас. Он наметил пункты, развернув большую карту, отмечал кружки, где должны быть сосредоточены склады литературы, он разбил всю Россию на квадраты и, лихо водя карандашом, завоевывал пропагандой все губернии, города, села и веси России. Все было у Клерже предусмотрено, все очень тонко задумано, оставалось... только провести в жизнь.

— И это, господа офицеры, должны сделать вы, вы должны организовать эту пропаганду, для чего я вас сюда и собрал, — закончил господин Клерже свою речь. В таком же духе прочел лекции и господин профессор Оссендовский, положительно уверяя, что при помощи пропаганды большевизм будет в два счета кончен.

Не знаю, что думали другие, но для меня ясно было, что Клерже просто Хлестаков и не меньший Хлестаков и Оссендовский.

Клерже недавно, оказывается, очутился по эту сторону — он был у большевиков. Очень удачно подвизался у них где-то в Туркестане и умел им очень угодить. А Оссендовский — тот самый Оссендовский, которого суворинское «Вечернее время» обвинило в шпионаже в пользу немцев в начале войны, и он был куда-то выслан, в Сибирь или Нарым. Вот такая компания теперь организует «борьбу» с большевиками путем «пропаганды».

22 июля. Омск

По существу, нет ни суда, ни закона, ни даже власти, которой бы боялись. Министр Зефиров вагонами возит из Харбина товары, пластинки и фотографические принадлежности для своей тещи госпожи Ждановой, у которой ателье. Министр Зефиров пользуется своим положением, дает наряды на вагоны и получает сколько угодно вагонов, возит что угодно, торгует и спекулирует. Вместо того чтобы отдать его под суд или для примера расстрелять, как сделали бы большевики, его только высылают, то есть дают ему возможность с удобствами уехать.

Кругом ужас и гниение. Михаил Львович Киндяков ухитрился стать во главе Красного Креста и получить огромную сумму в иенах, которой, очевидно, и будет распоряжаться. Положим, так большинство — стараются нахапать; кто не может сразу схватить, старается получить повыгоднее командировку или какую-нибудь «миссию».

28 июля. Омск

Жара ужасающая, часто дует знойный ветер, поднимая облака пыли. По утрам читаю лекции, потом иду обедать на Баронскую, вечерами дома или у Андрея Андреевича. Часто заходит и он к нам.

Сегодня получили письмо от Ариадны Владимировны из Лондона. Много пишет про юг, про настроения в Англии и говорит, что зимой мы встретимся, вероятно, за самоваром в Вергежах и будем вспоминать, как участвовали в Белом движении. Какой насмешкой звучат эти строки. Ариадна Владимировна писала их целых два месяца назад, когда успехи были так блестящи и когда, к тому же в Лондоне, казалось, что большевикам приходит конец...

2 августа. Омск

Кажется, начинают прозревать. Казаки поднялись и вынесли постановление дружно идти всем против общего врага — большевиков. Своему атаману Иванову-Ринову преподнесли драгоценную шашку.

10 августа. Омск

Профессор Болдырев[1] горячо взялся пропагандировать идеи крестоносного движения[2]. Видно, что это человек — один из немногих — глубоко честный, искренний, убежденный, способный гореть святым огнем. Он сам выразил желание пойти простым рядовым в первую же дружину, которая будет сформирована. По его инициативе везде открывается запись в дружины Святого Креста. Ах, если бы хоть тут-то что-нибудь да вышло.

15 августа. Омск

Познакомился с графиней Елизаветой Николаевной Толстой, бывшей фрейлиной великой княгини Елизаветы Федоровны. Чудесная девушка. Она все время была до последней минуты при Елизавете Федоровне, не оставляла ее, была с ней арестована, потом во время наступления чехов бежала, долго скиталась, массу перенесла, пока наконец отряд Казагранди не взял ту деревню, в которой она скрывалась. Елизавета Николаевна ходит в платьях сестры и носит наперсный крест Елизаветы Федоровны, которая передала его ей в минуту ареста и просила сохранить, если удастся.

22 августа. Омск

Очень сдружились с Елизаветой Николаевной Толстой. Вчера сидел у нее вечером, она только что пришла от госпожи Дитерихс. Рассказывает, что Дитерихс все время ищет с ней встречи, просит помочь в организации приюта для девушек. По ее мнению, и мадам Дитерихс, и сам генерал — оба ненормальны. Дитерихс, например, рассказывает, что Россию спасет Михаил, то есть ее муж, что каждый день они устраивают бдения, прячутся друг от друга, потом ищут и, найдя, молятся. Недурное времяпрепровождение для генерала.

---

[1] Дмитрий Васильевич Болдырев.

[2] Речь идет о существовавших в августе — декабре 1919 года добровольческих формированиях в составе армии А.В. Колчака, ставивших целью защиту православной веры и борьбу с большевиками. Дружины Святого Креста были созданы по инициативе генерала М.К. Дитерихса.

26 августа. Омск

Во главе формирования добровольческих частей Святого Креста назначен генерал-лейтенант Голицын[1], а его помощником генерал-майор Торейкин.

27 августа. Омск

Артиллерийское училище переводится во Владивосток, а я вчера же подал рапорт о зачислении меня в дружины Святого Креста: по-моему, единственно, что еще может спасти положение, — это вдохновенный религиозный подъем.

Узнал в Ставке, что с востока приехал генерал Хрещатицкий, который будто формирует новый корпус. Пока нету ответа на мой рапорт, решил сходить к нему и сегодня был у него.

Его вагон первого класса с великолепным салоном стоит на ветке. Я вошел, и ко мне подошел адъютант, видимо из казаков, в чине подъесаула, с большими черными усами.

— Вам кого угодно, генерала?

— Да, я хотел видеть генерала.

— Вот подождите в этом купе, он скоро должен приехать, сейчас он у адмирала Колчака.

Я вошел по мягкому ковру в купе и сел. Задумался. Вдруг окно кто-то загородил, я повернул голову и обмер: высокая, в великолепном элегантном платье, надушенная, в бриллиантах и драгоценных камнях на пальцах и в ушах, стояла... Мишина[2] «невеста». Она стояла спокойно у окна и небрежно полировала ногти. Умная женщина взглянула на меня искоса и, предупреждая всякие попытки с моей стороны, произнесла:

— Подождите, полковник, генерал скоро будет, — и прошла к себе.

Да, это была она. Но что она тут делает? Как попала она сюда? Пока я думал и ломал голову над странностями и причудами жизни, послышались торопливые шаги и голос Хрещатицкого, что-то говорившего адъютанту. Я встал. Вошел невысокого роста генерал в погонах лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка с лицом некрасивым, немного вульгарным. Я не успел представиться, как из соседнего купе раздался голос Мишиной невесты:

— Коман са ва, мон шери?

— Тут э бьян, тут э бьян...[3]

---

[1] Владимир Васильевич Голицын.

[2] Речь идет о Михаиле Алексеевиче Толстом.

[3] «Comment ça va, mon chéri? — Tout est bien, tout est bien» (*фр.*) — «Как дела, дорогой мой? — Все хорошо, все хорошо».

Значит, подумал я, теперь она «невеста» Хрещатицкого, а может быть и жена. Я сказал, что хотел бы знать относительно формирующихся частей и какова будет артиллерия в будущем корпусе. Тут, несмотря на свой такой простой вид, Хрещатицкий начал говорить необычайно гладко, толково и стал развивать такие идеи, что, казалось, уже вся Сибирь покрыта корпусами, которые под его началом вот-вот двинутся на Москву. У него уже было соглашение с атаманом Семеновым, которого мог достигнуть только он, Хрещатицкий. Его знали отлично японцы, его любили американцы, у него необыкновенные знакомства в среде иностранцев... Он врал с упоением, врал лучше всякого Мюнхгаузена, и передо мной сидел настоящий, подлинный Хлестаков в погонах генерала...

Я ничего говорить, разумеется, не мог, потому что говорил только Хрещатицкий. По счастью, перебила «невеста», она по-французски вызвала: «Шери!», и этот казачий Хлестаков встал, подавая мне руку.

— Когда начнется формирование артиллерии, а это будет скоро — адмирал уже понял все значение моего проекта, — я буду рад видеть вас у себя, полковник.

Он, конечно, то же самое сказал бы и говорил всякому — это те люди, которые трещат фразами и говорят что попало, но всегда с расчетом поразить, очаровать, обласкать...

С грустным чувством я вышел из вагона. Вот кем окружен Колчак. И ведь в своем вагоне с женщиной-авантюристкой катается такой генерал по всей Сибири, создает какие-то фантастические проекты, бедного Колчака обманывает, — откуда же Колчаку знать всех этих авантюристов? — добивается лишь одного: получить побольше денег «на формирование» и затем засесть за «формирование», выбрав где-нибудь получше и потеплее место в Сибири.

В Ставке все узнал. Миша[1] сообщил мне все подробности.

— Да, брат, ты что, с неба свалился, что ли? — начал он своим грубоватым голосом. — Ведь этот кондитер сколько времени уже охаживает Колчака. Почти уже убедил, да теперь, кажется, Колчак не соглашается. А дама эта, так ведь она жена нашего капитана Генерального штаба И-ва Д-ва, не знаю когда, кажется, в девятьсот шестнадцатом или девятьсот семнадцатом, вышла за него замуж, у них и сын маленький есть. Раньше она была тоже за кем-то замужем, а девичья ее фамилия Я-ва, она дочь генерала. Вот, брат. Теперь И-ва Д-ва Хрещатицкий уговорил уехать в какой-то штаб, кажется, и денег дал, а его супруга путешествует с Хрещатицким. Ну, понял?..

[1] Евстратов.

Сомнений не было — это была М.П., Мишина «невеста». Я рассказал Мише про нашу встречу на войне.

— Ты что, подал рапорт в крестоносцы? Хорошо сделал, — сказал Евстратов. — Тут, брат, такой б...к творится, что и сказать нельзя. Ты думаешь, Хрещатицкий один... Все, брат, почти Хрещатицкие. Вон Лебедев поехал к Деникину, знаешь, сколько получил на троих? Тысячу фунтов. Десять тысяч иен, а? Как тебе понравится?.. — честный Миша басил и сердился, размахивая, как граблями, своими длинными большими руками.

28 августа. Омск

Сегодня откомандировали от училища, которое уходит во Владивосток. Расстался без малейшего сожаления, Герцо-Виноградского помянуть мне нечем, да и всех вообще — я, вероятно, не пришелся ко двору.

Был в Ставке и узнал, что на моем рапорте положена резолюция: «Откомандировывается в распоряжение генерала Голицына», — сейчас же отправился к Голицыну. Штабс-капитан Долинский, адъютант генерала Корнилова, в присутствии которого Корнилов был убит снарядом, а Долинский брошен к стене, оказался теперь адъютантом у Голицына. Он сейчас же доложил обо мне, я был принят.

Высокий, красивый молодой генерал поднялся мне навстречу и необыкновенно любезно предложил сейчас же сесть.

— Итак, — сразу начал он, — вы хотите в дружину Святого Креста. Так разрешите мне вам сделать следующее гнусное предложение... — Он помолчал. — Вот видите, вся территория Сибири разбита на районы, по которым должен происходить набор добровольцев. Районов четыре: Омский, Иркутский, Читинский и Владивостокский. В три района уже назначены мои уполномоченные, свободным остается один район — Иркутский. Так вот, угодно?..

— Покорно благодарю, ваше превосходительство, — ответил я.

Так состоялось мое назначение, и начался еще один этап в моей жизни.

29 августа. Омск

Сегодня в управлении Голицын назначил мне помощника.

Только что приехал от Деникина уже пожилой полковник заамурской стражи, который уехал с юга, отпущенный в Харбин. Он являлся Голицыну, когда я пришел. Голицын, увидя меня, сказал:

— Ну, вот вам и помощник. Полковник Демиденко, мой старый сослуживец по Заамурскому округу.

Высокий, с сильной проседью, очень неотесанный и, видимо, грубый человек, Демиденко произвел на меня неважное впечатление, но делать было нечего, и я постарался разогнать это впечатление, в сущности ни на чем не основанное.

5 сентября. Омск

Предписания, все бумаги, все готово, дело только за ассигновками, деньгами и вагоном. Еду один — семью выпишу, как устроюсь. Был на докладе Д[митрия] В[асильевича] Болдырева относительно истории русского религиозного движения и православия. Он доказывал, что вся русская культура, как и государственность, группировалась около церкви и что в критические минуты жизни России всегда выступала на сцену церковь, которая и выводила страну из тупика несчастий и бедствий.

На меня Болдырев произвел неотразимое впечатление. Прав он или нет — это другой вопрос, да это и неважно в его характеристике, но видно сразу, что человек это настоящий, что человек этот с хребтом. Он честно убежден и сам готов первый подать пример тому, что говорит и проповедует. Он верит, и верит искренно и вдохновенно. Ах, если бы было у нас таких людей побольше, а не единицы: Колчак, Каппель, Болдырев — смогут ли они справиться и влить жизнь в умирающий организм...

10 сентября. Омск

Пора ехать, а все не могу получить денег. Познакомился с Болдыревым, он уже в простой солдатской форме и ходит в строю с винтовкой на плече — вот молодчина-то.

С утра было большое торжество, которое устроили в американском Красном Кресте. Госпиталь американского Красного Креста помещается за городом в помещении сельскохозяйственного училища. Американцы решили показать госпиталь представителям прессы и пригласили к десяти часам утра осмотреть все. Поехали Клафтон, Кудрявцев, Жардецкий, много еще какого-то народу и я с женой. У нас оказалась старая знакомая, петербургская Домерщикова, которая, оказывается, приехала из Америки с госпиталем в качестве старшей сестры.

Все очень хорошо, все по-американски великолепно, и во всем стараются раздуть рекламу. Кормили нас завтраком, показывали палаты, кровати, кухню, пищу и пр., и пр. Потом все снимались в многочисленных группах.

Во главе всех здешних американцев стоит майор Макдональд. У него свой офис, и жена, кроме своего француза и «Сибирской речи»,

работает у него в качестве переводчицы. Ее работа заключается в том, чтобы переводить статьи русских газет про американцев, делать из этого сводку, и затем Макдональд посылает это все в Америку.

21 сентября. За Новониколаевском около станции Тайга

Итак, еду в Иркутск. Я хочу верить, что мне удастся хорошо и честно выполнить возложенную на меня задачу, тем более что я вполне искренно верю в то, что возрождение придет через религию, через истинное понимание Бога и церкви.

Как удивителен переход от степи к тайге. Степь становится все еле заметнее, и огромная сибирская лесостепь переходит уже в тайгу. Сначала обычные перелески, немного более густые, постепенно все увеличиваются и, постепенно заполняя горизонт, переходят в сплошную стену леса. Но и это еще не настоящая тайга, это только ее преддверие. Чем дальше, тем картина все величественнее: громады сосен, елей, пихт, желтеют березы и, словно рубины, вкраплены кусты калинника.

22 сентября. В дороге

Подъезжаем к Красноярску. Начиная со станции Тайга, где мы были вчера в десять часов вечера, мы вступили в зону, проехать которую благополучно не так-то легко. Уже более двух недель шайки бандитов нападают на поезда, устраивают крушения. Почти не проходит суток без того, чтобы не было крушения. А крушения такие, что жуть берет, — мы их видели.

Несмотря на весьма скудные средства охраны, несмотря на почти полную неуловимость [бандитов] и, кроме жертв, неисчислимые убытки, до сих пор не отменили ночного движения на опасных участках и лишь отдали распоряжение идти не более пятнадцати верст в час.

От станции Тайга шли медленно-медленно. Я не спал. Около станции Судженка увидел картину первого ужасного крушения, происшедшего с товарным поездом позавчера. На тридцативерстном ходу этот поезд свалился под откос, образовалась такая груда обломков, такая каша щеп, что даже негодяи, устроившие крушение и бросившиеся грабить, ничего не могли взять.

Было очень темно. Тайга таинственно спала — вдруг в окно вагона ворвался колеблющийся кроваво-красный луч света. Я выскочил на площадку, поезд тихо шел по насыпи. Внизу, точно в адском пламени, освещенные кровавым отсветом костра кучей лежали обломки вагонов, колес, скрученных рельс. Несколько человек рабочих, словно призраки, таинственно бродили между ними, и их длинные

черные тени, причудливо извиваясь, падали на все эти груды, тянулись к огню, пропадали в темноте. А над всем этим на телеграфных столбах, покачиваясь от малейшего движения воздуха, висели трое повешенных — женщина, ее сын и какой-то мужчина. Настоящих преступников, разумеется, не поймали, а повесили троих, которых схватили у разъезда, который подожгли и грабили.

И все это в наш век, век телеграфа, беспроволочного телефона, радио, аэропланов, кино, трескучих фраз, версальских договоров, четырнадцати пунктов американского идеалиста[1]. Глухая тайга, кучи обломков, болтающиеся повешенные «для примеру», дичь и беспросветная человеческая тьма, каторжная тьма Сибири. И казалось мне, что я живу в каком-то доисторическом веке, а не тогда, когда люди кричат пышные фразы о мире всего мира, о свободе, равенстве и братстве, о борьбе за лучшие идеалы. Какие жалкие болтуны. Если бы посадить сюда Вильсона, если бы привести Ллойд Джорджа, если бы этих фигляров ткнуть носом в эту кровь и пепел.

Не доезжая Боготола, опять та же картина: груда нагроможденных вагонов, лежащие на боку два паровоза. Тут еще крушение. Тихим ходом проезжаем мы это место около двенадцати часов дня.

Около двух часов дня за Боготолом та же картина, но здесь бандиты облили керосином вагоны и подожгли так, что лежит лишь куча железных каркасов, словно скелеты, — согнутых, скрюченных, поломанных. Впереди два новых паровоза «декапода»[2] — один, взрыв землю, словно упрямый конь, уперся, второй перевернулся.

За Ачинском еще один поезд, разбитый и загромождающий насыпь с двух сторон. За десять дней уничтожено четыре поезда, погибло тридцать человек убитыми, более ста человек ранены и благодаря случайности предотвращено еще два крушения. И все это на перегоне от станции Тайга до Красноярска, то есть всего на расстоянии пятисот верст.

И, глядя на эту картину, опять мысль переносится к Омску. Что за дети там сидят. Они упиваются «великодержавностью», они спорят, интригуют, повторяют с точностью копировальщиков ошибки старого, изжитого, казалось бы, режима, не видя, что они просто пуф, блеф, чепуха, — уйди чехи, какие-то румыны, итальянцы и еще невесть кто с охраны дороги, и о всех о них не будет даже воспоминаний.

Сейчас только одно: набирать добровольцев, платить им золотом, создавать таким образом армию и оставить все другие государ-

---

[1] Речь идет о новых принципах в международных отношениях, изложенных в 14 пунктах американским президентом Вильсоном и обнародованных в январе 1918 года.

[2] Decapod — «десятиног», паровоз типа 1-5-0.

ственные вопросы в стороне. Хотя, сказать правду, после всей виденной картины я начинаю вообще сомневаться в успехе чего бы то ни было и думаю, что возрождение России пойдет не отсюда, а оно в самой России и нам лишь бы продержаться.

25 сентября. Иркутск

Приехали вчера поздно вечером. Вокзал очень хороший. Толпа какая угодно, но только не русская — масса чехов, румыны, китайцы, японцы.

Мой вагон отцепили и поставили на запасном пути. В вагоне мое купе, а в других отделениях помещаются Демиденко, его жена, дочь и денщик. Вагон третьего класса, чистый и хороший, что гораздо лучше для жизни и длинных путешествий, чем мягкие вагоны, да еще в теперешнее время, полные пыли и насекомых.

27 сентября (14 по старому стилю — Воздвижение Креста), Иркутск

Сегодня день моего рождения. Мне тридцать четыре года. Как летит время. Боже мой, не успеешь оглянуться, как прожита жизнь. А что сделано за это время, как эти тридцать четыре года прожиты...

Вчера вечером пошел в церковь первый раз за долгое время. Стоял с тихой грустью и молитвенно-торжественным настроением. Я люблю, когда приходит это душевное состояние. Певчие пели хорошо, торжественно неслось их пение, освещенные лики икон строго смотрели из своих позолоченных риз.

Днем занят страшно, всё в хлопотах: надо достать помещение, надо все устроить, надо набирать служащих. Весь аванс в 100 тысяч рублей передал Демиденко и ему поручил всю хозяйственную часть. Так лучше, его я буду проверять, а у меня на руках денег не будет, и по крайней мере я избегну всяких нареканий, а то ведь непременно скажут, что краду.

Сегодня был у воинского начальника, где видел восемьдесят добровольцев, поступающих в мое ведение. Хороший все народ, очень хотят ехать на фронт, надеюсь, что, может быть, Бог даст, дело пойдет хорошо.

28 сентября. Иркутск

Был с визитом у командующего войсками генерал-лейтенанта Артемьева. Я ему не подчинен, и вообще моя должность вполне самостоятельная. Артемьев старый боевой генерал, командир корпуса на войне, был ранен уже командиром корпуса, честный, хороший человек. Но он как был старым офицером, так им и остался. Он ничего

не хочет и не может понять, и так как переменить тоже ничего не может, то поэтому просто ото всего отошел.

Два его адъютанта, капитан Келлер и поручик Каршин, очень милы. Я долго сидел у Артемьева, он мне рассказывал здешнюю обстановку, и в его словах было много безнадежности. Передавал, как Розанов, сидя в Красноярске на месте командующего войсками, пьянствовал, путался все время с бабами, как выразился Артемьев, и в конце концов получил по физиономии, после чего его перевели на место командующего войсками во Владивосток.

Начальником военного района тут генерал-лейтенант Сычев, казак, бывший офицер Сводно-казачьего гвардейского полка; комендантом города милейший человек полковник Аксаков, армейский пехотный офицер, на войне командовал полком.

Не последнюю роль играет некий Ломакин, штатский человек, который издает газетку с семеновской ориентацией, живет, видимо, на семеновские деньги, очень вертляв, хитер, ко всем подделывается, сразу же пригласил меня «пожаловать по русскому обычаю на пирог».

29 сентября. Иркутск

Был у здешнего губернатора Яковлева-Дунина, эсера. И вот странно сказать — понравились друг другу мы очень и сразу же как-то сошлись, сошлись настолько, что в нем я вдруг увидел лучшего доброжелателя всем моим начинаниям. Он всячески берется помогать, хотя откровенно и сказал, что ни в какой успех не верит, что настроение деревни он знает, что добровольцы пойдут, но это будет капля в море, что Белое движение умирает, дегенерирует и надеяться не на что.

Яковлев произвел на меня впечатление очень умного человека. Когда я к нему ехал, я был настолько предубежден, что даже не хотел с ним разговаривать, а теперь, откровенно скажу, проникнут к нему глубокой симпатией.

Вечером зашел к Татищевым. Граф Татищев заведует здесь таможней. Татищевы нам с женой какие-то дальние родственники. Татищев маленький, миниатюрный, карманный граф, а графиня[1] высоченная крупная женщина. Контраст так велик, что в первую минуту на них смешно смотреть. Графиня очень умна и очень милая и интересная женщина. С удовольствием провел у них вечер.

1 октября. Иркутск

С трудом добились помещения. Аксаков назначил нам под управление и наши квартиры гостиницу по Графо-Кутайской улице, а там оказался формирующийся артиллерийский дивизион. Этот дивизи-

[1] Мария Александровна Татищева (урожд. Булыгина).

он во главе с полковником формируется тут уже с год, с тех пор как в Омске образовалась власть адмирала Колчака, и его никак не могут отправить, потому что командир каждый раз на всякое предписание отписывается, доказывая, что нет того или другого и он не может выступить.

С большим трудом его выселили, и я начал устраивать свое управление. Решил вести отдельный дневник уполномоченного по формированию добровольческих частей. Буду заносить туда все объявления в газеты, списки членов совещания из граждан города, которое должно состоять при мне, заметки, статьи и воззвания.

Настроение в городе, в общем, скверное. Тут еще тот дух, который царил в Самаре при Комуче или даже два года назад при Керенском. Что делалось два года назад, сюда еще только теперь доходит — так трудно расшевелить спящий, замороженный мозг сибиряка. Дума тут эсеровская; городской голова еврей; газета «Наше дело» — сущая «Правда»; орган кадетов «Иркутянин» — типичная газета «постольку поскольку»; наконец, «Еврейская жизнь» совсем левого направления.

Посетил главу местного кадетского комитета Н.Н. Горчакова. Трудно себе представить более типичного мягкотелого русского интеллигента, чем этот человек. Он помешан на демократии и слово это произносит с особым ударением, разделяя «демо-кратия».

Просил его собрать комитет для того, чтобы доложить об идее профессора Болдырева, о том, каковы мои задачи, и просить возможного содействия и помощи.

4 октября. Иркутск

Управление мое сформировано, работа идет. Я занят главным образом тем, чтобы расшевелить общественные круги. Демиденко упрям, туп, необычайно груб. Настоящий тип Скалозуба. Денщика своего, татарина, он бьет по физиономии, ничего, кроме кулака, не признает. Очень жалею, что Голицын мне всунул этого бурбона. Дальше понимания ротного хозяйства, ремешков и тренчиков он не идет.

Завтракал у генерала Артемьева. Много говорили о положении. Артемьев разводит руками и говорит, что, если так пойдет дальше, навряд ли что-либо выйдет.

Вечером вместе с Артемьевым сидели у Татищевых.

11 октября. Иркутск

Утром было совещание в покоях епископа Зосимы, на котором я выступил по вопросу о добровольческих формированиях, прося духовенство оказать мне содействие и заявив, что все или очень

многое, во всяком случае, зависит именно от духовенства, которое должно взять на себя почин в развитии религиозного движения, — мы же можем быть лишь техническими выполнителями.

Вечером за мной заехал прапорщик и сказал, что комендант Аксаков просит меня, если только я смогу, присутствовать на казни в тюрьме. Оказывается, несколько дней тому назад полковник Аксаков присутствовал при повешении большевистского комиссара и так расстроился, что едва тут же во время казни не хлопнулся в обморок.

Я согласился, и в одиннадцать часов мы поехали в тюрьму. Была совсем ночь. Город точно вымер. Иркутская каторжная тюрьма помещается за городом за речонкой Ушаковкой. Это новое здание устроено по образцу тюрем последнего времени. Тут за городом по ночам всегда бродят «подкалыватели» и «петельщики», то есть бандиты, которые нападают на случайных неосторожных прохожих и или всаживают нож в спину, или же сзади ловко накидывают из тонкой бечевы петлю и душат. Это не только теперь случается, это бывало всегда и в мирное время, с тех пор как стоит Иркутск. И жители никогда без крайней нужды не пойдут в глухие отдаленные улицы ночью или же за город.

Вот забелела и тюрьма. Мне было не по себе и от рассказа нашего извозчика о иркутских нравах, и от вида тюрьмы. Мы позвонили у больших ворот из толстых железных прутьев. Загремели ключи, и к воротам с той стороны подошел сторож — с этой стоял часовой.

Мы вошли и прошли коридором в канцелярию тюрьмы. За столом сидел начальник тюрьмы. Перед ним лежали бумаги, рядом стоял человек в судейской форме — прокурор и сидели батюшка и доктор и дежурный офицер — начальник караула. Прокурор «принимал» приговоренных к смерти, и они вычеркивались из списков тюрьмы. Формальности кончены. Скоро двенадцать. Начальник тюрьмы встает, и мы все идем к камерам. Идем по коридору гуськом и возможно тише, как просил начальник тюрьмы. Оказывается, что казнь назначается всегда ночью, для того чтобы тюрьма не слыхала, как выводят смертников, иначе поднимут невероятный шум и вой.

Вот и отделение приговоренных. Камеры расположены вдоль коридора в двух этажах — потолка нету, а вместо него решетчатый настил из железных прутьев и такая же лестница наверх, так что все верхние камеры видны снизу, как сверху нижние.

Смертники все в нижних камерах. Мы подходим к первой. Надзиратель открывает «волчок», оттуда выглядывают два глаза.

— Исповедоваться будешь?

— Буду, — отвечают два глаза. Надзиратель звякает ключами, камера открывается, и туда входит батюшка. Мне становится жутко.

Я не могу никак представить себе, что вот эти глаза, которые только что смотрели в «волчок», уже глаза обреченные, по существу уже не живые, ибо через полчаса их не станет!..

Из камеры неслось заглушенное бормотание. Батюшка вышел.

Подошли к следующей двери. Опять надзиратель открывает «волчок».

— Исповедоваться будешь? — наклоняется батюшка. В отверстие глядят злые красивые черные глаза:

— Пошел ты к ...! — несется отборная площадная ругань. — Поп проклятый, сволочь!..

Батюшка отходит.

— Малиновский, самый что ни на есть каторжный, — говорит надзиратель. Останавливаемся у третьего «волчка». Опять тот же вопрос. Глаза смотрят растерянно, и плаксивый голос говорит:

— Буду, батюшка, буду!

Опять жуткая тишина и бормотание из камеры. Наконец исповедь кончена, всех троих выпускают, и они выстраиваются, каждый перед своей камерой.

Первым Николай Бородулин, молодой парнишка в солдатской шинели, с жалким растерянным видом. Затем высокий статный красавец с вьющимися густыми черными кудрями, с низким лбом и красивыми злыми глазами — Малиновский и третьим, наконец, тоже в солдатской шинели, парень с симпатичным лицом, хорошим, русским, на котором написано и горе, и отчаяние, и недоумение, и твердая покорность судьбе — Андрей Захаровский.

Караул выступает вперед, и все мы с осужденными выходим, стараясь возможно меньше производить шуму, на внутренний двор тюрьмы. На большой квадратный двор выходят окна всех камер трех этажей, так что часовой, стоящий посередине двора, видит все камеры и что в них делается.

Мы пересекаем двор, входим в сводчатые ворота-арку и попадаем на меньший — задний двор, где чернеет большой деревянный настил.

Под настилом в глубине мерцает желтый свет свечи, освещая три деревянных гроба, стоящих горкой в углу, три бочонка, днищем кверху, и над каждым из них спускающуюся петлю. Мы входим под навес. От столба отделяется фигура китайца[1]. Он в синем китайском одеянии, с косой, закрученной на затылке, с заискивающей улыбкой на раскосом лице. При виде нас он начинает суетиться — снимает

[1] Имя этого китайца известно из книги Питера Флеминга «Судьба адмирала Колчака: 1917–1920» (М.: Центрполиграф, 2006). Его звали Ченг Тинг-фан, и он был расстрелян большевиками вместе с Колчаком и Пепеляевым.

гробы и растаскивает каждый гроб под петлю, рядом с бочонком, потом пробует петли...

Караул выстраивается, каждый осужденный становится рядом с бочонком, мы — группой, вправо от караула. Красноватый отблеск свечи змеится по канатным петлям, падает на тесаные гробы, пропадает в чернеющей темноте.

Мертвая тишина, среди которой раздается голос начальника караула: «Слушай, на к-раул!»

Солдаты берут на караул. Прокурор поднимает к лицу тетрадку бумаги и начинает, вглядываясь, чтение обвинительного акта: «По указу верховного правителя... Николай Бородулин, двадцати лет, убил с целью ограбления семью бурят: старуху, мать, дочь и ее сына, ребенка одного года; Владимир Малиновский, двадцати восьми лет, убил с целью ограбления Василия Печурина, жену его, Пелагею Печурину, шестилетнего сына их, Кирилла Гинкула, Ивана Полубинцева и дочь его, Пелагею Полубинцеву; Андрей Захаровский, двадцати восьми лет, был в большевистском отряде в Нижнеудинске».

Прокурор читал, осужденные молча стояли, и мужичонка в солдатской шинели, Бородулин двадцати лет, всхлипывал и время от времени же причитал:

— Господин начальник, простите, господин начальник, простите!

Владимир Малиновский обводил всех звериным, свирепым взглядом; Захаровский стоял все с тем же покорно-недоумевающим видом.

У караула дрожали винтовки в руках, и я видел, что штыки ходят ходуном. И мне вдруг стало ясно: схвати Малиновский любого, вырви винтовку, и он свободен. Все в панике, в смертельном ужасе, навеянном всей этой картиной, бросятся кто куда, а он перемахнет через забор — и был таков. Я уверен, что инстинктивно я улавливал мысли этого преступника, которому терять было нечего, и я шепнул начальнику тюрьмы:

— Послушайте, ведь это очень неосторожно, отчего вы не наденете наручников хотя бы на такого, как Малиновский, ведь он может черт знает чего натворить!

Начальник тюрьмы спохватился:

— Да, да, верно, верно, сейчас вот кончат читать...

Чтение кончилось. Надзиратель вынул из-за пояса наручники и надел их на руки Малиновского. Прокурор обратился к осужденным:

— У кого есть последнее желание — можете сказать.

Двадцатилетний мужичонка завыл:

— Господин начальник, простите, господин начальник, простите, ой-ой-ой, простите!!!

Малиновский с мрачной усмешкой обвел всех глазами:

— А только убивал я их здорово, особенно хряскали кости у мальчишки, растудыт их м...ть...

Захаровский только сказал:

— Зря вешают меня, ничаво я не сделал. Мобилизовали красные, пошел к ним, а как было не пойти, не пошел бы, они повесили б на первом сучке — вот что!..

— Ну! — кивнул головой начальник тюрьмы.

— Становитесь! — скомандовал начальник караула.

Малиновский и Захаровский начали влезать на бочки, с Бородулиным началась истерика: он трусил, выл, молил о пощаде. Его стал палач-китаец подсаживать, смотритель ему помогал.

Когда все встали на бочки, китаец влез тоже рядом с Бородулиным и ему первому надел петлю. Он надевал деловито, аккуратно, хорошо притянув шею и натянув веревку. Потом влез к Захаровскому. Затем хотел к Малиновскому, но этот снова выругался и стал надевать сам. Палач снизу, подняв голову, подтягивал веревку.

— Ладно, — раздался голос Малиновского.

Прошли секунды. Мерцал огарок, чернели гробы, длинные тени бочек и стоящих на них людей с веревками от голов, уходящими под черный свод, полосами лежали на земле, пропадая в черном провале ночи.

Вдруг резким движением, привычным и быстрым, китаец подбежал и со всей силы толкнул одну бочку, потом другую и третью. Раздался грохот падающих и катящихся бочек, и три длинные тени повисли и заболтались, кружась и качаясь. Но это было секунду, вдруг... резкий треск — и Малиновский грохнулся на землю. Он падал на зад, сел, оперся руками о землю и немедленно же вскочил, дико озираясь:

— Сволочи, вешать не умеете, растуды вашу... — выругался он и полез опять на бочку — на шее у него болтался обрывок веревки. Китаец за ноги одергивал и вытягивал книзу двух висевших. У обоих намокали штаны и текла моча, оба судорожно дергались.

Малиновский стоял и ждал. Китаец спустил веревку и начал делать вторую петлю. Влез на бочку, хотел надеть на шею.

— Пусти, сам надену, — сказал Малиновский и руками в наручниках стал надевать петлю себе на шею. Он одернул ее, поправил и опять сказал:

— Ну, ладно.

Китаец тем же движением выбил бочку. Снова треск, снова тяжелое падение тела и снова Малиновский, сидящий на земле. Оборванная петля опять болталась у него на шее. Ругаться тут он стал

совсем невероятно. Китаец бросился за новой веревкой, стал ее мылить долго, натирая руками и плюя на ладони.

Трудно передать весь ужас всей этой картины. Казалось, что в действительности этого всего нет, что это отвратительный сон, кошмар, что-то невероятное. Снова Малиновский влезает, снова надевает сам себе петлю. На этот раз его длинная тень вытягивается, болтая ногами. Его сводит судорога, китаец одергивает за ноги. Мы ждем. Чего? Я спрашиваю доктора, который рядом со мной. Он говорит, что надо ждать ровно двадцать минут, так как повешенные живут в большинстве случаев, если не происходит от толчка сразу же разрыва шейных позвонков и смерть не наступает мгновенно, от десяти до двадцати минут, и даже через девятнадцать минут можно еще оживить.

— Вот попробуйте и посмотрите по часам, — сказал он и взял руку Малиновского.

Потом с разрешения коменданта китаец стал снимать сапоги и штаны с висящих трупов. Я удивился...

— Это так полагается, — сказал начальник тюрьмы. — Это его законная доля, он с этими условиями нанимался.

Потом одной рукой китаец стал приспускать веревку, отмотав ее с колышка, а другой подталкивать повешенного, направляя так, чтобы он пришелся как раз над гробом. Потом, медленно опуская, клал в гроб. В минуту, когда труп совсем уже оказывался в гробу, он отпускал веревку и голова с сухим треском ударялась о деревянное днище гроба.

— Вот как раз в эту-то минуту полковнику Аксакову и сделалось дурно, — сказал начальник тюрьмы.

Я понимал Аксакова: мне самому было почти дурно, но вместе с тем я решил видеть все и все записать. Перед глазами были семь повешенных Андреева[1], их переживания, теперь я сам видел троих, видел их психологию, не читал, а сам переживал и смотрел собственными глазами.

Только когда гробы были накрыты крышками, мы оказались вправе уйти, так как до этого момента и начальник тюрьмы, и прокурор, и доктор, и начальник караула, и, наконец, комендант должны присутствовать.

Странные мысли бродили у меня в голове, когда в третьем часу ночи я ехал к себе. И Малиновский, и дрянной выродок Бородулин, спокойно вырезавший целую семью, несомненно, дегенераты, несомненно, их надо попросту уничтожать, и, строго говоря, они вполне достойны казни. Может быть, вообще смертной казни не должно

[1] Имеется в виду «Рассказ о семи повешенных» (1908) Леонида Андреева.

быть, может быть, вообще зло есть только людской продукт и в идеале ни Малиновских, ни Бородулиных быть бы не должно, но, применяясь к человеческим условиям, что с такими делать? Никакому исправлению они уже не поддадутся. Держать их в лечебнице? Но если Малиновский и Бородулин совершенно нормальны и здоровы, если просто они родились без некоторых свойственных другим людям чувств? Если вот бывают люди с физическими недостатками, то почему не могут быть с морально-духовными? Малиновский не имеет чувства жалости, страха, морали — а человек здоровый, красивый, отличный экземпляр животного вида...

И ни одной минуты моя мысль не склонялась в сторону малейшей жалости к Малиновскому или Бородулину, нет! Да, вид казни сам по себе ужасен. Вид убийства отвратителен, но еще более отвратительны эти убийцы детей, эти изверги...

Зато другое щемило сердце и не выходило из головы: перед глазами стояло лицо Захаровского. Невинный человек, запутанный в Гражданскую войну, как запутан каждый из нас. Его заставили на той стороне служить, меня, икса, игрека — на этой. Попадись я — меня повесят. Да я, может быть, в тысячу раз больше заслуживаю повешения с точки зрения красных, ибо я активный участник, я инициатор. А этот парень, может быть, и не знал, к кому вообще идти и что делать. И тут во всей своей наготе встала перед глазами картина Гражданской войны. Вот она, расплата! Расплата за замученную царскую семью, за заплеванные алтари, церкви, загаженные иконы, за опозоренную родину. Это безнаказанно пройти не может, и мы все в той или другой степени платим и еще будем платить за это, дай только Бог, чтобы их кровь не пала на детей наших...

Я не могу спать, пятый час, а я сижу и пишу. Сознаюсь, мне страшно в этой тишине: мерещатся звуки катящихся бочек, перед глазами длинные, колеблющиеся, подергивающиеся тени...

14 октября

Был у начальника штаба округа генерал-майора Вагина с визитом, и затем по карте разбивали Иркутск и прилегающие местности на районы, в которых я наметил посадить своих уполномоченных-агитаторов по набору добровольцев.

Вагин — невысокого роста молодой генерал. Его лицо несколько изъедено оспой. Говорят, что он играет очень двойственную роль, а Артемьев положительно ему не доверяет и сам об этом мне говорил.

После Вагина поехал в местный кадетский комитет, так как сегодня обещали собраться. Застал человек десять — пятнадцать и Н.Н. Горчакова. Я изложил присутствующим значение крестонос-

ного движения, его цель, то, что видит в этом движении профессор Болдырев, и просил всех всемерно помочь мне, так как лишь при широкой общественной поддержке я смогу достигнуть каких-либо ощутительных результатов. Затем я сказал, что думаю устроить день праздника дружин, с крестным ходом и записью добровольцев, а также с собранием и докладами на тему о крестоносном движении и о текущем политическом моменте, и просил Горчакова выступить. Он согласился.

16 октября. Иркутск, «Итальянское подворье»

Вчера объезжал местных коммерсантов, общественных деятелей и всем объяснял свою миссию, подчеркивая, что никаких узкорелигиозных целей движение не преследует, что никакой нетерпимости быть не может и не должно быть, что каждая национальность вправе выступать в защиту своей церкви и своей религии.

Завтракал у Артемьева. Было очень мило. Артемьев прекрасный человек, честный и прямой, один из немногих, потому-то, вероятно, он и не играет никакой роли, не хочет играть и смотрит на положение весьма пессимистически.

Вечером с Артемьевым были у Татищевых, было очень хорошо. Графиня и дочери вышивали, граф хорохорился, когда говорил о политике. Он очень забавный и милый человек. Потом пили чай.

Сегодня было по моей просьбе в Харлампиевской церкви общее собрание членов союза приходов под председательством протоиерея М[ихаила] А[лександровича] Фивейского. На повестке дня поставили два вопроса: о формировании добровольческих дружин Святого Креста и о питательных пунктах для больных воинов.

Я выступил первым и изложил собранию все, что касается положения о дружинах Святого Креста, указав, что духовенство может в этом сыграть решающую роль.

17 октября. Иркутск

Утром после своей канцелярии поехал к Сычеву, потом в военный городок по ту сторону Ангары, от вокзала вправо, где формируются мои дружины. Командиром одной дружины назначен капитан Зотов — очень симпатичный человек, командиром второй дружины я назначил подполковника фон Франка, который сам просился, так как в полку у него вышли какие-то нелады. Кроме того, влились отдельной дружиной воткинцы под командой штабс-капитана Золотова.

Необыкновенно глупое расположение в смысле стратегическом имеет Иркутск. Вокзал на той стороне Ангары. Через Ангару понтонный мост, который во время сильного ледохода разводится, и город

оказывается отрезанным от мира. Таким образом, сам Иркутск точно в ловушке, и в случае какого-либо восстания или, положим, захвата моста — кончено!

Из города некуда податься, и единственный путь отступления — это дорога по берегу Ангары вдоль скалистых сопок берега, которая идет до Байкала. Интересная река Ангара. Уже холодно, морозит, воздух чист и прозрачен, а Ангара дымится густым облаком пара. Вода ее так прозрачна, что если встать на мосту и смотреть в воду, то совершенно ясно видишь дно в кристально-чистом синеватом отражении.

А вечером за мной опять приехал прапорщик с просьбой ехать на казнь вместо Аксакова. Я было заколебался, но потом решил, что поеду еще раз.

В одиннадцать часов прапорщик за мной заехал, и мы отправились. Опять та же процедура. На этот раз приговоренных оказалось пять человек: Степан Цолоков, Николай Киселев, Константин Кикнадзе, Ефим Букневич, Нурей Шаймарданов. Все за «вооруженный грабеж», то есть в момент ареста при них оказалось то или другое оружие или же с оружием в руках или в кармане они совершали кражи, а по законам военного времени за это казнь.

Мулла напутствовал татарина, батюшка русских и армянина. Здесь картина была иная. Видно было, что все это просто мелкие грабители, может быть, многие пошли на грабеж от нужды и тяжелой теперешней жизни, может быть, даже просто хотели попасть в тюрьму на казенные харчи зимой, и вместо этого — казнь.

У всех был покорно-растерянный вид, никто не молил о пощаде, но видно было, что эти люди просто жертвы ужасного времени. После прочтения приговора, когда все стали влезать на бочки, Кикнадзе со своим кавказским акцентом добродушно-грустно сказал:

— Скажи пожалуйста — вешать будут! За что про что вешать: за ограбление! Старуху ограбил, восемь рублей украл да старое платье взял — и смертная казнь. Перочинным ножом пригрозил, чтобы крику не поднимала — на тебе! — смертная казнь. При Царе год шесть месяцев тюрьмы — и делу конец, а вот теперь свобода пришла...

Он не кончил своих рассуждений, китаец ловко и быстро начал вышибать бочки, и пять теней заколебались в красноватом отсвете огарка.

Я совершенно ясно чувствовал, что убивают людей этих зря и что так расправляться — преступление нисколько не лучшее советских застенков.

Больше я решил на казнь не ездить: слишком тяжело и, главное, как будто и сам участвуешь в этом.

18 октября. Иркутск

Устраиваю праздник дружин Креста. Разослал пригласительные. Утром будут в церквах молебствия, потом крестный ход и, наконец, доклады. Присутствовать могут все желающие. Выступать пригласил священника Троицкого, прекрасного оратора, профессора Миролюбова Никандра Ивановича, а из местных деятелей Н.Н. Горчакова и присяжного поверенного Разумовского.

Пригласил Петра Карловича Грана с женой. Они приехали из Омска и живут в гостинице. Петр Карлович был губернатором в Томске, потом начальником тюремного ведомства и жил на Суворовском этажом ниже Воейковых, когда мы с ним и познакомились в начале революции. Потом Петр Карлович оказался в Омске. Человек очень честный, умный, пожалуй, сухой, он совершенно ни в чем не принимал и не принимает участия, уверенный, что ничего все равно не выйдет, так и говорит:

— Как же я пойду, когда я не верю в успех, служить, занимать какое-нибудь место. Смогу, буду по мере сил работать, а идти на ответственные места — нет, увольте! Да я и не придусь ко двору...

У Петра Карловича молодая, необыкновенно красивая жена, кажется, он женат чуть не третий раз. От первого брака у него взрослый уже сын.

Лично пригласил Артемьева, Татищевых, Вагина, Сычева, Аксакова.

19 октября. Иркутск

День прошел отлично. Я даже не ожидал, что так все будет хорошо и удачно. Сначала в церквах и монастыре шли службы, после которых произносились проповеди. Перед церквами стояли столы, у которых производилась запись добровольцев. Затем начался крестный ход по городу, с хоругвями, во главе со всем духовенством. А в пять часов в зале собрания состоялись доклады. Программу я устроил такую: оркестр исполнял «Коль славен», потом отрывки из оперы «Жизнь за Царя», затем произносились речи. Первым выступил я, коротко объяснив цель и смысл крестоносного движения, затем говорил пр[офессор] Миролюбов, потом Троицкий и Горчаков. Говорили все хорошо. Горчаков лишь слишком злоупотреблял излишним пафосом, истерично выкрикивал, грозя кулаками: «Бьет двенадцатый час!» и пр.

Зал был переполнен. Был Яковлев, Артемьев, все военные, много молодежи. Порядок был полный.

Публика меня бурно вызывала и приветствовала.

21 октября. Иркутск

Во всех газетах есть заметки по поводу «дня дружин Святого Креста», и больше всего меня удовлетворяет и радует, что все газеты всяких направлений и даже «Еврейская жизнь» отозвались сочувственно и вполне одобрительно, что показывает, что тон всего торжества я взял правильный, а это очень важно.

27 октября. Иркутск

Свалилось совершенно неожиданное. Пришла телеграмма от Голицына:

«Разрешаю временно сдать должность Демиденко, выехать в Омск».

Буквально ничего не мог понять и ломал голову, в чем дело. Но телеграмма, полученная через час после первой, все разъяснила. Телеграфировала Домерщикова: «Кати по-видимому сыпной тиф выезжайте немедленно».

Ни думать, ни что-либо делать не в состоянии. Мысль все время вертится около семьи. Что дети, как проходит болезнь. А вдруг роковой исход, что тогда. Куда я денусь с малолетними крошками.

Собрался в несколько часов и сегодня еду.

28 октября. Вагон

Еду в Омск. Путешествие продлится пять суток — прямо кошмар, кажется, что это целая вечность. Говорят, что наш поезд последний и больше в Омск пассажирских поездов не будет. Почему такая мера, неизвестно, но говорят, разумеется, много. Вернее всего, что дела наши плохи.

30 октября. Вагон

Из Красноярска послал телеграмму срочную Андрею Андреевичу Кофоду, прошу его быть почаще около жены. Чуть не остался и поезд догонял уже на ходу. Я возился с телеграммой, расплачивался, мне давали сдачу, а когда вышел, смотрю: перед носом уже последний вагон, теплушка, к счастью, с задней площадкой. Я был в одном кителе, а мороз градусов двадцать. Бросился вприпрыжку бежать, какие-то солдаты, стоявшие кучей около эшелона, улюлюкали мне вслед. Хороша дисциплина и хороши настроения, коли улюлюкают штаб-офицеру. Вскочил на заднюю площадку и на ходу стал перебираться через окно с помощью поясных ремней — в вагоне ехали солдаты и меня втаскивали.

3 ноября. Омск

Слава Богу — жена жива и поправляется. Приехал я ночью с 1-го на 2-е и утром был уже в госпитале у нее. Передать мое волнение трудно, особенно принимая во внимание издерганные нервы за пять суток пути.

Я, приехав ночью, бросился к телефонам на станции, но ни до кого дозвониться не мог. Вокзал был ярко освещен и запружен народом. Достаточно было одного привычного взгляда, чтобы увидеть, что Омску приходит конец. Бродил старик Ржевский, который просил всех дать ему место где-нибудь в эшелоне. На путях стояли эшелоны. Сворачивались министерства, уезжали отдельные чиновники, сами министры, разные генералы, штабные. Тут же на стенах, дверях и стойках красовались свежевыпущенные воззвания, в которых говорилось, что Омск сдан не будет, что Омск будут защищать до последней капли крови, что нет оснований к панике и беспокойству.

Я если не был в панике, то беспокоился сильно и, не добившись ничего по телефону, пошел по путям разыскивать вагоны американского Красного Креста. С большим трудом отыскал и нахально стал колотить в какой-то вагон. Это было безобразием, сознаюсь, но я плохо понимал, что делал. Колотил до тех пор, пока не появился в окнах свет свечи и не раздался чей-то сонный голос:

— Ху ис дзер[1].

Затем открылась дверь и в пижамах высунулся американец. На его месте всякий бы другой, возможно, послал бы меня к черту и был бы прав, но этот оказался очень милым, и, узнав, что я справляюсь о жене, он по описанным мною приметам ответил, что такая больная действительно к ним поступила и кажется, что кризис уже миновал и опасность теперь прошла.

Я пошел в вагон нашего поезда, который так и остался на путях, и просидел до шести часов утра, когда вышел и отправился к Елизавете Николаевне Толстой. Застал ее, разумеется, в этот ранний час — она сказала, что, кажется, все благополучно, от нее поехал к Андрею Андреевичу. Милый верный друг, оказывается, послал мне телеграмму, которую я не получил, что все идет благополучно и чтобы я был спокоен, так как он моей семьи не оставит. Вот это настоящий рыцарь.

Вместе с Кофодом поехал в госпиталь, где я и увидел жену. Она лежала в палате с какими-то другими тифозными, исхудалая, с бритой головой, страшно изменившаяся.

От нее отправился на Баронскую, где застал моих крошек с няней. Омск эвакуируется. Все в движении: тянутся подводы, телеги, сани, военные повозки, иной раз доносится грохот артиллерийской стрельбы. Зашел в коммуну: они все уже погрузились и уезжают на днях. Министерства тоже перебираются в Иркутск. Голицын уверяет, что Омск сдан не будет, старается быть необычно веселым, говорит, что только тогда себя чувствует хорошо, когда неприятель близок и слышен гром пушек, тогда у него появляется аппетит, хороший сон и настоящая бодрость.

---

[1] Who is there? (*англ.*) — Кто там?

4 ноября. Омск

Утром с Кофодом ездили в госпиталь, а весь день я и няня собирались. Поезд американского Красного Креста уже готов и состоит из одного вагона второго класса и теплушек. На каждом вагоне белая дощечка с красным крестом. Вся ветка и вся станция Омск запружены эшелонами. Все грузится, все спешат побольше увезти.

Обедал у Макдональда — персонально среди американцев есть славные люди, во всяком случае, я должен быть им благодарен. В госпитале вся работа лежит на санитарах, или русских, или из военнопленных, или же на русских сестрах, американская администрация носа не показывает, а американские доктора сыпнотифозных боятся. Не будь Домерщиковой, я не знаю, что бы было с женой.

Просил разрешения ехать в санитарном поезде, пассажирских уже нет, и вообще ехать неизвестно как. Американец, старший врач, сказал просто и ясно: если я дам ему хороший револьвер, то он разрешит; я сейчас же предложил ему свой наган — он его повертел, посмотрел и решительно сказал:

— Ноо, ай уонт браунинг[1].

Что было делать? Поехал к неизменному Кофоду, рассказал ему, в чем дело. Он сейчас же дал свой браунинг, и мы решили, что я его дам американцу только до Иркутска.

Привез браунинг и сказал, что это чужой револьвер, датского министра-резидента, что даю его на время и в Иркутске он должен его вернуть; больше я ничего не могу сделать, добавил я. Американец закивал головой и согласился.

Не теряя времени, я выбрал теплушку, в которой оказались офицеры, и стал перевозить вещи. Ящик с книгами просил взять Макдональда. Два американца — его помощники — проявили много внимания, по нескольку раз приезжали к детям и знаками показывали няне, что они их берут, всячески старались их успокоить. Это очень трогательно и благородно с их стороны.

4 ноября. Омск

Боже, как знакома мне эта картина и как я уже привык видеть каким-то другим, не физическим взглядом то, что еще будет: Омск — обреченный город, и это во всем. Вот то же ощущение, как и в Екатеринбурге, как в городах Галиции, которые мы проходили при отступлении. Бедные жители, несчастные люди, и когда-то все это кончится.

[1] No, I want Browning (*англ.*). — Нет, мне нужен браунинг.

5 ноября. Омск

С темнотой госпиталь начал грузиться. Раненых перевозили на розвальнях, накрытых тулупами, так что некоторые чуть не задохнулись. Мичмана графа Толстого и адъютанта Колчака Сазонова — в автомобиле, который за ними специально прислали.

Мы с Андреем Андреевичем, который приехал для этого специально, погрузили детей, няню и вещи на извозчиков. Милый американец тоже приехал.

Госпиталь же тянулся по улицам. Я сделал ошибку, что не поехал сопровождать жену: она чуть не задохнулась под полушубком, а так как от слабости не могла даже головой двинуть, то и получилось, что положение было очень опасным. По счастью, сиделка русская села с ней рядом на розвальни и время от времени заглядывала под тулуп.

В общем, погрузились. Дети, няня и какая-то сестра в одном купе, рядом в купе внизу мичман Толстой, рядом напротив еще какой-то больной, на верхней полке моя жена. Затем купе сестер милосердия. У американцев свой вагон. Офицеры и солдаты все по теплушкам. В моей теплушке шестнадцать человек — все выздоравливающие: мичман, несколько офицеров-кавалеристов, пехотинцев. Американец, старший врач, просил меня быть комендантом поезда.

6 ноября. Вагон

Утром выехали. Весь вокзал запружен эшелонами. С каждым часом беспорядок, видимо, все усиливается.

Питаться приходится своими средствами, потому что то, что дают американцы, все целиком выливается, и весь путь следования поезда залит этой пищей. А пища эта в обед и на ужин какая-то полба не полба, размазня не размазня. Ее разносят санитары в ведрах по теплушкам. Толстой и жена получают стол вместе с персоналом госпиталя — яйца, масло, консервы, консервированные фрукты. Хорошо, что жена оказалась служащей американского Красного Креста — вот вышло-то кстати.

По очереди топим печку. Ночью особенно скверно нижним, так как дует изо всех щелей, а мороз здоровенный, приходится все время подтапливать. Зато, когда печка накалится, слышатся крики сверху, так как там становится нестерпимо жарко.

7 ноября. Вагон

Уже начали умирать. Один больной почками сегодня умер в одной из теплушек. Так как все вместе-то в теплушках в этих, выздоровевший от возвратного тифа заболевает сыпным и наоборот.

15 ноября. Вагон

Стоим в Новониколаевске. Едем восемь суток и только едва добрались сюда. Вчера обогнал по левому пути поезд генерала Пепеляева, его корпус отводится в Томск на отдых. По левому же пути идут поезда министров, учреждений и пр. Новониколаевск весь забит эшелонами, и кажется минутами, что выбраться отсюда нет никакой возможности. А сегодня еще стряслась новая беда — сестра милосердия, помещавшаяся с детьми и няней, заболела сыпным тифом. Ее оставили в Новониколаевске — отвозили куда-то санитары, из вагона всех выселили и сегодня делали дезинфекцию. Говорят, что Омск уже сдан. Думаю, что это вранье[1].

17 ноября. 3 с половиной часа утра. За станцией Тайга

Вечером, как обычно, обходил поезд, но, по существу, это просто формальность, ибо что могу я сделать, хотя все же кое-чем помогаю, так как [об увиденном] говорю американцам. Сейчас несу дежурство у печки. Все сладко спят, и слышен храп да потрескивание дровец. В трубе гудит сибирский таежный ветер. Кругом глубокая зима с морозом за тридцать градусов.

Мысли вокруг Омска. Все бегут. Министры, министерства, какие-то не нужные никому громоздкие учреждения везут вещи, имущество, массу всякого добра. Это не население, население осталось на месте, это те, кто делал революцию, раскачивал народ, кто потом лез к власти. Ничего у них не выходило, и они пустились наутек. Как бросили Царя, так, разумеется, бросят в последнюю минуту и Колчака — это ясно.

Подумать только, бежит морской министр Смирнов. Ведь нет даже простой шаланды в распоряжении правительства, а вот учреждено Морское министерство, а министр теперь вывозит миллионы и имущество и сдаст это все... будущему законному русскому правительству, которому представит и отчет об этих деньгах. И никому больше. Он признает только закон, законное правительство, он легитимист — всегда им был... И не один Смирнов проделывает то же.

В Омске перед отъездом видел вагон, в котором едет жена профессора Болдырева с сыном-мальчиком лет пяти и бель-сер[2] — сестрой[3] Болдырева. Я заходил к ним. Рядом было купе для Жардецкого, была приколота и карточка с его фамилией, но Анна Васильевна Болдырева сказала, что Жардецкий приходил, посмотрел и заявил,

[1] Омск действительно был взят большевиками в ночь с 13 на 14 ноября 1919 года.

[2] От belle-sœur (*фр.*) — невестка.

[3] Анна Васильевна Болдырева.

что он не поедет, так как в одном купе все равно не разместится со всей своей большой семьей. Интересно знать, выбрались ли они все или нет.

18 ноября. Вагон

Санитарный поезд американского Красного Креста нечто ужасное: никакого ухода совершенно. За двенадцать дней пути, что мы едем, ни разу не было медицинского обхода поезда. Пища отвратительная, в теплушках делается бог знает что, сыпнотифозные лежат бок о бок с больными возвратным и брюшным тифом, тут же больные почками или с воспалением легких. Сегодня я был у старшего врача и сказал, что если он не пошлет телеграммы главному уполномоченному американского Красного Креста на всю Сибирь, чтобы нас перевели на левый путь, то мы никогда не выедем из Сибири. Это я заключил потому, что все поезда разных министров, правителей и пр. идут, обгоняя нас по левому пути, мы же чем дальше, тем больше стоим на разных станциях, а американцы с большого ума радуются, что можно осмотреть сибирские города и станции. Они закупают дичь, белок, все, что только можно. Чешские эшелоны, которые нас обгоняют, набиты добром, что называется, до крыш. Под вагонами в ящиках везут медведей, в вагонах ковры, зеркала, материю, сукно, рысистых прекрасных лошадей, обувь, шляпки, видимо, просто вывозят целыми магазинами. Говорят, что у Жанена весь вагон наполнен сибирскими мехами, то же самое и у главы американского Красного Креста. Да, они пользуются случаем, эти «джентльмены», потом у себя на родине будут писать воспоминания, критиковать, давать советы, жалеть, что их не послушались, но про то, как вели себя, разумеется, не напишут — они ведь победители, и их не судят... И все это в наших самых лучших вагонах, с нашими паровозами, на нашей земле, а вот мы и наши больные умирают в теплушках голодные.

19 ноября. Вагон

Необыкновенной красоты тайга зимой. Какие могучие кедры, ели, сосны. Сплошной стеной стоят они, обступив тонкую линию полотна дороги. Все запушенные инеем, молчаливые, серьезные, они как-то по-особому смотрят на мир Божий, эти великаны. Сибирь, Сибирь — сколько могучести, сколько величия и своеобразной красоты...

Сегодня на разъезде настаивал, чтобы нас перевели на левый путь, чего в конце концов и добился, и теперь мы пока что идем по левому пути, кроме того, американец послал телеграмму во Владивосток своему консулу.

Жена поправляется, но очень слаба, зато у Гули 39, надеюсь, что не тиф. Сегодня пришел к ним в вагон и увидел у сестры книжку «Русский библиофил», удивился, откуда мог он им попасть, потом взял посмотреть, оказывается, наша книжка. Я спрашивать, откуда взяли, оказывается, у доктора тоже несколько английских книжек с надписью моей жены. И вот выяснилось: ящик, который я отдал Макдональду, он вскрыл и предложил книжки разобрать всем желающим на память... Недурно! Пропали «Старые годы» за десять лет — ведь это целая библиографическая редкость теперь, а главное, что все эти американцы ничего же не понимают в этих книгах и, верно, роздали их муслить сестрам. А особенно жалко великого князя Николая Михайловича «Историю царствования императора Александра I» — я с таким трудом достал и захватил, помню, последние два тома за 19 руб., — пропало и это.

Проехали Мариинск.

21 ноября. Вагон

Едем невероятно медленно, вот уже в пути больше двух недель. У Гули оказался не в порядке желудок — так что все обошлось. Няня ворчит:

— Заморили фруктами да бульоном, хоть бы штей дали.

Она питается на сестринском столе, то есть утром яйца, кофе, фрукты консервированные, потом в час завтрак американский: каша, какое-нибудь мясо, кофе, фрукты — и в семь обед: немного супу с сухарем, зелень консервированная, мясо, консервированные фрукты. Так вот она просто смотреть не может на этот стол. Что значит привычка, а ведь стол совсем не плохой, в сущности. Но все это для администрации, так сказать, и для самих американцев, офицеров же и солдат больных по-прежнему кормят несъедобной жижей, которую в большинстве выливают, довольствуясь хлебом и чаем.

22 ноября. Вагон

Приехали в Красноярск, и американцы решили тут простоять целый день, чтобы осмотреть город. Я сказал, что всякие остановки очень рискованны, так как паровоз могут взять, и мы сядем, оставшись среди Сибири в нашем эшелоне, но старший врач заявил, что с американцами этого не может быть, — ну не может так не может.

Красноярск большой сибирский город, с недурными магазинами, одной кондитерской и, в сущности, одной большой широкой улицей, вот и все.

Стоит он действительно в красном яру, и кругом красивые розовато-коричневые скалы.

24 ноября. Вагон

Дни проходят однообразно. Утром разносят на остановке чай и хлеб, я обхожу поезд, захожу к своим, где сижу и иной раз с ними обедаю, потом разносят обед, который выплескивают в большинстве случаев или же на печках сами сдабривают салом и всякой всячиной и тогда едят, затем время до ужина спим, читаем, играем в карты, надоели друг другу, как на корабле после долгого плавания, и потому часты ссоры.

27 ноября. 7 часов вечера

Путешествие приближается к концу. До Иркутска осталось двести тридцать верст. Надеюсь, что завтра часам к двенадцати дня будем там.

Омск сдан — это уже известно определенно. На востоке полная неразбериха, и вот опять неизвестно, что же делать дальше. Уходить со своими добровольцами? Но куда? А семья? Что же дальше? Остается надеяться, что, может быть, Деникин завершит дело спасения России.

28 ноября. Иркутск

Слава Богу, доехали. Путешествовали в поезде ровным счетом двадцать двое суток — прямо рекорд путешествий по железным дорогам.

Перевез своих к себе в «Итальянское подворье», распростился с американцами, благодарил их. Старший врач преподнес жене банку консервированного чернослива в два кило. Распростились. Я все надеялся, что американец вспомнит о моем револьвере, но он даже и не заговаривал, тогда я спросил, как он думает относительно револьвера, он не мой, и я должен его вернуть. На что он мне ответил, что револьвер оставляет себе в виде компенсации за проезд, так-таки и сказал: «в виде компенсации», мы с женой опешили. Я возмутился и, когда устроил своих, отправился к датскому консулу и изложил ему обстоятельства дела. Датчанин сказал, что утром завтра поедет требовать револьвер у американца.

29 ноября. Иркутск

Понемногу устраиваемся. Из попытки датского консула ничего не вышло — он был, видел американца, сказал ему, что револьвер принадлежит датскому министру-резиденту Кофоду, на что американец ответил, что ему дела нет, кому он принадлежит, — он получил его от «Кенол Илиин»[1] в компенсацию за провоз, и все тут... Так браунинг и пропал. Ужасно неудобно перед Андреем Андреевичем.

---

[1] Colonel Ilyin (*англ.*) — полковник Ильин.

30 ноября. Иркутск

Все правительство постепенно собирается в Иркутске. Посетил сего дня Червен-Водали, приехавшего от Деникина. Он назначен министром внутренних дел, а Пепеляев премьером. Долго с Водали говорили — оказывается, у Деникина, по его словам, тоже полный развал и разгром на фронте, таким образом, не на что надеяться вообще... Водали настроен очень грустно, и мы оба сидели, точно в комнате, где покойник.

2 декабря. Иркутск

Пепеляев пошел к Колчаку на станцию Тайга. Говорят, что главнокомандующим назначен генерал Сахаров — о Сахарове мнение почти у всех одинаковое — считают его грубым, резким и бездарным человеком. Возможно, что и так. Когда я его видел в Омске у Нокса в поезде, он производил такое же впечатление и на меня.

Съехались все, кажется. Тут все бюро печати — Коробов, Кудрявцев, Устрялов, — открывают новую газету и по-прежнему заняты политикой.

Кто лучше всех их и честнее, это милый Кудрявцев. Он часто заходит к нам. Клафтон, оказывается, где-то застрял, и о нем до сих пор ничего не известно.

3 декабря. Иркутск

Получил телеграмму от Голицына, что произведен в полковники, за что и за какие заслуги, не имею понятия. Телеграмма шла чуть не две недели и помечена «штаб армии».

Все это немного странно — все рушится, а производствами занимаются, стоит ли того...

Сегодня узнал, что приехал Дитерихс, и поехал к нему. Он в своем вагоне и завтра едет дальше. Вагон первого класса, очень великолепный, с большим салоном. С площадки входишь прямо в салон. Когда я влез в вагон, вошла его жена и, пригласив войти, пошла сообщать Дитерихсу. Через минуту появился он и сел за большой письменный стол, приглашая сесть напротив и меня. Странная обстановка меня поразила: на столе стояли два больших шандала по три свечи в каждом. Посередине шандал с одной свечой. Прямо сзади стула Дитерихса на стене был прикреплен большой синий щит с белым восьмиконечным крестом, по бокам два полотнища хоругвей. Во всем было что-то таинственно-мистическое.

Дитерихс заговорил проникновенным тихим голосом о том, что он уезжает от этого безобразия, что Колчак прохвост и хлыщ, что с

ним ничего нельзя делать, а что если Россия и будет спасена, то лишь Михаилом, тут он несколько помолчал и добавил:

— Я составляю список всех тех, кто будет участвовать в спасении, — включу и вас, полковник.

Было что-то совершенно ненормальное во всем этом, а между тем передо мной сидел Дитерихс, в этом не было никакого сомнения.

— Сейчас я, вероятно, проеду в Верхнеудинск[1] и там, может быть, буду формировать новые части — деньги мне отпущены, а если не удастся, уйду в сопки...

Дитерихс встал и протянул мне руку. Не знаю, что и думать, но ясно одно — что Колчака так бранить подло, и если Дитерихс и сумасшедший, то гаденький сумасшедший. А главное, Колчак снабдил его и деньгами, и дал возможность ехать куда угодно.

4 декабря. Иркутск

Сегодня был отслужен молебен епископом Зосимой по случаю окончания формирования 1-й Иркутской дружины Святого Креста и скорого ее отправления на фронт. Собралось много народу. После молебствия дружина выстроилась перед храмом во главе с подполковником фон Франком. Я вышел к дружине, сказал несколько слов относительно предстоящего отправления, а затем сенатор Стравинский, почетный председатель Славянского общества, вручил от общества икону дружине.

Из местных общественных деятелей при моем управлении под моим председательствованием образовался комитет, в который вошли духовенство, здешнее купечество, общественные деятели и пр. Вошел, между прочим, и Устрялов.

Сегодня было объединенное заседание. Говорили много, но чувствуется, что у всех пропала всякая вера и энергия. Да и на самом деле, во что верить? Колчак неизвестно где, фронта нет, Омск сдан, правительства фактически не существует.

7 декабря. Иркутск

Сегодня праздновали день Екатерины. К часу на пирог пришли Артемьев, Татищевы, Кудрявцев, Демиденко, несколько человек из моего управления, разумеется, Ломакин. Батюшка Троицкий служил молебен, потом ели пирог.

Ломакин тип изумительный: в нем что-то от Гоголя из «Мертвых душ», не могу только никак припомнить, на кого он похож: лебезит, потирает руки, забегает вперед, старается угодить, подставить стул,

[1] Верхнеудинск в 1934 году переименован в Улан-Удэ.

подать калоши, готов на что угодно — сладко улыбается, говорит «водочка», «пирожок», «по древнерусскому обычаю» или «ну с Богом — по первой».

10 декабря. Иркутск

Вчера был на ужине, который устроили офицеры-воткинцы со своим командиром штабс-капитаном Золотовым мне и моему помощнику Демиденко по случаю своего отъезда в Красноярск.

Ужин прошел очень мило и сердечно.

Устрялов, Коробов, местные, Н.Н. Горчаков и другие, обсуждают вопрос о перемене ориентации и признании единственной реальной силой, способной продолжать борьбу с большевиками, атамана Семенова. Хорошо, нечего сказать! А вопрос ясен, конечно, — просто страхуются, ведь бежать-то придется через Читу.

Положение становится все хуже, и, по-моему, надеяться не на что.

12 декабря. Иркутск

Совершенно отрезаны от внешнего мира. Об армии сведений никаких, об адмирале Колчаке тоже — ходят только разные слухи. Улицы Иркутска все больше заполняются омичами. Приехал в своем вагоне Киндяков, который, конечно, в единственном числе, но зато со всеми суммами Красного Креста — он, очевидно, будет их сдавать тоже «будущему законному российскому правительству» и даст отчет, куда их «израсходовал».

Тут адмирал Смирнов — морской министр, тоже с суммами и со своим штабом; сегодня встретил капитана 2-го ранга Четверикова, товарища по корпусу. Тут же и капитан 1-го ранга Фомин[1], младше нас года на три, кажется, очень умный, хитрый и совершенно темный человек. Интриган исключительный.

Приехал и генерал Лохвицкий, тоже с адъютантами и штабом, — кем он и чем, совершенно не знаю.

Одним словом, симптоматичная картина — крысы с корабля, который идет ко дну, но все, конечно, прежде всего постарались захватить побольше от остатков пирога. Вот и Белое движение.

По улицам с громом носится подпоручик Ган на мотоциклетке, в английской форме, и Буров. Что они делают, бог их ведает.

13 декабря. Иркутск

Заходил ко мне в управление Буров. Он подполковник. Сидел у меня в кабинете и спрашивал, сколько у меня добровольцев и где они. Узнав, что они по ту сторону в казармах, спрашивал, нельзя ли

[1] Николай Георгиевич Фомин.

их перевести сюда, так как, по его сведениям, в городе неспокойно и можно ожидать выступлений. На прощание сказал, что он рассчитывает на меня и в случае чего зайдет ко мне.

После визита Бурова пошел к Артемьеву и у него остался завтракать. Рассказал о посещении Бурова. Артемьев ответил, что всего можно ожидать и что при сложившихся обстоятельствах он ни за что не ручается.

16 декабря. Иркутск

Сидел Кудрявцев. Много говорили. Неисправимый оптимист, он говорит, что все образуется и фронт еще восстановится, так как те же союзники не допустят крушения власти Колчака — это им невыгодно.

20 декабря. Иркутск

В городе всё тревожнее, а больше всего нервирует то, что нет ниоткуда никаких известий.

Морозы до 40°, но так тихо и воздух так спокоен, что я хожу в одном кителе, так же гуляет и Артемьев.

24 декабря. Иркутск

Сегодня узнали, что какой-то штабс-капитан Калашников на той стороне в военном городке объявил, что он становится во главе Иркутска и что им будет сформирована власть из эсеров. В городе тоже стало беспокойно, и опасаются, что часть гарнизона может перейти на сторону восставших.

Приходил вечером Кудрявцев, сидели и прислушивались к тому, что делается на улице. Пытались какие-то солдаты захватить почту и телеграф, но юнкера не дали.

25 декабря. Иркутск

С утра был у Сычева, потом у Артемьева. Организована охрана из всех воинских чинов, мое управление тоже все «мобилизовано» вместе со мной, будем нести дежурства.

Оказывается, банк и телеграф хотели захватить часть отряда особого назначения управляющего губернией Яковлева и инструкторской роты. После того как это им не удалось, они перешли через речку Ушаковку и заняли Знаменское предместье.

Таким образом, мы теперь в ловушке: с той стороны отрезаны от железной дороги отрядами Калашникова, в тылу занято предместье — остается пока одна дорога на восток вдоль берега Ангары. Ангара еще и не думала вставать, и пока только шуршат льдины — по-видимому, до ледостава еще далеко.

26 декабря. Иркутск

Оказывается, в Черемхове переворот тоже произошел, но шесть дней назад, и тоже под эсеровским флагом. Поезд Колчака, говорят, находится в Нижнеудинске и никуда не может двинуться. По телеграмме Жанена чехи «взяли его под охрану», окружили пулеметами и, в сущности, держат под арестом.

Чехи, несомненно, на стороне восставших и им всецело сочувствуют.

Союзный совет под председательством Жанена постановил объявить вокзал и железную дорогу нейтральными и, следовательно, не позволил, под угрозой вооруженного вмешательства чехов, производить боевые действия против повстанцев. Также запрещена и орудийная стрельба по Знаменскому предместью. Несмотря на это, повстанцы заняли вокзал, деятельно вооружились и завладели складами у вокзала.

27 декабря. Иркутск

Получен приказ о назначении Семенова главнокомандующим всей Восточной Сибирью, включая и Иркутскую губернию.

Все время слышны выстрелы, в некоторых местах по городу летают пули, на углу недалеко от нашего подворья кого-то ранило из прохожих.

28 декабря. Иркутск

Семенов телеграфирует, что им послан отряд генерала Скипетрова для защиты Иркутска и, кроме того, что японское императорское правительство решило занять своими войсками Иркутскую губернию.

29 декабря. Иркутск

Сегодня наблюдали редкую картину с этого берега. Подошли два броневика Семенова. Тогда «нейтральная» железная дорога пустила им навстречу паровоз «декапод». Паровоз столкнулся, и вот мы, стоя на этом берегу, видели, как он покатился под откос буквально кубарем к берегу Ангары. Падая, то есть кувыркаясь, он все время свистел. После этого и броневики, и части Семенова отошли к Михалеву.

30 декабря. Иркутск

Очень характерна телеграмма, которую получил Сычев из Михалева от Скипетрова: «Давно бы были в Иркутске, если бы не союзники, которые всячески препятствуют продвижению. Энергично

протестуем. Настроение бодрое, сил достаточно. Шлем привет офицерам, юнкерам и солдатам, защищающим город».

Пришли японцы. Их эшелон встал на станции и занял выжидательную позицию. Говорят, их два батальона с орудиями.

Слухов тьма, телефоны все каким-то образом соединены, и потому стоит взять трубку, как решительно слышны все разговоры. Пришли семеновцы кружным путем. Сегодня Артемьев и Сычев со всем местным начальством делали им смотр. Ничего, выглядят молодцами в своих мохнатых папахах. Их всего только батальон, да и то в четыреста человек. Между прочим, Устрялов написал статью, в которой вместе с признанием атамана Семенова приветствует приход его вооруженной силы и первой визитной карточки, то есть снаряда, выпущенного позавчера броневиком по Знаменскому предместью...

31 декабря. Иркутск

Часов около трех летал над городом аэроплан повстанцев и сбросил одну бомбу, которая разорвалась где-то на окраине и ранила одну женщину. Редкая стрельба. Японцы молчат. Чехи тоже. Говорят, что американский Красный Крест раздавал особенно щедро повстанцам теплое белье, одежду, одеяла, фуфайки и пр., а в Черемхово послал даже с этой целью специальный поезд.

1920

Оборона Иркутска. Генерал Потапов. Министры.
Бегство всего военного начальства. Выход из Иркутска. Корытово.
На той стороне. Поезд генерала Скипетрова.
Высокий комиссар Англии. Рождество в вагоне.
Станция Верхнеудинск. Генерал Дитерихс.
Японские и американские войска. Встреча со своими. Датчане.
Опасная зона. Царство Семенова. Наш поезд. Могилы декабристов.
Даурия. Унгерновцы. Станция Маньчжурия. КВЖД.
3 февраля 1920 года. Харбин

1 января. Иркутск

Зашел в госпиталь, куда только что принесли бедняжку кадета. У него пулей раздроблена нога в бедре. Мальчик лет шестнадцати-семнадцати пошел защищать — кого? Ах, какой ужас все это.

2 января. Иркутск

Была попытка захватить город. Повстанцев отбили — ничего не вышло у них. До часу шла пулеметная и ружейная стрельба.

4 января. Иркутск

Милые союзники настаивают на перемирии, иначе говоря, нас предадут за милую душу, предадут и, конечно, выдадут.

Заходил Кудрявцев. Он перебрался на всякий случай на какую-то конспиративную квартиру.

5 января. Иркутск

Масса самых разнообразных слухов. Все-таки перемирие объявлено. Днем зашел Буров, спросил, есть ли у меня добровольцы, и сказал, что надо немедленно же уходить из города. Просил дать ему ответ в семь часов вечера, оставил свой адрес.

10 января. Верхнеудинск

Итак, все кончено. Я в Верхнеудинске, в вагоне-леднике, приспособленном под жилье инженером Чертороговым.

Вагон входит в состав поезда генерала Дитерихса, который живет в городе с женой, адъютантами, жена Черторогова заведует приютом госпожи Дитерихс.

Но все по порядку. Я писать эти дни не имел ни малейшей возможности, потому что находился в походе и были при мне только мой полушубок, винтовка, шапка да валенки на ногах — вот и все.

Пятого числа, после того как у меня был Буров, я решил пойти к командующему войсками генералу Артемьеву и узнать, что он намерен делать и как вообще надлежит поступить дальше. Когда я подходил к дому, то увидел во дворе автомобиль, а войдя в переднюю, и самого Артемьева. В бурке и папахе он казался особенно высоким. Келлер и Каршин выносили чемоданы.

— Надо уходить, — сказал Артемьев, увидя меня. — Нас предали и каждую минуту могут схватить. Все уже ушли.

С этими словами Артемьев сел в автомобиль, и машина тронулась. Я побежал к Сычеву — тут увидел картину полного ералаша: все двери управления были настежь, валялись какие-то бумажки, кучи пепла покрывали пол в нескольких местах — все было пусто, нигде никого. Отсюда я забежал к коменданту и тут застал ту же картину. Лишь в коридоре у камер арестованных стоял часовой. На мой вопрос, где комендант и все служащие управления, он ответил, что ушли еще с утра.

— А ты что делаешь? — спросил я его.

— Как что, караулю арестованных, дозвольте доложить, что нету смены...

Я ему приказал выпустить трех арестованных и самому уходить, куда он хочет.

Совершенно сбитый с толку, побежал по темным улицам искать дом, где должен был найти Бурова, но, разумеется, зря проплутал и, ничего не найдя, вернулся. У меня сидел Буров.

— Ну где же вы ходите? — встретил он меня. — Решайте немедленно, идете или нет, а то я ухожу сейчас же, город уже оставлен всеми...

Жена и няня начали уговаривать уходить, няня стала укладывать мешок с бельем. Я попросил минутку подождать и поднялся к Демиденко. Изложил ему положение и сказал, что надо уходить, так как все ушли и вот-вот город будет взят. На это Демиденко грубо сказал, что он никуда не пойдет и останется. Тогда я сказал, что сдаю на его ответственность все имущество и денежный ящик, и вышел.

Не знаю, какая сила меня толкала, но, не приди Буров, я бы никогда не ушел сам. Обнялся с ребятами — Гуля уже спала, — взял свой мешок, винтовку — отличный германский карабин, и мы вышли на

улицу. Мороз был, верно, за сорок. Светила полная луна, город точно вымер. Я уже знал эту зловещую тишину и видел уже обреченность Иркутска. Мы шли, держась на всякий случай за винтовки, хрустко поскрипывал снег под ногами.

Прошли по улице, свернули направо, поднялись несколько в горку и увидели освещенные окна большого здания — это было юнкерское училище.

На большом дворе при лунном свете суетились люди, седлались лошади, стояли сани, возы, двуколки.

Мы вошли и поднялись по лестнице во второй этаж. По коридорам сновали юнкера. В большой, ярко освещенной столовой стояли группами юнкера, было несколько офицеров, некоторые сидели и ужинали. Буров сел за стол, а я пошел в коридор к телефонной будке, стал звонить домой. Весь город будто говорил в трубку. Совершенно очевидно, что большевики решительно все знали даже от одних только этих разговоров.

«Кажется, все начальство бежало», — неслось в трубке. «А японцы?» — «Нет, японцы остались». — «Говорят, город уже занят». — «Слыхали, Потапов договорился...» — не переставая говорили разные голоса.

Я стал вызывать наш номер и через несколько минут услыхал голос жены. Простился, сказал, что ухожу, и просил ничего не бросать по возможности и ехать с иностранцами.

В эту минуту разговора я почти решил, что останусь, так не хотелось идти в неизвестность и так казалось бессмысленным бросать близких. А тут еще в это время начальник училища объявил, что никому не угрожает никакой опасности, все могут оставаться и он обо всем уже договорился с новым начальником гарнизона генералом Потаповым.

В столовой Бурова уже не было. Я сел на его место и задумался. Положительно хотелось не уходить. Решил, что переночую в училище.

В это время на дворе послышались какие-то команды. Я вышел и увидел втягивавшийся батальон семеновцев, который три дня назад пришел в Иркутск кружным путем из Михалева. Теперь они оставили свои позиции и тоже уходили. В середине рот шли сани, груженные золотом, которое в последнюю минуту удалось захватить, везли также заложников — арестованных эсеров. Юнкера между тем разделились: часть решила остаться, а часть во главе с командиром сотни князем Вяземским уходила.

Из города пришли сани с поклажей, чьими-то вещами, офицерами, сестрами милосердия и несколькими женщинами. Скрипя по-

лозьями, отбивая шаг, стали все вытягиваться в длинную колонну. Я все стоял, пока последние розвальни с сидящими на них двумя сестрами и офицером не поравнялись со мной. Почти машинально положил свой мешочек и зашагал рядом. Длинной лентой вытягивались мы на дорогу. Шурша, лязгая, кружась, плыли по Ангаре льдины. Светила полная луна, было тихо и морозно. Я оглянулся на Иркутск: над ним вспыхивали какие-то огни и долетали отдаленные орудийные выстрелы. Где-то стрекотал пулемет. С нами пошли, присоединившись во дворе, «морской» министр Смирнов, Четвериков и Фомин. С ними было несколько саней, груженных имуществом, бочонками с сибирским маслом и чемоданами с миллионами сибирских денег, которые увозил адмирал, — тоже, очевидно, для того, чтобы в них дать отчет «законному будущему русскому правительству».

Морское министерство шло во главе колонны, с ними же был и Буров, потом батальон семеновцев, затем сани с частными седоками, и замыкали шествие арьергардная рота с обозом. У последних саней шел я.

Мы не прошли и версты, как вдруг над нашими головами застрекотал пулемет — моментально рассыпались в цепь, раздалась команда, последние сани сбились в кучу, женщины начали кричать, лошади вздымались на дыбы. Я так устал и после нервного напряжения наступила такая реакция, что мне стало решительно все равно, что будет, и поэтому я совершенно спокойно лег на искрящийся снег животом, щелкнул затвором и приготовился стрелять. По дороге неслись какие-то всадники. Раздалась чья-то команда, защелкали выстрелы, стал стрелять и я. Даже интересно было, появилось нечто вроде охотничьего азарта.

Неуклюже, как мешки, два всадника споткнулись и кубарем полетели — подстрелили; остальные, махая руками и крича, подскакали — оказывается, свои юнкера. Эскадрон, который выступил после всех. Его уже начали настигать части красных, вошедших в город и решивших преследовать, эскадрон отбивался, чем спас нас, а затем пошел на соединение с нами, а мы встретили его огнем. По счастью, дело обошлось сравнительно благополучно: ранило легко одного юнкера да двух лошадей убило.

Уже стало светать, когда подошли к деревушке Корытово — против Михалева. Стояли автомобили, а в большой избе в жарко натопленной комнате в клубах табачного дыма увидели всех: генерала Артемьева, Сычева, все их управление, адъютантов и пр. Оказывается, они пришли сюда еще вечером, то есть приехали на автомобилях, а утром решили переправляться на ту сторону и, кстати, подождать и нас, если мы подойдем.

Послали верховых вниз к Байкалу за пароходом. Положение было серьезное: с одной стороны, могли нагрянуть преследователи, с другой, недалеко бродили шайки Каландаришвили.

С нескрываемым волнением ждали парохода. Шел сильный лед, большие льдины, кружась, неслись по быстрой воде. Уже совсем рассвело. В избе все знакомые лица. Сидел все в той же папахе, но без бурки генерал Артемьев, тут же около него адъютанты, недалеко, облокотившись о стол, Сычев, группой стоят офицеры его управления — все казаки. Настроение напряженное, у всех на лицах один вопрос — придет ли пароход?

Поминутно отворяется дверь и кто-нибудь выходит «посмотреть». Морской министр сидит у двери, а Четвериков и Фомин караулят морское имущество — возы с вещами, сибирским маслом в бочонках и деньгами.

Но вот слышны отдаленный гул и свисток, эхом разносящийся по сопкам. Пароход. Все выскакиваем на воздух. Морозно. Занимается мутное, белесое утро, шуршат, наскакивая друг на друга, льдины, влево в облаках дыма и пара, хлопая колесами, ползет пароход. Слава Богу. Голову начинает сверлить другая мысль: а вдруг не доползет — опасливо озираешься на кручу сопок...

Но вот и пароход. Он с трудом пристает к берегу, начинается погрузка. По сходням вводят лошадей, потом вкатывают автомобили, экипажи, начинают грузиться моряки. Пароход уже перегружен до отказу, и слышны раздраженные крики: «Да куда вы масло везете, черт вас возьми, что вы, с ума сошли, что ли?..»

Капитан предупреждает, стоя на мостике, что больше нельзя, опять раздаются крики, но уже более энергичные, и «морского министра» кроют по-русски казаки с борта. Однако адмирал упорен, и все до последнего ящика и бочонка на борту. Медленно, тяжело отваливает пароход. Несет быстрое течение, бьются льдины о борт. Я спускаюсь вниз, вхожу в какую-то каюту, где на деревянных нарах сидят Артемьев, Сычев, еще несколько человек.

— Ну, слава Богу, кажется, ушли!.. — говорю я.

— Подождите, вот когда будем на том берегу, тогда скажете, — отвечает Сычев.

Медленно ползет в такой обстановке время. Минуты кажутся часами. Но вот и берег. Тянется спасительная полоска железной дороги, виднеются станционные постройки, на путях стоит новенький великолепный поезд — это сам Скипетров. Вот где спасение, наконец-то...

Весело выскакиваем на берег, разбиваемся на группы. Я с Артемьевым, Сычевым и их адъютантами.

Идем к поезду Скипетрова. Вот и его вагон — новенький, свежевыкрашенный в оранжевую краску пульмановский вагон. Мы влезаем и попадаем в коридор, навстречу нам идет высокий офицер в штаб-офицерских погонах и рекомендуется «генерал-квартирмейстером» штаба войск. Он докладывает, что командующий еще не готов, и просит подождать нас. Стоим все в коридоре. Вид у нас у всех в этой обстановке просто ужасен. В папахах, грязных полушубках, я с винтовкой за плечами, небритые, с испитыми усталыми лицами. Наконец из салона показывается адъютант и просит пожаловать «только господ генералов». Артемьев и Сычев проходят вперед, я остаюсь и не знаю, что мне делать. Прохожу несколько шагов вперед к первому купе, заглядываю и, пораженный, не могу оторвать глаз. В большом купе с разобранной перегородкой устроен чудесный будуар-спальня. Туалет, большое зеркало, ковры на полу и по стенам и большая великолепная двуспальная кровать. А на кровати, подобрав ноги, сидит молодая интересная женщина в галифе, желтых сапогах со шпорами, френче и с георгиевской розеткой в петлице. Она сосредоточенно полировала ноготки. Взглянула на меня искоса и снова продолжала свое интересное занятие. Я сделал вид, что гляжу в окно. Между тем раздался голос: «Виноват-с», и мимо меня проскользнул плотный лакей в галунной ливрее с большим подносом, на котором красовался окорок — целый сочный окорок ветчины, сардины, закуска всевозможная, графины с водкой. Недурен завтрак для семи часов утра. Все это неслось Скипетрову в его салон — повезло Артемьеву и Сычеву. Я только теперь понял, как я голоден. Показался между тем адъютант.

— Вы с генералом Артемьевым? — обратился он ко мне.

— Да, я пришел с ним...

— Пожалуйте являться.

Я переступил порог. На кончике стула сидел скромно заслуженный старый Артемьев, рядом ловчила Сычев, казак, сумевший за революцию проскочить в генерал-лейтенанты, а за большим столом, уставленным всякой всячиной, сидел плотный коренастый человек — это и был Скипетров. Я подошел и по форме отрапортовал:

— Честь имею явиться, такой-то...

Скипетров даже не встал, даже, как говорится, глазом не моргнул — он лишь изволил промолвить:

— Явитесь дежурному генералу и поступите на учет.

Я сделал налево кругом, заглянул досадливо на окорок и пошел. Никакому дежурному генералу я решил не являться. Довольно, думал я, ни Скипетрова, ни Семенова, ни Унгерна — к черту. Я был зол

и не знал, что предпринять. Вышел на воздух, ко мне подошли два поручика, которые шли с нами из Иркутска:

— Господин полковник, выручите, нас объявили мобилизованными и сказали, что, если кто попытается бежать, будет расстрелян.

— Мне, господа, тоже приказали поступить на учет, но вы подождите, может быть, что-нибудь представится, я тогда вам скажу.

— Пожалуйста, господин полковник, мы вот тут в станционном бараке, где чехи.

Остался стоять. Вдруг смотрю, идет милейший Василий Александрович Ковалевский, инженер путей сообщения, служивший в Иркутске и несколько раз приходивший ко мне в управление со мной обсуждать вопрос формирования частей и потом состоявший деятельным членом комитета и совещания при моем управлении. Большой любитель выпить, компанейский человек, он радостно меня приветствовал:

— Какими судьбами! Пришли из Иркутска? Ну, идем ко мне, закусим.

— А вы что тут делаете? — удивился я.

— Я, батюшка мой, назначен начальником забайкальских железных дорог, вот как. Не фунт изюму. Я из Иркутска ушел сейчас же, как заговорили о перемирии, и прямо сюда. Скипетров телеграфировал Семенову, а тот меня назначил. У меня свой вагон. Идемте — отдохнете. Моей первой мерой знаете что было?.. — он, смеясь, смотрел на меня.

— Ну?..

— Телеграфно распорядился выслать два ведра спирту... ха-ха-ха!

— И получили...

— Ну а как же. Немедленно прислали из Читы...

Мы вошли в служебный вагон с небольшим салоном. Стол, четыре стула, диван и кровать составляли убранство купе. На столе стояли банки с консервами, в углу банка со спиртом.

— Ну-с, прошу к нашему шалашу... — сказал Ковалевский и взялся за бутылку водки, которая стояла в шкафчике. — По единой...

Кажется, никогда я не пил с таким наслаждением водки, как в это утро. Мы закусили, и я слегка осовел. Ковалевский сейчас же предложил мне лечь на его кровать, а сам пошел на перрон.

И вот странное дело: усталый, измученный, кажется, я должен был бы заснуть мертвецким сном, но нет — сон положительно не шел. Мозг неотступно сверлила мысль: что будет дальше? Я положительно чувствовал, что оставаться здесь — это не выход и на господина Скипетрова с его салоном и сожительницей так же мало надежды, как и на какого-нибудь авантюриста, как Хлестакова. Но как уйти, куда, что предпринять...

Я думал и думал, вероятно, дремал, опять думал. Несколько раз входил и уходил Ковалевский. В час мы с ним снова «закусили», на этот раз был подан обед: щи и какое-то мясо — совсем неплохо.

Я опять пытался заснуть, но опять тщетно. Душевная тоска, столь мне знакомая, все усиливалась. Я вышел на перрон. Ковалевский стоял с официальным видом, издалека подходил поезд.

— Это что за поезд, Василий Александрович? — спросил я.

— Поезд высокого комиссара Англии.

— Куда он идет?

— Вероятно, во Владивосток...

У меня, словно молния, мелькнула мысль. Поезд, шипя и скрежеща, подходил к станции, блестя шикарными освещенными вагонами. Стучала электрическая станция, повеяло теплом, уютом и гарью. Я бросился в вагон первого класса, по моему предположению, самого комиссара. Встретил официант:

— Вам кого?

— Комиссара.

— Они переодеваются к обеду.

Что делать?.. И вдруг, о счастье, в одном из купе голова самого англичанина. Я отрекомендовался. Поверил ли он или нет, что я полковник, но только он сказал:

— Хорошо, если найдете себе место, садитесь, но я не знаю о вашем присутствии.

— Сенкью вери вери матчь[1].

Я понесся к своим поручикам. Они, словно чувствуя, толкались на перроне.

— Ну, господа, вот как обстоит дело. Садитесь каждый по способности, устроитесь — ваше счастье.

Стал обходить вагоны. В одном ехали дамы — жена генерала Матковского, еще какие-то жены, кто-то из каких-то министерств. Было действительно яблоку некуда упасть, но все же пустить могли — однако отказали. Уже приходил в отчаяние, когда вдруг у вагона-станции проводник сказал, что возьмет, но за деньги. У меня было 6 тысяч, предложил ему половину, он согласился.

И вот я оказался в ярко освещенном купе с двумя местами проводника вагона-станции. Тепло, чудно, хорошо. По телу разлилось настоящее блаженство, когда я снял полушубок, поставил в угол винтовку и подо мной ритмично, все ускоряя темп, заговорили милые колеса — ах, как хорошо! Не прошло и минуты, как из коридора вошел чумазый, в угле, тип и представился: поручик Воинов, устроился истопником в Иркутске.

[1] Thank you very, very much (*англ.*) — Спасибо большое.

Теперь хотелось напиться чаю. Но ни сахару, ни кипятку у нас не было, проводник, однако, дал нам два стакана, но без сахару, и вот вдруг я увидел, как по вагону прошел Виноградов. Подпоручик Виноградов мною же в Ставке еще при Розанове был устроен в отдел переводов, так как он хорошо знал английский язык. Я обрадовался ему, как родному брату, и окликнул. Он остановился — я думал, что он не узнал меня, и назвался, но он, оказывается, прекрасно узнал, но не хотел, видимо, подавать виду, что знаком со мной. Я сразу не сообразил:

— Голубчик, достаньте кусочек сахару нам, а?

— Не знаю, может быть, смогу, а может быть, и нет, — сказал он важно и пошел дальше.

— Ну и сволочь, — выругался Воинов. Но судьба к нам была милостива: пришел буфетчик высокого комиссара, кавказец. Он принял в нас горячее участие — притащил сахару несколько кусков, чаю, хлеба. Я спросил его, что делает Виноградов, — оказывается, он при самом комиссаре переводчиком. Вот ведь бывают же такие низкие люди.

Буфетчик напомнил нам, что сегодня сочельник, и потому предложил купить у него «по случаю» «атличный каньяк, душа мой, всыго тысяча рублей бутылка», и мы с Воиновым согласились.

На станции Байкал Воинов раздобыл чудесного омуля копченого, принес ветку пихты, и, когда поезд тронулся, устроили целое пиршество. На столике прикрепили ветку, нарезали стеариновую свечу на восемь частей, наклеили их, разложили нарезанную рыбу, черный хлеб, поставили бутылку коньяку. Так мы устроили елку в сочельник на Рождество 1919 года[1] между ст. Михалево и Байкалом.

В одиннадцатом часу я вышел на площадку и был буквально очарован сказочной картиной. Поезд нырял в темные провалы туннелей, с грохотом выносился и снова убегал в черные отверстия. Справа громоздились гигантские скалы, упираясь, казалось, в самое небо, слева в просвете между туннелями блестел голубоватый лед Байкала, бриллиантовыми пирамидами нагромоздившись у берега. Полная луна заливала фосфорически-таинственным светом величественную картину. Боже, как хорошо, как прекрасно все кругом было. И словно докучливая боль, как будто что-то вдруг вспоминалось тяжелое и скверное: война, революция, брошенный Иркутск. И зачем все это, кому все это надо.

8 января утром, в тихую ясную ярко-солнечную погоду мы прибыли в Верхнеудинск, где я, узнав, что тут Дитерихс, сошел с поезда. Я отправился поблагодарить высокого комиссара, который был

[1] По старому стилю.

очень любезен, и увидел в вагоне-ресторане, который проходил, морского министра, который сидел за одним из столиков. Оказывается, он тоже сел в Михалеве, куда делись Четвериков и Фомин, не знаю, но, кажется, поехали каким-то другим поездом в Читу. Дитерихс, когда я ему явился, сейчас же сказал, что он меня считает в своей организации, и предложил жить в вагоне.

11 января. Верхнеудинск

Тут стоят американские и японские войска, японцы занимают станцию, телеграф, полотно дороги. В хаки с мохнатыми шапками стоят их часовые, как маленькие изваяния. Солдаты и офицеры необычайно дисциплинированные, сдержанные, на улице почти никого из них не видно.

Американцы рослые, прекрасно одетые, в отличных «полярных» костюмах. Сегодня один такой красавец сидел в буфете станции на краю стола и, вытянув руку, держал цепочку, всю спаянную из русских пятирублевиков. Он продавал эту цепочку и предлагал ее на отличном русском языке. Я подошел не столько чтобы купить, сколько заинтересованный странным американцем. Оказывается, «выходец» из России, из Западного края. Эмигрировал в Америку в [19]14 году, а затем, когда призывали добровольцев в Сибирский экспедиционный корпус, он и поступил. Несомненный еврей и, разумеется, дезертир, который бежал от повинности. Таких в американских войсках, стоящих здесь, порядочно. Американцы мало дисциплинированны, продают свои доллары, предлагая их на улице. Я купил пять долларов, очень красивая бумажка с Авраамом Линкольном, за семьсот рублей.

Встречаю все эшелоны, идущие с запада. Теперь все известно, что случилось в Михалеве после моего отъезда, такого удачного. Оказывается, что Артемьев уехал с каким-то эшелоном, остальные же, вышедшие с нами, остались «мобилизованные». Часть с Сычевым пошли к Байкалу, где сели на пароход, который нас же привез, погрузили на него и заложников и тут молотками по голове их убивали и бросали под лед. А на другой день утром чехи неожиданно окружили поезд и эшелоны Скипетрова, открыли огонь, бросили несколько бомб и предложили всем сдаться, что и было исполнено. Затем, всех арестовав, отправили в Иркутск, где и сдали революционному центру.

Всех немедленно тут бы и перевели в арестантские теплушки. Но тут уже вмешались японцы и потребовали освобождения арестованных, что, говорят, и было исполнено, и теперь скоро все должны проехать на восток.

13 января. Верхнеудинск

Встретил эшелон американского Красного Креста. В нем едет министр омского правительства Петров. Пока эшелон стоял, около трех часов, тут все время с ним разговаривали. Он говорит, что все кончено и больше надеяться не на что. Участи Колчака он не знает, но думает, что его возьмут союзники, так как он находится под охраной чехов.

Петров, между прочим, говорит, что все было в руках союзников и что, например, когда в Иркутске прошел слух, что идут японцы, в калашниковском стане был полный переполох и сам Калашников готов был уже скрыться. Но когда японцы пришли и ничего не предприняли, оставаясь нейтральными, то, разумеется, стало ясно, что никто вмешиваться не будет.

После эшелона американского Красного Креста в три часа дня встретил эшелон японского командования — сплошь набитый нашими, тут Ковалевский, несколько иркутских батюшек, сестры, которые с нами вышли, Устрялов. Устрялов все время падает в обморок, и японцы заботливо отпаивают его саке, а жена валерьянкой.

Ковалевский рассказывает, как их предали чехи и из-за угла напали на них. Оказывается, действительно стреляли, мерзавцы, и нескольких ранили.

13 января. Верхнеудинск

Дитерихс прекрасно живет в своем лучшем в городе особняке. Напротив, недалеко по той же улице, приют его жены, где живут девицы, вывезенные из Омска. Мы с Чертороговым заходим к его жене, которая ведает этим приютом и имеет комнату. Тут же чертороговские трое ребят. Сидим по вечерам, а третьего дня зажигали елку и мило провели время.

В Дитерихсе мне не нравится, что он все время ругает Колчака — это очень с его стороны неблагородно.

14 января. Верхнеудинск

Мороз больше 40, но тихо, и так ярко светит солнце, что на снег больно смотреть. Кругом высятся скалы и горы, и эхо паровозных гудков разносится перекатами далеко-далеко. Можно ходить в одном кителе, так тихо и хорошо.

15 января. Верхнеудинск

Вот удача! Сегодня в одиннадцать часов утра к Дитерихсу приехали какие-то французы, я как раз был у него, вернее, сидел с его адъютантами. Оказывается, что пришел поезд с французским

вагоном, в котором едут эти два офицера, с вагоном датчан, еще с какими-то вагонами. В разговоре выяснилось, что в вагонах много женщин и детей и среди них — жена с девочками. Я сейчас же бросился на вокзал, но поезд оказался еще на соседнем разъезде, тогда я стал звонить по телефону, дозвонился, просил вызвать из поезда Е[катерину] Д[митриевну] Ильину и через несколько минут услыхал голос жены. Казалось, что все это во сне. Через час я уже сидел в вагоне датской миссии среди своих — жены, няни и девчоночек...

Устроился в эшелоне в соседней теплушке, где едут все владельцы «Лензото»[1]. Сообщил об этом Дитерихсу и распростился с ним.

16 января. Вагон

Тепло простился вчера с Чертороговыми. Мы с ним прожили все-таки почти неделю вдвоем в вагоне, и прожили мирно и дружно. Теперь, наконец, едем на восток. Что впереди? Едем, все растерявши, ничего нет за душой, в полную неизвестность. Как постепенно все отставали: в Самаре были все, потом ушли мы, за нами на возу поехали Александр Дмитриевич и Ваня с Наташей. В Омске мы собрались. В Омске были мы и Александр Дмитриевич с Ваней, в Иркутске уже их не было, а теперь остались мы одни только!

С нашим поездом едет и Лопухин[2]. У него целая теплушка, где помещается вся многочисленная семья. Везут массу добра, а на крыше вагона запасы и тушу целого быка. В другом вагоне едет Михаил Михайлович Теренин — наш симбирский Теренин. Он так всего боится, что никуда не выходит и круглыми сутками лежмя лежит на верхней наре, покрывшись тулупом.

Между прочим, интересен рассказ жены и няни о том, что произошло после моего ухода. До часу ночи в городе была гробовая тишина, потом вдруг на улицах раздались звуки похоронного марша и пошли войска. Оказывается, революционные части вступали в город. Утром еще не успели проснуться, как пришли три солдата с обыском и первым делом начали спрашивать, где полковник Ильин, начальник добровольческих формирований дружин Креста. Няня сказала, что я ушел вчера вечером, тогда солдаты начали делать обыск, ища оружие. По счастью, сейчас же после моего ухода жена вызвала из датского консульства молодого датчанина, лейтенанта датской службы, родственника Кофода, который забрал три моих винтовки, охотничье ружье и бинокль.

[1] «Лензото» — Ленское золотопромышленное товарищество, прииски по добыче золота в бассейне реки Лены.

[2] Вероятно, Алексей Александрович Лопухин.

Что касается Демиденко, то он немедленно пошел во вновь сформировавшийся революционный штаб и там, явившись Калашникову, предложил ему свои услуги, получил от него согласие и удостоверение, что находится на службе у революционного комитета, после чего стал потихоньку собираться, забрав много имущества, и устроился в эшелон к японцам.

Между тем по улицам начали распространять телеграммы и выпущенные листовки, в которых сообщалось, что все ушедшие накануне вместе с юнкерами были окружены, большею частью перебиты, а уцелевшие взяты в плен и привезены в Иркутск, где пока содержатся в арестантском вагоне на вокзале.

Жена впала в панику и бросилась на вокзал, переправившись в ледоход, осматривать арестантские вагоны. Однако меня не нашла и уже решила, что я, верно, убит, сомневаясь, следует ли ей выбираться и ехать дальше, а не вернуться в Самару, раз я уже не существую. И вот в минуты этих сомнений и сборов вдруг явился японский солдат и на ломаном русском языке сказал, что майор Микэ просил передать г-же Ильиной, что полковник Ильин благополучно прибыл в Михалево и направляется дальше. Поразительная осведомленность этих японцев все-таки! А главное, как это с их стороны мило и даже благородно!

После такого сообщения жена решила уезжать, собрала все вещи, и на извозчиках все поехали к Ангаре, через которую и переправлялись в самый ледоход. Датский консул устроил купе для них, где они все и разместились.

Демиденко, между прочим, лишь только получил удостоверение от революционного комитета, сейчас же пришел и стал с жены требовать деньги за квартиру, еще за какую-то мелочь и заявил, что теперь он начальник! Мой денщик, которого я выбрал из числа раненых в Омске еще, Василий, резко переменился, как только я ушел и власть стала «революционной», — он начал хамить, быть дерзким и украл мои новые сапоги и рейтузы. Вот каков народ! Но хорош Демиденко — старый офицер мирного времени!!

18 января. Вагон

Больше стоим, чем едем. На остановках катаемся на санях, бегаем по снегу, веселимся как можем. Датчане и французы покупают масло, белок, мороженое молоко.

В одном из вагонов едут несколько летчиков. Один, полковник Самойло, настолько миниатюрен, что производит впечатление карлика, георгиевский кавалер за войну, советует мне припрятать свой настоящий документ и послужной список, чтобы в Даурии «унгерновцы» как-нибудь не высадили.

Унгерн! Ведь это наш Унгерн морского корпуса. Он на год старше меня, и я его отлично помню, потому что он выделялся своим высоким ростом. Купов, Калчев и Манолов были три славные болгарина в третьей роте, когда мы поступили в четвертую. Эти болгары отличались тем, что у них уже тогда росли бороды, особенно у Калчева — в плавании он отпускал черную как смоль бороду, а у барона Унгерна висели длинные усы. И сам он был длинный, сухой, сумрачный, но славный парень. Изобрели скороговорку: «Курка клюет крупку, турка курит трубку — барон Унгернштернберг». Иной раз, с разбегу, садились к нему на спину, и он мрачно или катал, или норовил хлопнуть об стену.

Когда началась война, он сбежал на войну вместе с бароном Остен-Сакеном, старше Унгерна, но бесконечно сидевшим в каждой роте и отличавшимся скандальным и авантюристическим характером. На войне и Унгерн, и Остен-Сакен, так же как и наш Червинский, заработали кресты. Унгерн был произведен в прапорщики и остался служить в Уссурийском казачьем полку. В чине уже подъесаула вышел на войну с Германией, потом командовал сотней, отличался храбростью и оказался отличным офицером. И вот теперь во время революции стал знаменитостью, главным образом отличаясь страшной жестокостью.

Можно ли было думать, что из этого угловатого, мрачного, длинного как жердь юноши выйдет садист и изверг?!

То, что рассказывал Самойло и знающие Унгерна, просто ужасно. Какое-то просто изуверство, издевательство, черт знает что такое! Например, какого-то заподозренного в большевизме типа приказал при себе раздеть, поставить лицом к костру ярко горящему, нагнуться и потом стрелять из наганов в зад, так что человек упал прямо лицом в огонь!

20 января. Вагон

Сегодня вторые сутки стоим в Петровском заводе. Ходили на могилы декабристов всей компанией. День чудесный, морозы, тихо, ясно.

Смотрели церковь, построенную руками декабристов, иконы, написанные ими самими, потом дом, где они жили, и их могилы. Тут прошла вся их жизнь. Вот люди, которые наивно революцией думали принести пользу и спасение России. Спасение от чего, спрашивается. Вот если бы могли они встать из гроба и поглядеть на дело рук своих, на всходы, которые дали зерна, ими брошенные... Пришла долгожданная революция — вот результат, вот живой пример, вот освобожденный народ от ига ненавистного царизма...

24 января. Станция Чита II. Вагон

Вчера пришли сюда. Кажется, когда пойдем, пройдем прямо и в Чите I останавливаться не будем. Мы все рады этому обстоятельству, нет никакого желания знакомиться с царством атамана Семенова.

Смотрели вокзал. Везде казаки в страшнейших папахах, много генералов, полковников. Все с лихо выпущенными чубами — вид самый разбойный.

28 января. За Даурией

Бог миловал, пронесло через Даурию. Мы сильно побаивались, что могут быть обыски, будут «снимать» и т.д. Говорят, что это уже не раз делалось, и пассажиров, у которых обнаруживали хорошие кольца, портсигары или [у которых] были деньги, попросту тут же уводили в сопки и приканчивали... Ужас что такое.

Вообще кругом зверство. Про Унгерна рассказывают просто невероятные вещи, про Тирбаха тоже. Я не знаю, как это наш эшелон пропустили, вероятно, потому, что идет он под иностранными флагами.

В Даурии на станции стоят рослые огромные буряты в страшных папахах, в каких-то особенных ватных бешметах, с кривыми саблями. Да, попадись им в лапы, пожалуй, несдобровать.

На всех вокзалах и разъездах необычайное обилие дичи: горы рябчиков по полтиннику штука — это, вероятно, на американский доллар мизерная сумма, глыбы мороженого молока, куски масла.

Завтра или послезавтра в Маньчжурии.

1 февраля. Ст. Маньчжурия

Вчера вечером пришли на станцию Маньчжурия и сегодня весь день стоим здесь. Большой приличный освещенный вокзал. Жизнь как будто бы мирная и ничем не нарушаемая. Хороший буфет. Водка, закуска. В городе магазины, каких мы давным-давно не видели. Масса вина, окна украшают четверти водки. Эта водка, между прочим, тут особенно везде бросается в глаза.

А базар! Какой базар! Я на самом деле такого базара в жизни, кажется, не видел. Во-первых, все лавки увешаны гроздьями чудеснейших фазанов, их тут тысячи. Висят попарно, подвешенные за клюв, — самец и самка. Красивый царственный самец блестит радугой всевозможных цветов, он отливает золотом, шея в бархатном темно-синем ожерелье, длинный хвост стрелой спускается книзу... Целые бочонки куропаток, штабелями сложена рыба, тут осетры, семга, стерляди, амуры, чего-чего только нет. Какое обилие, какое

богатство! После нашей жизни, после всего пережитого просто глаза разбегаются, самое главное — ощущение спокойной жизни...

2 февраля. Вагон

Итак, едем по КВЖД. Завтра будем, вероятно, в Харбине. Конечный пункт нашего путешествия. Необыкновенно красивая дорога. Хребет Хинган проходили замечательной петлей, красиво необыкновенно.

3 февраля. 5 часов дня. Харбин. Вокзал

Вот и Харбин. Масса эшелонов. Мы пока остаемся в своем вагоне, который датчане на несколько дней оставляют за нами, пока мы себе ничего не нашли. Приехали около пяти часов. Я пошел в город. Все незнакомо, все ново. Встретил Киндякова. Оказывается, он уже тут и в своем вагоне. Министры почти тоже все приехали. По дороге они выписали себе жалованье за год вперед в валюте, то есть в иенах, на каждого пришлось почти по 15 тыс. иен. Тем, которые еще не приехали, как, например, Пепеляеву, положили на его имя в Русско-азиатский банк.

Все это, разумеется, очень характерно. Колчак где-то застрял, а его министры за «труды» себя отлично наградили и теперь заживут спокойной жизнью буржуа, в сознании исполненного долга.

Вот и новая жизнь, что-то ждет нас...

Указатель имен

Содержание

[Ильин, И.С.]

И-46 Скитания русского офицера: Дневник Иосифа Ильина. 1914–1920 / Иосиф Ильин ; [подгот. текста, вступ. ст. В.П. Жобер, примеч. В.П. Жобер и К.В. Чащина, разработка карт-схем Т.В. Русиной]. — М. : Книжница : Русский путь, 2016. — 480 с. : ил.

ISBN 978-5-9905658-7-6 (Книжница)
ISBN 978-5-85887-479-9 (Русский путь)

Русский офицер Иосиф Сергеевич Ильин (1885–1981) прожил долгую жизнь, часть которой пришлась на один из самых катастрофических периодов российской истории. Первая мировая война, крушение самодержавия, Октябрьская революция, Гражданская война — вот исторический фон дневникового повествования. Но автор вместе со своей семьей оказывается не «на фоне», а в самой гуще тех событий…

Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся российской историей XX века.

УДК 82-94
ББК 63.3(2)6-4

Литературно-художественное издание

Скитания русского офицера
Дневник Иосифа Ильина
1914–1920

Редактор: *Л.А. Иванова*
Корректор: *Н.С. Самбу*
Художественно-технический редактор: *Т.Л. Белкина*
Верстка: *Л.А. Фирсова*

Подписано в печать 30.11.2016.
Формат 60х90/16. Тираж 1000 экз. Заказ № 171т

ООО «КНИЖНИЦА»
125009, г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, оф. 61
Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp_net.ru
Сайт издательства: www.rp-net.ru или русский путь.рф
Сайт книжного магазина: www.kmrz.ru
ISBN 978-5-9905658-7-6

Отпечатано в типографии НИИ «Геодезия»,
141292, г. Красноармейск, пр. Испытателей, д. 14



Дневниковые записи русского офицера Иосифа Сергеевича Ильина (1885, Москва – 1981, Веве, Швейцария) охватывают 1914–1920 годы — переломный период истории России XX века. Яркое эпистолярное свидетельство запечатлело ужасы Первой мировой войны, роковые перемены, повлеченные Февральской и Октябрьской революциями 1917 года, участие автора в Гражданской войне на стороне белых, великий исход российских изгнанников через Сибирь вместе с армией Колчака... Описание этапов драматического жизненного пути, выпавшего на долю будущих эмигрантов, оказавшихся в Маньчжурии, перемежается картинами природы и философскими размышлениями Ильина о смысле жизни и о будущем России, не потерявшими актуальность по сей день.